КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 6 (16)

ОКТЯБРЬ—НОЯБРЬ

1923

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ПЕТРОГРАД

Автобиографические рассказы.

О первой любви.

М. Горький.

(Окончание.)

...Тогда же, судьба,—в целях воспитания моего,—заставила меня пережить трагикомические волнения первой любви.

Компания знакомых собралась кататься на лодках по Оке, мне поручили пригласить на прогулку супругов К.—они недавно приехали из Франции, но я еще не был знаком с ними. Я пошел к ним вечером.

Жили они в подвале старого дома, против него, не просыхая всю весну и почти все лето, распростерлась во всю ширину улицы грязная лужа; вороны и собаки пользовались ею как зеркалом, свиньи брали в ней ванны.

Находясь в состоянии некоторой задумчивости, я ввалился в квартиру незнакомых мне людей подобно камню, скатившемуся с горы, и вызвал странное смятение обитателей ее. Предо мною, заткнув дверь в следующую комнату, сумрачно встал толстенький, среднего роста человек, с русской окладистой бородой и добрым взглядом голубых глаз.

Оправляя костюм, он неласково спросил:

— Что вам угодно?

И поучительно добавил:

— Раньше, чем войти,—нужно стучать в дверь!

За его спиною, в сумраке комнаты, металось и трепетало что-то, похожее на большую белую птицу, и прозвучал звонкий, веселый голос:

— Особенно,—если входите к женатым людям...

Я сердито спросил: те ли они люди, кого мне нужно? И когда человек, похожий на благополучного лавочника, ответил утвердительно,—объяснил ему, зачем я пришел.

— Вас прислал Кларк, говорите?—солидно и задумчиво поглаживая бороду, осведомился мужчина и в ту же минуту вздрогнул, повернулся волчком, болезненно восклицая:

— Ой, Ольга!

По судорожному движению его руки мне показалось, что его ущипнули за ту часть тела, о которой не принято говорить,—очевидно, потому, что она помещается несколько ниже спины.

Держась за косяки, на его место встала стройная девушка, с улыбкой рассматривая меня синеватыми глазами.

— Вы—кто? Полицейский?

— Нет, это только штаны,—вежливо ответил я, а она засмеялась.

Не обидно, ибо в глазах ее сияла именно та улыбка, которую я давно ожидал. Видимо—смех ее был вызван моим костюмом; на мне были синие шаровары городового, а вместо рубахи, я носил белую куртку повара;—это очень практичная вещь: она ловко играет роль пиджака и, застегиваясь на крючки до горла, не требует рубашки. Чужие охотничьи сапоги и широкая шляпа итальянского бандита великолепно завершали мой костюм.

Втащив меня за руку в комнату, толкнув к стулу, она спросила, стоя предо мной:

— Почему вы так смешно одеты?

— Почему—смешно?

— Не сердитесь,—дружески посоветовала она.

Очень странная девушка,—кто может сердиться на нее?

Бородатый мужчина, сидя на кровати, свертывал папиросы. Я спросил, указав глазами на него:

— Это—отец или брат?

— Муж!—убежденно ответил он.

— А что?—смеясь, спросила она.

Подумав, рассматривая ее, я сказал:

— Извините!

В таком лаконическом тоне беседа продолжалась минут пять, но я чувствовал себя способным неподвижно сидеть в этом подвале пять часов, дней, лет, глядя на узкое, овальное личико дамы и в ее ласковые глаза. Нижняя губа маленького рта ее была толще верхней, точно припухла; густые волосы каштанового цвета коротко обрезаны, и лежат на голове пышной шапкой, осыпая локонами розовые уши и нежно-румяные девичьи щеки. Очень красивы руки ее,—когда она стояла в двери, держась за косяки, я видел их голыми до плеча. Одета она как-то особенно просто—в белую кофточку с широкими рукавами в кружевах и в белую же ловко сшитую юбку. Но самое замечательное в ней—ее синеватые глаза: они лучатся так весело, ласково, с таким дружеским любопытством. И—это несомненно!—она улыбается той самой улыбкой, которая совершенно необходима сердцу человека двадцати лет от роду, сердцу, обиженному грубостью жизни.

— Сейчас хлынет дождь,—сообщил ее муж, окуривая бороду свою дымом папиросы.

Я взглянул в окно: на безоблачном небе разгорались звезды. Тогда я понял, что мешаю этому человеку, и ушел в настроении тихой ра-

дости, как после встречи с тем, чего давно уже и тайно от себя искал.

Всю ночь ходил по полю, бережно любуясь ласковым сиянием синеватых глаз, и на рассвете был непоколебимо убежден, что эта маленькая дама—совершенно неподходящая супруга для бородатого увальня с добрыми глазами сытого кота. Мне даже жалко стало ее—бедная! Жить с человеком, у которого в бороде прячутся хлебные крошки...

А на другой день мы катались по мутной Оке, под крутым берегом из широких пластов разноцветных мергелей. День был самый лучший от сотворения мира, изумительно сверкало солнце в празднично-ярком небе, над рекою носился запах созревшей земляники, все люди вспомнили, что они действительно прекрасные люди, и это насытило меня веселой любовью к ним. Даже муж дамы моего сердца оказался замечательным человеком—он сел не в ту лодку, где сидела его жена и где я был гребцом,—весь день он вел себя идеально умно,—сначала рассказал всем страшно много интересного о старике Гладстоне, а потом выпил крынку превосходного молока, лег под куст и вплоть до вечера спал спокойным сном ребенка.

Разумеется, наша лодка приехала первой на место пикника; когда я на руках выносил мою даму с лодки, она сказала:

— Какой вы силач!

Я чувствовал себя в состоянии опрокинуть любую колокольню города, и сообщил даме, что могу нести ее на руках до города—семь верст *). Она тихонько засмеялась, обласкала меня взглядом, весь день передо мною сияли ее глаза, и, конечно, я убедился, что они сияют только для меня.

Дальше все пошло с быстротой, вполне естественной для женщины, которая впервые встретила невиданного ею интересного зверя, и для здорового юноши, которому необходима ласка женщины.

Вскоре я узнал, что она, несмотря на свою внешность девушки, старше меня на десять лет, воспитывалась в Белостокском институте „благородных девиц", была невестой коменданта Зимнего дворца, жила в Париже, училась живописи и выучилась акушерству. Далее оказалось, что ее мать тоже акушерка и принимала меня в час моего рождения,—в этом факте я усмотрел некое предопределение и страшно обрадовался.

Знакомство с богемой и эмигрантами, связь с одним из них, затем полукочевая, полуголодная жизнь в подвалах и на чердаках Парижа, Петербурга, Вены,—все это сделало институтку человеком забавно спутанным, на редкость интересным. Легкая, бойкая, точно синица, она смотрела на жизнь и людей с острым любопытством умного подростка, задорно распевала французские песенки, красиво курила папиросы, искусно рисовала, недурно играла на сцене, умела ловко шить платья, делать шляпы. Акушерством она не занималась.

*) Вероятно—не донес бы.

По судорожному движению его руки мне показалось, что его ущипнули за ту часть тела, о которой не принято говорить,—очевидно, потому, что она помещается несколько ниже спины.

Держась за косяки, на его место встала стройная девушка, с улыбкой рассматривая меня синеватыми глазами.

— Вы—кто? Полицейский?

— Нет, это только штаны,—вежливо ответил я, а она засмеялась.

Не обидно, ибо в глазах ее сияла именно та улыбка, которую я давно ожидал. Видимо—смех ее был вызван моим костюмом; на мне были синие шаровары городового, а вместо рубахи, я носил белую куртку повара;—это очень практичная вещь: она ловко играет роль пиджака и, застегиваясь на крючки до горла, не требует рубашки. Чужие охотничьи сапоги и широкая шляпа итальянского бандита великолепно завершали мой костюм.

Втащив меня за руку в комнату, толкнув к стулу, она спросила, стоя предо мной:

— Почему вы так смешно одеты?

— Почему—смешно?

— Не сердитесь,—дружески посоветовала она.

Очень странная девушка,—кто может сердиться на нее?

Бородатый мужчина, сидя на кровати, свертывал папиросы. Я спросил, указав глазами на него:

— Это—отец или брат?

— Муж!—убежденно ответил он.

— А что?—смеясь, спросила она.

Подумав, рассматривая ее, я сказал:

— Извините!

В таком лаконическом тоне беседа продолжалась минут пять, но я чувствовал себя способным неподвижно сидеть в этом подвале пять часов, дней, лет, глядя на узкое, овальное личико дамы и в ее ласковые глаза. Нижняя губа маленького рта ее была толще верхней, точно припухла; густые волосы каштанового цвета коротко обрезаны, и лежат на голове пышной шапкой, осыпая локонами розовые уши и нежно-румяные девичьи щеки. Очень красивы руки ее,—когда она стояла в двери, держась за косяки, я видел их голыми до плеча. Одета она как-то особенно просто—в белую кофточку с широкими рукавами в кружевах и в белую же ловко сшитую юбку. Но самое замечательное в ней—ее синеватые глаза: они лучатся так весело, ласково, с таким дружеским любопытством. И—это несомненно!—она улыбается той самой улыбкой, которая совершенно необходима сердцу человека двадцати лет от роду, сердцу, обиженному грубостью жизни.

— Сейчас хлынет дождь,—сообщил ее муж, окуривая бороду свою дымом папиросы.

Я взглянул в окно: на безоблачном небе разгорались звезды. Тогда я понял, что мешаю этому человеку, и ушел в настроении тихой ра-

дости, как после встречи с тем, чего давно уже и тайно от себя искал.

Всю ночь ходил по полю, бережно любуясь ласковым сиянием синеватых глаз, и на рассвете был непоколебимо убежден, что эта маленькая дама—совершенно неподходящая супруга для бородатого увальня с добрыми глазами сытого кота. Мне даже жалко стало ее—бедная! Жить с человеком, у которого в бороде прячутся хлебные крошки...

А на другой день мы катались по мутной Оке, под крутым берегом из широких пластов разноцветных мергелей. День был самый лучший от сотворения мира, изумительно сверкало солнце в празднично-ярком небе, над рекою носился запах созревшей земляники, все люди вспомнили, что они действительно прекрасные люди, и это насытило меня веселой любовью к ним. Даже муж дамы моего сердца оказался замечательным человеком—он сел не в ту лодку, где сидела его жена и где я был гребцом,—весь день он вел себя идеально умно,—сначала рассказал всем страшно много интересного о старике Гладстоне, а потом выпил крынку превосходного молока, лег под куст и вплоть до вечера спал спокойным сном ребенка.

Разумеется, наша лодка приехала первой на место пикника; когда я на руках выносил мою даму с лодки, она сказала:

— Какой вы силач!

Я чувствовал себя в состоянии опрокинуть любую колокольню города, и сообщил даме, что могу нести ее на руках до города—семь верст *). Она тихонько засмеялась, обласкала меня взглядом, весь день передо мною сияли ее глаза, и, конечно, я убедился, что они сияют только для меня.

Дальше все пошло с быстротой, вполне естественной для женщины, которая впервые встретила невиданного ею интересного зверя, и для здорового юноши, которому необходима ласка женщины.

Вскоре я узнал, что она, несмотря на свою внешность девушки, старше меня на десять лет, воспитывалась в Белостокском институте „благородных девиц", была невестой коменданта Зимнего дворца, жила в Париже, училась живописи и выучилась акушерству. Далее оказалось, что ее мать тоже акушерка и принимала меня в час моего рождения,— в этом факте я усмотрел некое предопределение и страшно обрадовался.

Знакомство с богемой и эмигрантами, связь с одним из них, затем полукочевая, полуголодная жизнь в подвалах и на чердаках Парижа, Петербурга, Вены,—все это сделало институтку человеком забавно спутанным, на редкость интересным. Легкая, бойкая, точно синица, она смотрела на жизнь и людей с острым любопытством умного подростка, задорно распевала французские песенки, красиво курила папиросы, искусно рисовала, недурно играла на сцене, умела ловко шить платья, делать шляпы. Акушерством она не занималась.

---

*) Вероятно—не донес бы.

— У меня было четыре случая практики, но они дали семьдесят пять процентов смертности,—говорила она.

Это оттолкнуло ее навсегда от косвенной помощи делу умножения людей,—о ее прямом участии в этом деле свидетельствовала дочь ее,—милый и красивый ребенок лет четырех. О себе она рассказывала тем тоном, каким говорят о человеке, когда его хорошо знают и он уже достаточно надоел. Но иногда она как-будто удивлялась, говоря о себе, ее глаза красиво темнели и светились, в них мелькала легкая улыбка смущения,—так улыбаются сконфуженные дети.

Я хорошо чувствовал ее острый, цепкий ум, понимал, что она культурно выше меня, видел ее добросердечно-снисходительное отношение к людям; она была несравненно интереснее всех знакомых барышень и дам; небрежный тон ее рассказов удивлял меня, и мне казалось: этот человек, зная все, что знают мои революционно-настроенные знакомые, знает что-то сверх этого, что-то более ценное, но—она смотрит на все издали, со стороны, наблюдая, с улыбкой взрослого, пережитые им милые, хотя порою опасные забавы детей.

Подвал, в котором она жила, делился на две комнаты: маленькую кухню—она же служила и прихожей—и большую комнату в три окна на улицу, два—на сорный грязный двор. Это было удобное помещение для мастерской сапожника, но не для изящной маленькой женщины, которая жила в Париже, в священном доме Великой революции, в городе Мольера, Бомарше, Гюго и других ярких людей. Было еще много несоответствий картины с рамой,—все они жестоко раздражали меня, вызывая—кроме прочих чувств—сострадание к женщине. Но сама она как бы не замечала ничего, что—на мой взгляд—должно было оскорблять ее.

С утра до вечера она работала, утром—за кухарку и горничную, потом садилась за большой стол под окнами и весь день рисовала карандашом—с фотографии—портреты обывателей, чертила карты, раскрашивала картограммы, помогала составлять мужу земские сборники по статистике. Из открытого окна на голову ей и на стол сыпалась пыль улицы, по бумагам скользили толстые тени ног прохожих. Работая, она пела, а утомясь сидеть—вальсировала со стулом или играла с девочкой и, несмотря на обилие грязной работы, всегда была чистоплотна, точно кошка.

Ее супруг был благодушен и ленив. Он любил читать—лежа в постели—переводные романы, особенно Дюма-отца.—Это освежает клетки мозга,—говорил он. Ему нравилось рассматривать жизнь „с точки зрения строго научной“. Обед он называл приемом пищи, а пообедав, говорил:

— Подвоз пищевой кашицы из желудка клеткам организма требует абсолютного покоя.

И, забыв вытряхнуть крошки хлеба из бороды, ложился в постель, несколько минут углубленно читал Дюма или Ксавье де-Монтепена, а по-

том часа два лирически посвистывал носом, светлые мягкие усы его тихо шевелились, как-будто в них ползало нечто невидимое. Проснувшись, он долго и задумчиво смотрел на трещины потолка и—вдруг вспоминал:

— А ведь Кузьма неправильно истолковал вчера мысль Парнеля.

И шел уличать Кузьму, говоря жене:

— Ты, пожалуйста, докончи за меня подсчет безлошадных Майданской волости. Я—скоро!

Возвращался он около полуночи, иногда—позднее, очень довольный.

— Ну, знаешь, доканал я сегодня Кузьму! У него, шельмеца, память на цитаты очень развита, но я ему и в этом не уступлю. Между прочим, он совершенно не понимает восточной политики Гладстона, чудак!

Он постоянно говорил о Бинэ, Рише и гигиене мозга, а в дурную погоду, оставаясь дома, занимался воспитанием девочки его жены.

— Леля,—когда ты кушаешь, нужно тщательно жевать, это облегчает пищеварение, помогая желудку быстрее претворить пищевую кашицу в удобоусвояемый конгломерат химических веществ.

После же обеда, приведя себя „в состояние абсолютного покоя", укладывал ребенка на постель и рассказывал ему:

— Итак,—когда кровожадный честолюбец Бонапарте узурпировал власть...

Жена его судорожно, до слез хохотала, слушая эти лекции, но он не сердился на нее, не имея для этого времени, ибо скоро засыпал. Девочка, поиграв его шелковой бородою, тоже засыпала, свернувшись комочком. Я очень подружился с нею, она слушала мои рассказы с бо́льшим интересом, чем лекции Болеслава о кровожадном узурпаторе и печальной любви к нему Жозефины Богарнэ,—это возбудило у Болеслава забавное чувство ревности:

— Я—протестую, Пешков! Сначала ребенку необходимо внушить основные принципы отношения к действительности, а потом уже знакомить с нею. Если б вы знали английский язык и могли прочитать „Гигиену души ребенка"...

Он знал по-английски, кажется, только два слова: гуд бай.

Он был вдвое старше меня, но обладал любопытством юного пуделя, любил посплетничать и показать себя человеком, которому хорошо известны все тайны не только русских, но и зарубежных революционных кружков. Впрочем, возможно, что он и на самом деле был осведомлен,—к нему нередко приезжали таинственные люди, они все держались как актеры-трагики, которым случайно пришлось играть роли простаков. У него я видел нелегального Сабунаева в рыжем, неумело надетом парике, в пестром костюме, который был смешно узок и короток ему.

А однажды, придя к Болеславу, я увидел у него юркого человечка с маленькой головкой, очень похожего на парикмахера,—он был

одет в клетчатые брючки, серенький пиджачок и скрипучие ботинки. Вытеснив меня в кухню, Болеслав шопотом сказал:

— Это человек из Парижа, с важным поручением, ему необходимо видеть Короленко, так вы идите, устройте это...

Я пошел,—но оказалось, что Короленко показали приезжего на улице, и В. Г. проницательно заявил:

— Нет, пожайлуста, не знакомьте меня с этим хлыщом!

Болеслав обиделся за парижанина и „дело революции", два дня сочинял письмо Короленко, испробовал все стили, от гневного и сурового до ласкового-укоряющего, и потом сжег образцы эпистолярной литературы своей на шестке печи. Вскоре начались аресты в Москве, Нижнем, Владимире, и оказалось, что человек в клетчатых брючках— знаменитый, впоследствии, Ландезен-Гартинг, первый—по порядку— провокатор, которого я видел.

А за всем этим муж возлюбленной моей был добрый малый, несколько сентиментальный и комически обремененный „научным багажем". Он так и говорил:

— Смысл жизни интеллигента—непрерывное накопление научного багажа в целях бескорыстного распределения его в толщах народной массы.

Моя любовь, углубляясь, превращалась в страдание. Сидел я в подвале, глядя, как, согнувшись над столом, работает дама моего сердца, и мрачно пьянел от желания взять ее на руки, унести куда-то из проклятого подвала, загроможденного широкой двухспальной кроватью, старинным тяжелым диваном, где спала девочка, столами, на которых лежали груды пыльных книг и бумаг. Мимо окон нелепо мелькают чьи-то ноги, иногда в окно заглядывала морда бездомной собаки; душно, с улицы льется запах грязи, нагретой солнцем,—маленькая девичья фигурка, тихонько напевая, скрипит карандашом или пером, мне ласково улыбаются милые васильковые глаза. Я люблю эту женщину до бреда, до безумия и жалею ее до злобной тоски.

— Расскажите еще что-нибудь про себя,—предлагает она.

Рассказываю, но через несколько минут она говорит:

— Это вы не про себя говорите.

Я и сам понимаю, что все, о чем я говорил, еще—не я, а нечто в чем я слепо запутался. Мне нужно найти себя в пестрой путанице впечатлений и приключений, пережитых мною, но я не умел и боялся сделать это. Кто и что—я? Меня очень смущал этот вопрос. Я был зол на жизнь,—она уже внушила мне унизительную глупость попытки самоубийства. Я не понимал людей, их жизнь казалась мне неоправданной, глупой, грязной. Во мне бродило изощренное любопытство человека, которому зачем-то необходимо заглянуть во все темные

уголки бытия, в глубину всех тайн жизни, и, порою, я чувствовал себя способным на преступление из любопытства,—готов был убить, только для того, чтобы знать: что же будет со мною потом?

Мне казалось, что если я найду себя, — перед женщиной сердца моего встанет человек отвратительный, запутанный густой крепкой сетью каких-то странных чувств и мыслей, бредовой, кошмарный человек, он испугает ее и оттолкнет. Мне нужно было что-то сделать с собою. Я был уверен, что именно эта женщина способна помочь мне не только почувствовать настоящего себя, но она может сделать нечто волшебное, после чего я тотчас освобожусь из плена темных впечатлений бытия, что-то навсегда выброшу из своей души, и она вспыхнет огнем великой силы, великой радости.

И небрежный тон, которым она говорила о себе, и ее снисходительное отношение к людям внушили мне уверенность, что этот человек знает необыкновенное. У нее есть свой ключ ко всем загадкам жизни, от этого она всегда веселая, всегда уверена в себе. Может быть, я любил ее всего больше за то, чего не понимал в ней, но я любил ее со всей силой и страстью юности. Мучительно трудно было мне сдерживать эту страсть,—она уже физически сжигала и обессиливала меня. Для меня было бы лучше, будь я проще, грубее, но—я верил, что отношения к женщине не ограничиваются тем актом физиологического слияния, который я знал в его нищенски-грубой, животно-простой форме,—этот акт внушал мне почти отвращение, несмотря на то, что я был сильный, довольно чувственный юноша и обладал легко возбудимым воображением.

Не понимаю, как могла сложиться и жить во мне эта романтическая мечта, но я был непоколебимо уверен, что за тем, что известно мне, есть нечто неведомое, и в нем скрыт высокий, тайный смысл общения с женщиной, что-то великое, радостное и даже страшное таится за первым объятием,—испытав эту радость, человек совершенно перерождается.

Мне кажется,—я вынес эти фантазии не из романов, прочитанных мною, но воспитал и развил их из чувства противоречия действительности, ибо:

„Я в мир пришел, чтобы не соглашаться".

Кроме этого у меня было странное, смутное воспоминание:

— Где-то—за пределами действительного и когда-то в раннем детстве, я испытал некий сильный взрыв души, сладостный трепет ощущения—вернее предчувствие—гармонии, пережил радость, светлейшую солнца на утре, на восходе его. Может быть, это было еще в те дни, когда я жил во чреве матери, и этот счастливый взрыв ее нервной энергии передался мне жарким толчком, который создал душу мою и впервые зажег ее к жизни, может быть, это потрясающий момент счастья матери моей отразился во мне на всю мою жизнь трепетным ожиданием необыкновенного от женщины.

Когда не знаешь—выдумываешь, и самое умное, чего достиг человек, это—уменье любить женщину, поклоняться ее красоте,—от любви к женщине родилось все прекрасное на земле.

Однажды, купаясь, я прыгнул с кормы баржи в воду, ударился грудью о наякорник, зацепился ногою за канат, повис в воде вниз головой и захлебнулся. Ломовой извозчик вытащил меня, откачали, изорвав мне всю кожу, у меня пошла кровь, и я должен был лечь в постель, глотая лед.

Ко мне пришла моя дама, села на койку и, расспрашивая, как все это случилось со мною, стала гладить мне голову, легкой милой рукой, а глаза ее, потемнев, смотрели тревожно.

Я спросил: видит ли она, что я люблю ее?

— Да,—сказала она, улыбаясь осторожно,—вижу и, это очень плохо, хотя я тоже полюбила вас.

Разумеется, после ее слов вся земля вздрогнула, и деревья в саду закружились веселым хороводом. Я онемел от неожиданности, изумления и восторга, ткнулся головою в колени ей и, если бы не обнял ее крепко, то наверное вылетел бы в окно, как мыльный пузырь.

— Не двигайтесь, это вредно вам,—строго заметила она, пытаясь переложить мою голову на подушку.—И не волнуйтесь, а то я уйду. Вы, вообще, очень безумный господин, я не думала, что такие бывают. О наших чувствах и отношениях мы поговорим, когда вы встанете на ноги.

Все это она говорила очень спокойно и невыразимо ласково улыбалась потемневшими глазами. Она скоро ушла, оставив меня в радужном огне надежд, в счастливой уверенности, что теперь с ее доброй помощью я окрыленно вознесусь в сферу иных чувств и мыслей.

Через несколько дней я сидел в поле на краю оврага,—внизу, в кустарнике, шелестел ветер. Серое небо грозило дождем,—деловито серыми словами женщина говорила о разнице наших лет, о том, что мне нужно учиться и что преждевременно для меня вешать на шею себе жену с ребенком. Все это было угнетающе верно, говорилось тоном матери и еще более возбуждало любовь, уважение к милой женщине. Мне было грустно и сладко слушать ее голос, нежные ее слова,—впервые со мною говорили так.

Я смотрел в пасть оврага, где кусты, колеблемые ветром, текли зеленой рекой, и клятвенно обещал себе заплатить этому человеку за ласку его всеми силами моей души.

— Прежде чем решить что-либо, нам нужно хорошо подумать,—слышал я тихий голос. Она стегала себя по колену сорванной веткой орешника, глядя в сторону города, спрятанного в зеленых холмах садов.

— И, конечно, я должна поговорить с Болеславом,—он уже кое-что чувствует и ведет себя очень нервозно. А я не люблю драм.

Все было очень грустно и очень хорошо, — но оказалось необходимым нечто пошленькое и смешное.

Шаровары мои были широки в поясе, и я скалывал пояс большой медной булавкой, дюйма три длиной,—теперь нет таких булавок к счастью влюбленных бедняков. Острый кончик проклятой булавки все время деликатно царапал кожу мне,—неосторожное движение—и вся булавка впилась в мой бок. Я сумел незаметно вытащить ее и с ужасом почувствовал, что из глубокой царапины обильно потекла кровь, смачивая шаровары. Нижнего белья у меня не было, а курточка повара—коротенькая, по пояс. Как я встану и пойду в мокрых шароварах, приклеенных к телу?

Понимая комизм случая, глубоко возмущенный его обидной формой, я, в диком возбуждении, начал говорить что-то неестественным голосом актера, который забыл свою роль.

Послушав несколько минут мою речь, сначала — внимательно, потом—с явным недоумением, она сказала:

— Какие пышные слова! Вы вдруг стали не похожи на себя.

Это окончательно поразило меня, и я замолчал, как удивленный.

— Пора итти, собирается дождь.

— Я останусь здесь.

— Почему?

Что я мог ответить ей?

— Вы рассердились на меня?—ласково заглянув в лицо мое, спросила она.

— О, нет! На себя.

— И на себя не надо сердиться,—посоветовала женщина, встав на ноги.

А я—не мог встать, сидя в теплой луже, — мне казалось, что кровь моя, вытекая из бока, журчит ручьем,—в следующую секунду женщина услышит этот звук и спросит:

— Что это?

— Уйди!—мысленно молил я ее.

Она милостиво подарила мне еще несколько ласковых слов и пошла вдоль оврага, по краю его, мило покачиваясь на стройных ножках. Я следил, как ее гибкая фигурка, удаляясь, уменьшается, и потом лег на землю, опрокинутый ударом сознания, что моя первая любовь будет несчастлива.

Конечно, так и случилось: ее супруг пролил широкий поток слез, сентиментальных слюней, жалких слов, и она не решилась переплыть на мою сторону через этот липкий поток.

— Он такой беспомощный. А вы—сильный!—со слезами на глазах сказала она. — Он говорит: если ты уйдешь от меня, — я погибну, как цветок без солнца.

Я расхохотался, вспомнив коротенькие ножки, женские бедра, круглый, арбузиком, живот цветка. В бороде его жили мухи, — там всегда была пища для них.

Она, улыбаясь, заметила:

— Да, это смешно сказано, а все-таки, ему очень больно.

— Мне—тоже.

— О, вы молодой, вы сильный...

Тут, кажется, впервые я почувствовал себя врагом слабых людей. Впоследствии, в более серьезных случаях, мне весьма часто приходилось наблюдать, как трагически беспомощны сильные в окружении слабых, как много тратится ценнейшей энергии сердца и ума для того, чтобы поддержать бесплодное существование осужденных на гибель.

Вскоре, полубольной, в состоянии, близком безумию, я ушел из города и почти два года шатался по дорогам России, как перекати-поле. Обошел Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ, пережил неисчислимо много различных впечатлений, приключений, огрубел, обозлился еще более, и все-таки сохранил нетленно в душе милый образ этой женщины, хотя видел лучших и умнейших ее.

А когда, через два слишком года, осенью, в Тифлисе, мне сказали, что она приехала из Парижа и, узнав, что я живу в одном городе с нею, обрадовалась, я, двадцатитрехлетний крепкий юноша, первый раз в жизни упал в обморок.

Я не решился пойти к ней, но вскоре она сама, через знакомых, пригласила меня.

Мне показалось, что она еще красивее и милее. Все та же фигура девушки, тот же нежный румянец щек и ласковое сияние васильковых глаз. Муж ее остался во Франции, с нею была только дочь, бойкая и грациозная, точно козленок.

Когда я пришел к ней, — над городом с громом и молниями понеслась буря, загудел ливень, по улице, с горы св. Давида, стремительно катилась мощная река, выворачивая камни улицы. Вой ветра, сердитый плеск воды, грохот каких-то разрушений сотрясал дом, дребезжали стекла в окнах, комната наливалась синим огнем и как будто все кругом падало в бездонную мокрую пропасть.

Испуганная девочка зарылась в постель, а мы стояли у окна, ослепляемые взрывами неба и говорили—почему-то—шопотом.

— Впервые вижу такую грозу,—шелестели рядом со мною слова любимой женщины.

И вдруг она спросила:

— Ну, что же?—вылечились вы от любви ко мне?

— Нет.

Она видимо удивилась и все так же шопотом сказала:

— Боже мой! как изменились вы! Совершенно другой человек.

Медленно опустилась в кресло у окна, вздрогнула, зажмурилась, ослепленная жутким блеском молнии, и шепчет:

— О вас много говорят здесь. Зачем вы пришли сюда? Расскажите мне, как вам жилось?

Господи, какая она маленькая и хорошая вся!

Я рассказывал ей до полуночи, как бы исповедуясь. Грозные явления природы всегда действуют на меня возбуждающе хорошо— в этом убеждало меня ее внимание и напряженный взгляд широко раскрытых глаз. Лишь иногда она шептала:

— Это ужасно!

Уходя, я заметил, что она простилась со мною без той покровительственной улыбки старшего, которая—в прошлом—всегда немножко обижала меня. Шел я по мокрым улицам, глядя, как острый серп луны режет изорванные облака, и у меня кружилась голова от радости. На другой день я послал ей почтой стихи, — она впоследствии часто декламировала их, и они укрепились в памяти моей:

Сударыня!
За ласку, за нежный взгляд
Отдается в рабство ловкий фокусник,
Которому тонко известно
Забавное искусство
Создавать маленькие радости
Из пустяков, из ничего!
Возьмите веселого раба!
Может быть, из маленьких радостей
Он создает большое счастье,—
Разве кто-то не создал весь мир
Из ничтожных пылинок материй?
О, да! Мир создан не весело:
Скупы и жалки радости его!
Но все-таки в нем есть не мало забавного,
Например: Ваш покорный слуга,
И—есть в нем нечто прекрасное—
Это я говорю о Вас!
Вы!
Но—молчание!
Что значат тупые гвозди слов
В сравнении с вашим сердцем—
Лучшим из всех цветов
Бедной цветами земли?

Конечно, это едва ли стихи, но это было сделано с веселою искренностью.

Вот я снова сижу против человека, который кажется мне лучшим в мире и поэтому—необходимым для меня. На ней—голубое платье; не скрывая изящных очертаний ее фигуры, оно окутало ее мягким, душистым облаком. Играя кистями пояса, она говорит мне необыкновенные слова—я слежу за движением ее маленьких пальцев с розовыми ногтями и чувствую себя скрипкой, которую любовно настраивает искусный музыкант. Мне хочется умереть, хочется как-то вдохнуть

в душу себе эту женщину, чтоб навсегда осталась там. Тело мое поет в томительном напряжении, сильном до боли, и мне кажется, что у меня сейчас взорвется сердце.

Я прочитал ей мой первый рассказ, только что напечатанный, — но не помню, как она оценила его,—кажется, она удивилась:

— Вот как, вы начали писать прозу!

Как сквозь сон откуда-то издали я слышу:

— Много думала я о вас эти годы. Неужели это из-за меня пришлось вам испытать так много тяжелого?

Я говорю ей что-то о том, что в мире, где живет она, нет ничего тяжелого и страшного.

— Какой вы милый...

Мне до безумия хочется обнять ее, но у меня идиотски длинные нелепые тяжелые руки, я не смею коснуться тела ее, боюсь сделать ей больно, стою перед нею, и, качаясь под буйными толчками сердца, бормочу:

— Живите со мной! пожалуйста, живите со мной!

Она смеется тихонько и—смущенно. Ослепительно светятся ее милые глаза. Она уходит в угол комнаты и говорит оттуда:

— Сделаем так: вы уезжайте в Нижний, а я останусь здесь, подумаю и напишу вам...

Почтительно кланяюсь ей, как это сделал герой какого-то романа, прочитанного мною, и ухожу. По воздуху.

Зимою она, с дочерью, приехала ко мне в Нижний.

„Бедному жениться—и ночь коротка", насмешливо-печально говорит мудрость народа. Я проверил личным опытом глубокую правду этой пословицы.

Мы сняли за два рубля в месяц особняк,—старую баню в саду попа. Я поселился в предбаннике, а супруга в самой бане, которая служила и гостиной. Особнячек был не совсем пригоден для семейной жизни,—он промерзал в углах и по пазам. Ночами, работая, я окутывался всей одеждой, какая была у меня, а сверх ее—ковром и все-таки приобрел серьезнейший ревматизм. Это было почти сверхестественно при моем здоровье и выносливости, которыми я в ту пору обладал и хвастался.

В бане было теплее, но когда я топил печь, все наше жилище наполнялось удушливым запахом гнили, мыла и пареных веников. Девочка, изящная фарфоровая куколка с чудесными глазами, нервничала, у нее болела голова.

А весною баню начали во множестве посещать пауки и мокрицы,— мать и дочь до судорог боялись их, и я часами должен был убивать насекомых резиновой галошей. Маленькие окна густо заросли кустами бузины и одичавшей малины, в комнате всегда было сумрачно, а

пьяный капризный поп не позволял мне выкорчевать или хотя бы подрезать кусты.

Разумеется, можно бы найти более удобное жилище, но мы задолжали попу, и я очень нравился ему,—он не выпускал нас.

— Привыкнете!—говорил он.—А то, заплатите должишки и поезжайте хоша бы к англичанам.

Он не любил англичан, утверждая:

— Это нация ленивая, она ничего не выдумала, кроме пасьянсов, и не умеет воевать.

Был он человечище огромный, с круглым красным лицом и широкой рыжей бородой, пьянствовал так, что уже не мог служить в церкви, и—до слез, страдал от любви к маленькой остроносой и черной швейке, похожей на галку.

Рассказывая мне о коварствах ее, он смахивал ладонью слезы с бороды и говорил:

— Понимаю,—негодяйка она, но напоминает мне великомученицу Фемиаму, и за то—люблю!

Я внимательно просмотрел святцы,—святой такого имени не было в них.

Возмущаясь моим неверием, он сотрясал душу мою такими доводами в пользу веры:

— Вы, сынок, взгляните на это практически: неверов — десятки, верующих же—миллионы. А—почему? Потому, что как рыба сия не может существовать без воды, так ровно и душа не живет вне церкви. Доказательно? Посему—выпьем!

— Я не пью, у меня ревматизм.

Вонзив вилку в кусок селедки, он угрожающе поднимал ее вверх и говорил:

— И это—от неверия.

Мне было мучительно, до бессонницы стыдно пред женщиной за эту баню, за частую невозможность купить мяса на обед, игрушку девочке, за всю эту проклятую, ироническую нищету. Нищета—порок, который меня лично не смущал и не терзал, но для маленькой изящной институтки и, особенно, для дочери ее — эта жизнь была унизительна, убийственна.

По ночам, сидя в своем углу за столом, переписывая прошения, апелляционные и кассационные жалобы, сочиняя рассказы, я скрипел зубами и проклинал себя, людей, судьбу, любовь.

Женщина держалась великодушно, точно мать, когда она не хочет, чтобы сын видел, как трудно ей. Ни одной жалобы не сорвалось с ее губ на эту подлую жизнь; чем труднее слагались условия жизни, тем бодрей звучал ее голос, веселее — смех. С утра до вечера она рисовала портреты попов, их усопших жен, чертила карты уездов,—за эти карты земство получило на какой-то выставке золотую медаль. А когда иссякли заказы на портреты, — она делала из лоскутов разных

материй, соломы и проволоки самые модные парижские шляпы для девиц и дам нашей улицы. Я ничего не понимал в женских шляпах, но, очевидно, в них скрывалось что-то уморительно-комическое,—мастерица, примеряя перед зеркалом сделанный ею фантастический головный убор, задыхалась в судорожном смехе. Но я заметил, что эти шляпы странно влияют на заказчиц, — украсив головы свои пестрыми гнездами для кур, они ходили по улицам, как-то особенно гордо выпячивая животы.

Я работал у адвоката и писал рассказы для местной газеты по две копейки за строку. Вечерами, за чаем,—если у нас не было гостей,—моя супруга интересно рассказывала мне о том, как царь Александр II посещал Белостокский институт, оделял благородных девиц конфектами, от них некоторые девицы чудесным образом беременели, и не редко та или иная красивая девушка исчезала, уезжая на охоту с царем в Беловежскую пущу, а потом выходила замуж в Петербурге.

Моя жена увлекательно рассказывала мне о Париже; я уже знал его по книгам, особенно по солидному труду Максима дю-Кан, она изучала Париж по кабачкам Монмартра и суматошной жизни Латинского квартала. Эти рассказы возбуждали меня сильнее вина, и я сочинял какие-то гимны женщине, чувствуя, что именно силою любви к ней сотворена вся красота жизни.

Больше всего нравились мне и увлекали меня рассказы о романах, пережитых ей самой, — она говорила об этом удивительно интересно, с откровенностью, которая — порою — сильно смущала меня. Посмеиваясь, легкими словами, точно штрихи тонко заостренного карандаша, она вычерчивала комическую фигуру генерала Ребиндер, ее жениха, который, выстрелив в зубра прежде царя, закричал вслед раненому быку:

— Простите, Ваше Императорское Величество!

Рассказывала она о русских эмигрантах, и всегда в словах ее я чувствовал скрытую улыбку снисхождения к людям. Порою ее искренность нисходила до наивного цинизма, она вкусно облизывала губы острым, розовым языком кошки, а глаза ее блестели как-то особенно. Иногда мне казалось, что в них сверкает огонек брезгливости, но чаще я видел ее девочкой, самозабвенно играющей с куклами.

Однажды она сказала:

— Влюбленный русский всегда несколько многословен и тяжел, а не редко — противен красноречием. Красиво любить умеют только французы; для них любовь — почти религия.

После этого я невольно стал относиться к ней сдержаннее и бережливей.

О женщинах Франции она говорила:

— У них не всегда найдешь страстную нежность сердца, но они прекрасно заменяют ее веселой, тонко разработанной чувственностью,— любовь для них искусство.

Все это она говорила очень серьезно, поучающим тоном. Это были не совсем те знания, в которых я нуждался, но—все-таки это были знания, и я слушал ее с жадностью.

— Между русскими и француженками, вероятно, такая же разница, как между фруктами и фруктовыми конфектами,—сказала она однажды лунной ночью, сидя в беседке сада.

Сама она была конфектой. Ее страшно удивило, когда, в первые дни нашей супружеской жизни, я,—разумеется, вдохновенно,—изложил ей мои взгляды романтика на отношения мужчины и женщины.

— Это вы—серьезно? Вы действительно так думаете?—спросила она, лежа на руках у меня, в голубоватом свете луны.

Розовое тело ее казалось прозрачным, от него исходил хмельный, горьковатый запах миндаля. Ее тоненькие пальчики задумчиво играли гривой моих волос, она смотрела в лицо мне широко, тревожно раскрытыми глазами и улыбалась недоверчиво.

— А, Боже мой!—воскликнула она, спрыгнув на пол и стала задумчиво шагать по комнате из света в тень, сияя в луче луны атласом кожи, бесшумно касаясь пола босыми ногами. И, снова подойдя ко мне, гладя ладонями щеки мои, сказала тоном матери:

— Вам нужно было начать жизнь с девушкой,—да, да! А не со мною...

Когда же я взял ее на руки, она заплакала, тихонько говоря:

— Вы чувствуете, как я люблю вас, да? Мне никогда не удавалось испытать столько радости, сколько я испытываю с вами,—это правда, поверьте! Никогда я не любила так нежно и ласково, с таким легким сердцем. Мне удивительно хорошо с вами, но—все-таки,—я говорю: мы ошиблись,—я не то, что нужно вам, не то! Это я ошиблась.

Не понимая ее, я был испуган ее словами и торопливо погасил ее настроение радостью ласк. Но все-таки эти странные слова остались в памяти моей. А спустя несколько дней, она, в слезах восторга, снова тоскливо повторила эти слова:

— Ах, если б я была девушкой!

Помню, в эту ночь по саду металась вьюга, в стекла окон стучали ветви бузины, в трубе волком выл ветер, в комнате у нас было темно, холодно и шелестели отклеившиеся обои.

Заработав несколько рублей, мы приглашали знакомых и устраивали великолепные ужины,—ели мясо, пили водку и пиво, ели пирожное и вообще наслаждались. Моя парижанка, обладая прекрасным аппетитом, любила русскую кухню: „сычуг"—коровий желудок, начиненный гречневой кашей и гусиным салом, пироги с рыбьими жирами и соминой, картофельный суп с бараниной.

Она организовала орден „жадненьких животиков",—десяток людей, которые, любя сытно поесть и хорошо выпить, эстетически тонко

знали и красноречиво, неутомимо говорили о вкусных тайнах кухни, а я интересовался тайнами иного характера, ел мало, и процесс насыщения не увлекал меня, оставаясь вне моих эстетических потребностей.

— Это—пустые люди!—говорил я о „жадненьких животиках".

— Как всякий, если его хорошенько встряхнуть,—отвечала она.— Гейне сказал: „Все мы ходим голыми под нашим платьем".

Цитат скептического тона она знала много. Но—мне казалось— не всегда она удачно и уместно пользовалась ими.

Ей очень нравилось „встряхивать" ближних мужского пола, и она делала это весьма легко. Неугомонно веселая, остроумная, гибкая, как змея, она, быстро зажигая вокруг себя шумное оживление, возбуждала эмоции не очень высокого качества.

Достаточно было человеку побеседовать с нею несколько минут, и у него краснели уши, потом они становились лиловыми, глаза, томно увлажняясь, смотрели на нее взглядом козла на капусту.

— Магнитная женщина!—восхищался некий заместитель нотариуса, неудачник-дворянин, с бородавками Дмитрия Самозванца и животом объема церковной главы.

Белобрысый ярославский лицеист сочинял ей стихи,—всегда дактилем. Мне они казались отвратительными, она—хохотала над ними до слез.

— Зачем ты возбуждаешь их?—спрашивал я.

— Это так же интересно, как удить окуней. Это называется—кокетство. Нет ни одной женщины, уважающей себя, которая не любила бы кокетничать.

Иногда она спрашивала, улыбаясь, заглядывая в глаза мне:

— Ревнуешь?

Нет, я не ревновал, но—все это немножко мешало мне жить,— я не любил пошлых людей. Я был веселым человеком и знал, что смех— прекраснейшее свойство людей. Я считал клоунов цирка, юмористов открытых сцен и комиков театра бездарными людьми, уверенно чувствуя, что сам я мог бы смешить лучше их. И не редко мне удавалось заставлять наших гостей смеяться до боли в боках.

— Боже мой,—восхищалась она,—каким удивительным комиком мог бы ты быть! Иди на сцену, иди!

Сама она с успехом играла в любительских спектаклях, ее приглашали на сцену серьезные антрепренеры.

— Я люблю сцену, но—боюсь кулис,—говорила она.

Она была правдива в желаниях, мыслях и словах.

— Ты слишком много философствуешь,—поучала она меня.— Жизнь, в сущности, проста и груба; не нужно осложнять ее поисками какого-то особенного смысла в ней, нужно только научиться смягчать ее грубость. Больше этого не достигнешь ничего.

В ее философии я чувствовал избыток гинекологии, и мне казалось, что Евангелием ей служит „Курс акушерства".

Она сама рассказывала мне, как ошеломила ее какая-то научная книга,—впервые которую прочитала она после института.

— Наивная девченка, я почувствовала удар кирпичем по голове; мне показалось, что меня сбросили с облаков в грязь, я плакала от жалости к тому, во что уже не могла верить, но скоро ощутила под собою, хотя жестокую, а—твердую почву. Всего более жалко было Бога, я так хорошо, близко чувствовала его, и—вдруг он рассеялся, точно дым папиросы, и вместе с ним исчезла мечта о небесном блаженстве любви. А все мы, в институте, так много думали, так хорошо говорили о любви.

Плохо действовал на меня ее институтско-парижский нигилизм. Бывало—ночью, встав из-за стола, я шел смотреть на нее,—в постели она казалась еще меньше, изящнее, красивее,—смотрел—и с великой горечью думал о ее надломленной душе, запутанной жизни. И жалость к ней усиливала мою любовь.

Литературные вкусы наши непримиримо расходились: я с восторгом читал Бальзака, Флобера, ей больше нравились Поль Феваль, Октав Фейлье, Поль де-Кок и, особенно—„Девица Жиро, моя супруга",—эту книгу она считала самой остроумной, мне же она казалась скучной, как „Уложение о наказаниях". Несмотря на все это, наши отношения сложились очень хорошо;—мы не теряли интереса друг к другу, и не гасла страсть. Но на третий год совместной жизни я стал замечать, в душе у меня что-то зловеще поскрипывает и—все звучнее, заметней. Я непрерывно, жадно учился, читал и—начал серьезно увлекаться литературной работой; мне все более мешали гости,—люди мало интересные, они количественно разрастались, ибо я и жена стали зарабатывать больше и могли чаще устраивать обеды и ужины.

Ей жизнь казалась чем-то вроде паноптикума, а так как на мужчинах не было предостерегающей надписи: „просят ручками не трогать", то—иногда—она подходила к ним слишком неосторожно, они оценивали ее любопытство чересчур выгодно для себя, и на этой почве возникали недоразумения, которые я принужден был разрешать. Я делал это порою недостаточно сдержанно и—вероятно—всегда очень неумело; человек, которому я натрепал уши, жаловался на меня:

— Ну, хорошо, сознаюсь, я виноват! Но—драть меня за уши,—да что я,—мальчишка, что ли? Я почти вдвое старше этого дикаря, а он меня—за уши треплет! Ну, ударил бы, все-таки это приличнее!

Очевидно—я не обладал искусством наказывать ближнего, в меру его самоуважения.

К моим рассказам жена относилась довольно равнодушно, но это нисколько не задевало меня—до некоторой поры: я сам тогда еще не верил, что могу быть серьезным литератором, и смотрел на мою работу в газете только как на средство к жизни, хотя уже нередко испытывал приливы горячей волны какого-то странного самозабвения. Но, однажды утром, когда я читал ей в ночь написанный рассказ „Ста-

руха Изергиль", она крепко уснула. В первую минуту это не обидело меня, я только перестал читать и задумался, глядя на нее.

Склонив на спинку дряхлого дивана маленькую, милую мне голову, приоткрыв рот, она дышала ровно и спокойно, как ребенок. Сквозь ветви бузины в окно смотрело утреннее солнце, золотые пятна, точно какие-то воздушные цветы, лежали на груди и коленях женщины.

Я встал и тихонько вышел в сад, испытывая боль глубокого укола обиды, угнетенный сомнением в моих силах.

За все дни, прожитые мною, я видел женщин только в тяжелом, рабском труде, в грязи, в разврате, в нищете или в полумертвой, самодовольной пошлой сытости. Было у меня только одно прекрасное впечатление детства—„Королева Марго", но от него отделял меня целый горный хребет иных впечатлений. Мне думалось, что история жизни Изергиль должна нравиться женщинам, способна возбудить в них жажду свободы, красоты. И—вот, самая близкая мне не тронута моим рассказом,—спит.

Почему? Не достаточно звучен колокол, отлитый жизнью в моей груди?

Эта женщина была принята сердцем моим вместо матери. Я ожидал и верил, что она способна напоить меня пьяным медом, возбуждающим творческие силы, ждал, что ее влияние смягчит грубость, привитую мне на путях жизни.

Это было тридцать лет тому назад, и я вспоминаю об этом с улыбкой в душе. Но тогда неоспоримое право человека спать, когда ему хочется,—очень огорчило меня.

Я верил: если говорить о грустном весело, печаль исчезнет.

И я подозревал, что в мире действует хитроумно некто, кому приятно любоваться страданиями людей; мне казалось, что существует некий дух, творец житейских драм, и ловко портит жизнь;—я считал невидимого драматурга личным моим врагом и старался не поддаваться его уловкам.

Помню, когда я прочитал в книге Ольденбурга „Будда, его жизнь, учение и община": „Всякое существование—суть страдание", это глубоко возмутило меня,—я не очень много испытал радостей жизни, но горькие муки ее казались мне случайностью, а не законом. Внимательно прочитав солидный труд архиепископа Хрисанфа „Религия Востока", я еще более возмущенно почувствовал, что учения о мире, основанные на страхе, унынии, страдании—совершенно неприемлемы для меня. И, тяжело пережив настроение религиозного экстаза, я был оскорблен бесплодностью этого настроения. Отвращение к страданию вызывало у меня органическую ненависть ко всяким драмам, и я не плохо научился превращать их в смешные водевили.

Конечно, можно бы не говорить все это для того только, чтобы сказать: между мною и женщиной назревала „семейная драма“, но оба мы дружно сопротивлялись развитию ее. Я немного пофилософствовал потому, что мне захотелось упомянуть о забавных извилинах пути, которым я шел на поиски самого себя.

Моя женщина—по веселой природе своей—тоже была неспособна к драматической игре дома,—к игре, которой так любят увлекаться чрезмерно „психологические“ русские люди обоего пола.

Но—унылые дактили белобрысого лицеиста все-таки действовали на нее, как осенний дождь. Круглым, красивым почерком он тщательно исписывал листики почтовой бумаги и тайно совал их всюду— в книги, в шляпу, в сахарницу. Находя эти аккуратно сложенные листочки, я подавал их жене, говоря:

— Примите сию очередную попытку уязвить сердце ваше.

Вначале бумажные стрелы Купидона не действовали на нее, она читала мне длинные стихи, и мы единодушно хохотали, встречая памятные строки:

Днями, ночами—я с вами вдвоем,
Все отражается в сердце моем:
Ручки движенье, кивок головы,
Горлинкой нежной воркуете вы,
Ястребом—мысленно—вьюсь я над вами.

Но, однажды, прочитав такой доклад лицеиста, она задумчиво сказала:

— А мне его жалко!

Помню,—я пожалел не его, а она с этой минуты перестала читать дактили вслух.

Поэт, коренастый парень, старше меня года на четыре, был молчалив, очень пристрастен к спиртным напиткам и замечательно усидчив. Придя в праздник к обеду в два часа дня, он мог неподвижно и немо сидеть до двух часов ночи. Он был, как и я, письмоводителем адвоката, весьма изумлял своего добродушного патрона рассеянностью, к работе относился небрежно и часто говорил сипловатым басом:

— Вообще,—все это ерунда!

— А что же не ерунда?

— Как вам сказать?—спрашивал он задумчиво, поднимая к потолку серые, скучные глаза, и—не говорил ничего больше. Он был как-то особенно тяжело и словно напоказ—скучен, это более всего раздражало меня. Напивался он медленно; пьяный иронически фыркал носом,—кроме этого, я ничего особенного не замечал в нем, ибо—существует закон, по силе которого, с точки зрения мужа, человек, ухаживающий за его женой, всегда плохой человек.

Откуда-то с Украины богатый родственник присылал лицеисту по пятьдесят рублей в месяц;—большие деньги в то время. По празд-

никам лицеист приносил жене моей конфекты, а в день ее именин подарил ей часы-будильник,—бронзовый пень, а на нем сова терзает ужа.

Эта отвратительная машина всегда будила меня на час и семь минут раньше, чем следовало.

Жена, перестав кокетничать с лицеистом, начала относиться к нему с нежностью женщины, которая чувствует себя виновной в нарушении душевного равновесия мужчины. Я спросил, чем, по ее мнению, должна окончиться эта грустная история?

— Не знаю, — ответила она. — У меня нет определенного чувства к нему, но—мне хочется встряхнуть его. В нем заснуло что-то, и, кажется, я могла бы его разбудить.

Я знал, что она говорит правду, — ей всех и каждого хотелось разбудить, в этом она очень легко достигала успеха: разбудит ближнего—и в нем проснется скот. Я напоминал ей о Цирцее, но это не укрощало ее стремления „встряхивать" мужчин, и я видел, как вокруг меня постепенно разрастается стадо баранов, быков и свиней.

Знакомые великодушно рассказывали мне потрясающие мрачные легенды о семейном быте моем, а я был прямодушен, груб и предупреждал творцов легенд:

— Я буду бить вас.

Некоторые — лживо оправдывались, обижались — немногие и не очень. А женщина говорила мне:

— Поверь, грубостью ничего не достигнешь, только еще хуже станут говорить. Ведь ты—не ревнуешь?

Да, я был слишком молод и уверен в себе, для того, чтобы ревновать. Но—есть чувства, мысли и догадки, о которых говоришь только любимой женщине и не скажешь никому больше. Есть такой час общения с женщиной, когда становишься чужим самому себе и открываешь себя пред нею, как верующий пред Богом своим. Когда я представлял себе, что все это—очень и только мое—она в интимную минуту может рассказать кому-то другому, мне становилось тяжело, я чувствовал возможность чего-то очень похожего на предательство: может быть, это опасение и является корнем ревности?

Я чувствовал, что такая жизнь может вывихнуть меня с пути, которым я иду. Я уже начинал думать, что иного места в жизни, кроме литературы,—нет для меня. В этих условиях невозможно было работать.

От крупных скандалов меня удерживало то, что на ходу жизни я выучился относиться к людям терпимо, не теряя, однако, ни душевного интереса, ни уважения к ним. Я уже и тогда видел, что все люди более или менее грешны перед неведомым богом совершенной правды, а перед человеком особенно грешат признанные праведники. Праведники—ублюдки от соития порока с добродетелью, и соитие это не является насилием порока над добродетелью — или наоборот, — но

Конечно, женщины не любили ее, разумеется, сочиняли сплетни о нас. Знакомая фельдшерица, очень красивая, но еще более—не умная, великодушно предупреждала меня:

— Эта женщина высосет из вас всю кровь!

Многому научился я около моей первой женщины. Но все-таки меня больно жгло отчаяние непримиримого различия между мною и ею.

Для меня жизнь была серьезной задачей, я слишком много видел, думал и жил в непрерывной тревоге. В душе моей нестройным хором кричали вопросы, чуждые духу этой славной женщины.

Однажды на базаре полицейский избил благообразного старика, одноглазого еврея, за то, что еврей, будто бы, украл у торговца пучок хрена. Я встретил старика на улице; вывалянный в пыли, он шел медленно, с какой-то картинной торжественностью, его большой черный глаз строго смотрел в пустознойное небо, а из разбитого рта по белой, длинной бороде тонкими струйками текла кровь, окрашивая серебро волос в яркий пурпур.

Тридцать лет тому назад было это, и я вот сейчас вижу перед собою этот взгляд, устремленный в небо с безмолвным упреком, вижу, как дрожат на лице старика серебряные иглы бровей. Не забываются оскорбления, нанесенные человеку и—да не забудутся!

Я пришел домой совершенно подавленный, искаженный тоской и злобой, такие впечатления вышвыривали меня из жизни, я становился чуждым человеком в ней, человеком, которому намеренно—для пытки его — показывают все грязное, глупое, страшное, что есть на земле, все, что может оскорбить душу. И вот в эти часы, в эти дни особенно ясно видел я, как далек от меня самый близкий мне человек.

Когда я рассказал ей об избитом еврее, она очень удивилась.

— И—поэтому ты сходишь с ума? О, какие у тебя плохие нервы!

Потом спросила:

— Ты говоришь—красивый старик? Но—как же красивый, если—он кривой?

Всякое страдание было враждебно ей, она не любила слушать рассказы о несчастиях, лирические стихи почти не трогали ее, сострадание редко вспыхивало в маленьком, веселом сердце. Ее любимыми поэтами были Беранже и Гейне, человек, который мучился—смеясь.

В ее отношении к жизни было нечто сродное вере ребенка в безграничную ловкость фокусника—все показанные фокусы интересны,—но самый интересный еще впереди. Его покажут следующий час, может быть, завтра, но—его покажут.

Я думаю, что и в минуту смерти своей она все еще надеялась увидать этот последний, совершенно непонятный, удивительно ловкий фокус.

На рыбной ловле.

Рассказ.

Алексей Толстой.

— Место наше глухое, нелюдимое, где тут человеку жить!..

Иван Степанович плюнул на червяка и закинул удочку. Едва текли струи зеркальной реки, не колыхалась лодка, стоймя торчал камышевый поплавок. Иван Степанович смирно глядел на воду. Некуда торопиться рыбаку,—сиди под соломенной шляпой, щурься на влажный свет, дожидайся, когда в темную воду нырнет поплавок.

— Нелюдимые, глухие наши места,—опять сказал Иван Степанович,—одна слава, что город. Непонятно—в каком веке живем: не то в семнадцатом, не то еще в каком-нибудь. До железной дороги—семьдесят верст проселками. У нас даже и бандитов нет. Забрался один в прошлом году, вихрястый,—такая взяла его тоска: „Вы, говорит, не люди, а мох",—плюнул, ушел назад проселками. Одна отрада рыбы много. Я, вот, извините, фельдшер, человек сознательный, но и то растерялся,—такая у нас глушь, чепуха. Почитаешь газету: что же это такое пишут, где такие люди живут? В Москве за Крымским мостом железную башню построили—и с нее разговаривают кругом земного шара... Этот бандит-то в прошлом году рассказывал: залезет, говорит, на башню телеграфист, большевик, и начинает обкладывать весь земной шар, всю мировую буржуазию кроет матом... Сперва, говорит, мировая буржуазия никак не могла понять: в Америке, в Австралии, на кораблях принимают и принимают какие-то слова. Позвали спецов. Те говорят: это матерное, это из Москвы вас кроют.

Поплавок мигнул и опять повис в зеркальной воде. У Ивана Степановича позеленели глаза,—насторожился.

— Рыбы много, а сытая. Какая ей наживка нужна—чума ее знает. На прошлой неделе попался мне сазан,—часа три гонял меня по реке. Видит—податься ему некуда: к Ивану Степановичу, значит, на крючок попал, сазан-то и оробел, но как-то, чума его знает, сорвался. Нет, городишко наш затхлый, на краю земли живем, не проникнет сюда луч сознания. Бандит этот, вихрястый, на базаре говорил: будто теперь вводится новый натуральный налог на нас—обывателей: каждый чело-

естественный результат их законного брака, в котором ироническая необходимость играет роль попа. Брак же есть таинство, силою которого две яркие противоположности,—соединяясь,—рождают почти всегда унылую посредственность. В ту пору мне нравились парадоксы,—как мороженое маленькому мальчику—острота их возбуждала меня, как хорошее вино, и парадоксальность слов всегда сглаживала грубые обидные парадоксы фактов.

— Мне кажется, будет лучше, если я уеду,—сказал я жене.

Подумав, она согласилась:

— Да, ты прав! Эта жизнь—не по тебе, я понимаю!

Мы оба немножко и молча погрустили, крепко обняв друг друга, и я уехал из города, а вскоре уехала и она, поступив на сцену. Так кончилась история моей первой любви,—хорошая история, несмотря на ее плохой конец.

Недавно моя первая женщина умерла.

В похвалу ей скажу: это была настоящая женщина!

Она умела жить тем, что есть, но каждый день для нее был кануном праздника, она всегда ждала, что завтра на земле расцветут новые, необыкновенные цветы, откуда-то придут необычно интересные люди, разыграются удивительные события.

Относясь к невзгодам жизни насмешливо, полупрезрительно, она отмахивалась от них, точно от комаров, и всегда в душе ее трепетала готовность радостно удивиться. Но это уже не наивные восхищения институтки, а здоровая радость человека, которому нравится пестрая суета жизни, трагикомически запутанные связи людей, поток маленьких событий, которые мелькают, как пылинки в луче солнца.

Не скажу, чтобы она любила ближних,—нет, но ей нравилось рассматривать их. Иногда она ускоряла или усложняла развитие будничных драм между супругами или влюбленными, искусно возбуждая ревность одних, способствуя сближению других,—эта небезопасная игра очень увлекала ее.

— „Любовь и голод правят миром", а философия—несчастие его,—говорила она.—Живут для любви, это самое главное дело жизни.

Среди наших знакомых был чиновник государственного банк длинный, тощий, он ходил медленной и важной походкой журавля, тщательно одевался и, заботливо осматривая себя, щелчками сухих желтых пальцев сбивал никому, кроме его, не видимые пылинки со своего костюма. Оригинальная мысль, яркое слово—были враждебны ему, как-будто брезговали его языком, тяжелым и точным. Говорил он солидно, внушительно и, раньше, чем сказать что-либо—всегда неоспоримое,—расправлял холодными пальцами рыжеватые редкие усы.

— С течением времени наука химии приобретает все бо́льшее значение в промышленности, обрабатывающей сырье. О женщинах совершенно справедливо сказано, что они—капризны. Между женой и любовницей нет физиологической разницы, а только—юридическая.

Я серьезно спрашивал жену:

— В силах ли ты утверждать, что все нотариусы—крылаты?

Она отвечала виновато и печально:

— О, нет, у меня не хватает сил на это, — но — я утверждаю: смешно кормить слонов яйцами в смятку.

Наш друг, послушав минуты две такой диалог, проницательно заявлял:

— Мне кажется, что вы говорите все это совершенно несерьезно!

Однажды, больно ударив колено о ножку стола, он сморщился и сказал с полным убеждением:

— Плотность—неоспоримое свойство материи.

Бывало, проводив его, приятно возбужденная, горячая и легкая, жена говорила, полулежа на коленях у меня:

— Ты посмотри, как совершенно, как законченно он глуп.

— Глуп во всем, — даже походка, жесты, — все глупо. Он мне нравится, как нечто образцовое. Погладь мои щеки.

Она любила, когда я, едва касаясь пальцами кожи лица, разглаживал чуть заметные морщинки под милыми глазами ее. И, зажмурясь, поёживаясь, точно кошка, она мурлыкала:

— Как удивительно интересны люди. Даже, когда человек не интересен для всех, — он возбуждает меня. Мне хочется заглянуть в него, как в коробочку, — вдруг там хранится что-то никому не заметное, никогда не показанное, только я одна—и я первая—увижу это.

В ее поисках „никому не заметного" не было напряжения, она искала с удовольствием и любопытством ребенка, который впервые пришел в комнату, незнакомую ему. И, порою, она действительно зажигала в тусклых глазах безнадежно скучного человека острый блеск напряженной мысли, но — более часто вызывала упрямое желание обладать ею.

Она любила тело свое и, нагая, стоя перед зеркалом, восхищалась:

— Как это славно сделано, — женщина! Как все в ней гармонично!

Она говорила:

— Когда я хорошо одета, я чувствую себя более здоровой, сильной и умной!

Так и было: нарядная, она становилась веселее, остроумней, ее глаза сияли победоносно. Она умела красиво шить для себя платья из ситца, носила их, как шелк и бархат, и, одетая всегда очень просто, казалась мне одетой великолепно. Женщины восхищались ее нарядами, конечно, — не всегда искренно, но всегда очень громко, они завидовали ей, и, помню, одна из них печально сказала:

— Мое платье втрое дороже вашего и в десять раз хуже, — мне даже больно и обидно смотреть на вас.

век должен представить в местный исполком по сто двадцати воробьев битых и по два зайца с души. Поди, не представь! А ружья, порох— у населения отобрали, чем хочешь, тем и бей. Спасибо дьякон догадался: мышьяком, говорит, травите воробьев. За осень столько этих птиц извели, куры стали дохнуть, только тогда бросили травить. А то у каждого на погребице кадушка соленых воробьев стояла. Эх, Москва, Москва!..

Поплавок опять сильно дернуло. Иван Степанович подсек и вытянул пустой крючок.

— Видишь—червячка-то и съели. Непременно это шилишпер. Наглая рыба, а гордиться бы ему и не с чего: костистый да постный. Прошлую осень ловлю с берега. Ну, хорошо. Потянуло,—без озорства, тянет сильно. Я к себе, он—к себе. И выходит на песок налим, фунтов на девять, почтенный, ленивый, вьется, как змей, и крючечек у него из губы и выскользнул. Беда! Кинулся я на него, вода студеная, я его ногтями. И он не торопится, вывертывается, ушел в речку. Нет, рыбу ловить хлебнешь горя! А скажите—правду рассказывают: под Царицыным упал камень шестнадцать верст длиной, побил неисчислимо народу, неисчислимо сожгло хлебов? Ну, конечно, газеты этот случай скрывают,—запрещено.

У нас теперь—все предрассудки. А разве от народа скроешь, что камень упал. И еще один камень должен упасть в 24 году,—этот будет много больше, и упадет он около Варшавы, побьет невидимое количество поляков. Так-то. А председатель уездного исполкома по поводу этих разговоров объявил у нас борьбу с предрассудками. Повесили на безаре полотнище, на нем—вошь большая, нечистый с коровьим хвостом и один человек в здоровенных очках, будто бы это англичанин, который нам все дело портит. Дьякон наш до того испугался, забился на ледник, за кадушки, пьяный, конечно, застудился, потерял голос... Эх, Москва, Москва!..

Иван Степанович насадил на крючок майского жука. И опять между небом и землей повис камышевый поплавок. Трепеща, села на него стрекоза, сорвалась и улетела. Зноен был полдень на реке. Опрокинувшись, дремали зеленые берега. Иногда со дна реки поднимались пузыри, расходились водяной пленкой.

— Расскажу я вам необыкновенный случай,—продолжал Иван Степанович, и соломенная шляпа его укоризненно колыхнулась.—Неоднократно пытался опубликовать его в печати, в местной газете. В первый раз—принес им, в местную газету,—угостили чаем, „рады, говорят, пробуждению сил на местах". Благодарили. А в другой раз пришел за ответом,—обступили и давай смеяться, вся редакция,—грегочут, сапогами притоптывают,—„дурак, дурак!" А через неделю вызвали куда следует и—допрос. „С точки, мол, зрения Дарвина оказываетесь вы захребетник рабоче-крестьянской России, вроде херомант". А я—какой я херомант, захребетник,—сами видите. Эхе-хе!

Иван Степанович полез в карман парусинового, до крайности ветхого, балахона, вынул трубочку, закурил, и—пошел дымок сизою струйкой в безветренном зное. Лишь слышно было, как пела пчела, перелетая на тот берег, на медовые кашки.

— История эта случилась за тем мысом,—Иван Стапанович кивнул шляпой на опрокинувшийся в речке вдали глинистый обрыв с двумя корявыми соснами,—там в реке—омут, яма, место это проклятое, называется оно Черный Яр, водятся в нем древние щуки, которой по двести, которой по триста лет. Щука, сами знаете, рыба бессмертная. Под Москвой в прудах поймали щуку,—вся обросла мохом,—и в жабре у нее вдето кольцо с пометкой, что пущена щука в пруды царем Борисом. Ну, хорошо. Революция принесла, как говорится, раскрепощение предрассудка. Но рыбу в Черном Яру, все-таки, у нас теперь не ловят. Боятся. Днем проплываешь мимо Яра—и то волосы дыбом встают. А на ночь пойти с блесной, или верши поставить,—нет, ни за деньги, ни за вино, голову оторвите,—не пойду. Вот, для примера: дьякон наш, не тот, который голос потерял, а другой, Громов, чай, слыхали: он в девятнадцатом году сорвал с себя сан, пошел по гражданской части,—шайку себе подобрал из дизиртеров, сидели они в лесу, грабили. Потом это баловство бросил. Так вот, стал он хвастать: „В кого, мол, я верю?—в одну электрификацию верю, а в утопленника в Черном Яру, в Федьку Дьявола—не верю". Пошел на спор ночью с удочками на Черный Яр, пьяный. А на утро лежит дьякон под сосной, весь побитый, исцарапанный, одежа изодрана, сапоги сняты, и денег у него,—двадцать миллионов были в кисете, в портках,—денег этих у него нет. Сам он без памяти, только помнит, что били его и терзали. Ну, хорошо.

Вот какая случилась история. Был у нас портной, Федор Константинович,—хороший портной, но запойный, сами можете представить. Бывало—сидит, как турок, в окошке, шьет, голова кудластая, ноготь на ноге синий, здоровенный торчит у него,—угрюмый был человек, работящий. Месяца по два головы не поднимал,—шьет, утюжит,—разве только выскочит на крыльцо по личному делу, или вцепится в голову и давай скрести волосы,—чешется. За эти два месяца накипит у него на сердце злость, угрюмство, скука, и посылает он девочку от шабров,—в казенную лавку за полбутылкой. Хорошо если заметят, что он за этой первой полбутылкой послал, —тогда идут к нему и слезно просят отдать назад сукно, или недошитое,—и он зубами скрипит, но отдает. А уж на третий день пьянства начинает рубить заказы топором, озорничает, и с тем топором выбегает за ворота, дожидается—кого бы ему посечь. Благочинный наш так и распорядился,—когда у Федора Константиновича перевалит запой на третьи сутки—бить в малый колокол у Богородицы на Кулижках, — бить унывно, оповещать, чтобы по улице мимо портного не ходили.

С неделю или с две почудит портной и начинает просить молока. Садится на крылечке и пьет прямо из крынки,—сколько принесут гор-

шечков, столько и выпьет. Молоком отопьется, берет он удочки и выезжает в лодке на Черный Яр. Наловит плотвы целое ведёрко, — рыба его очень любила,—и закидывает живца на щуку. В сумерки, на реке, подопрет щеку, закрутит головой и принимается петь на тонкий голос: не то он зовет кого-то, не то жалеет. Шут его знает...

Благочинный говорил ему сколько раз:

— Федор, возьми себе бабу, оженись.

Боже ты мой, только ты помяни ему о бабе, вдруг он почернеет, зубы сожмет, и ноготь у него на ноге—торчком, как клык.

— Нет такой бабы, — ответит, — нет для меня такой бабы, прекращаю разговор.

Думал он о них излишне много, — закрутит нос, молчит, только нитки свистят. Жестокий был человек! Бабы у нас, как ягоды,—румяные, смешливые, страсть хороши бабы. Только и смотрят—слукавить. Эх, бабы, девки! Ни одна, бывало, не пройдет мимо окошка Федора Константиновича,—оглянется, ха-ха, хи-хи,—в рукав носом—фырк, и—шмыг в проулок. Вот тебе и шитье! А замуж ни одна не шла.

Бабы его и довели до беды. Ловили мы с ним живцов у Черного Яра. День был майский, но жаркий. От берегов зной валил маревом. Река—синяя, так бы и упал в нее, лег на дно. Федор Константинович, смотрю, нет-нет да и заслонится с боков ладошками и глядит в воду. Что, думаю, он там высматривает? Подъезжаю тихонько на лодке.

— В воду все глядите, Федор Константинович?

Он, вдруг, как застучит зубами,—борода черная, клочками, зубы, как у людоеда. Отвернулся, стал насаживать на крючек и не может надеть червяка, оглядываться стал, глаза скачут. Вижу—совсем растерялся. Я от греха отплыл подальше, а он — опять за свое, — в воду глядеть. Знаете, что он в реке высмотрел? Вот, через это мне в редакции местной газеты и кричат: дурак, дурак, а в политическом отделе обозвали херомантом.

Выплыла из омута, из-под коряги, под самую лодку Федора Константиновича здоровенная русалка, — девка, только ноги у нее до колена—рыбьи. Верьте—не верьте, дело ваше. Жарко ей, окаянной, и она—рассолодела, в мыслях у нее одно баловство.

Федор Константинович сидит—вылупил глаза. Кровь ему в голову и ударила. И стал он ее подманивать, подсвистывать, червяков ей бросал. Она плавает, поворачивается под лодкой, трется о днище. Красивая девка, крепкая. Нос морщит, пузыри пускает, дразнится. Он ей пальчиком,— „подь, подь сюда",—норовит за волосы ее схватить. Она в глаза глядит из-под воды, не дается. Провозился он с ней до вечера. А на ночь насадил на крючек окуня, закинул в омут и сел на берегу ждать.

Сижу, говорит, и бьет меня лихорадка, в глазах красные круги ходят. В полночь—вызвездило. И ходят круги, ходят звезды,—земля и небо кружатся. Духота. Медом пахнет. Сыро. Мочи нет!

Вдруг, как закипит вода, пена—колесом, шум, плеск, птицы—вороны—с кустов сорвались, и за лесу потянуло. Взяло. И выплывает на песок русалка: крючек у нее в волосах запутался. Портной схватил ее, конечно, за туловище, потащил на берег. Скользкая гадина, прохладная. Выбивается. Дюжая девка. Кусает его зубами,—укусит и в глаза глядит.

Другой человек тут же бы и обезумел. А он уже девку в лес, в чащу, в старое зимовище. За ночь она портного, как говорится, изгрызла, ногтями изорвала. Но, конечно, покорилась,—дело бабье...

Иван Степанович шибко засопел трубочкой, прижал пальцами золу. Как щёлки стали у него зеленые глаза. И опять потянул сизый дымок.

— Это я все узнал впоследствии. А тогда еще засветло пришел домой, похлебал щей. Э-хе-хе! В прежнее-то время—вот бывали—щи, а теперь всё—с оглядкой. Я, конечно, признаю завоевание революции, так-то оно так, но уже и капуста не та, знаете, и мясо—не тот навар, с кислотцой... Ну, хорошо. Лег спать. Утром гляжу—у портного ставни заперты, на крыльце—чужие куры ходят. Вечером гляжу—опять ставни заперты, на крыльце—куры. Пропал портной. Дня через три, однако, он явился: стучится ко мне в окошко. Голова всклокоченная, лицо в ссадинах, но веселое, в глазах—смех, и глаза дикие.

— Дай, пожалуйста,—говорит,—Иван Степанович, мази мне какой-нибудь от комаров.—И сам смеется.—Не для себя прошу, для женщины.

Я подивился, однако дал ему гвоздичного масла. Он хохотнул, ушел. Опять дня через три, смотрю,—портной покупает на базаре шаль московской работы и валеные калоши. Вещи взял и рысью ушел за речку. Некоторое время прошло—глядим: портной на базаре дьякону продает горсть бурмисских зерен. „Где жемчуг украл?"—спрашивает его дьякон. „Нашел в ручье",—отвечает портной дерзко. Чаю, сахару купил, ушел за речку. Духовенство начало шуршать по городу, что непременно портной где-нибудь церковь обчистил. Донесли исправнику. Ах, царствие ему небесное, хорош был исправник. Конечно—крут: кулак у него с кочан капусты. Но, бывало, позовет на именины, на блины: „Иван Степанович, еще рюмочку, Иван Степанович, еще блинков со снетком". И сам сидит, занимает половину стола, усы в сметане, так весь в дыму, в чаду и плавает. Навертит на вилку блинов и—в рот, запивает квасом с хреном. Закармливал гостей до полного несварения желудка. Когда началось трясение государства, велел он портрет государя императора убрать и на стену повесил свой портрет с надписью:—„временно". Сами понимаете. Петербургского комиссара,—слышали наверное—приезжал такой подслеповатый, щуплый, кашляет, дрожит,—все требовал, чтобы воевали до победного конца,—этого, ученого комиссара исправник в три дня уложил на спирту, нагнал жути, отправил обратно в столицу. До самого октября досидел он у нас исправником. Хотел перевернуться—но сил уже нет

прежних. Уехал в Сибирь, где-то его убили. Конечно, бывал он тяжеловат, но все-таки... Бывало, стоит на базарной площади, вытирает шею платком, сюртук нараспашку, гвардейский картуз малинового цвета, лакированные голенища: монумент. Мужики, мещанки торгуют весело, вежливо, в порядке,—только оттого, что он стоит, глядит на пожарную каланчу, хотя все видит, все знает, что у него на возу и под возом...

Иван Степанович покрутил носом. Набил новую трубочку и некоторое время укоризненно глядел на поплавок.

— Портного он самолично арестовал на базаре, а к вечеру, глядим, портной опять идет за речку. Откупился. Издали погрозил кулаком. С тех пор его не видали до самой осени.

Раз, как-то, вечером, уже в ноябре, возвращаюсь я домой, несу паек: дюжину костяных пуговиц и воблу. Ветер бьет с ног, тьма, гололедица. За рекой в лесах, — бух, бух, — пушки стреляют. Жуть. Гляжу, — у портного сквозь ставни брезжит свет. Дай, думаю, керосинчику попрошу. Вхожу в сени. Вдруг Федор Константинович, как зверь, выскакивает из двери босиком, зубы все видны, волосы дыбом, в руке—топор. „Уходи!“ „Батюшка,—говорю,—Федор Константинович, ведь это—я!“ „Уходи,—отвечает мне тихо,—уходи, зашибу до смерти“.

Я ушел. Время такое, что никому не пожалуешься. В эту зиму Федор Константинович брал кое-какую работишку, но в избу, боже сохрани, никого не пускал. Сидел запершись. По вечерам, иногда, слыхали в избенке его — топот и смех. Кто-то там плясал, бил в ладоши и смеялся так,—мороз продирал по коже.

Под самый сочельник подходит ко мне на улице дьякон с салазками,—тот дьякон, который впоследствии в леса ушел, главным образом, от принудительных работ: выгоняли его по ночам пороховые склады караулить. Дьякон мне говорит: „идем в исполком, донесем на портного“, и рассказал, какие чудеса у него видел в щель, сквозь ставни. Мы пошли в исполком. Изба натоплена. В красном углу под Марксом сидит матрос, секретарь, и пишет,—всю голову себе своротил,—пишет. Поглядел он на нас подозрительно:

— Вы по какому делу, граждане?

— Заговор открыли,—говорит дьякон.

Секретарь сейчас же перо положил и баночку с чернилами заткнул, прищурился:

— Вот как?—интересно!

— Портной, Федор Константинович, живет с гидрой,—говорит ему дьякон.

— Как с гидрой живет?

— А так и живет. Хорошо вы блюдете рабоче-крестьянскую власть.—Тут дьякон сел на лавку, стал обирать сосульки с бороды.— Так-то вы блюдете... У вас под носом человек содержит гидру, питает ее, по ночам они пируют, пляшут, хохот такой—на улицу страшно высунуться.

— Да какая гидра, гражданин? Не может быть у нас гидры, не полагается, это—суеверие.

— А такая она гидра, — отвечает дьякон, — мордастая, сытая, ходит в валеных калошах, в платке с розами. Гидра обыкновенная. Наделает она вам бедов.

Секретарь крикнул: „Товарищ дежурный"... В дверь влетело морозное облако и появился высокий человек, солдат головой под самые полати, в ватной шапке, весь обмотанный попонами, ружье на плече дулом вниз. Секретарь приказал ему арестовать портного и того, кто у него находится в избе. Солдат этот пошевелил замороженными валенками, посмотрел на секретаря, взял ладонью нос, поправил как-то его в сторону: „Ладно, говорит, арестуем". И ушел. А время было,—ночь. Луна яркая, снега невиданные завалили город по самые окна, бело и сине.

Мы ждем. Вдруг — выстрел. Секретарь вскочил, помянул некоторые слова особого содержания и с револьвером кинулся на улицу. Я и дьякон—за ним. Вязнем в снегу по пояс, подбегаем к портновой избе. Окошко раскрыто настежь, напротив стоит высокий солдат в попонах, шапка у него упала, губы трясутся. Мы кинулись в избу, — на столе горит жестяная лампа, на кровати, на печке, на лавках—тряпье, сухие какие-то шкурки, балалайка валяется, пахнет душно, сладко, болотом и печеным хлебом. Около кровати ввернута в стену железная цепь. Обитателей нет. Солдат оправился и говорит:

— „Выходить они добром не хотели, я в ставню и пуганул из винтовки, тут же окно раскрылось и в него вылетела голая женщина, и—прямо на меня, схватила за плечи, в лицо,—ха, ха, ха,—засмеялась и побежала вдоль по улице, по сугробам. Красивая баба, сытая, белая, на морозе так и горит. А за ней выбежал мужик, портной, кричит: „Машка, Машка, ты куда?"—а она уж около горелых амбаров опять—ха-ха-ха, на всю улицу.

Мы побежали по следам, заворачиваем к речке и видим: по льду к Черному Яру летит белая фигура, подпрыгивает, руками плещет. Луна высоко, видно ясно. За ней бежит портной с топором. И мы слышим: „Машка, Машка"... А она—ха-ха-ха... „Машка, остановись, гадина"... Она—хохочет, как жеребенок. И—вдруг пропала, точно под лед ушла. Портной остановился, бросил топор. Мы подбегаем. Он обернулся к нам и полез вперед ногами в прорубь. Секретарь — вот-вот за волосы его схватил. Портной только зубами скрипнул, ушел под воду. А хороший был портной... Вот какая у нас произошла история, а никто не верит, кричат—дурак, дурак.

Иван Степанович, вздохнув, снял шляпу, провел ладонью по голому своему черепу, отдававшему деревянным маслом, и, вдруг, так сильно рзануло за лесу, что лодка закачалась на зеркальной реке, трубка и шляпа упали в воду, и пошли круги, заходила вода... Иван Степанович крикнул мне страшным голосом:

— Щука, отдавай якорь!

„Speranza“.

Бор. Пильняк.

Рассказ.

По морям и океанам, под Южным Крестом и Полярной Звездой, в тропиках и у вечных льдов—идут корабли. По морям и океанам—идут бури, ночи, дни, месяцы, годы. Море же—это две чаши: одна над другой чаша неба и чаша воды, да с неделю от берега и за неделю до него—чайки и точкою в небе кондор. И на кубрике, у кормы на кораблях, живут возчики кораблей—матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгуэле с каучуком, в Порт-Петербурге с лесом и пенькой—грузятся корабли, чтобы итти, нести грузы—на острова Зеленого мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес, Суэцами, Панамскими каналами, Индийскими, Великими, Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет, неделями и месяцами в море, и матросы говорят о себе и друг о друге:

— Я (или он) пошел на берег,—он на берегу,—

и кажется, что борт корабельный стал им их землей, точно борт корабельный может быть землей; но матросы же знают, что в бурю, когда ветер, посинев, рвет ванты и людей, когда волны идут через фальш-борты и бьют до спардэка,—когда корабль мечется в волнах овощинкою в кипятке,—тогда надо смотреть на горизонт, ибо только он неподвижен и тверд, как земля, и плохо тому, у кого закачается в глазах горизонт, единственное некачающееся, —тогда его стошнит в морской болезни, нехорошей, мутной, собачьей тошнотой. И матросы не любят говорить о море, о морских своих путях,—потому ли только, что это их будни?—и матросы всегда дальнозорки!

И на кубрике, в бесконечные океанские вечера, после вахты и перед вахтой, в грандиозности морского одиночества матросы говорят—о земле, о той земле, какую они видели, и о том, что видели они на ней. Кроме моря, матросы видели порты всего мира, портовые кабаки, портовые публичные дома, портовую нищету, шум, крик и гам всего мира,—и матросы знают, что земной шар—даже не шар, а шаришко и очень тесный шаришко, так, что он не может испить всю морскую воду, соленую, как слезы. Кроме морей, матросы видели и все чело-

веческие породы, и черные, и желтые, и красные, и белые, и все человеческие веры и манеры жить,—матросы видели, как люди молятся и Чурбанам, и Будде, и Христу, и Магомету, и Солнцу, и Конго, как люди ходят и в ивнинг-дрэссах, и в юбках мужчины, и голые с повязкой на чреслах и без повязки на них,—как люди украшаются и пудрой, и кольцами в носу, и зубами, выкрашенными в черное, — матросы помнили, как всюду бьют людей,— —и матросы знают, что ничему в мире верить нельзя, все в мире течет и проходит. Матросы не знали никакой иной любви, кроме портовой,—и прекраснейшее в мире—любовь—у матросов была смрадна—негритянская, индейская, китайская любовь—как смраден портовый публичный дом в шуме, гаме и ночных красных фонарях. И на кубрике,—и в экваториальные ночи, когда кажется, что Южный Крест цепляет за мачты, и в ночи под Полярной звездой на кладбище европейских вод,—матросы вспоминают землю, ту, что „на берегу". Но матросы, как все люди, еще и мечтают: о прекрасной жизни; их мечты строятся на безверии; их мечты строятся над черными, желтыми, красными и белыми человечьими породами и любовями; их мечты строятся над всем миром.—А на кубрике, полярною ночью и ночью экваториальной, ночами в бури и штили—темная круглая безбрежность за бортом, чаша неба и чаша воды, колышется вода сотнями метров зеленоватой мутной холодной глубины, слиты края чаш в безбрежности и—если штиль—горят, горят на небесной корке—звезды, и ясно тогда, что эта небесная твердь расшита в гареме азиатского деспота, ибо кому иначе понадобилась бы такая нечеловечески-трудная красота?—не матросам же!—А корабль с редкими двумя-тремя огнями черен в этой безбрежности, безмолвен, пуст,—и только на корме торчат скорченные, черные тени матросов, в их бесконечных разговорах. И падают иной раз с неба звезды.— —Так корабли идут по океанам из Буэнос-Айреса в Кардиф, из Гавра в Сингапур и во многие-многие иные места.—Тесен мир.

И—ночь.

Имя кораблю—каботажному, семи-тысяч-тонному, чуть-чуть пиратскому для глаза постороннего (как все каботажные корабли, сохранившие в своих обыках столетья рабских корабельных правил о мордобое стюварда и капитана, расчетов в каждом порте, аглицких морских законов, от тех седых времен, когда корабль ходил под парусом и с пушкой)—имя кораблю:—„Speranza", что ли.

И ночь. Грузные груды волн ворочает море, тяжелые, такие, когда водяная муть, кажется не водою, а гутаперчью, нет горизонтов—там мрак и муть, и небо закутано мутью и мраком. Черен корабль, на нем нет огней; только на капитанском мостике у компаса, под колпаком над компасом электрическая лампа, да синий и красный огни на боках спардэка; на капитанском мостике у компаса штурман в бушлате, у руля—вахтенный,—им двоим не спать. На сотни метров вниз,

на тысячи километров во все стороны, на квадрильоны километров ввысь—безбрежность; глухо качается корабль в волнах; только штурман знает путь; и гудит, плачет ребенком ветер в вантах. И мрак, замер корабль на ночь, только на кубрике за ларем запасного руля на канатах скорчились три тени матросов, чья вахта ночью,—француз, англичанин и эстонец— —спит в рубке у спардэка радио-телеграфист— — Нынче утром китаец-кочегар пел на носу странные свои песни, одетый, как всегда, в кусок синей тряпки, чуть-чуть прикрывавшей его плечи и живот; потом он долго курил опий;—потом он переоделся в праздничный свой европейский костюм и сытно обедал перед вахтой; а когда пробили склянку, он заявил матросам и капитану, что он, рабочий, честно работал всю жизнь и теперь не хочет итти к котлам, не хочет работать, он устал,—и он, в европейском своем костюме, раскосоглазый, бросился со спардэка в море, когда капитан хотел его побить, он прыгнул очень поспешно, убегая от капитана, нырнул, как хорошие пловцы головою вниз, и больше уже не выплывал из воды — —

Ночь. Вот муть и мрак рассеиваются в небе и возникает страшное безлюдье небес, падающих звездами, холодными и колкими, как иней. Ветер, который стал вольней и серей, гудит в антэннах,—но радио-телеграфист спит у себя в рубке,—мирным сном.—А, если бы он хотел, он мог бы узнать миллионы разных вещей, о том, где идут и как идут корабли, какой миллиардер, американский под-король стали, плывущий из Сан-Франциско в Токио, беспокоится о курсе франка и счел радио-аппарат не очень нескромным для приказа о корзинке цветов,—о том, как шахтеры в Англии отстаивают свое право жить,—как политиканствуют политики,—как хозяева земного шара, живущие под Нью-Иорком, под Парижем, под Лондоном, в Ницце и на Панамском канале, хотят уничтожить хозяев новой веры в мире, засевших в России в Московском кремле, где на азиатской башне часы отбивают Интернационалом, в азиатской части города,— —впрочем, о России телеграфист знал столько же, сколько он знал, положим, о Китае, о том китайце, что бросился сегодня в море, чтобы умереть. Но телеграфист спит, этот, научившийся подслушивать неслышимое в мире. И главно и значимо то, что есть в мире такое, что не может человек воспринять просто, что улавливает он тончайшими аппаратами, что окутывает, закутывает человека, огромная сила, которую человек не знает, но которая над ним, в нем, вокруг него,—и сколько есть еще сил, не познанных человеком?—и что человек знает твердо?—ведь утро придет огромным огненным шаром из воды и день уйдет этим шаром в воду,— и те, кто плавал здесь сотни лет назад, нибелунги, бритты и испанцы, обросшие легендами, как волны в бурю обрастают седой пеной,—они не знали этой беззвучной ловитвы неслышимого в мире, хоть те же дельфины и чайки сопровождали их по морям,—ужели они знали такое, что не знаем мы?— —Но вот гудят антэнны уже не в ветре, плачет приемник в радио-будке, и сонный телеграфист принимает радио о

том, что где-то какая-то новая возникает революция, закрываются, загораживаются минами и пушками порты и морские безбрежности...

На кубрике, у запасного рулевого ларя, на канатах лежат и курят, спички зажигают о палубу, бельгийские спички, такие, что, если с горя ударит матрос о палубу коробком, вспыхивает весь коробок. Трубки матросов так же корявы, как их пальцы в струпьях мозолей и ран от морской воды. Шумит вода за кормой и огни трубок, зола на ветре летят хвостом кометы в море, освещая руки, матросы тесно сидят, сокрывшись от ветра. Нос и корпус корабля ушли во мрак. Эстонец-боцман сумрачен и тих, тихий человек, мечтатель, саженный ростом.

— Ты выпил, что ли, боцман?

— Нет, я не пил...

— В Бомбее есть гора и на горе пропасть, и там они хоронят. Лысая гора, ничего на ней не растет. Приносят человека и кладут на камень. А над горою вьются ястреба, — они у них священные. Так эти ястреба съедают мертвецов в пять минут, одни кости остаются. Тогда ихний поп сталкивает кости в пропасть. Сколько тысяч лет так хоронят и все засыпать пропасти не могут,—я глядел в эту пропасть—дна не видать. И хоронят там только богатых... Мы ходили туда с дункманом, полиция нас ничего, не тронула... А теплынь там какая, голому жарко, так и ходят. А акулы прямо в порт заходят, их тамошние мальчишки, мерзавцы, за шиллинг в воде режут... А солнце... А бабы—дуры, белых очень любят и прямо без денег...

— А как англичане—сволочи, байстрюки, их заставляют работать, даже, значит, баб. Работают, значит, грузят двенадцать часов под-ряд и полчаса на обед, на бананы, значит. Они голые таскают тюки с кофем или чаем, пот валит,—а англичанин в огуречном шлеме и с резиновым жгутом,—и—чтобы бегали с тюками по сходням рысцой с бананов, и молча чтоб,—а если зазеваешь или слово—сейчас резиновым жгутом вдоль спины, значит. Мы было собралися им помочь,—так нас значит, прямым манером в береговую контору на божий суд,—и мы, значит, испробовали резиновых жгутов, выходит не сладко... А бабы—ничего, после работы тут же вымоются в море, поедят бананов и манят нас к себе в соломенные, значит, шалаши, с мамашей познакомят... А англичане так и живут отдельными поселками, со стражей, и к ним туда без пропуска не попадешь... И платят англичане бабам—шиллинг в день...

Ветер сеет огоньки трубок—за борт, в море, во мрак. Ветер щупает людей, их отрепье. Свежо. На капитанском мостике, где у компаса, следя за курсом и за узлами, склонился штурман, склянки отбивают время, полночь. И груды волн трут корабельный борт, в стремлении всегдашнем ворваться за него, чтоб побежать по трюмам, чтоб разломать и смыть перегородки, каюты, склады,—чтоб корабль замотался на волнах в предсмертной томе, чтоб забегали по палубам остервеневшие, обезумевшие люди и—чтоб корабль сначала медленно, кор-

мой иль носом, стал грузиться не грузом, а собой под воду, в зеленую враждующую муть,—сначала медленно, потом поспешно,—чтоб потом—там под водой, в темнеющей ко дну мути, ему, кораблю, валиться в муть ко дну по эллипсическим кругам, оставив над водой на несколько минут воронку пены, потом—спасательный кружок, осколки лодки и трех людей, раскиданных волнами на километр друг от друга,—а кроме них—безбрежность океана и чашу неба, ставшую над ним...

Боцман говорит вслух своим мыслям:

— А в России теперь живут без денег, и правят рабочие— —

Потом матросы с кубрика идут спать, в трюм. Француз—третий стювард, которому судьба предложила прислуживать у стола механиков, юноша, идет на нос, в „рум“, где на подвесных кроватях спят ирландец—второй стювард, негр—кок и помощник повара еврейский мальчик из Яффы, кроме мытья посуды, выполнявший обязанности женщины для чиф-стюварда.— —Матросский запах и запах матросских кают—он крепко, навсегда пропах солью, пòтом, варом и рыбой и—морем, невеселый запах, едкий, как эссенция, такой, в котором вся матросская жизнь, в соленой морской воде, в поте, на соленой рыбе, которую повар крепко снастит перцом, чтоб не воняла, когда гниет.— — В ноз-рум было темно, француз влез в свою койку, скипидарящий запах ему был привычен, больно укусила блоха, константинопольская, потомок тех, которых корабль набрал, когда перевозил людей, как скот, из Ялты в Константинополь. Кок—негр много уже лет ходил по морям на кораблях, развешивая по утрам овес для порича, соленую баранину для бекена, варенье из апельсинных корок, у него давно атрофировалось понятие свежего, тухлого, соленого, сладкого и горького,—он лежал на нижней койке, под французом, и француз безразлично слушал, как рыгает негр, как бесповоротно навсегда испорчен желудок кока, точно желудок подступал к самому горлу и выворачивался в рыготе в рот, в смраде несваренного мяса.—Но кок мирно спал, спали и остальные перед новой пустыней дня, выкинувшей здоровых людей чужой волей—в пустыню вод. И третий стювард тоже скоро заснул; перед сном он немного думал о той случайной фразе, которую кинул боцман,—о России, как часто и много думали об этой стране матросы,—он никогда не был в этой стране и очень мало знал о ней, он знал, что там много лесов и полей, что она огромна и очень богата; те русские, что приезжали в Париж, умели сорить миллионы франков,—но это ему было не важно,—он думал о том, что в этой неизвестной стране рабочие стали правителями своей жизни,—и о том, как там, должно быть, хорошо жить и трудиться, в стране братьев,—и он старался представить себе—как там х о р о ш о... Потом он заснул, в хороших мыслях о прекрасной жизни.— —А на кубрике боцман вспоминал свою псковскую губернию, свой хутор и зимнюю снежную—бесконечно-звездную—ночь, и мамины сказки, и корявого отца, сплавщика по Волхову,—он, боцман, сам уже за полдень своей жизни, сем-

надцать лет не был на родине, не знал ничего о своих,—живы ли?—он не думал о том, что его Эстляндская губерния стала государством,—но он знал, что это последний его рейс по морям, он гордился тем красным паспортом, что Шварц выдал ему в Лондоне,—пусть этот паспорт ничего, кроме горя, не несет во всех странах, кроме России!— —он знал, что он едет домой и там—д о м а—он проедет в Москву, в Московский кремль, где не был никогда в жизни, и там поселится со своими братьями. И Московский кремль ему казался таким же прекрасным, как мамины сказки и как ласка корявой в мозолях руки отца— —

А над морем и кораблем шла, проходила ночь; и красное, огромное—такое огромное, какое бывает только на морях—встает из воды солнце, красит красным свинцовые губы волн, и волны зеленеют за бортом, чтоб удобнее было плескаться в них—дельфинам.—Тогда вахтенный будит команду, толкая в бок и обращаясь по-английски:

— Джентльмены!—

И под красными лучами солнца корабль очень похож на пиратское судно. Это совсем не верно, что самое чистое место в мире—палуба корабля; краска давно сползла и лезет ржа; сажа и угольная пыль крепко въелись во все; канаты много потрудились, и много на них вылито дегтя. День уже, и видно, как на капитанском мостике стоит помощник капитана, в растерзанной форменной куртке, с волосатой грудью наружу, такой меднорожий и оплывший, что рожа просит кирпича, с трубкой в зубах,—такой покойный, что, даже колотя матроса боксом, он не вынимает трубки изо рта, — и он с утра уже недоволен, он кричит с мостика так громко, что это, должно быть, слышно за несколько узлов, крича, он ругается на всех языках мира и больше всего по-русски, ибо русская ругань, крепчайшая в мире, стала национальной на всех портовых языках. Матросы с корытцами вроде тех, в которых кормят свинят, идут чередой за брэк-фестом, на кухню, где пахнет перцем и очень жарко; из этих корытец матросы будут есть; матросы идут не спеша, оборванцы всего мира: босые, в опорках, в резиновых сапогах, в брюках из мешков и просто в шерстяных подштанниках, гологрудые, с засученными рукавами, в кэпках, в кожаных картузах, в соломенных шляпах,—во всяческом отребье, которое им оставили порты и не истлило море... впрочем, в порту, на берегу, где они получат за весь рейс сразу, они нарядятся франтами— —

И в кухне от стюварда и от вахтенного с мостика команда узнает, что курс изменен кораблем, что офицеры получили радио о революции где-то там. Где эта революция—на кубрике никто не знает: и каждый знает поэтому, что революция на его прекрасной родине—на его прекрасной родине его братья льют кровь за прекрасное будущее. И на кубрике праздник, на кубрике толпятся в возбуждении матросы:—где-то там—революция! Боцман, уже старик, в широкополейшей шляпе, в резиновых сапогах, в синей рабочей блузе,—он только

стальной палубе, коробка вспыхивает дымом и огнем, и боцман идет по палубе в русскую присядку под хлопанье ладош других матросов. Швед, путая мотив, однажды слышанный в Порт-Петрограде, поет Интернационал, и, так же путая мотив, на своих родных языках, ему хотят помочь ирландец и еврейский юноша из Яффы.— —Тогда отборнейшей русской матершиной до гроба, на несколько узлов в море, орет с мостика помощник.

— Стеерьва! байстрюк!—кричит с нижней палубы чиф-стюворд еврейскому юноше из Яффы,—кто будет мыть тарелки капитану?!

И когда мальчишка поднимается к нему по стальной лесенке у борта, грек—чиф бьет мальчишку кулаком по голове и шее.

А солнце уже высоко в небе. Голубая чаша небес прикрывает зеленую, как старинная бумага, чашу вод. Плещется вода о борт. И мелкой дрожью дрожит корабль, разрывая, сваливая, валя воду, крася ее сотнями красок,—в своем стремлении вперед, в безбрежность, измеряемую компасом, солнцем и звездами, ту, которой правит руль. Солнце же кладет на воду—не синий, а золотой ковер, и на этот ковер нельзя смотреть лишь простым глазом,—он хорошо разбираем в подзорную трубу. Пиратское, каботажное, горькое судно „Speranza“ избродившее на своем веку многие Панамы, Сингапуры, Бомбеи, Буэнос-Айресы, Сидни,— —режет и режет воду— —

Потом корабль приходит в порт, к берегу, к земле— —Там, в туманной мути вод первыми возникают огни маяков, мигающие огни, чтоб не быть категорическим контрастом болтающейся мути вод. На кубрике, на палубе матросы моются из шланг морской водой, моют кипятком отработанного пара свое белье, друг друга бреют, потому что на землю, „на берег“, надо сойти чистым, потому что все мечтанья моряков—о земле, ибо, конечно, жизнь только на берегу—на земле.— — Маяки уже близко, и тогда приходит пилот, первый человек с земли, он идет на капитанский мостик,—и тридцать дней морского перехода, тридцать дней пустыни вод, и бурь, и штилей, и закатов и восходов—скинуты со счетов жизни каждого матроса.

И снова ночь. Корабль в порту.

Корабль стоит в квадратном каменном ковше, за шлюзами—чтоб не мешали отливы и приливы,—под краном. Кругом и рядом стоят десятки кораблей, нагруженные, ждущие прилива, стоящие на очередь ко крану. Ночью не видны пыль и нищета. За мачтами, за кранами, за холмом земли, где город и веселье, в небе щуплый, в желтой лихорадке месяц. И ночью редки гуды кораблей. Корабль стоит у крана с выпотрошенным нутром, с развороченными в щепы палубами, с потухшими котлами и потому без единого огня в каютах и на палубах; впрочем, свет и не очень нужен, потому что на корабле нету никого и белыми шарами на берегу горят фонари

Днем матросы ходили в береговую контору — перенаниматься, перекабаляться вновь на новый путь в моря; двоих скинул „с борта" капитан и взял двоих новых,—они одни на судне, ибо указано судьбой новой метле—коль не поистине, то хоть стараться—мести чисто.

Днем грузился корабль. Над ним, над палубами свисал скелет крана. По рельсам на земле к крану подходили поезда с углем, вагоны въезжали в кран на лифт, и лифт поднимал вагоны над кораблем; там, как совок с овсом, кран вытряхал из вагона уголь в желоба и в корабельный трюм по желобам; и, когда вагон вытряхивался углем в вышине, шел уже второй вагон, а первый по новым рельсам скатывался вниз; в трюмы с грохотом валился уголь, пылища шла чернейшей тучей—в сутки пыль садилась на палубы и ванты на дюйм,—в трюмах, уже лопатами и кирками, расталкивали уголь люди, голые и черные, чернее негров в мраке пыли; а поезда все шли и шли; и кран откусывал вагон за вагоном, чтоб пустые вагоны по новым рельсам гнать на копи за новым углем; над доками, над портом стояло солнце в тучах дыма, такое ж дикое, как в Канаде и Сибири в летние лесные пожары — в дыму; над доками, над портом люди дышали углем, и уголь скрипел на зубах; над портом, в черной копоти—гремел летящий уголь, звенели цепи и буфера тысяч вагонов, скрежетали краны, скрипели лебедки на кораблях, гудели корабли, выли сирены таможенных катеров,—в порте, в доках было все, что может человек поставить против морских, лесных, степных, небесных и метельных стихий, созданное машиной против—против полевого цветочка.—Потом, в пять часов, когда солнце пошло к западу,—прогудели новые гудки, последний раз взвыли краны, вдруг иссякли вагоны и замерли на рельсах, в кренах, в клетках над кораблями, вдруг потянул ветерок и колыхнул пелену пыли — к городу, на землю, — незаметные при машинах потянулись из порта толпы рабочих — тоже к городу, на землю — на отдых, к семье, к домашним своим заботам и помыслам — —тогда из-за машин, из копоти, из воды в доках — зеленой и мутной — выглянули нищета, тщета мирская, одиночество — —

Новые двое пришли на корабль после пяти, когда корабль был безмолвен, пуст, в пыли на дюйм, в горах угля, торчащих из трюмов наружу, со снастями, раскиданными всюду и как попало. Они впервые услышали об этом корабле сегодня в береговой конторе, как впервые занес их бог в этот порт в Англии, в Южном Уэлсе, один из них был русский, другой испанец. Их поместили в ноз-рум, где спал кок. Они разложили свои узелочки и тихо сидели на палубе у фальш-борта. Они видели, как на несколько минут приезжал капитан на двухместном автомобиле, с очень элегантной лэди, — капитан переоделся в ивнинг-дрэсс и уехал, последний раз автомобиль мелькнул у ворот доков, оттуда пошел в гору по дороге к Кардифу. Два матроса с кубрика, в пиджачных парах, с тросточками и в шляпах пошли на берег. Пьяный и весь в грязи вернулся с берега второй стюард. На спардэке

запел песню вахтенный,—и песня оказалась русская, очень тоскливая и тихая; вновь пришедший крикнул от ноз-рума:

— Земляк, какой губернии?!

— Псковской, Ямбургского уезда!—А ты?

— А я, видишь, Новороссийский!.. Видишь, товарищ, сказал бы кому, чтобы поесть дали, а то мы, значит, со вчерашнего дня не ели. Выходит голодно не жрамши...

Вахтенный в мэс-рум толкует со стюардом; стюард в крахмаленной рубашке, в лаковых туфлях собирается на бал, куда-то в город, он спешит и он кричит сердито:

— Дайте этим байстрюкам, что осталось на кухне от матросов!

На досках, тех, коими закупоривают трюм, сваленных сейчас грудой, вновь пришедшие едят капусту, салат и гороховый суп с бараниной. Вахтенный сидит с ними, они толкуют о том, что на всех кораблях все стюарды—сволочь, рукоприкладцы и воры. Пыль села, садится. Уже вечереет, вспыхивают огни на фонарях; от воды, как на болотах, поднимается туман и холодеет, вода за бортом—неподвижна, зелена,—потом, когда совсем стемнеет, на небе станет дохлый месяц. Вновь пришедший русский очень разговорчив, вот его история:

— Все-таки на „Рюрике" очень били, я из-под ружья не выходил. Пришли, значит, все-таки, в Штогольм. Там мы с товарищем и убежали, говорят—ничего не поймешь, что бормочут,—ночь в лесу ночевали, пошли утром к порту, смотрим — стоит, а флаг уж поднят, — мы опять в лес... А жамкать охота—брюхо так и ходит; ну, решили,— где хлеб жамкаем, тут и родина наша, как пролетарии... Обошли город, спрашиваем, нет ли где еврея, все-таки, чтобы шкуру продать, и, знасить, нашли на краю города, гомельский, обменял на пиджаки, и наши три рубля обменял на кроны; спасибо, хороший человек, спрятал нас у себя, а потом поставил на парусник с лесом, на сто пять дней в море, знасить, в Австралию, в рабы, знасить, без единого слова; сто и пять дней тросы вязали, с рук кожа слезла, — зато научились и по-шведски, и по-аглицки, горьким опытом... Стал себя выдавать за шведа. И исходил я весь свет, и выходит, куда ни кинь — везде клин и кругом шешнадцать. Лучше всего жить рабочему классу в Австралии, там законы правильные и дают землю задаром,—я и там жил, женился, баба уместная, три года жил, стал сказываться, что не швед я, все-таки, а русский, — а тут, знасить, у нас в России произошла революция, — и пошло с двух концов: англичане меня погнали, к бабе в штаны, как, знасить, русского, всех русских гнать стали,—а с другого конца я и сам домой захотел, нет терпения... Бросил бабу, англичанка она, владении бросил, стал на корабль, ехать домой, знасить,—да не тут-то было:—четвертый год мотаюсь по морям и никак до дому не доеду, весь свет про Россию орет, а дороги к ней не найду, вроде как она провалилась под землю,—не вплавь же к ней плыть, значит... Все-таки теперь я советский; в Ливерпуле меня-кало-

вили агличане; паспорта, конечно, не про нас писаны,—благодетель говорит: — „паспорт вы, джентльмен, обязаны взять в царском посольстве"... „Так, говорю,—а какого же это царя посольство? Это, знасить, врут, что Николай помер? — Мне, говорю, все равно, какой паспорт брать, хоть японский, я трудящий, только тогда ты, господин высокай, одолжи мне без отдачи два фунта семь шиллингов, потому как белые паспорта дают за деньги, а Шварц-совецкий — задаром да еще на работу ставит, да к тому же и байстрюк ты, высокой, потому сам трудящий, а стоишь против рабочих, знасить"... Ну, он мне боксом по шее, а я ему по-русски в зубы... Теперь я нигде на берегу жить не могу, только на воде... на основании аглицкого закона.

Уже опеплился вечер, судно потемнело, скрыло мраком свою нищету, в порту, над доками стало тихо, взошел в желтой лихорадке дыма месяц. Матросы съели цветную капусту. Вахтенный-боцман сказал тихо, огромный и тихий человек:

— А в России теперь живут без денег, и правят рабочие...

... В городе, за горой, над пляжем стоят карусели, тир, рестораны на колесах, в сторонке в каменном доме музик-холл, на углах публик-хаузы, где стоя пьют пиво, уиски и джин. Огни реклам — сначала лиловые, потом голубые, потом синие, потом красные — сначала сыпятся каскадом, потом каскад сворачивается в метельную воронку, потом огни воронки взрываются, как бомба, и из бомбы повисают женские панталоны с указанием фирмы, где можно купить лучшие в мире шерстяные английские панталоны, — потом, вслед за панталонами, возникает новая патентованная бритва, тоже лучшая в мире. Под каруселями, у тира и — придушенная — из музик-холла гремит музыка. Под каруселями, у тира, у прилавков публик-хаузов тискаются матросы, в шляпах, со стэками в руках, в крахмалах с чужой шеи. Над улицами, над площадью — темное небо, которое там за пляжем сливается с морскою мглою. — —

Матросы со „Speranza"—четверо—франты—много пенсов оставили в публик-хаузе за стаут, сидели в музик-холле, отдыхая, куря и хохоча. Потом они пытали счастье в тире, и один выиграл женский берет. Они заходили в японский магазин, где любую вещь можно купить за шесть пенсов. В прилив они купались в море, на пляже, как и все, в купальных костюмах, чтобы посмотреть на голых женщин. В сумерки они заходили в лавочку к старьевщику-еврею, продавали ему кокаин и опий, который сами купили в Сингапуре. Они были счастливы тем что ходят по твердой земле, по берегу, как все остальное человечество, — как все остальное человечество, они смотрели на женщин, которых на кораблях нет, пили уиски и стаут, и платили за них собственными шиллингами, читали „Дейли Хэралд" и купили на артельные деньги письмовник, точно у них будет досуг и смысл писать любовные письма женщинам и деловые, с приглашением на файф-о-клок, джентльменам, живущим на берегу. К вечеру они были пьяны. А когда

над морем и миром стала луна, похожая на китайца,— по грязной улице на окраине матросы шли в притон; на улице было пустынно, ставни были плотно прикрыты, изредка слышалась скрипка, у одного домика, на луне, на пороге сидела негритянка и говорила чуть слышно по-английски:

— Плииз...

Матросы вошли в домик, в котором один из них был пять лет назад. Там было по-старому, хоть ему и было немного обидно, что его никто не помнит здесь, как он был неимоверно пьян и сорил шиллингами: он очень хорошо это помнил, и хозяйка была та же, и он сказал завсегдатаем:

— Пожалуйста, к нам потанцовать мисс Франсис...

Но Франсис здесь уже не было, и через час матросы, рассованные по закутам, лежали с женщинам, которых видели первый и, должно быть, последний раз на земле, которым здесь, в припадке нежности, страсти и лютого одиночества, они сыпали все, что накопилось, о Бомбее, о стюварде, о кокаине, о революциях, о России, о родине и матерях... Девушки были очень покойны и, как все проститутки в мире, шиллинги прятали в чулок.——Тот, который спрашивал о мисс Франсис, который мечтал о ней все море, как о прекраснейшей, не пошел ни к одной девушке, он сидел в танц-зале, пил стаут, ожидая товарищей. Товарищи вернулись, в сущности, скоро, потому что была очередь. Тогда они снова потащились по улице; у порога по-прежнему сидела негритянка, и она опять прошептала:

— Плииз...

Тот, который не нашел мисс Франсис, остановился против нее, его тень от луны упала на колено негритянки; негритянка улыбнулась белками, и из-за мяса губ полезли белые лопатки зубов. Матрос сказал:

— Идем, товарищи!.. с горя...

Город англичан уже спал, и спал порт.

... На корабле темно и безмолвно. Только в мэс-рум горит лампа, да скользнет иной раз по палубе огонек электрического фонарика, да качается огонь на мачте. На спардэке—вахтенный, и вахтенному издалека слышны четкие по камню и железу шаги идущих на ногах и шорох и сопение ползком возвращающихся на борт. Вахтенный спокойно слушает, как за бортом о борт толкнулась лодка и как стювард и мальчик из Яффы, в ночных туфлях, таскают мягкие тюки; со спардэка видно, как на веревке тюки спускаются за борт, там кто-то бесшумно их перенимает, и вновь бежит стювард в мэс-рум:—это контрабандисты, это контрабандистам продал стювард что-то, привезенное из Азии... Стювард—в крахмальной рубашке, в брюках от смокинга, в лаковых туфлях, но смокинг он снял, черное его лицо - грека—сосредоточенно и бодро... Вспыхнула масленка в кухне,—кто-то пришел за пресной водой. На свет вышел стювард, посмотрел подозрительно, сказал:

— Что здесь шляетесь? Надо спать.

Матрос облаял стюварда по-матерному—по-русски,—и добавил:

— Генри очень болен, лежит с утра, тошнит.

Из мрака появились еще двое, стали у дверей. С кубрика, держась за стены, качаясь, притащился Генри, вслед за ним боцман. У Генри запеклись губы и лицо было землисто, как у мулата. Генри прошептал:

— Где стювард?

Стювард ответил не сразу. В кухне с дверями на оба борта, с огромной плитой и колпаком над ней, с ведрами и кастрюлями по стенам,—на столе чадила масленка; дверь на палубу была открыта, и там виднелись канаты и решетки бортов; лица людей были плохо различимы; на столе около масленки лежала соленая рыба на утро. Генри повторил:

— Где стювард?

Стювард сказал:

— Я здесь.

На лице Генри и в голосе его появились надежда и умоление, жалкие, всегда унизительные для человека. Он зашептал торопливо:

— Мне бы кусочек лимона... Очень мутит меня... Мне бы лимона... Я совсем нездоров!.. Мне кусочек...

— Нету лимона.

— Врешь, стювард, ведь покупал для моря,—сказал кок от дверей.

— Нету лимона! Генри пьяница.

— Дай лимона! Мы бы без тебя смотались в порт, да заперто...

— Нету лимона!—Стювард руку положил в карман, где револьвер.

Генри стоял у стены, и не сразу заметили, что он пополз по стене вниз, упал на пол, и заметили лишь, когда он захрипел; тогда увидели, что изо рта у него ползет желтая пена и руки мучаются в судороге. Тот, что пришел за водой, вылил на Генри ведро воды. Матросы положили Генри на стол, где лежала рыба. Генри притих и застонал. Кто-то пошутил:

— Брось, Генри, а то еще умрешь,—придется тогда шить тебе мешок да в море рыбам...

Другой рассказал к случаю:

— Во всемирную войну я на транспорте перевозил цветные войска из Индии и Австралии, здоровенные ребята,—а как выйдем в море,—и качки нет никакой, а они дохнут, как мухи. Я приставлен был к покойникам, мешки шить,—в одну ночь двадцать два мешка сшил, сошьешь мешок, в него покойника, дырку тоже зашьешь—и в воду акулам на ленч...

Масленка чадила мирно. Стювард жевал чунгом. Генри приподнял голову, осмотрелся, сказал:

— Нету лимона!—Тогда, пожалуйста, термометр...

Термометр нашелся не скоро и, когда нашелся, его вставили Генри в рот, под язык. Стювард, заложив чунгом за щеку, с маслен-

кой в руке, отворачивал веки Генри и заглядывал внимательно, точно что-то понимая, в нехорошую, больную глубь глаз Генри. Потом, толкаясь в темноте, за руки и за ноги матросы потащили Генри на кубрик. Стюард остался в кухне, сел к столу около рыбы и масленки, широколобую свою, черную голову положил на ладонь, задумался, жевал чунгом, эту бесконечную жвачку моряков. В коз-рум вновь пришедшие на корабль устроились спать, обживали новое место, слушали, как рыгает кок, привыкали к константинопольским блохам. Было темно и душно. Они видели, что мальчик-поваренок долго рылся в своем углу, переодевался и потом тихо ушел из каюты; они не видели, что мальчик осторожно пробирался по палубе к рубке,—если б осветить неожиданно лицо мальчика электрическим фонариком, то можно было бы увидать, что оно полно боли и страдания; мальчик прошел в рубку, там, через внутреннюю дверь в кухню, он прошептал:

— Я здесь, стюард...

Стюард оторвался от своих мыслей, от чунгома, черная голова поднялась от огня, он взглянул в темный угол мечтательно и нежно. Свет в кухне погас...

Все огни потухли на корабле, корабль уснул. Только на капитанском мостике стоял вахтенный. Но и он скоро уснул, стоя. В порте пересвистывались сторожа, гигантский корабль разводил пары, шипел, чтоб уйти из доков с рассветным приливом. Месяц уже скрылся, и было очень черно, как должно быть пред рассветом.

А в шесть часов, когда уже рассвело, вновь загудели гудки, пришли рабочие, пошли, полезли в краны поезда, черными столбами повалила каменноугольная пыль, застилая солнце, разъедая все, заплескалась по палубам вода из шланг. Настал день. Генри умер утром.

... И снова корабль, семи-тысяч-тонный, каботажный, однотрубный, выкрашенный в серую краску, нагруженный по фальш-борты углем,—идет в море. Он проходит Па-де-Калэ, Ламанш, идет в Северное море—колыбелью европейской культуры, колыбелью мореплаваний, где норманны и бритты пошли впервые строить европейское благополучие в мир. И Немецкое море—к вечеру—встретило „Speranz'у" штормом.

На корме, застясь от ветра, стоят матросы. Один говорит:

— Вот на этом месте, где мы проходим сейчас, немецкие субмарины в великую войну плескались, как щуки. На каждую милю приходится три погибших судна. Кладбище корабельное. Можно было бы построить целую страну... Губили друг друга и немцы, и англичане, и французы...

Вечер. И вода, и небо, и ветер—как свинец. Вода хлещет за фальшборты, зеленая, тяжелая, злая. Седая пустыня кругом. И совершенно ясно, как над этими просторами шла, шлялась смерть и совершенно ясно, что европейское человечество, оставившее истории средневековье, совсем—совсем не совсем—не изжило его, оно водой, как кровь, кровью,

как вода, и страшным одиночеством пиратствует на морях. Матросы очень хорошо знают, страшно знают, как много могил на—даже на морях!.. И эти могилы—не застят ли они подлинную жизнь—многими своими жутями, одиноко-человеческими и промозглыми——? и не она ли—эта жуть—страшит дисциплиной аглицкого морского устава и тем, что матросы, говоря „мы идем на берег", подчеркивают водяной их дом,—но о море не говорят, потому что оно им слишком буденно——? И сиротливо, должно быть, смотреть на Большую Медведицу, которую боцман видел из своей Псковской губернии и которую бритты и норманны видели семьсот лет назад——? И вода, и небо, и ветер—как свинец. И корабль—скорлупкой в них. Пустыня кругом—пустыня вод, великое кладбище... Над горизонтом красная щель, в эту щель уходит солнце, красное и огромное, не круглое, а как сплющенный мяч,—и от него по свинцам волн течет кровь. Мимо проходит трехмачтовый парусник, на всех парусах, точно такой же, какие ходили здесь триста, пятьсот лет назад...

И ночью—буря. Небо звездно, в небе Большая Медведица и Полярная звезда, но под небом все сошло с ума. Домищи волн лезут на корабль, пенятся, гремят, ревут ветром, бьют через борты, влезают на нос и корму, друг на друга, на небо,—ветер рвет пену, и она тысячей шланг несется над водой, над кораблем, к звездам. Мрак черен. Ветер, как сумасшедший в сумасшедшем доме перед своей идеей, в нее упершись, дует, плюет остервенело, в одну точку, точно хочет сдуть корабль к чорту. Весь корабль завинчен, заклепан, завязан. Корабль, как щенок в менингите, обалдевшим щенком мечется, то визжа винтом в воздухе и ныряя носом, то вставая на задние лапы, то валясь на бок.—И, конечно, тут, в бурю, в страдания, у корабля возникает: д у ш а, злая душа, враждебная человеку, ибо весь корабль, дрожащий, мечущийся, злой—каждой своей стальной частью—столковывается с морем, с морским чортом, чтоб выкинуть, отдать морю людей, скинуть их с себя—их и их вещи; по кораблю нельзя ходить, можно только ползать, держась за тросы, вместе с тросами взлетая над водой, вместе с тросами исчезая в воду... На нижней палубе под спардэком волны отвязали бочку с сельдью, бочка пляшет, вертится волчком в зеленой пене на палубе, в суматошной воде, над палубой, над мутью волн шарит зеленый свет прожектора; помощник капитана в рупор кричит на кубрик, и трое бегут с арканами—ловить ожившую бочку; бочка пляшет, как пьяный швед; матросы крепят конец каната и с другим концом идут на палубу к веселью волн и бочки, вода летит над головами, и бочка бегает от матросов, толкаясь у фальш-бортов, в холодном свете от прожектора... Мрак, черный мрак над кораблем, прожектор шарит сиротливо. Кто вспомнит о плавающих по морям?—Капитан склонен над компасом:—Северное море—бурное море, много гибнет на нем кораблей—кладбище. Помощник капитана, в коже с ног до головы, с рупором в руках, с биноклем на шее, ползает по капитанскому мостику,—

гремят волны, свистит в тросах и мачтах ветер, шипит, лает, орет все, —и к вою бури—над ней гремит—матершина помощника капитана, грандиозная матершина, в бога и в гроб.—Кто вспомнит о плавающих по морям?— —По палубам, по железным лестницам, на носу, на корме, в обсервационной бочке давно измокшие до нитки, без сна, продрогшие, строгие и спокойные до предела—ибо иначе смерть!—матросы.— — Кто вспомнит о плавающих по морям?— —Кубрик закупорен наглухо, двери и люки завинчены. В кубрике, где все четыре стены то-и-дело становятся полом, где все завинчено, кроме людей, на подвесных кроватях—двое, курят трубки.

— И ты пойми только, знасить, без денег... Знасить, такие склады, продкомы то-есть...

По морям и океанам, под Южным Крестом и Полярной Звездой, в тропиках и у вечных льдов—идут корабли. По морям и океанам— идут бури, ночи, дни, месяцы, годы. Море же—это две чаши: одна над другой чаша неба и чаша воды, да с неделю от берега и за неделю до него—чайки и точкою в небе кондор. И на кубрике, у кормы на кораблях, живут возчики кораблей—матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгуэле с каучуком, в Порт-Петербурге с лесом и пенькой—грузятся корабли, чтоб итти, нести грузы—на Острова Зеленого мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес, Суэцами, Панамскими каналами, Индийскими, Великими, Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет, неделями и месяцами в море,—и матросы говорят о себе и друг о друге:

— Я (или он) пошел на берег,—он на берегу,—

и кажется, что борт корабельный стал им их землей, точно борт корабельный может быть землей; но матросы же знают, что в бурю, когда ветер, посинев, рвет ванты и людей, когда волны идут через фальш-борты и бьют до спардэка,—когда корабль мечется в волнах овощинкою в кипятке,—тогда надо смотреть на горизонт, ибо только он неподвижен и тверд, как земля, и плохо тому, у кого закачается в глазах горизонт, единственное некачающееся, — тогда его стошнит в морской болезни нехорошей, мутной, собачьей тошнотой. И матросы не любят говорить о море, о морских своих путях и делах,—потому ли только, что это их будни?—„Speranza"—это значит:—Надежда,—и символ н а д е ж д ы:— я к о р ь, тот, которым матросы в морских безбрежностях цепляются за единственную землю—за донья морей.—Матросы всегда дальнозорки.

Проклятые зажигалки!

Н. Никандров.

Повесть.

I.

Хлеб быстро дорожал... Зажигалки быстро дешевели... Кто вчера делал, например, 8 зажигалок, тот сегодня, чтобы прокормить семейство, должен был успеть сделать по крайней мере 10 штук... Кто не успевал, кто отставал, тот умирал голодной смертью на панели...

И все-таки, на зажигалках, как ни на чем другом, однажды можно прекрасно нажиться!.. Нужен только случай, нужно только не бросать этого дела, терпеть, ждать, стараться больше работать...

Разгоряченный такими думами, подстегнутый ими, как кнутом, старый заводский рабочий, токарь по металлу, Афанасий, вдруг вскочил в потемках с постели, наярился, согнулся, захрипел, как нападающий зверь, затопал босыми ногами от кровати к станку, прыгающей рукой зажег бензиновый светильник, в минуту обулся, оделся, ополоснул холодной водой небритое, в седой щетине лицо и, хотя было всего три часа ночи, дрожа от нетерпения, принялся за работу.

Он торопился!

Привычной ощупью он захватил в темном углу комнаты длинную медную желто-зеленую трубку, похожую на камышину, выпрямил ее в руках о колено, зажал в тиски и распиливал острой ножовкой на одинаковые, маленькие, с мизинец колбаски.

— Вгы-вгы-вгы...—издавала твердый, дрожащий, упирающийся звук крепкая медь, раздираемая еще более крепкими зубьями стальной ножовки.—Иёк-иёк-иёк... в то же время откликалось что-то внутри усердно работающего мастера.

И падающие из-под ножовки колбаски, эти медные, полые внутри цилиндрики, эти толстенькие, коротенькие, желто-зеленые мундштучки, являлись главными основаниями будущих зажигалок, их корпусами, резервуариками для бензина.

— Вчерашний день Марья вынесла на базар десяток зажигалок, а едва хватило на обед,—с тревожно выпученными глазами соображал за работой Афанасий.—Стало быть, нынче придется выгнать 12 штук.

Однако, отрезав 12 колбасок, Афанасий, как всегда, не смог остановиться на назначенном числе и отпилил еще три трубки лишних.

Где будут сработаны 12 зажигалок, там незаметно пройдут и эти три, а между тем они тоже принесут кое-что дому!

Под станком, на полу, в тени, виднелся широкий низкий ящик с разным металлическим материалом. Афанасий, не глядя, запустил туда руку, достал оттуда пластину толстой позеленевшей меди, повертел ее в руках, осмотрел с обеих сторон, как покупатели на толчке осматривают подошвенную кожу, затем приступил к вытачиванию из нее на токарном станке верхних и нижних донышек для зажигалок.

Нагорбленно согнувшись над токарным станком и не спуская пристальных, математически точных глаз с меди, Афанасий стоял и вертел ногой колесо. Впереди него, на особой, прикрепленной к стене полочке, ярко горел самодельный бензиновый светильник, бурая пивная бутылка с проткнутой сквозь пробку трубкой из красной меди, крестообразно выпускающей из своей вершины четыре узеньких язычка пламени, вместе образующих как бы чашечку белого, необычайно нежного цветка. И на противоположной стене комнаты, как на белом экране, отражался громадный, черный, наклоненный вперед и непрерывно кланяющийся профиль старого мастера: его большая, со всклокоченными со сна волосами, немножко безумная голова; странно-тонкая, цыплячья шея под ней; широкий, русский, на конце вздернутый, наподобие хобота, нос в очках; по-стариковски вечно разинутый рот с отвисающей нижней челюстью; тощая, болтающаяся, как собачий хвост, борода...

Ветхое колесо старого самодельного станка вихляло из стороны в сторону, зацепало за раму, скрипело; весь станок дрожал, гудел; обрезаемая медь сопротивлялась, дерябилась, зудела, иногда неприятно-скользко взвизгивала.

— Жжж... — среди глубокой ночи, среди спящего города, наполняла квартиру ровным, непрерывным, крутящимся жужжанием своеобразная машина маленькой домашней фабрики.—Жжж...

Вскоре в смежной комнате раздались громкие проклятия.

— Чтоб ты пропал со своими зажигалками! — всей своей утробой вопила оттуда, из-за запертой двери, спавшая там Марья, жена Афанасия. — Среди ночи поднялся! Среди ночи!

— Когда я пропаду, тогда и вы пропадете! — с суровым спокойствием хрипло отвечал Афанасий, направив сосредоточенное лицо в седых колючках и белесо-блестящих очках на запертую дверь и продолжая с прежней размеренностью кособоко вихлять ногой колесо. — Жжж... Собаки вы, собаки! — взмотнул он на дверь палкообразной бородой. — А для кого же работаю? Для кого я жизнь свою убиваю? Для меня, для одного хватило бы на день и трех-четырех зажигалок! Жжж...

Наконец, 15 верхних и 15 нижних донышек, 30 толстых медных монеток были готовы, и Афанасий, натужно посапывая, сверлил в них дырочки: в нижних—для винтика-пробочки от бензина, в верхних—для пропускания трубочки ниппеля, сквозь которую в свою очередь пройдет азбестовый фитилек. А когда и это было окончено и монетки стали походить на пуговички с одной широкой дырочкой по середине, Афанасий распахнул на двор дверь, взял за ушки самодельную круглую железную жаровню-мангалку, на четырех высоких, хищно раскоряченных и согнутых в коленах ножках, похожую на противного гигантского паука, и вышел с ней, кряхтя, наружу.

Дверь некоторое время оставалась раскрытою, и в душную, сырую комнату, с прогнившим полом и прокопченным потолком, как в подземный погреб, вдруг резко потянуло со двора приятной ночной свежестью, свободой, широкими просторами, далью, иной жизнью, хорошими достатками, несбывшимися мечтами, ушедшей молодостью, былым здоровьем, вечно дразнящим счастьем!

На дворе было тихо, темно, прохладно.

Афанасий прислушался. Ниоткуда не доносилось ни малейшего звука. Весь город спал. И старому мастеру сделалось безмерно грустно. Неужели он один не спал? Неужели он один работал? Неужели он один так беспокоился за завтрашний день? А как же живут другие?

Невольно поднял Афанасий голову и глаза вверх, и сердце его сжалось еще более острой тоской.

Оттуда, с далекого черного матового неба, с редкими фиолетовыми ворсинками, на него пристально смотрели вниз, как сквозь пробуравленные дырочки в потолке, ясные, белые, по-осеннему холодные, маленькие звезды. Пожалуй, еще никогда не видал Афанасий таких мелких звезд. Их было великое множество, и они смотрели с неба на землю с таким выражением и так при этом мигали своими длинными ресницами, все вразброд, словно отсчитывали оттуда суетному человеку его короткий век.

— Ну, пожалуй, еще крошечку поживи...—со всех сторон, со всего небосвода замигали они на Афанасия своим неумирающим извечным миганием.—Ну, и еще немного... Секунду! Пол-се-кун-ды!

Афанасий сиротливо и зябко вздрогнул. Когда-нибудь ему надо глубоко и серьезно подумать об этом: о жизни, о смерти...

Но уже на дворе, в темноте, возле дверей, вспыхнул желтый, густо чадящий огонек зажигалки; в мангалке весело затрещала, застреляла и заблагоухала, как ладан, сухая, смолистая, сосновая щепа; жарко охватились синими и красными язычками пламени и тоненько запели, зазвенели, корежась и переворачиваясь в огне, древесные уголья; узенький дворик, заваленный вдоль высоких заборов старым ржавым железным хламом, весь озарился странным фантастическим колеблющимся светом, и черная, взъерошенная, в очках, фигура Афанасия, таинственно

хлопочущая возле полыхающего огня, была похожа в этот час на колдуна, одиноко варившего на жаровне под покровом глухой ночи свои могущественные зелья.

Когда все уголья в мангалке обратились в одну сплошную красную огненную массу, Афанасий подхватил мангалку за ушки, отвернул наморщенное лицо от жара вбок, вбежал с мангалкой в мастерскую, как вбегают с кипящим самоваром в столовую, поставил ее на пол, воткнул глубоко в жар паяльник, потом, через две-три минуты вынув его оттуда с красным, язвенно-воспаленным концом, начал быстро впаивать в каждый корпус по два донышка,—одно верхнее, одно нижнее. Когда конец паяльника чернел, он опять зарывал его в красный жар.

На лице старого рабочего-металлиста, сидящего на табурете с паяльником в одной руке, с медной трубкой в другой, были написаны усердие, выдержка, уверенность в себе, торжество, любование своей работой и сдержанный восторг перед собственным мастерством. И из его крепких, верных, давно прометалличенных рук, работающих с правильностью стальных рычагов машины, уже выходили на божий свет, странно веселя глаз, первые подобия зажигалок, их зародыши, их младенчики, еще бесформенные, голые, гладкие, очень далекие от эффектно-сложного вида готовых зажигалок, как червеобразные гусеницы далеки от вида элегантно-крылатых бабочек.

Чтобы даром не пропадал хороший жар, Афанасий, по обыкновению, еще в самом начале поставил на мангалку громадный закопченный жестяной чайник с водой для утреннего чая. И теперь вода, нагреваясь, вздрагивала, стукалась в жестяные стенки чайника, пукала, потом, обрываясь и меняя один на другой тон, смелее и смелее затянула, в подражание самовару, бесконечную, заунывную, в две-три ноты, калмыцко-русскую песенку.

Оттого, что работа у мастера ладилась хорошо, время летело для него незаметно. И вскоре он услышал, как на всем пространстве города и дальше за городом изо всей мочи загорланили петухи. Они так старались, эти глупые домашние птицы, так надрывались, что по их крику живо представлялось, как они при этом становились на цыпочки, задирали головы, надувались.

В пении петухов вообще содержится что-то необычайно дутое, напыщенное, излишне-торжественное, как в парадном выходе к народу короля, в смешной короне, в неудобной мантии; но вместе с тем в этом пении, несомненно, звучит и что-то ребяческое, простое, глупое, очень здоровое и нужное для земли, принимающее жизнь такою, какая она есть. И Афанасий, едва закричали первые петухи, сразу почувствовал, как от его груди отлегла какая-то большая смутная тяжесть. Теперь-то он не одинок!

Он бросил на стол медь, инструмент, расправил спину, руки, размял в воздухе пальцы, отсунул выше бровей на лоб очки и доволь-

ным взглядом обвел всю свою сегодняшнюю работу: много ли сделано до петухов?

— Данька!..—затем приступил он к самой неприятной своей ежедневной обязанности—будить на работу своего взрослого сына, тоже токаря по металлу, спавшего в этой же комнате, у дальней стены.— Дань, а Дань!—грубовато и вместе по-отцовски нежно окликал он единственного своего сына, свою надежду.—Слышь!.. Вставай!.. Уже пора!.. Светает!..

И он направил издали на лицо сына широкий сноп ослепительно белого света светильника.

II.

Данила не шевелился, не отзывался.

Здоровенный малый, с давно нестриженными желтыми волосами, веером закрывавшими весь его лоб, и с первыми светлыми кучерявыми бачками на щеках, он лежал на боку, лицом к свету светильника, подложив под одну щеку кисти обеих рук, и могуче дышал через раздувавшиеся ноздри.

В противоположность отцу, в эти предрассветные часы ему спалось особенно хорошо!

Вечерами он поздно засиживался в студии местного союза художников. С некоторых пор он очень усердно занимался там живописью. Он был необыкновенный человек. Кроме нечеловеческой силы, кроме железного здоровья, природа дала ему еще много и других талантов, в которых он долгое время никак не мог разобраться. Казалось, стоило этому чудо-богатырю встряхнуться, как с него посыплются на землю таланты. Даниле это было даже самому смешно, ему невольно припоминалась соблазнявшая его в детстве вывеска одной кондитерской, изображавшая опрокинутый рог изобилия, из широкого раструба которого без конца сыпались разноцветные пирожные, вотрушки с изюмом, крендели. Точно так же глаза его разбегались и теперь, при обнаружении у себя всевозможных талантов, и он не знал, за какой из них ухватиться: все были соблазнительно-хороши. И с самоуверенностью молодости набрасываясь то на одну бесплатную студию при наробразе, то на другую, он за четыре года советской власти чуть-чуть не сделался сперва знаменитым оперным певцом, таким, как Собинов, потом известным писателем, таким, как Максим Горький, чемпионом мира по поднятию тяжестей и борьбе, как Поддубный, политическим оратором, драматическим актером... В самое последнее время одна отзывчивая дама, художница, совершенно случайно открыла в нем новое дарование, подлинный талант к живописи и притом такой, какие родятся по одному в столетие. Чтобы не ошибиться, она водила его показывать от одного специалиста к другому, как больного тяжелой болезнью водят от доктора к доктору, и Данила видел, какое он производил на всех впе-

чатление своими набросками карандашом с натуры. И он тогда же раз-на-всегда решил, что все предыдущие его увлечения и успехи были ошибками, поисками себя, и что настоящее его призвание именно тут и только тут,—в живописи. И на улице, на которой он родился, вырос и жил, теперь его иначе не называли, как „Второй Репин", как раньше титуловали „Второй Максим Горький", „Второй Собинов", „Второй Поддубный"...

Отец постоял над Данилой, посмотрел на его исполинскую фигуру, не умещавшуюся на постели, на красную, полную, лоснящуюся физиономию, утопавшую в подушке, на жирную шею, собравшуюся на затылке складками, вслушался в его шумное, здоровое, беспечное, жадное до жизни дыхание, очень родственное тому пению петухов, - и чувство зависти к сыну зашевелилось в нем.

— Вот что значит не иметь ничего в голове!..—подумал он, с желчной улыбкой на искривленных губах.—Ну, разве это человек?.. Разве он когда-нибудь думает об зажигалках?..

Он запустил под туловище сына сразу с обеих сторон руки и так защекотал его под бока, с такими гримасами, точно старался ухватить на дне реки рака, яростно оборонявшегося в илистой норе под корягой.

— Ну!..—кряхтел он при этом ему в грудь.—„Второй Репкин"!.. Подымайсь!.. А-а, ты не встанешь?.. Говори: не встанешь?..

Данила вертелся на жесткой постели, как червяк на гладком камне, тщетно ища носом, куда бы зарыться. Но ни глазных век, ни рта он не разжимал, очевидно, продолжая крепко спать.

— Нет, врешь, собачья душа!—пропыхтел окончательно взбешенный Афанасий.—Спать больше я тебе все равно не дам!

Он обхватил сына, прижался одной щекой к его груди, отодрал его туловище от постели, приподнял его всего на воздух и, как большую куклу, усадил на край кровати.

Данила, сильно сутулясь, в буром от грязи белье сидел со свешенными в пол громадными босыми ногами и, чуточку раскрыв глазные веки, долго и безучастно смотрел на отца.

— Ммуу...—наконец, недовольно промычал он и судорожно зевнул, на момент превратив все свое лицо в один громадный темный кругло разверстый рот, окаймленный изнутри кольцом белых зубов.—Еще совсем темно,—простонал он и туго, как бык, перевел тяжелые глаза на черный квадрат окна, потом опустил голову и со сладострастным выражением лица начал расчесывать в кровь правой рукой левую ногу у щиколки.—Хрусс-хрусс-хрусс...—безжалостно скреб он ногтями кожу ноги, сладко зажмурив глаза.—Хрусс-хрусс-хрусс...

— Заспался, вот и показывается, что темно,—подбадривал его отец.—А так-то оно не темно: самая зорька.

И, поглядывая за сыном, чтобы тот снова не растянулся на постели, он пошел к станку.

— Да... как же... „показывается"... „зорька"...—как ребенок, капризно огрызался низким ворчливым баском сын, а сам с возрастающим упоением скоблил и скоблил ногу:—Хрусс-хрусс-хрусс... Где она твоя „зорька"?.. Теперь самое спать!..

— Тебе бы все спать!..—попрекал его отец, откладывая для него на отдельный стол работу.—А как же я?.. Я еще меньше твоего сплю!.. Ты знаешь, когда я сегодня встал?..

— Знаю, знаю... Хрусс-хрусс... Ты кажется скоро вовсе не будешь ложиться спать... Хрусс-хрусс... Но ты-то другое дело... Хрусс-хрусс... Ты-то сам виноват... Хрусс-хрусс...

— Как это „сам"?!

— А так сам... Не связывался бы с этими проклятыми зажигалками!.. Я давно говорю: давай, поступим обратно на завод... Там теперь и ставки больше и пайки выдают аккуратней...

— Знаем!—раздраженно бросил Афанасий, работая.—Слыхали! Пока вырабатывают новые ставки, цены на хлеб опять подскакивают вдвое! Тоже и пайки: пока их получишь, сапоги обобьешь, за ними ходивши! А допросы! А анкеты! А подписки, отписки, записки, расписки! Нет, на зажигалках работать все-таки лучше, самостоятельней, вроде как сам себе хозяин! И поднажиться опять же можно, если!

— Да... Хе-хе-хе... „Нажились" мы много... Хрусс-хрусс-хрусс...

— Ну!—вдруг злобно закричал на сына издали отец и уставился в него поверх очков остановившимися глазами.—Чего же ты сидишь, босые ноги скубешь? Вставай, время идет, не ждет, работать надо! А скубсти ноги будешь потом!

— Ладно,—пробормотал небрежно Данила, перестал чесать изрытую в кровь ногу, пошарил гигантской ладонью под кроватью и выволок оттуда ботинки.

— Да, „самостоятельней", „сам себе хозяин", чорт возьми!—криво усмехался он в пол и натаскивал на свои нечеловечески-широкие ступни еще более широкие американские боты, тяжелые и твердые, как чугунные утюги.

— Хорошая, чорт побери, наша „самостоятельность"! Хорошие мы „хозяева"!—зашнуровывал он толстым электрическим проводом свои боты с таким видом, точно запрягал пару ломовых лошадей. — При лампе начинаем работать, при лампе кончаем и на обед имеем не больше, как полчаса! А на завод ходили по гудку, когда уже развиднялось, и, как бы то ни было, работали там не только казенную работу, но и свою,—взять те же зажигалки,—и материалом свободно пользовались, и инструментом, и всем, и шабашили в 4 часа, когда солнце стояло еще высоко... На заводе я сроду не знал, что такое работа при лампе.

— Мало ли чего,—тряхнул полуседой головой Афанасий.—Ты еще много кой-чего не знаешь. — Ну, на!.. — клокочущим от раздражения голосом задавал он работу сыну.—Вот!..—почти стонал он и смотрел

на Данилу такими глазами, точно порывался схватить его за шиворот и хорошенько потыкать носом в работу.

— Бери сейчас вот эти корпуса и затирай на них шабором паянные места, чтобы нигде не было видно олова!.. Забирай!..

— И тут на твоих зажигалках, раз плюнуть, погибнуть с голода...— продолжал твердить свое Данила, уже стоя возле постели на ногах и туго затягивая на себе узеньким ремешком широкие холщевые рабочие штаны...—а на заводе сроду не пропадешь: все-таки возле людей! На нашем заводе 6 тысяч человек работает!

— Хотя бы 36! — оборвал его отец.—Все равно, каждый думает только об себе!

— Ничего подобного!—фыркал Данила над ведром, ополаскивая лицо. — И там по крайней мере узнаешь, какие есть новости, а тут живешь у вас, как в тюрьме!

— Тебе нужны новости? Марья каждый день приносит с базара все новости!

— То не те.

— Одинаковые!

— И на заводе...

— Довольно про завод!—взвизгнул отец.—Он все про завод, он все про завод! — с плачущим выражением лица пожаловался отец в сторону. — Я лучше твоего знаю завод! Я больше как 30 лет на заводе лямку тянул! А ты меня учишь: „завод", „завод".

Закатив оба рукава рабочей блузы, Данила, с широкой грудью, с громадным животом, картинный богатырь, лениво, в развалку, поплелся к токарному станку.

— Что работать?—недовольно прогнусавил он, хмурый со сна.

— Вот,—указал отец на отложенные в сторону медные корпуса.— И смотри: когда затрешь шабором паянные места, тогда зачищай наждаком медь, сплошь, всю, чтобы она прямо горела! Дело касается рынка, и покупатель кидается не на механизм зажигалки, не на правильность закалки ролика, а на чистоту, на блеск, на моду!

— Значит, уже будем обманывать народ?—иронически покривил губами Данила, сгребая по столу в кучу медные корпуса.

— Зачем обманывать?—ударил молотком по медяшке Афанасий.— Это не мы их обманываем!—и он прицелился и ударил опять. — Это они себя обманывают, держат фасон!

Данила все никак не мог раскачаться, он упрямо стоял перед своим рабочим столом и, угнетаемый чувством ужасной лени, злыми глазами считал заготовленные отцом корпуса.

— Сколько сегодня будем гнать?—спросил он грубо, вызывающе, гудящим голосом.

— 12 штук, — мягко и вкрадчиво ответил отец и с невинным лицом старательно наворачивал нарезной дощечкой резьбу на медной соломинке, через которую в зажигалке проходит фитилек.

— Как 12???—с истерическим завыванием вскричал невыспавшийся Данила и упер в стол тупой, жестокий, разбойничий взгляд.—А тут у тебя 15!!!

— Да, правда, там еще три лишние есть... Для между делом...

— У-у-у! хорошее „между делом“: целых три зажигалки! И тогда так бы и говорил, что 15! А то: „12“! Обманывает! И если бы это в первый раз, а то—всегда! Я нарочно раньше сосчитал, смотрю—15, потом, думаю, дай спрошу, сколько скажет, а он: „12“! Что же ты думаешь, что я слепой, не вижу, что ли?

Афанасий швырнул инструмент, сделал обеими руками гневный жест.

— Довольно гудеть!!! Зачищай медь, сатана!!! За нас никто не будет работать!!!

Данила умолк, подернул плечами, кособоко нагорбился над столом, взял в одну руку цилиндрическую медяшку, в другую трехгранный шабор, начал работать.

У него все в груди кипело от отвращения к подобной работе. И он с таким остервенением хватал со стола медные трубки, так жестоко скоблил их ребром стального шабора и с такой силой швырял их потом о стол, словно это были его заклятые враги.

— Легче!—не раз покрикивал на него со своего места отец, следя за ним со стороны.—Легче! Это же вещь!

Данила некоторое время работал молча.

Наконец, он не выдержал собственного молчания.

— Что это, шахта, что ли, что мы работаем при лампе?!—вдруг яростно вобрал он голову в плечи и странно, точь-в-точь по-собачьи, оскалил издали на отца зубы.—Или это, может, мы на ночной смене работаем, и с утра тут будут работать другие?! На самом-то деле, отец! Пора нам в этом как следует разобраться! Люди боролись за 8 часовой рабочий день, а ты из меня по 16 часов жилы тянешь!

У ошеломленного отца нижняя челюсть задергалась, бородка завилась в воздухе живой змейкой.

— Что-о?—в свою очередь ощерил он издали на сына полубеззубый рот и высоко задрал хобот носа в очках, так что темные круги ноздрей встали стоймя.—Я из тебя жилы тяну, я, да? Дурак ты, дурак! Жизнь тянет жилы из тебя, а не я! А я—что от тебя имею?

— Да!.. Как же!.. „Жизнь“... Бежать надо из дому от такой „жизни“, и больше ничего!

И Данила злобно строганул шабором по трубке.

— И бежи!—замотал на него полуседой головой отец.—И бежи, сатана, бежи! Только смотри, когда выголодаешься, обратно не приходи: не приму!

— Подлец буду, если приду! Сам я больше заработаю!

— Попробуй! Заработай! Посмотрим, как ты заработаешь! Это тебе не студия: розочки в вазочках, будь они прокляты, рисовать!

„Вто-о-рой Реп-кин“! Разве я знал, что у меня, у рабочего, выйдет такой сын? „Ху-у-дож-ник“, чтоб тебе добра не было и тем, кто тебя научает этому!

Данила бросил работу, с ушибленным видом сощурился на отца.

— Кого ты ругаешь?—тонким певучим голоском прокричал он.—За что ты ругаешь?—взял он голосом еще тоньше.—Ты знаешь, кого, каких хороших людей, ты ругаешь?

— В-вы!!!—надрывно взвыла всей грудью с постели за запертой дверью Марья.—Оп-пять!!! Я только что заснула! И так каждый день, каждый день, с тех пор, как стали работать эти проклятые зажигалки! Еще ни разу не становились на работу без бою, ни разу! Как собаки, как собаки! Лаются и лаются! Лаются и лаются, чтоб ваши глотки повысохли от этого лаю!

— Без скандала не могут!—жалобно завторила матери ее взрослая дочь Груня, спавшая там же, за дверью.—День спину гнешь над швейной машиной, стараешься как можно больше выгнать красноармейского белья, пока глаза и пальцы не затупеют, и ночью только бы отдохнуть, только бы поспать, а тут они со своими проклятыми зажигалками тарарам поднимают!

— А ты бы меньше вечерами по люзионам моталась,—съязвила въедливым голосом мать.—Вчера опять во втором часу ночи откуда-то заявилась!

— Как это так „откуда-то“!—страшно вскипела дочь.—Разве я у вас какая-нибудь такая! Чего же вы меня обзываете! Чего же вы меня страмотите! Какое вы имеете право меня обзывать! Какое вы имеете право меня страмотить! Что я—уличная?!

— Кто тебя обзывает? Никто тебя не обзывает! Ма-ла-холь-ная!

— Вы! Вы меня обзываете! Вы!

Груня дико взвигнула и заплакала.

Мать сбавила тон.

— Ну, скажи: как я тебя обозвала? Я тебя никак не обозвала, я только сказала, что ты взяла моду поздно ночью возвращаться из люзиона.

— Мама!—вдруг перестав плакать, вся всполошилась и закричала невменяемым криком Груня.—Знайте! Если б не те иллюзионы, я б давно на дне речки была! И я ведь без денег, я задаром, я по знакомству с иллюзионским механиком в иллюзион хожу, я не расходуюсь, не проживаюсь, чего же вам от меня надо? Что же вы думаете, что я каторжная у вас и должна прикованная к швейной машине сидеть и ничего не видеть кроме?!

— А я что вижу хорошего?—раздался нахальный, наскакивающий голос Марьи.—Скажи: что я вижу хорошего? Ты хоть ночами, в постели, после люзиона, как свинья, шоколад гложешь! Тебя хоть два раза ночью на извозчике из люзиона к дому подвозили! А я и этого не вижу! Теперь скажи: тот шоколад тебе тоже „задаром“, „по знаком-

ству“ дают? И те два раза ночью подвозили на извозчике тоже „задаром“?

— Мама!—рыдала дочь.

— А ты думала, я этого ничего не знаю!—добивала ее мать.

Бранились одновременно: в одной комнате мать с дочерью, в другой отец с сыном. И с наибольшим отчаяньем в одной комнате и в другой выкрикивались слова: „Проклятые зажигалки“! „Проклятые зажигалки“!

III.

Работать зажигалки Данила умел хорошо, не хуже отца. Но у него, наделенного другими, более могущественными талантами, не было абсолютно никакого желания расходовать себя на такое ничтожное дело. Все равно, какого бы высокого совершенства он ни достиг в роли рабочего-металлиста, никто и никогда не узнает о нем. Проживет, точно не жил! А искусством, живописью, он скоро всю Россию заставит увидеть себя. Его увидят! Его заметят! И скольких людей своими работами он отвратит от ложного пути! Скольким людям он своим чудодейственным даром осветит дорогу! Новой освежающей волной пройдет эта его внутренняя сила над изнывающим в духоте миром...

И Данила, наводя лоск на медные трубки, все время думал о другом, о своем, о великих своих достижениях в живописи. И заманчивые дали, подобные сказочным снам, одна за другой раскрывались перед ним.

Он—знаменитый, прославленный художник. Он, во всем новом, светлом, чесучевом, в лаковых ботиночках, в широкополой художнической шляпе-панаме с ярко-малиновой ленточкой, проездом из столицы в столицу, в своем родном городке идет на бульваре по дорожке, посыпанной свежим желтым песочком. Как хорошо кругом! Прекрасная погода, яркое солнце, благоухание цветов, пение птиц, земной рай! Перед этим несколько дней под-ряд лили дожди, и теперь люди с особенной жадностью, с особенными выражениями лиц высыпали на воздух, точно на всенародный языческий праздник. Люди без конца кружились по всем аллеям цветущего бульвара, соперничая в этом со столь же нарядными яркими бабочками, во множестве порхающими над садовыми насаждениями. Люди улыбались одному и тому же, млели от одного и того же, жмурились одному и тому же: солнцу!

У всех одно солнце, а у него, у Данилы, два. Ему светят и его греют и дают ему жизнь, двойную жизнь, сразу два солнца, и еще неизвестно, какое из них могущественнее, крупнее, то ли, что вне его, или то, что внутри него! Второе, внутреннее солнце, конечно, это—его художественный талант. Он признан. И встречные горожане, люди только с одним далеким солнцем, его земляки, сразу узнают в нем новое, восходящее над Россией светило. Наконец-то! Пора! Давно все

ждали именно такого самородного светоча. Отныне их никому не ведомый городок будет прославлен в веках, и они, соучастники этой вечной славы, скромные рядовые жители города, останавливаются при встрече с ним, стоят среди бульвара, как каменные столбы, мгновенно позабыв о всех своих личных грошовых делах, полные одного, общего мистического смятения. Такова сила воздействия настоящего художественного таланта! А рабочие-металлисты с завода, на котором Данила, его отец, дед и прадед проработали всю свою жизнь, эти рабочие еще раньше других узнают в гуляющей по бульвару знаменитости бывшего рабочего-металлиста, своего сотоварища и друга, одно время мученика и безумца, когда он, как и они, работал с отцом для рынка зажигалки. Они теперь робеют перед ним, перед его удачей, перед его чистым платьем, жмутся и, уменьшившись в росте, торопятся своротить в боковую аллею, чтобы не быть узнанными им и чтобы наблюдать и ходить за ним издали. Чудаки! Зачем это? Разве он не прежде всего для них? Их он помнит прежде всего. И он должен быть им еще ближе, чем был раньше! Для них-то он и вознесся...

... Но вот к нему, с подкупающей ясностью в лице, подплывает грациозными па какого-то скромного танца незнакомая девушка. Вот оно— воплощение завершенной красоты, рычаг, которому дано двигать миром! Девушка еще не произносит ни слова, но уже покоряет его, как художника, своими линиями, формами, красками, гармонией тела и духа. Как все в ней просто и как в то же время прекрасно! Больше всего его поражают ее краски. Бывает такое, сделанное со вкусом, узорчатое вышивание по ткани цветными шелками, работа всего в две-три краски, а сколько в ней заложено чувства подлинной красоты! На девушку, как на то вышиванье, он смотрит и глаз оторвать от нее не может. Янтарного цвета волосы; бледно-розовое, как лепестки шиповника, лицо; кофейные ободки теней во впадинах глаз; губы, красные, тона спелой красной смородины... Шляпка, туфельки, костюм,—весь ее наряд казался неотделимым от нее самой, как неотделимы перья у птицы. И умело подобранные цветные лоскуты, ленты, банты, тоже всего в две-три краски, только дополняли пленительность картины. Жажду жизни, веру в возможность на земле полного счастья пробуждал в нем весь ее вид... Но, конечно, главным центром в ней, главной влияющей силой были ее глаза, в которых, казалось, зеленое море в переменчивую погоду отражало синее небо, игра двух стихий, слияние двух бездн. Девушка с космическими, сине-зелено-голубыми глазами спрашивает его: может ли он написать с нее портрет и что это будет стоить? Своим голосом она проводит по его сердцу, как смычком по натянутым струнам, и в его груди звучит очаровательная музыка. Он удивляется, он притворяется удивленным: разве девушка знает, кто он? Девушка улыбается ему, и уже по-новому сталкиваются в ее глазах две манящие бездны. Она говорит: конечно, конечно, она знает, кто он: его весь город знает и скоро вся Россия узнает; он—„Второй Репин". О, какая

умненькая девушка! На редкость умненькая! Какие произносит умные слова! Да, именно так: его скоро вся Россия узнает и не только одна Россия. И ему хочется, чтобы девушка без конца повторяла те умные слова, чтобы она кричала ему их в уши, иначе в нем могут зародиться сомнения, что он ослышался, не так понял ее...

Данила с радостью соглашается писать с неизвестной портрет. Только дело вот в чем: с нее он ничего не возьмет за свою работу. Девушка опять по-новому отражает в своих глазах две бездны и как бы окутывает их черной грозовой мглой: почему же художник оказывает ей такое „снис-хож-де-ние"? Художник вдохновляется, прижимает руку к груди, почти поет: нет, это не снисхождение, это поклонение, поклонение художника чистой красоте! Девушка машет руками, смеется, смешивает в своих глазах две стихии, пронизывает их третьей—солнцем: ха-ха-ха, „красоте"! Художник по-прежнему певуче и клятвенно и нежно, нежнее прежнего, повторяет: да, да, красоте! Он прибавляет: она прелестна, она совершенство, она как раз та самая девушка, портрет с которой принесет ему всероссийскую славу! И вот, в ответ на эти его слова, из бездонной пучины неба и моря тихой меланхолической музыкой выплывают ее слова: а художник в этом уверен, художник уверен, что она—именно та, художник не ошибается? Тут художник уже рвет последние связывающие его путы, освобождается от материи и весь обращается только в музыку, только в звук. Он становится в позу и уже по-настоящему поет, по-нотному, как тогда в студии по классу сольного пения, как Собинов, как в опере: нет, нет, пусть девушка не сомневается, он не ошибся, он себя знает очень, очень хорошо, он уже долго, как художник, не имеет душевного покоя, все видит в грезах именно такой образ, именно такую для себя модель. Тут опера обрывается, и они условливаются, художник и модель, о дне первой своей встречи у него в мастерской. Дни бегут. Он пишет с нее портрет. Он напишет с нее портрет, а дальше, а потом?.. И у него зреет в душе новая, вернее первая, глубокая драма: он чувствует, что если по окончании портрета они расстанутся, то он обратится в ничто. Вся его сила в ней. Она—источник для его вдохновения. Не будет ее—не будет его работ. Он должен жениться на ней. Но он—бывший рабочий металлист, его отец тоже рабочий-металлист и дед и, вероятно, прадед тоже... Она же сама изысканность, сама утонченность, кровная по телу и по духу аристократка, при старом режиме несомненно бывшая графиней или княжной, в худшем случае баронессой. И он сам это очень хорошо сознает, что, пока у него такая маленькая слава, он недостоин быть ее мужем. Ему нужна слава большая. Ему еще много надо работать, много достичь в своем искусстве, и если впоследствии, когда он прогремит на всю Россию, она согласится стать его женой, счастливее их пары не отыщется в целом мире. Он никогда не снимет ее со своих богатырских рук, от которых едва не пострадал сам Поддубный; посадит ее к себе на ладонь, как изящненькую, красивенькую, всю

в ярких крапинках, крылатенькую букашку, как божию коровку, и будет любоваться ею, переливчатой игрой ее двух-трех красок, всегда-всегда, всю жизнь, потому что Репин был прав, когда, кажется, сказал, что главное в жизни—краски!

— Ого, как ты медленно зачищаешь медь!—раздалось в этот момент над ухом Данилы возмущенное удивление отца.—Об чем же думаешь, когда работаешь? Об альбомчиках, об кисточках, об красочках? Я уже все 15 ниппелей нарезал, а ты все еще с корпусами возишься! Когда же у нас что будет, если мы так работать будем!

— Поспеем,—с тяжелой миной на лице ответил Данила и энергичнее налег на шабор, на наждак, на суконку.—Асс-асс-асс...—изо всех сил старался он под неподвижным гневным взглядом отца.—Асс-асс-асс...

— Сколько же штук у тебя осталось чистить?—спросил отец, с насмешливым презрением, почти с гадливостью следя за ним.

— А я считал?—задыхаясь от усердия, ответил Данила и продолжал то тем, то другим скользить по меди.—Асс-асс...

Придавая трубкам готовый, отполированный „фабричный“ вид, равно как работая потом и над другими частями зажигалок, он и на самом деле никогда не вел счета готовым вещам, пока число их явно не переваливало за половину. Тогда так отрадно было видеть, что количество неготовых вещиц быстро идет на убыль, приближаясь к нулю! И Данила то-и-дело останавливал свою работу и долго смотрел на остающиеся вещицы, как они выглядят, как мало или как много. Если как мало, то он удваивал свою энергию. Самым любимым, самым волнующим его числом было при этом число три: возьмешь одну вещь в руки, остаются еще две, но так как самая последняя не в счет, значит всего одна. Одна! Последняя! И насколько во всякое другое время ему нравилось, чтобы отец среди работы вдруг посылал его куда-нибудь по дому или со двора, настолько теперь невозможно было оторвать его от работы над этими двумя-тремя последними.

— Данька,—проговорил отец, заслышав во дворе у ворот шум.—Брось работать, сходи во двор, кажется, там кто-то в калитку стучится. Может, какой заказчик.

— До света заказчик?

— Что же тут такого? Приезжий заказчик может и до света притти, и ночью. Заказчики на зажигалки самые сумасшедшие заказчики.

— Обождет...

— А я говорю: иди!

— А я говорю: обождет! Осталась незачищенная одна. Неужели же одну оставлять, от последней отрываться?

Отец сплюнул в пол, бросил инструмент и пошел через двор в полупотемках сам.

—Такие дети!..—донеслось уже со двора его горькое восклицание.—Такие дети!..

Данила посмотрел настороженными глазами вслед отцу, прислушался, в момент бросил работу, состроил воровское выражение лица, принял воровскую позу, согнулся, вытаращил настороженные глаза, заспешил на цыпочках в дальний угол комнаты, стремительно выхватил оттуда, точно из огня, длинную, медную, похожую на камышину, желтозеленую трубку, выпрямил ее в руках о колено и принялся нервно скакать с ней из угла в угол по всей мастерской, в поисках ножовки, чтобы успеть, пока не вернется отец, отрезать и для себя несколько корпусов. Но ножовки нигде не было. Отец, очевидно, намеренно припрятывал ее от сына. Тогда Данила быстро снес медную трубку обратно, а сам, с побледневшим лицом человека, охваченного беспредельным отчаяньем, с налета схватил со своего стола два готовых, сияющих, как золото, корпуса, сунул их сперва в карман, потом сейчас же перепрятал в американские боты. Через минуту он уже продолжал свою работу. Позже он таким же образом доберет для себя остальные части зажигалок, а вечером снесет их своему постоянному покупателю, лотошнику. Неужели за свой каторжный труд, не предусмотренный никакими законами, он не имеет права на этот маленький добавочный доход? У него талант, и деньги ему нужны на приобретение красок, кистей, холста...

Отец возвратился, испытующе нюхнул воздух, бросил короткий подозрительный взгляд на сына, потом остановился и пересчитал глазами, сколько корпусов на столе.

— О!—вскричал он в ужасе и жалобно сморщил лицо, точно у него сию секунду вытащили из кармана кошелек.—Нельзя на минуту отойти от него, за ним все время надо следить! А где же еще две трубки? Было 15, теперь 13! Это ты взял?

— А на кой они мне?—огрызнулся Данила и налег на инструмент, на медь.

— А где же они?—настаивал отец.

— А я почему знаю? Может, закатились куда.

Вид у Данилы был деловой.

— Как это так закатились?—покраснел и загорячился Афанасий.—Может закатиться ролик, может закатиться колпачек, винтик, пружинка... Но корпус вещь большая, тяжелая, видная, она не закатится! И почему у нас всегда пропадает не одна какая-нибудь часть зажигалки, а полный комплект частей на целые зажигалки?

Данила закончил последнюю трубку, в знак протеста против подозрений отца с силой хватил этой трубкой о стол, энергично подтянул почти до самых подмышек штаны, чтобы не мешали сгибаться коленам, и упал на четвереньки на пол. Большой, жирный, перекатываясь по полу на круглом животе с боку на бок, как белуга по морскому дну, он поплыл, кряхтя, под стол, под станок, под лавки...

— И нигде не видать, проклятых!—доносился оттуда, из тесноты и темноты, его удивленный сдавленный голос и слышалось, как старательно водил он там шершавой ладонью по сорному полу.

— Брось!..—наконец, махнул на него рукой отец с глуповатой улыбкой человека, сознающего, что его явно дурачат.—Брось комедию строить!.. Чорт с ними, с двумя! А то ты будешь за ними на карачках полдня лазить!.. Украл, и больше ничего!..

— Кто, я украл?—спросил Данила, высвобождая из-под лавки свою большую, красную, натруженную голову, всю в медных стружках и паутине.

— А то кто же, я, что ли, их украл?—презрительно полуобернулся назад Афанасий, поплетясь к станку.

— Стой!—перегородил ему дорогу Данила, встал перед ним, вытянул вверх обе руки.—На, обыщи!—налезал он животом на отца.—Обыщи, если я украл!

Отцу было стыдно обыскивать сына, он отмахнулся рукой и сделал попытку отойти прочь.

— Куда же ты бежишь?—наседал на него сын, поднимая руки все выше.—Обозвал и бежишь? Ты сперва обыщи, потом беги, раз обозвал! На, ищи!

Припертый животом сына к станку, отец отвернул вбок лицо, искаженное брезгливой гримасой, и проводил руками по карманам сына, ногам, животу, спине, но нигде ничего не было.

— Ну?—вызывающе спрашивал сын, багровый и дрожащий от волнения.—Ну? Что? Как? нашел? Ищи хорошенько!

— Куда-нибудь запрятал,—спокойно, но убежденно проговорил отец и принялся за работу.

— А ты видел, что я прятал?—приставал к нему Данила, в сильной нервной горячке уже и сам поверивший, что те две трубки украл не он, потому что вообще-то он не вор.—Нет, ты только скажи, ты видал, что я прятал? Ты не отмахивайся руками, ты отвечай, как человек: ты видал? А то как же ты можешь говорить, если не видал? Вот что главное! Если бы ты видал, а то ты не видал!—болтал и болтал Данила одни и те же слова в каком-то тяжелом дурмане.—Если б, допустим, видал...

— Да замолчи ты, наконец!—выведенный из себя вскричал отец и оторвался от работы.

Его обманывают! Его обворовают! И кто же? Собственный сын! „Второй Репкин“! Значит, для этого нужно было растить его, воспитывать, отказывать себе во всем ради него! А он-то надеялся на него, мечтал передать ему свои знания, свою мастерскую, сделать наследником имущества, преемником дела! И все напрасно! Нет, нет у него сына! Даниле исполнилось 23 года, а у него все еще только ветер в голове: союзы, клубы, студии, воровство...

— Главное, если б видал!

— Ну, сатана!..—всем своим существом застонал, заскрипел отец и затрясся.—Кради, кради!.. Обворовывай, обворовывай отца!.. но не дай бог, если когда попадешься!.. Убью!.. На месте убью!.. Вот крещусь, что убью!.. И мать не спасет, на руках матери убью, не посмотрю!.. Ты знаешь, чего они мне стоют, те две зажигалки!..

Голос отца внезапно оборвался, он сел на табурет, положил локти на станок, опустил голову, заморгал глазами, заплакал.

Данила побледнел, закусил губы, судорожно вытянул вверх шею, напряженно уставился страдальчески-сощуренными глазами в угол потолка, словно за что-то уцепившись там ими... Бедный отец, бедный отец! Но что ему остается делать в его положении? У него есть совершенно необходимые расходы по студии живописи, и если он не будет красть у отца зажигалки, он никогда не будет знаменитым художником!

IV.

На дворе рассвело, и в мастерской погасили светильник.

Афанасий и Марья прежде всего вышли во двор, чтобы определить, какой сегодня обещает быть день и не помешает ли погода торговле на толчке зажигалками.

Заря была бледная, молочная, нежно-розовая, такого мягкого оттенка, какой еще бывает только у хорошей розовой пудры. Казалось, от этой зари, охватившей половину неба, и пахло какой-то тонкой, освежающей грудь парфюмерией.

И муж и жена стояли среди двора, задрав прямо вверх лица, и во всех направлениях разглядывали алеющее небо. И оба они кривили при этом такие улыбки, как будто, с одной стороны, охотно признавали власть неба над собой, а с другой—прекрасно знали и все его штучки.

— Как будто бы ничего,—проговорила жена и вопросительно посмотрела на мужа.

— После обеда подымется ветер,—хитро подмигнул под очками разгаданному небу Афанасий.

И они вошли обратно в дом.

Груня быстро скипятила жестяной чайник, смахнула ладонью с рабочего стола медные опилки, нарезала ломтями черный хлеб, расставила чайные приборы, окликнула всех, и вся семья, двое мужчин, две женщины, уселись за утренний чай.

Пили чая много. Пили до полного изнеможения, точно выполняли взятую на себя трудную работу. От нестерпимого утомления закрывали глаза, разевали рты, вздыхали, стонали, дико вскрикивали. Мужчины вскоре распоясались, расстегнули вороты рубах, верхние пуговицы брюк, вытирали рукавами ливший с лица и шеи пот. Женщины то-и-дело

оттопыривали руками от тела свои платья и обвевали ими, как веерами, взмокшие животы.

Пили без сахару, с разноцветным, похожим на крупные драгоценные каменья, монпансье.

В руках мужчин и монпансье, и хлеб, и посуда сильно припахивали желтой самоварной медью. И это ни на секунду не давало им забывать о зажигалках, пили ли они чай, ели ли хлеб, откусывали ли краешек яркого монпансье...

Все зорко следили за каждым, кто брал с блюдечка монпансье, и каждому было до боли жутко протягивать свою руку на середину стола к тому блюдечку, на котором пламенело своими свежими красками монпансье. В поведении каждого было заметно старание подчеркнуть, что он меньше других берет монпансье, жалеет, экономит, понимает.

Данила звонко откусил передними зубами маленький обломочек страшно-зеленого липкого монпансье, бережно положил остальное возле себя на стол, как игрок в казино кладет возле себя свое золото, потом потянул взасос горяченького из блюдца, фыркнул, усмехнулся и сказал, обводя всех неподвижно-вытаращенными глазами:

— В доме четверо работников, и все взрослые, а чай пьем без сахару, с суррогатами, с вредным сахарином, с раскрашенным лампасе. А на заводе,—там по два фунта сахару на месяц получали бы: отец два фунта и я два фунта, всего четыре фунта.

— Знаем,—коротко буркнул Афанасий, погрузил в блюдечко с чаем седые усы и до неузнаваемости наморщился от слишком горячего, сделался как смеющийся старый-престарый китаец.—И яблоки тоже давали,—вынул он из блюдца мокрые, в капельках чая, усы и начал снова наливать на блюдце.

При упоминании об яблоках мать и дочь прыснули. У обеих при этом чай изо рта наполовину выплеснулся на грудь, наполовину через глотку попал в нос, а оттуда на стол.

Марья предусмотрительно вынула пальцами изо рта плоский обсосочек красного монпансье, чтобы как-нибудь нечаянно не проглотить его, потом сказала тоном веселого воспоминания:

— Да, уж те „яблоки"!

Она была некрасивая, замученная, высохшая, костлявая, плоская. И оттого, что один ее глаз сильно косил, она даже тогда, когда смеялась, казалась хитрой, ехидной, злой...

— Лучше бы не поминали про те „яблоки",—произнесла раздумчиво в пространство Груня, девушка 25 лет, с дряблыми, отвисающими вниз, мешковатыми щеками, с застывшим выражением тупой тоски в бесцветно-серых, круглых, как стеклянные бусы, глазах.—И как холеры мы тогда от них не получили!..

И вдруг, едва закончив фразу, она так страшно взвыла и с таким отчаянным видом схватилась рукой за рот, точно вместо чая выпила смертельный яд.

— Лампасе проглотила?!—догадалась мать, посунулась каменным лицом к дочери, впилась в нее огромным шаровидным белком косого глаза.—Цельную лампасе!—вскричала она с сожалением и всплеснула руками.—А ты знаешь, почем теперь такое лампасе? Ты знаешь?

— Но я же не нарочно, оно само!—слабо оправдывалась дочь, растерянно сидя на месте с разведенными врозь руками, с раскрытым ртом.

— Чего же ты сидишь!—по-петушиному кругло вылупила на нее косой глаз мать.—Может, оно еще недалеко! Может, его еще можно вернуть! Наклони голову, а я тебе постучу по спине, и оно должно выскочить, если ты его уже не сожрала! Ну, наклоняйся! Ниже! Еще! Еще! Так! Так!

Груня сидела на табурете, расставя ноги и свесив между ними голову. Мать стояла возле нее, ударяла ее кулаками в спину, все сильнее и сильнее, а сама заглядывала косым глазом на ее рот, не показывается ли оттуда пропавшее лампасе.

— Оно какое было: зеленое, красное, белое?—спрашивала она.

— Желтое, лимонное,—пробормотала в пол Груня.

— Оно такое лимонное, как я архиерей,—усмехнулся Данила:—патока, эссенция и краска.

— Ты харкай!—учила Груню мать.—Ты плюй! Что же ты сидишь, как дурочка! Плюйся, харкай, чихай! Сильней, сильней, сильней! Со слюнями и оно выйдет!

— Мама, вы все-таки не бейте так сильно,—молила дочь.

— Ты из нее не только лампасе, ты из нее все печенки выбьешь,—сказал Афанасий.

— Бум, бум, бум!—била мать по пустой и гулкой спине дочери.

— Кха, кха, кха!—отхаркивалась дочь в пол, силясь вывернуть всю себя наизнанку.

Афанасий и Данила прекратили жевать хлеб, следили за Марьей, за Груней, нетерпеливо поглядывали на то место пола, куда должно было упасть желтое монпансье.

— Это уже без пользы,—наконец, махнул рукой Афанасий.—Теперь сколько ни бейте, ничего не выбьете. Уже поздно. Разве оно там будет лежать, вас ожидать? Оно склизкое и уже давно прошло в сердце.

— Или растаяло,—прибавил Данила, снова берясь за чай.

От харканья у Груни закружилась голова, ей сделалось нехорошо, и она легла лицом на стол, как на подушку, едва процедя слово: „нету“...

— Такое было большое лампасе!..—громко оплакивала Марья утрату, как на кладбище, у свежей могилы.—И такое было оно сладкое!.. Оо-аа-яя...

— Ну, я больше не буду их брать,—несколько оправившись, пришибленно произнесла Груня, не смея поднять на мать лица.

— Ну, а конечно больше не будешь их брать!—с кривляниями, с ужимками, скопировала ее мать.—Не по десять же штук их брать! Не по цельному же фунту их покупать! У нас не фабрика лампасе, и

если каждый начнет, например, по цельному лампасе в рот пихать и глотать...

— Мама, поймите, что я его не для этого цельное в рот положила... Я хотела кусочек откусить, а остальное вынуть...

— Она „хотела"! „Хотела"! „Хотела"! Видали вы такую, которая „хотела"! Смотрите на нее, смотрите: она „хотела"! Ах, ты... ууу!

— Мама! — разразилась истерическими рыданиями Груня, вскочила, согнулась, спрятала лицо в край блузки, убежала в другую комнату.

— Как будто я виновата-а-а...—раздавались уже там ее всхлипывания.—Как будто я нарочно-о-о... Ой-ёй-ёй...

— Грунька, прибирай со стола! — с омерзением закричала в ту комнату мать, когда вся семья отпила чай.

Все вставали и, разморенные огромным количеством выпитого кипятка, разбредались по своим местам: мужчины к станку, женщины к плите...

В этот момент вдали сперва хрипло зашлепал широкими губами, потом ровно и мощно заревел заводский гудок.

Лицо Данилы мгновенно прояснилось. Гудок всегда имел на него сильное влияние. Вот туда сейчас потекут со всех концов города люди, много людей, тысячи. Все они будут работать вместе, разговаривать, передавать друг другу новости. А они вдвоем с отцом остаются сидеть в этой тюрьме. Когда же будет отсюда выход?

— Вот только когда на заводе гудок, — со злым торжеством обратился Данила к отцу, становясь за работу. — А у нас уже куча работы сделана!

— Это и хорошо, что у нас куча делов сделана, — одобрил отец и пустил в ход станок.

— Что же тут хорошего, если это нам ничего не дает? — заглушая гуденье станка, прокричал отцу Данила.

Отец мотнул над станком бородой.

— Когда-нибудь даст!—в свою очередь прокричал он в сторону Данилы.—А теперь вообще время такое! Теперь всем трудно, не нам одним!

Данила насмешливо свистнул вверх.

— И что ты будешь с ними делать, с такими мужчинами: опять дров наколотых нет!—доносился из кухни крик Марьи.—Я и зажигалки носи им на базар продавать! Я и обед им стряпай! Я и белье стирай! И полы мой! И за всеми за ними, за чертями, комнаты прибирай! А теперь еще одно новое дело: и дрова им коли! Грунька, бежи на двор, наколи дров!

И потом долго еще слышались ее перебегающие крики, то в сарае, то на дворе, то в кухне:

— Грунька, принеси на растопку соснины! Грунька, натаскай в кадку воды! Грунька, принеси нож! Грунька, перебери пшено, накроши лук, поставь на огонь воду!

И редко, совсем редко, следовали за этим слабые возражения Груни:

— Мама, погодите. У меня же не 10 рук. Дайте сперва одно сделать.

Поставив на плиту обед, Марья поручила присматривать за ним Груне, а сама собиралась на рынок продавать партию зажигалок, сделанных мужчинами накануне.

Было начало осени, погоды стояли неровные, иногда вдруг задували холодные северо-восточные ветры, и Марья, точно снаряжаясь на северный полюс, куталась неимоверно. Сверху всего она надела черное, вытертое, все в белых ниточках, мужское драповое пальто, когда-то вымененное на зажигалки, подпоясала его толстой веревкой, обмотавшись ею два раза, завязала голову шерстяным платком так туго, что едва могла ворочать шеей, осмотрела себя всю, похлопала руками по бедрам, хорошо ли везде прилегает, потом сосчитала и ссыпала свой товар в специальный холщевой мешечек и затянула его шнурком, а две самые лучшие, самые блестящие зажигалки взяла в руки.

— Может, кто по дороге купит,—сказала она.—Какой-нибудь хлюст.

И побледнела.

— Какова-то будет сегодня ее удача? Вдруг сразу все купят.. Вдруг за весь день ничего не продаст... Вдруг...

Афанасий, провожая жену, тоже проявлял большую тревогу и, топчась возле нее, то-и-дело бросал украдкой на нее такие старчески-жалостливые взгляды, точно прощался с ней навсегда. Мало ли что с ней может случиться на толчке!—Там ее могут и оскорбить, и ограбить, и избить, и даже убить. Она может попасть в милицию, может фальшивые деньги принять за хорошие, может получить разрыв сердца во время брани с конкурентками...

— Ты, Маша, когда продаешь зажигалки, лапать руками их не давай: тускнеют!—говорил он, любуясь блистающими в ее руках своими произведениями.

— Не давать лапать тоже нельзя,—возразила Марья, с трудом пропуская слова сквозь слишком туго затянутое горло.—Люди все-таки пробуют!

И, в последний раз растерянно оглядевшись вокруг, бедная женщина вышла за дверь и потом пошла двором к калитке такой шатающейся походкой и с таким очумелым лицом, точно ее вели на казнь.

Афанасий стоял в дверях дома и пристально смотрел ей вслед. О, как однако легко, как беззаботно уносит эта женщина на толчок в своих глупых руках его труд, его кровь, его здоровье, его жизнь! Она так неосторожно несет мешечек, что зажигалки колотятся в нем, портятся; а при выходе за ворота она так шваркнула мешечком о косяк калитки, что даже ему, Афанасию, сделалось больно...

Данила тем временем приостановил работу, присел на подоконники, по своему обыкновению, стал следить за удивительными, каждый раз разными оттенками облаков в небе, ярко синеющем над

красной черепитчатой крышей соседнего сарая. Какие краски! Сколько воздуха! Если только одно это передать на полотне, и то как это будет много! Глубина синего небесного пространства и кажущаяся близость рельефных, серых с белыми краями облаков в момент унесли его душу из этой мастерской, и он уже думал о непередаваемой прелести человеческой жизни на земле вообще и о своей сказочно-счастливой личной судьбе. На прошлой неделе, на главной улице, в витрине лучшего обувного и галошного магазина он выставил первую свою серьезную работу, портрет с одного очень известного в городе старика, при старом режиме десятки лет бессменно бывшего тут городским головой, на редкость живописного старика, с длинной белой бородой, со спокойными белыми кудрями, очень похожего на русского елочного деда. И теперь там, против того портрета, вот уже вторую неделю толпится с утра до вечера народ. Народ не может оторваться от живых, мудрых, несостарившихся глаз красивого старика, народ пленен, народ взволнован. некоторые наиболее порядочные, плачут. Но придет время, и над его картинами заплачут и остальные. Его талант особенный. Его талант не как у других. Его картины проймут самую толстую человеческую кожу. Его картины каждому помогут почувствовать наконец в себе человека...

— Уже отдыхаешь? — вдруг язвительной усмешкой прозвучали над ним слова отца, проводившего Марью.—Уже заморился? А отчего я сроду не отдыхаю? Скажи, ты когда-нибудь видал, чтобы твой отец отдыхал? И это несмотря, что мне 56, а тебе 23!

Данила молча сполз с подоконника, угрюмо подошел к рабочему столу, погрузил свои руки и душу в медь.

Через минуту отец и сын с обычной энергией делали свою работу. Вытачивали на токарном станке медные фигурные колпачки, накрывающие фитилек; нарезали нарезной дощечкой винтики-пробочки для закупоривания бензина и винтики-поджиматели под пружинку с камешком; свертывали, как папироску, из медных листиков тоненькие гильзы для камешка с пружинкой и в нижнем конце гильз, внутри, высверливали метчиком резьбу для винтика-поджимателя; расплетали, как женские косы, толстые обрубки стальных тросов и из отдельных стальных волосков навивали тончайшие пружинки, подпирающие в зажигалках камешки...

И, наконец, они приступили к последней, самой ответственной части зажигалки, к ролику, к тому стальному, мелкозубчатому, черному колесику, которое высекает из камешка искру.

V.

— С вашими зажигалками!!!—донеслись в это время со двора проклятия Марьи.—З-замучилась, как собака!!!—Ввалилась и она сама через распахнувшуюся дверь в мастерскую, со сбившимся с головы назад платком, с несчастным лицом, за день еще более похудевшая,

с громадным, выкатившимся на сторону белком косого глаза.—Каждое место болит!!!—упала она на стул и взялась руками за бока, в пальто, сером от базарной пыли, сплошь в соломинках, пушинках, налетах желтой земли.—Кто не торговал, тот думает, что торговать—значит стоять и деньги в карман класть!!! Пошли бы, поторговали, тогда бы узнали, убей их громом!!! Я раньше сама так думала!!! Уфф... Ухх... Ааа...

— Но все-таки продала?—озабоченно спросил Афанасий, подойдя к ней и заглядывая в холщевую кошелку с продуктами, стоявшую у ее ног.

— Какие продала, какие нет,—туманно и мучительно отвечала Марья, развалясь на стуле и распутывая из платка шею.

— Сколько осталось непроданных?—нервно искал глазами Афанасий мешечек из-под зажигалок.

— Три зажигалки остались. Стояла, стояла с ними, стояла, стояла, никто не берет, все только спрашивают—почем, убей их грозой!

— А семь штук, значит, все-таки продала?

— Продать-то продала, но по какой цене продала, вот вопрос!—выше закинула она в ужасе лицо.

Афанасий как стоял, так и наклонился всем туловищем вперед, точно собираясь падать на Марью плашмя.

— Ус-ту-пи-ла?!—истерически взвыл он при этом с плачущей гримасой.—Тьфу на твою голову!—сплюнул он ей в ноги.—Я так и знал, что она уступит, задаром товар отдаст! На какого же чорта мы тогда с Данькой трудимся, режемся, убиваемся, лучше нам сразу головой об стенку!

Марья, точно фокусница, в секунду распоясала на себе веревку, выскочила из заскорузлого пальто, как из скорлупы, и маленькая, легкая, необычайно живая, подлетела к самому лицу Афанасия, замахала перед его очками и так и этак руками и неприятно крикливо заголосила:

— А ты, очкастый чорт, когда даешь продавать зажигалки, то смотри, какие даешь! Один человек хотел все забрать и еще заказать для отправки в деревню и цену подходящую давал, да у зажигалок ролики не крутились, ни у одной, ни у одной, хоть плачь!

— Как не крутились!—поднял плечи Афанасий, растопырил руки, насупил брови.

— А так не крутились!—победоносно подпрыгнула перед его носом Марья, стала в позу и подбоченилась.

— Это ты, сатана, не досмотрел за роликами!—оборотил тогда свое разгневанное лицо Афанасий на сына.—Помнишь, я тебе говорил, когда клепали оси: „Данька, расходи ролики, чтобы крутились! Данька, расходи ролики, чтобы хорошенько крутились!“. А ты, как позаклепывал оси, так и бросил их без внимания! Вот что значит довериться дураку! Все самому надо делать, все, все на свете!

— Они крутились,—глухо произнес Данила, навалясь боком на станок и взволнованно пощипывая крупной рукой рыжеватый пушок на широком подбородке.

— Крутились?—бешено вскричал Афанасий и, как от удара, закрыл глаза и застонал в сторону:—и он еще говорит, что они крутились! О, счастье твое, что нет у меня сейчас другого помощника, другого хорошего токаря, а то бы я тебе показал, как они крутились! Ты бы у меня сейчас сам закрутился здесь, как волчок! Две зажигалки украл, три испортил, и так почти что каждый день! Вот что значит у человека собачья душа: ему не об деле думать, ему газончики на бульварчиках рисовать, отца, мать убивать! Ууу!

И отец с судорожным ржаньем заиграл перед самым лицом сына крепко сжатым кулаком, как играют перед лицом ребенка куклой. Он осторожно касался краем кулака то кончика его носа, то бровей, то губ, очевидно борясь с желанием ударить его как следует по лицу...

Данила при каждом таком касании кулака незаметно отводил лицо чуточку влево, вправо, назад, весь находясь в ожидании удара отца и уже ни на секунду не спуская глаз с его руки.

— Отец!—стоя на месте и не шевеля ни единым мускулом, только сощурясь, предостерегающе повторял он все нетерпеливее и нетерпеливее:—отец!

Марья моментально врезалась между ними клином и расталкивала их, как неживых, в стороны.

— Афоня, не бей!—умоляюще произносила она и, как языком колокола, ударяла их, то одного, то другого, бедрами:—Даня, не бей!

Предвидя недоброе, из другой комнаты прибежала бледная, со слезами на глазах, Груня. Вцепившись в мужчин, обе женщины коекак растащили их в разные стороны.

— Расходиться!—кричали они на мужчин, толкая их и задыхаясь.— Расходиться!

Мужчины, точно одеревенелые, почти не сопротивлялись усилиям женщин, и те сдвигали их с мест, как тяжелую, приросшую к полу, мебель.

И долго потом сидели отец и сын на табуретах в разных углах комнаты, утомленные, неподвижные, сонные, с беспрестанной судорожной зевотой.

— А ну-ка покажи, какие зажигалки остались,—наконец, обратился Афанасий к Марье, не глядя на нее, протянув к ней руку.

Марья ошалело метнулась в один угол комнаты, в другой, а сама испуганно припоминала, куда дела мешечек с зажигалками, потом опростала кошелку с продуктами, вынула оттуда сумочку, затянутую шнурком, распустила шнурок и подала остатки зажигалок супругу.

— А залапала как!—воскликнул Афанасий, доставая из мешечка одну за другой три зажигалки.—Придется снова глянец наводить! Наверное на базаре всем детям играться давала! Это же не игрушки, это

вещи, это товар, который на рынке идет наравне с другим товаром! И его нельзя каждому-всякому в руки давать!

— А не давамши, не продашь!—стояла и неподвижно смотрела огромным косым глазом на зажигалки Марья.—Если бы на толчке были люди, а то ведь там черти!—возбуждалась она при воспоминании о толчке, и костлявое лицо ее бледнело и делалось все более худым и страшным.—Другой мужик, чтоб ему околеть, подойдет, спросит—почем, возьмет зажигалку, вертит ее в руках, взвешивает, как золотую вещь, отворачивает и заворачивает все винтики, вытрусит на ладонь пружинку, посмотрит, сколько камушка в трубку всунуто, много ли фитилька вдето, зажгет, погасит, еще зажгет, еще погасит, как все равно балуется. Смотришь и думаешь, ну, этот возьмет! И не одну возьмет, а все возьмет, в отправку, в деревню! А он, чтоб ему не своей смертью издохнуть, сует обратно мне в руку зажигалку и, даже не сказамши свою цену, потянет вот так носом, как будто ему собственный дом терять, и почти что бегом убегает. И я уже знаю, что это значит, когда человек носом так тянет: это значит, что человеку денег жаль. И такого уже ничем не остановишь, никакой ценой не вернешь. Ему хоть из пушки в спину стреляй, он ни за что не обернется, а еще больше наддает ходу! Вроде рад, что спасся.

— Это не покупатель,—пренебрежительно машет рукой Афанасий и кривит лицо.—Это не покупатель, и такому давать вещь в руки нельзя!

— А разве у человека на лобу написано, покупатель он или нет? Даешь в надежде! Думаешь об пользе!

— Все ж таки покупателя сразу видать! Ну, а почем ты те семь штук отдала?

И Афанасий, как бы заранее готовый к самой ужасной правде, силился сделать лицо равнодушным.

Марья не верила спокойствию Афанасия, и ее косой глаз, ощупывая мужа, вздрагивал в глазной впадине.

— Вот почем продала.—И она назвала цифру.

— Как?!—наморщился Афанасий, точно обжегся.

— Так,—безучастно ответила Марья.—А если бы не продала, вы бы завтра не емши сидели!

— Не надо было торопиться уступать покупателю! Надо было ждать. И он надбавил бы!

— А ты думаешь, я, как пришла, так и уступила? Что же я—дурочка или первый раз продаю зажигалки? И что же я тогда цельный день делала на безаре, если сразу продала? Чай внакладку пила? Я полдня никому не уступала, билась за цену, как сумасшедшая, а потом вижу, что уже после обеда, что народ расходится и что собирается дождь и поднимается ветер, буря и базарный мусор выше крыш гонит, тогда я, как сумасшедшая, бросилась по всему базару тех покупателей искать, которые вначале давали сходную цену. Тут дождь, тут

буря, тут бумажки летят выше крыш, а тут я одна бегаю по базару, как сумасшедшая, со своими зажигалками!

— Дождя, положим, не было,—вяло проговорил Афанасий, потом быстро встал и приказал неприятно рычащим голосом:—обедать давай! Ррр...

Марья бросилась в кухню.

VI.

Афанасий и Данила сгребали с большого рабочего стола в одну сторону коробочки со всевозможными медными винтиками, трубками, стальными пружинками, колесиками. Груня расставляла на этом столе четыре обеденных прибора.

Данила, укараулив удобный момент, снял со стены с гвоздя разливательную ложку и бросил ее под стол в ящик с медными стружками.

— Где разливалка?—спрашивала Марья, поставив на середину стола огромный чугунный котел с постными щами.—Никто не видал разливалки?—удивленно смотрела она на пустой гвоздь на стене и искала глазами по сторонам.

Все молчали, и Марья пошла искать по всем полкам, в посудном шкафу, в кухне, возле плиты...

Данила тоже встал и, наклонившись к полу, стал заглядывать под стол.

— Может сорвалась с гвоздя и завалилась под стол,—сказал он.—Так и есть,—достал он оттуда разливательную ложку и стряхнул с нее медную стружку.

Вытерев затем разливательную ложку о штаны, он быстро запустил ее в глубокий котел и осторожно, чтобы не взболтать отстоявшуюся гущу, повел ею по самому дну котла. Зачерпнув таким образом со дна гущу, синеватую кислую капусту и желтое разваренное пшено, он так же осторожно направил ложку к своей тарелке. У него талант, который впоследствии озолотит всю семью, поэтому он должен сейчас лучше других питаться.

Все с болью на лицах следили за ним.

— Ты что же это делаешь, сатана?—крепко схватил его Афанасий за руку с разливательной ложкой. — Всю гущу забрал! А другим что? Выложь пшено сейчас обратно!

Данила промолчал, только покраснел и попытался ложку с пшеном донести до своей тарелки. Афанасий оттягивал пшено обратно к котлу, и между сыном и отцом завязалась над столом отчаянная борьба.

— Брось!—кричал отец.

— Нет, ты брось!—отвечал сын.

Сын, конечно, вышел бы из борьбы победителем, если бы в помощь

отцу тотчас же не вступилась Марья. Она, хищно выкатив в сторону косой глаз и стиснув зубы, щипала ногтями кисть руки сына, в которой была ложка с пшеном.

— Грунька!—закричала она.—А ты чего не помогаешь? Помогай!

Сын в это время взял и перевернул ложку вверх дном, и вся гуща вывалилась прямо на стол.

— Это самое лучшее,—сказал отец.

Сын бросил опорожненную ложку, и борьба прекратилась.

Несколько мгновений все сидели и осматривали на себе следы борьбы. Афанасий расправлял вывихнутый палец правой руки, Марья откусывала надломанные ногти, Данила высасывал ртом кровь из руки, в нескольких местах поколупанной матерью...

— Он и ложку нарочно спрятал!—пропыхтел запыхавшийся Афанасий.—Я тебя когда-нибудь убью, сволочь такую!—посмотрел он иесвоими глазами на сына, бледный, дрожащий, обессиленный от борьбы.

— Ладно,—загудел вызывающе и насмешливо Данила.

— Довольно! — прикрикнула на них на обоих мать. — Будет! Щи стынут! Ешьте!

— Хотя бы обедали, как люди,—уныло пожелала Груня, молодая, безжизненная, как старуха, с полуспущенными на глаза верхними веками, с отвисающими дрябло щеками.

Афанасий отстранил локтями всех от опрокинутой на стол гущи, взял сперва ложку, а потом широкий нож и начал собирать пшено со стола в свою тарелку. Если судить справедливо, то он больше всех в доме имеет прав на это пшено: он раньше всех встает, больше всех работает...

— Что же это будет?—сдавленно спрашивал Данила и провожал глазами пшено на ноже отца.—Один будет поедать все пшено, а другие будут хлебать из котла пустую воду?

— А ты?!—обе враз попрекнули его мать и сестра.—А ты?! Тебе можно?

— Делите на троих,—указал отец на оставшуюся на столе часть пшена, бросил широкий нож, подлил себе из котла жижи, спрятал в карман очки и стал есть.

Мать схватила нож и зацарапала им по столу, сгребая все крупинки пшена в одну кучу. Если бы по совести делить, то главную часть этого пшена надо было бы дать ей: она продает зажигалки, она достает деньги. Не продай она вчера зажигалки, сегодня не было бы ни этого обеда, ни этой гущи...

Ели молча, жадно, жевали громко, как лошади. Иногда кто-нибудь хотел дать отзыв о качестве капусты, пшена или черного хлеба, но, пробормотав несколько слов, обычно умолкал, устремляя все свое внимание снова в тарелку.

Жижи в котле было много, и ее брали без счета, кто сколько хотел.

— Хлеб ешьте только со щами,—скользнула глазами по всем приборам Марья.—А так-то его, конечно, не хватит, сколько ни возьми.

— Я его почти вовсе не беру,—тоскливо произнесла Груня.

— Я не тебе,—проговорила Марья и закричала в другую сторону:—Данила, имей совесть! Ты уже в который раз берешь хлеб! А другие еще по второму разу не брали. Хлебай больше щей, щами тебя никто не стесняет!

— Разве это щи?—проговорил Данила, энергично размалывая во рту пищу.

В этот момент что-то крепко хрястнуло у него на коренных зубах. Если бы суп был мясной, можно было бы подумать, что ему нечаянно попалась на зубы мясная косточка.

— Что же это такое?—изумленно спросил он и выплюнул изо рта в пригоршню изжеванную пищу. О!—вскричал он поковырявшись там рукой и достав оттуда расплющенный зубами медный винтик.—Мать, ты уже из зажигалок начинаешь нам щи варить?

Он бросил испорченный винтик под стол в ящик с медью, а изжеванную пищу опрокинул из пригоршни обратно в рот.

— Что же, когда у вас по всему дому медь раскидана,—сказала Марья.—От вашей меди в дома нигде проходу нет! Она и на столах, и на подоконниках, и в шкапах, и на полу...

— Я этой ночью у себя под одеялом ролик нашла,—рассказала Груня.—Слышу, что-то холодное катается подо мной...

— А хороший был ролик?—спросил Афанасий.—Куда же ты его дела? Ролики, они...

Выстукав ложками до-суха почти ведерный котел, приступили к послеобеденному чаю.

— На запивку,—с аппетитом сказала Марья.

Данила злобно ухмыльнулся.

— То был кипяток № 1,—сказал он по поводу щей.—А это кипяток № 2,—встретил он появление на столе громадного чайника.

Потягивали из блюдечек обжигающий губы кипяток и гонялись языком в большом рту за крошечным монпансье.

— На толчке сегодня много было народу?—спросил у Марьи Афанасий после второй выпитой чашки.

Марья оживилась и с воодушевлением рассказывала, что она видела за сегодняшний день на базаре...

— Ну, а что на толчке люди говорят?—спросил потом Афанасий.

И Марья пространно передавала содержание самых последних толков...

После невероятного количества выпитого жидкого у всех были раздуты животы. Поднимались со стульев трудно; переступали по комнате медленно; что-то приятное щекотало внутри и мучительно хотелось не то спать, не то хохотать. Беспрестанно икалось и отдавалось изо рта третьесортной дубоватой капустой.

— Она все-таки придает человеку сытость,—с довольным лицом произнесла Марья, громко икнула на весь дом, потом сказала, кто она—капуста.

Иногда вместе с подобной икотой выходили из желудка обратно в рот кусочки плохо разжеванных кочерыжек, похожие на плоские сосновые щепочки. Тогда их брали в руки, рассматривали, потом клали обратно в рот, уже неторопливо дожевывали и проглатывали во второй раз.

Данила сбросил с себя ременный поясок и повалился на свою койку. Переполненный живот его вздымался на койке высокой горой, похожей на могилу, отчего большая голова вдруг стала казаться маленькой, а широкие плечи—узкими. Он глядел в потолок совершенно одурелыми глазами и, чтобы как-нибудь использовать послеобеденный отдых, сделал попытку думать об ожидающем его успехе в жизни, о том, каким великим художником он будет. Но его отяжелевшая мысль никак не могла подняться выше определенного уровня: потянется немного вверх и тут же оборвется; опять потянется и опять оборвется. Тогда его стало давить невыносимое отвращение ко всему: к жизни, к себе, к съеденной капусте...

— Старость пришла?—бросил на него насмешливый взгляд отец, направляясь к станку и надевая на ходу очки.

— Имею право на послеобеденный отдых,—с трудом выговорил Данила вялым языком.

— А я?—спросил Афанасий.

— А кто тебе велит не отдыхать?

— Как кто велит? Нужда велит! Ты вырос у родителей и когда обедаешь, не знаешь, откуда берется капуста, пшено, дрова!

— Да, конечно, я у вас такой глупый.

— Нет, ты не глупый!—с чувством проговорил Афанасий, взял черный стальной прут, толщиной в мизинец и начал резать его, как режут колбасу, на тоненькие кружочки, будущие ролики, колесики, выбивающие в зажигалке из кремня искру.—Нет, ты не глупый! Ты умный! Ты очень умный, что касается твоей пользы. Ты только не считаешь трудов других! У тебя совести нету! Ты вот наелся и лежишь и будешь лежать, а отец работай и работай! А если я сейчас брошу работать и тоже лягу, тогда ты завтра будешь сидеть голодный!

Данила медленно встал, перетянул ремешком раздувшийся живот и в развалку пошел к рабочему столу.

— Давай, что̀ работать.

VII.

— Вот, сверли в этих роликах дырочки для осей,—подал отец.—Потом будем выбивать на нем зубчики.

Сталь для роликов попалась густая, сила у Данилы была ужасная, и сверла ломались у него, как спички.

— Что это?—вдруг останавливал свою работу отец и прислушивался к пыхтенью сына:—никак опять сверло сломалось?

— Нет,—чтобы не делать скандала, врал Данила и заслонял от отца свою работу.—Это так. Скрябануло.

Проходило несколько минут, у Данилы под нерассчитанным напором силы опять ломалось сверло, и опять раздавался встревоженный голос отца.

— А это что? Сломалось?

— Нет, это так. Склизануло.

Отец успокаивался.

— То-то... Смотри... А то если мы будем так часто сверлы ломать, тогда нам нет расчета работать... Тогда лучше сразу распродать весь инструмент и стать с протянутой рукой под церквой... Эти сверлы у меня еще старого запасу, а если их покупать сейчас...

Отец рассуждал, учил уму-разуму сына, а сын по мере того как возбуждался подневольной работой, все дальше уносился мыслями из мастерской... Когда ему нечего будет делать в местной студии, он поедет учиться дальше в Москву, в школу живописи, а оттуда еще дальше, еще выше, в Мюнхен, в Академию...

— Потому сверлы, они...

Когда дырочки для осей на всех роликах были готовы, Данила зажимал каждый ролик в тиски и на всей его окружности выбивал острым зубилом мелкие зубчики. Получалось то черное стальное колесико, которое играет такую важную роль в каждой зажигалке.

Афанасий вертел ногой колесо токарного станка и придавал уже готовым частям зажигалок художественный вид: на трубках вытачивал по несколько поясков, срезал острые углы, закруглял на винтиках головки... Будь у него больше времени, тут-то он мог бы показать свое искусство! Но надо было торопиться.

И, бросив взгляд за окно, Афанасий, как всегда, испугался: солнце стало уж нижним краем своего диска на красную черепитчатую крышу соседнего сарая.

— Выбивай зубья веселее!—заторопил Афанасий сына и исступленно завертел ногой вихляющее колесо, сам к концу дня тоже согнутый в колесо.—А то солнце, смотри, уже где!

— А между прочим,—заговорил Данила и метко цокнул молотком по зубилу, оставившему на окружности ролика глубокий рубец:—а между прочим на заводе давно был гудок шабашить, люди там уже свободны и, чистенько одевшись, гуляют по городу...

И он еще цокнул зубилом по ребру колесика, рядом, и еще.

— А он все свое!—изнемогая от работы скривил отец лицо в горькую гримасу:—а он все свое! Помирать будет, а все про это будет говорить: про завод, про чистенькую одежу!

— Обязательно!—твердо сказал Данила и так же твердо ударил молотком по зубилу.

— Грунька!—вдруг заволновался и закомандовал Афанасий и лягнул ногой в дверь, ведущую в смежную комнату.

Дверь распахнулась.

— Разводи скорее мангалку,—продолжал команду Афанасий:—сейчас будем закаливать ролики!

Волнение отца передалось и дочери. Она тотчас же бросила свою работу, вылетела из комнаты, подхватила на ходу мангалку и исчезла за выходной дверью.

Через пять минут перед мастерами стояла пылающая красными угольями жаровня. Они до-красна нагревали ролики, потом бросали их в холодную воду.

— Рубай оси!—все свирепее командовал отец, по мере того как работа принимала более быстрый и нервный характер.—Клепай ролики на оси!.. И теперь не зевай!.. Теперь гони!.. Теперь забудь про альбомчики, про газончики, про все на свете!.. Теперь...

Потом шло столь же энергичное собирание отдельных частей в полные зажигалки.

— Заправляй фитильки!.. Забивай вату!.. Запускай камушки!.. Наливай бензину!.. Пробуй выбивать огонь!..

При последних словах команды возле мужчин появилась Марья.

— Я тоже буду пробовать каждую зажигалку, чтобы знать, с каким товаром завтра выйду на базар.

От постоянного пробования зажигалок и у обоих мужчин и у Марьи большой палец правой руки был исколупан в незаживающую рану, и теперь они все трое, пробуя зажигалки, вертели ролики не пальцем, а всей ладонью, то одним ее местом, то другим...

— Ого!—слышались увлеченные восклицания.—Ого!—Хорошо! Эта прямо любительская! За эту можно деньги взять! Ого! А эта еще лучше! Без одной осечки! Это тоже отдельный товар, не для каждого!

— В зажигалках главное хороший огонь,—возбужденно разговорилась Марья за пробой.—Огонь, огонь и огонь! Покупатель больше кидается на огонь! Другой уже мимо прошел, а ты чиркнешь роликом. он обернется, поворачивает обратно, идет прямо к тебе и смеется на огонь. Тут уже держи цену! Скажешь цену, запросишь, и по лицу его видишь, что его и соблазн берет зажигалку купить, и денег до смерти жаль! А я нарочно выбиваю огонь и выбиваю, выбиваю и выбиваю, даже он начинает от удовольствия жмуриться и потом сам своими руками начинает выбивать! Сам выбивает, а сам думает: хотя она мне и без надобности, куплю, потому, может, зажигалка эта не простая, а какая-нибудь особенная, случайная, краденая, такая редкая, какой потом сто лет не найдешь, а баба-продавщица, дура, не понимает, какую ценную вещь продает, и просит за нее, как за простую. Вот думает, обману сейчас бабу, и платит деньги, даже не торгуясь, ха-ха-ха, чтоб он сгорел от той зажигалки!

Афанасий и Данила тоже повеселели.

— Не зажигалки, а прямо игрушки!—в первый раз за весь день засмеялся Афанасий, с нежной любовью раскладывая новенькие зажигалки на столе в ряд.—Не зажигалки, а куколки!—бережно вытирал он суконкой куколкам какой—ножки, какой—животик, какой—головку.— Конфеты!—в восторге воскликнул он, отступя от стола на два шага и любуясь своими произведениями издали.—Мармалад!—с силой хлопнул он ладонь о ладонь и гордо завращал влево и вправо откинутой назад головой, как бы показывая себя всему миру.—Одна одной лучше!— умиленно сощуря лицо и сложив три пальца правой руки рюмочкой, тоненьким голоском по отдельным слогам пропел он:

— Од-на од-ной луч-ше!..

И послал своим зажигалкам страстный воздушный поцелуй.

— „Второй Репин" дома?—просунулась в дверь со двора приятная, широкоскулая, без подбородка, улыбающаяся голова пожилого простолюдина в новой юношеской студенческой фуражке.—В студию сегодня пойдешь?—засияла приятная голова, завидя в глубине мастерской Данилу.

— А как же?!—весело вскричал Данила и начал энергично прыскать изо рта на руки воду, мылить пенистым мылом лицо, шею, руки.— Обязательно!—говорил он уже из глубины сплошного белоснежного мыльного кома и фыркал:—фыр-фыр-фыр...

Приятель Данилы, очевидно, тоже студист из рабочих, вошел в мастерскую.

— Тут я тебе, Даня, принес студенческую фуражку,—достал он из-под полы сверток и положил на стол.—Она, хоть и подержанная и старенькая, а все-таки студенческая. Примерь сейчас, и если она на твою голову как раз, сегодня же иди в ней на занятия.

— Ррр... Ггг...—послышалось блаженное рычание из недр громадного белого снежного кома, и в одном его месте возникли полные счастья два красных блестящих, смеющихся глаза:—Ррр... Ггг...

(Окончание следует).

Перемена.

(Окончание.)

Мариэтта Шагинян.

ГЛАВА XXIII.

Тетушка и племянники.

Хозяйка-история немцев смахнула со сцены, как после обеда хлебные крошки со скатерти. Немцы надолго выбыли из игры: пробил их час вступить в элевзинский искус.

Америка, Англия, Франция, как на балу, распорядители международной политики с белыми бантиками на рукаве сюртука дипломатов. Дѐла им не обобраться! Ведь делать-то надо не что-нибудь, а все, что захочешь. И, вспомнив о лозунгах полной победы над гидрою милитаризма, о разоружении Европы, о праве народностей, стали они поспешно пускать по морям ежей-броненосцев, а по небу змеями аэропланы. Перья же их заскрипели над военным бюджетом.

Но гостем меж победителями, пировавшими тризну войны, вошло и село бесславье. Не принесла эта война никому ни почета, ни чести. Так после ливня иной раз не станет свежее, а потекут из ям выгребальных нехорошие запахи. Зловонием понесло из всех ям, развороченных ливнем войны. И от зловония застрелился немецкий ученый международного права, оставив записку, что не над чем больше работать.

Тогда появились во всей своей силе усталые люди.

У каждого, кто имел до войны хоть какое-нибудь, передовицей газеты воспитанное, убежденье, война засыпала сумраком сердце. И скрепилось бездумной усталостью, как последним цементом, прошлое, чтоб удержаться еще хоть на локоть человеческой жизни.

По хозяйским владеньям, как кредиторы, заездили делегации англичан и французов. К одному—любезно, как в гости, лишь изредка залезая в карман за счетною книжкой. К другому—без разговоров, с хорошим взводом колониального войска. Очень любезно и снисходительно, в белоснежных манишках, посетили французы и англичане

Россию. В то время Россия для них находилась на юге. Встречены были союзники в Новороссийске с хлопаньем пробок, и проследовали для речей и банкетов в Екатеринодар.

Главнокомандующий, как воспитанный человек, целовал у тётушки руку. Много имела в России Антанта племянников. Каждый верил, что добрая тетя простит грехи молодости, щедро даст из бумажника, подарит солдатиков, ружья, патроны и порох.

Людмила Борисовна, чей муж состоял при союзнической делегации представителем комитета торговли, получила заданье. И тотчас же Людмила Борисовна пригласила к себе молодого поручика Жмынского. Поручик прославился тем, что писал стихи под переводы Бодлэра. Он выдавал себя твердо за старого кокаиниста и по утрам пил уксус, смотря с неприязнью на розовые полнокровные щеки, отраженные зеркалом.

— Я понимаю, — тотчас же сказал Людмиле Борисовне Жмынский, голос понизив:—совершенно конфиденциально. Широкий общественный орган с англо-русскою ориентацией и большим рекламным отделом. Это можно. Я использую все свои связи. Знаменитый писатель Плетушкин — мой друг по гимназии, поэт Жарьвовсюкин — товарищ по фронту. Художник Ослов и Саламандров, ваятель, на „ты" со мной. Если угодно, я в первый же день составлю редакцию и соберу матерьял на полгода!

Но Людмила Борисовна с опасеньем заметила, что имена эти ей неизвестны.

— Вот если бы Дорошевич или Аверченко или хоть Амфитеатров, это я понимаю. А то какой-то Плетушкин!

— Людмила Борисовна! — изумился обиженный Жмынский:—„какой-то Плетушкин"! Да он классик новейший, спросите, если не верите, у министра донского искусства, полковника Жабрина. У него, я вам доложу, есть сочиненье „Полет двух дирижаблей", к сожаленью, не конченное, так ведь это сплошной нюанс! Каждое слово там намекает на что-нибудь... Ну, конечно, не для широкой публики. Там, например, наш ротный выставлен в виде болотной лягушки. А Жарьвовсюкин? А вы смотрели в местном музее на выставке бюст мадам Котиковой, что изваял Саламандров? Бог с вами, вы отстаёте от века!

— Может быть, может быть, но только надо, чтоб все-таки вы нашли имена.

— Странно! Да я, простите, только и делаю, что перечисляю вам имена: Плетушкин, раз; Жарьвовсюкин, два; Ослов, три; и, наконец, Саламандров, четыре. Я, вдобавок, из скромности не упоминаю своей поэмы „Зеленая гибель",—там осталось два-три куплета черкнуть, чепуха, работы на понедельник.

— Поймите же, Жмынский, если б зависело от меня... Я подставное лицо. Наконец, они в праве же требовать, давая английские фунты.

— Дорогая! — Жмынский припал, послюнив ее, к ручке Людмилы Борисовны:—дорогая, не беспокойтесь! Я не мальчик, я учитываю все обстоятельства, ведь недаром же вы оказали этой рыцарской крепости (он постучал себя в лоб) такое доверье... Верьте мне, будет общественное событие, соберу самый цвет, пустим рекламу в газетах... Ерунда, мне не в первый раз, работы на понедельник!

И с фунтами в карманах, растопыренный в бедрах моднейшими галиффэ, вроде бабочки южной catocala nupta, вспорхнул упоённый поручик с гобеленовых кресел.

Потрудился до пота: нелегкое дело создать общественный орган! Говоря между нами, писатели адски завистливы. У каждого самомненье, кого ни спроси, читает себя лишь, а прочих ругает бездарностью. Нужен ум и тактичность поручика Жмынского, чтоб у каждого выудить материал, не обидя другого. Да зато уж и сделано дело! Каждый думает, что получит по высочайшей расценке, сверх тарифа, каждый связан страшною клятвой молчать об этом сопернику. А газеты печатают о выходе в свет в скором будущем журнала „Честь и доблесть России", с участием знаменитых писателей и художников, с добавлением их фотографий, автографов и авто-признаний. Сам Плетушкин дал ряд отрывков из современной сатиры „Полет двух дирижаблей", поручик Жмынский дал „Зеленую гибель" с „окончанием следует", поэт Жарьвовсюкин обещал три сонета о Дмитрии Самозванце, профессор Булыжник — „Экономические перспективы России при содействии англо-русского капитала", мичман Чеббс —„Дарданеллы и персидская нефть". Передовица без подписи будет составлена свыше.

У Людмилы Борисовны, что ни день, заседанье.

Жмынский в чести. Он прославлен. Жена атамана ему поручила наладить в Новочеркасске издательство. Он выбран помощником консультанта в бюро по переизданью учебников для высшей технической школы, он рецензует отдел беллетристики местной газетки. На каждое дело сговорчивый Жмынский согласен:

— Чепуха! Работы на понедельник, не больше!

Посмотрели б его, когда, выпрямив, словно крылья catocala nupta свои галиффэ, ноги несколько врозь, стан с наклоном, блок-нот на ладони, слюнявя свой крохотный в футляре серебряном формы ключа карандашик, поручик впивается в вас, собирая для „Чести и доблести" информацию.

— А что вам известно насчет Московской Чеки?

— Ох, голубчик, не спрашивайте! Тетка покойного зятя подруги моей, что бежала с артистом Давай-Невернуйским, сидела два месяца за подозренье в сочувствии. Так она говорит, что одному старичку-академику, вдруг упавшему в обморок на допросе, сделали с помощью собственных палачей, под видом хирургов, какой-то... как бишь его? позвоночный прокол и вытягивали у безвинного старца жидкость из мозга!

— Ого! Какая утонченность! Пытка Октава Мирбо!

И поручик в отделе

Из советского ада

проставил:

„Палачи не довольствуются простым лишением жизни! Они впиваются в жертву, они ее мучат, высасывают, обескровливают. Последнее изобретенье их дьявольской хитрости — это хирургический шприц, который они втыкают в чувствительнейшую часть нашего организма, в позвоночник, и выкачивают из наших представителей науки мозговую жидкость, в тщетной попытке превратить таким способом всю русскую интеллигенцию в пассивное стадо кретинов. До такого садизма не додумался даже Октав Мирбо в своем знаменитом „Саду Пыток". Доколе, доколе??"

Колоссальный успех информации превзошел ожиданье.

— После этого,— так сказал меньшевик, заведующий потребительской лавкой, сыну Владимиру, гимназисту пятого класса:— после этого, если ты все по-прежнему тяготеешь к фракции большевиков, я должен признать тебя лишенным морального чувства.

— После этого,— так сказала жена доктора Геллера, возвратившегося с семейством обратно:— после этого я могу объяснить себе, как это мы, православные, доходим до еврейских погромов!

Она была выкрещена перед самою войною.

— Но Роза...—пролепетал доктор Геллер смущенно:— это ведь, гм... хирургический поясничный прокол! Ординарная вещь в медицине...

Жена доктора оглянулась, не слышит ли мужа прислуга, хлопнула дверью, блеснула сжигающим взглядом,— и вслед за молнией грянул гром:

— Молчи, низкий варвар, вивисектор, садист, фанатик идеи, молчи, пока я не ушла от тебя вместе с Рюриком, Глебом и Машей!

Рюрик, Маша и Глеб были дети разгневанной дамы.

Поручик Жмынский прославлен. В Новочеркасске, у министра донского искусства, полковника Жабрина, идут репетиции оперы, музыка Жабрина, текст поручика Жмынского, под названьем „Горгона". Комитетские дамы акварелью рисуют афиши. Художник Ослов ко дню представленья прислал свой портрет, а Саламандров, ваятель, автограф. То и другое разыграно будет в пользу дамского комитета. Литература, общественность, даже наука, в чем нельзя сомневаться, объединились с небывалым подъемом. И недаром русский писатель, неоклассик Плетушкин, в знаменитом своем „Полете двух дирижаблей" воскликнул:

„Торопись, Антанта! Близок день, когда взмоет наш дирижабль над Успенским Собором! Если хочешь и ты пировать праздник всемирной культуры, то выложи напрямик: где твоя лепта?"

Выкладывали англичане охотно фунты стерлингов. Записывала приход Людмила Борисовна. Шли донскими бумажками фунты к поручику Жмынскому, а от него простыми записочками с обещанием денег достигали они знаменитых писателей, Жарьвовсюкина и Плетушкина.

— Прижимист ты, Жмынский! Плати, брат, по уговору!

— Да, кабы не я, чорт, ты так и сидел бы в станице Хопёрской. По настоящему не я вам, а вы мне должны бы платить!

Кривят Плетушкин и Жарьвовсюкин юные губы. Чешут в затылке:

— Прохвост ты!

А молодая мисс Мабль Эверест, рыжекудрая, в синей вуальке, журналистка „Бостонских Известий", объезжавшая юг „когда-то великой России", щуря серые глазки направо, налево, записывала, не смущаясь, в походную книжку:

„Ненависть русских к авантюре германских шпионов, посланных из Берлина в Москву под видом большевиков, достигает внушительной формы. Все выдающиеся люди искусства и мысли, как, например, гуманист, поборник Толстого, писатель Плетушкин, открыто стоят за Деникина. Свергнуть красных при первой попытке поможет сам русский народ. Урожай был недурен. Запасы пшеницы у русских неисчерпаемы".

ГЛАВА XXIV,

главным образом шкурная.

Перекрутились на карусели всадники-месяцы, погоняя лошадок. И снова остановились на осени. Знакомая сердцу стоянка!

Свесили, сплакивая дождевую слезу, свои ветки деревья, понурились на поперечных столбах телеграфные проволоки, в шесть часов вечера в окнах забрежжили зори Осрама, наливаясь, как брюшко комариное кровью, густым электрическим соком.

Тянет в осенние дни на зори Осрама. Вычищен у швейцара военного клуба мундир, а вешалка вся увешана фуражками и дождевым макинтошем. Бойко встречает швейцар запоздалых гостей, обещая их платью сохранность без нумерочка. Гости сморкаются, вытирая усы, влажные от дождя, и, пряча руку назад, в карман галифф, военной походкой, подрагивая в коленях, поднимаются по ковровым, широким ступеням наверх, в освещенные клубные залы.

Сюда гостеприимно сзываются граждане, рекомендованные членами клуба. Из буфета пахнет телячьей котлеткой, анчоусами и подливкой, настоянной на сковородах французским поваром Полем. Поль нет-нет и выйдет из кухни, присматривая, как подают и все ли довольны.

Нарядные столики заняты. Дожидаясь, топчутся, блестя лакированными сапогами, офицеры в дверях, под яркими люстрами. Посасывают гнилыми зубами английские трубки. На столиках всё, как в довоенное время: севший закладывает за воротник угол крахмальной

салфетки, оттопырившейся на нем, как манишка. В зеркалах по бокам он видит свое отраженье. Прибор подогрет и греет холодные пальцы; вазочка слева многоэтажна, как гиацинт, на каждой площадке отмечена нужным пирожным, миндальным, песочным с клубникой, „наполеоном“, легким, как пачка у балерины. В углу за разными баночками с горчицей, соей и перцем,—бутылки бургундского и портер, заменяющий пиво.

Лакей уже вырос. Как каменное изваянье стоит он, держа наготове листок, исписанный Полем. Здесь есть ужин из пяти блюд и блюда à la carte, есть русская водка с закуской, есть шведский поднос à la fourchette и блины в неурочное время.

— Я вам скажу,—наклоняется к севшему комендант, полковник Авдеев:—этот Поль не имеет себе конкурентов. Возьмите навагу,—простая, грубая рыба на зимнее время. Навага, когда вам дают ее дома, непременно попахивает чем-то, я бы сказал рыбожабристым, даже просасывать ее у головы и под жаброй противно; ковырнешь, где мясисто, и отодвинешь. А у Поля не то. У Поля, я доложу вам, навага затмит молодую стерлядку. Он мочит ее в молоке, отжимает, окутывает сухарем на сметане, жарит не на плите, а каким-то секретным манером — планшетка на переплете, и все это крутится вокруг очага, минуты две — и готово. Такую навагу, когда вам ее с лимончиком, головка в папиросной бумаге кудряшками, не то что скушать, поцеловать не откажешься. Аромат — уах!— мягкость, нежность,— бывало в Славянском Базаре, в Москве, не ел подобной форели!

Официант в продолжение речи как каменное изваянье. И заказывают, посоветовавшись, два человека, военный и штатский, русскую водку с закуской, заливное, тетерьку и пудинг.

Штатский с крахмальной салфеткой, заткнутой за воротник, маленький, юркий, с томно-восточными глазками, ласков: он ожидает подряда. Военный, честный вояка, с усами, стоячими, как у пумы, отрыжки не прячет, салфетки не развернул, провансаль ножом подбирает. Он охотник поговорить за хорошею выпивкой:

— У меня этих самых катарров никогда никаких. Французская кухня — так давайте французскую. А нет, могу и по-нашему, по-военному, из походного вместе с солдатом. И доложу вам, походные щи имеют особенное преимущество, если хлебать их с воображеньем. В котел вы опустите ложку и не знаете, что выйдет, тут и эдакая из требухи желтая пипочка, помидор, боб, кусок солонины, капустная шейка не проваренная, твердоватая, и много всякой приправы. Я солдат, как детей, баловал. Всякий раз из котла похлебаю, а они „радьстараться вашблагородие“, жулики. Чувствуют! Да, тарелка не то, что котел. Тут вам фантазии нет, все на донышке. Кха!

И, откашлявшись, комендант закусил рюмку водки маслиной, проколотой вилкой.

— Однакоже,— начал сосед, сощуря томно-восточные глазки. Он был расстроен упорством кулинарных сюжетов: — однакож чревоугодие в известное время дает себя знать, как, например, ожиреньем. И по отношению к дамскому полу объедаться имеет свой минус, если верить научным писателям. Мужчина неполный, как говорят у вас по-русски, поджаристый, дольше всех сохраняет примененье способности.

Официант, отогнув калачом с переброшенной белой салфеткой левую руку, нес закрытое блюдо. Говор шел, как шум прибоя, от столиков, пронзаемый острыми всплесками цитры. Дамский румынский оркестр восседал на эстраде, смуглыми пальцами гуляя по цитрам. Все в казакинах, с разрезными нагрудниками, в черных в обтяжку рейтузах, в сапогах с позументом и в фуражке на дамской прическе.

Официант приподнял крышку блюда, и ноздри втянули нежно-горький запах тетерьки. В фарфоровой вазочке поданы брусника в меду, соус из тертых каштанов и нежинский мелкий огурчик.

— Кто там, братец, у вас в колончатой комнате? — осведомился полковник:—двери заперты, а подаётся.

— Их превосходительство, генерал Шкурò кутят с компанией бакинских приезжих.

— А! Шкурò! Мы, пожалуй, поев, перейдем с вами пить в эту комнату, Каспарьянц. Что вы скажете?

Тон был начальственный, и армянин улыбнулся томно-восточными глазками, предвидя затраты.

В колончатой комнате некогда губернатор принимал атамана. Меж зеркалами в простенке, окруженный гирляндами штукатурных гроздей и листьев, висел во весь рост портрет Николая Второго. Подоконники были из отполированной яшмы. Позолоченные ножки и ручки у стильных диванов и кресел, гобеленом обитых, блестели сквозь дым от сигары.

Шкурò, партизан, с отрядом головорезов Кисловодск защищавший и недавно произведенный, сидел меж бакинскими дамами. У одной нежно-розовый цвет щеки, похожей на персик, оттенялся красивою черною родинкой. Черные брови, над переносицей слившись, делали даму похожей на персиянку. Она говорила с акцентом, сверкая брильянтами в розовых ушках... Другая, жена англичанина с нобелевских промыслов, белокурые косы коронкой на голове заложивши, молчала; ей непонятна была быстрая русская речь. Изредка знатная дама, опрошенная соседом, рот разжимала и с различными интонациями провозглашала:

— Oh! Oh! Oh!

То выше, то ниже.

И вскрик этот юркий гвардеец, на ухо даме соседней, называл „трубным гласом“.

Сам англичанин, невысокого роста и толстый, трубкой дымил, не шевеля и мизинцем. Справа, слева, спереди, сзади именитые гости наперебой поднимали шипучие тосты.

Развалился Шкурó, ковыряя в зубах. Скатерть в пятнах от пролитого вина, опрокинутых рюмок, раздавленных фруктов. Кто-то из адъютантов, наевшийся до тошноты, не примиряется с сытостью и доедает икру с лимоном и луком зеленым, ковыряя в ней вилкой. Другой, придвинув жестянку омаров, глядит на нее неотступно: покушать бы, да нет места, душа не приемлет.

— Мы приветствуем, мы... мы... мы,— замыкает тост председатель, кивая лакею. Тот из кадки со льдом вынимает новую длинно-горлышевую бутылку. Хлоп! И шипит золотая струя по бокалам.

— Тише, слово берет фабрикант Гудаутов, тише, слушайте!

— Мы...— мычит небольшой человек, мелкозубый, с седеющей бровью. Посмотреть на него сзади — просто почтовый чиновник, спереди — из просителей, а не то репетитор уроков. А вот нет, он ворочает тысячами рабочих и милльонами ассигновок, на весь юг прославлен богатством:

— Мы должны компенсировать...

— Проще!..— рявкает адъютант.

— Мы должны посодействовать... Если дорого нам сохранить наш юг от заразы, укрепить тыл и так сказать обеспечить промышленность от разоренья в интересах России и экономической культуры, учтём нашу встречу сегодня, передадим в распоряженье генерала Шкуро соединенными силами сумму, необходимую...

— Урра! Подписной лист!

По рукам побежала бумажка. Икая, подписался один на круглую сумму. Другой, чтоб не отстать, сумму с хвостиком, третий не хуже.

— Вот, генерал,— говорил Гудаутов:— извольте принять от российской промышленности, от купечества истинно-русского, от почтительных коммерсантов из армян и татар, в пользу русской культуры за незабываемые победоносные ваши заслуги...

— Браво!—Крикнула зала.

Комендант с Каспарьянцем приютились на мягком диване, возле стола со льдистою кадкой.

Осоловел адъютант. Как пришитые пуговицы из стекла, стали глаза. Склонив голову, без улыбки, молчаливо он положил руку соседке своей на колени. Та сбросила руку. Снова рука, подобно стрелке магнита, потянулась к пышным коленям. Оглянувшись по сторонам, дама вспыхнула, отвела надоедную руку, наклонилась к ее обладателю с отрезвляющей речью. Но как ни в чем не бывало, не моргая тяжелыми веками, оттопырив рот, весь в икре, адъютант шарил пальцами все в одном направленьи.

Зашептались мужчины. Фабрикант подозвал человека. Подмигнув своим женам, мужья указали на двери. Встали дамы, окутывая белоснежные плечи в накидки. Незаметно, одна за другой, дамы вышли, и уже заревела в тёмном провале подъезда сирена автомобиля. А на опустелых местах размещались, рассыпая гортанные звуки с хохотком,

с прибаутками, ежа плечики, топоча каблучками, звякая пуговицами и позументом, черноокие дамы,—приглашенный румынский оркестр. И к адъютанту, коробкой омаров прельщенная, быстро подсела, сверкая зубами и раздвинув рейтузы в обтяжку, арфистка.

Но в остеклелых, как пуговицы, глазах адъютанта мелькнуло тяжелое недоуменье. Рука, направлявшаяся все туда же, вдруг ударила по столу; задребезжали стаканы.

— Нне хоччу!—шевеля языком, как стопудовою тяжестью, произнес адъютант, глядя розовыми от налившейся крови глазами:—ппочему бррюки, нне юбка? Долой!

Снова мужчины, говоря меж собой, указали глазами на двери. Капельдинеры с деликатною речью, под тайным предлогом, за локотки и подмышки повели адъютанта. Ноги не шли. В диванной, где гости курили, он тотчас заснул, стошнив себе на подушку.

А комендант, попивая шампанское, говорил все тому же соседу:

— Ты, Каспарьянц, инородец. Что сей такое? С твоего позволенья сказать — паразит насекомый. На него сапогом наступили и—нет его. А если, как истинно русский, я оказываю доверье, ты становишься человек.

— Значит, надеяться мне, полковник, на ваши слова?

— Дважды не повторяю. Вон гляди, видишь рыженький, мурло в поту, румынке смотрит за лифчик? Из писателей, а захочу—выселю в двадцать четыре часа за кордон,—вот и вся недолга.

Лакеи тем временем очищали столы, выносили их в общую залу и вносили бесшумно на смену им ломберные, с мелком на сукне и резиновой губкой.

Шкуро, сделав в воздухе по-генеральски рукой, уехал, но свиту оставил. Свите стали, усевшись за зеленым сукном, проигрывать именитые гости, бакинцы. И до осеннего невеселого утра, как призраки в свете Осрама, за зелеными столиками, указательный палец в мелу, люди резались в карты, вскрывая колоды, подаваемые до дурноты утомленным лакеем.

ГЛАВА XXV.

Утро профессора Булыжника.

Рыженький, что смотрел румынке за лифчик, выпил последнюю каплю из последней бутылки.

С ним, бессмысленно улыбаясь и карандашиком чиркая по испачканной скатерти, бледный, с намокшими в жилках висками, не слушая сам себя, бормотал профессор Булыжник. Важный пост у профессора, он служит великому делу. Одни разъездные для целей его пропаганды могли бы покрыть бюджет губернской республики. Впрочем, они покрывают и бюджет супруги профессора, живущей под Константинополем, в Золотом Роге, на даче.

— Интеллигенция...— бормочет профессор: — интеллигенция выдержала испытанье. Придите ко мне из Советской России все икс... истязуемые и обремененные, и аз успокою вас. Есть у нас... ик... назначенье для каждого, жалованье, командировочные, чаевые... то-есть чаемые... для надобностей пропаганды.

— Молчите!.. — шепчет рыжий сердито: — всему есть мера. Шестой час утра, спать пора. Я должен быть завтра в Новочеркасске.

Оба под-руку по опустелым, коврами затянутым лестницам, наклоняясь друг к дружке наподобие циркуля, раздвинутого в сорокапятиградусный угол, — сошли и сели на дрожки.

Каждому, кто заснул, отпустив побродить свою душу по нетленным пажитям сна, где пасется душа по сладчайшему клеверу, воспоминанью о том, что было и будет, — каждому, кто заснул, предстоит свое пробужденье.

Один, отходя от нетленного мира, тупо моргает, силясь сознать, кто он есть, что ему делать и как его имя и отчество. Такой человек начинает свой день с раздраженья. Все не по нем, и лучше бы выругаться, чтоб выплюнуть ближнему прямо в лицо накопившийся в горле комок недовольства, а потом успокоиться, и в чувстве вины найти побужденье для дела.

Другой в неге сердца вскочил, осторожно встречая заботы, расчетливый на слова, скрытно-радостный, прячущий тенью век постороннюю миру улыбку. Он бережлив до заката, растрачивая понемножку нетленное веянье сна. Такой человек — гражданин двуединого мира. Сторонитесь его. Он не отдаст себя честной земною отдачей ни жене, ни ребенку, ни другу. Болью вас одарит, ревнивым томленьем, а сам пронесет под светом трезвого солнца счастливое одиночество.

Третий же, пробудясь, первым долгом нашаривает портсигар с зажигалкой. А когда затянулся, дымком скверный запах во рту истребляя, взял часы со стола и привычным движеньем их за макушку стал заводить, — тррик, тррик, тррик, нагоняя им силу. От такого в миру происходит покойный порядок.

Профессору, жившему в бэль-этаже гостиницы Мавританской, за толстыми, пыльными, бархатными занавесками не брежжило утро. Его сапоги коридорный давно уж довел до белого блеска; девушка в чепчике, пробегая по коридору с подносом, несколько раз за ручку бралась, но дверь была заперта. И в приемной профессора, за министерскими коридорами, в здании, наискосок от гостиницы, поджидали, нервно позевывая, интеллигенты.

Лишь отоспав свое время, профессор проснулся. Методически вытянул волосатую руку за портсигаром, подбавил фитиль в зажигалке, закурил и не спеша стал одеваться. Тем временем коридорный принес ему теплой воды в умывальник и поднял тяжелые шторы.

Плохая погода! В осеннее утро пригорюнилась крыша, осыпанная желтолистьем. Скучно в прогольи ветвей бродит ветер, распахивая,

как полы халата, пространства. Неутешительная погода. Несут профессору почту.

Вот уже он умыт, одет и причесан. Парикмахер прошелся по седеющей колкой щетине. На подносе паром исходит, дожидаясь, стакан чистейшего мокко.

Профессор к комфорту не слишком привычен, он любит напоминать, что прошел тяжелую школу. И профессору, прежде чем вырваться из Советской России, пришлось посидеть, как другим, на супе из воблы. Что нужды до маленьких неприятностей? Застегнувшись до подбородка, голову кверху, руки в карманы, их надобно несть по-спартански. Все дело в страдальце-народе: „Только-только дохнула струя освежающей вольности, только-только вышли и мы на арену свободного демократизма,—как кучка предателей, полуграмотных многознаек с типичной славянскою наглостью захлопнула клапан свободы. И неужели интеллигенция не покажет себя героиней? Нам нужны борцы. Мы их принимаем с почетом. Художники, музыканты, актеры, писатели, все, в ком честь не утрачена, идите работать в наш лагерь!"

Подобною рокотливою речью, произнесенною с европейской корректностью, профессор гремел на концертах. И утром, за подкрепляющим мокко, он повторял мимоходом горячие фразы, готовя свое выступленье. Хвалили его красноречье. И верили те, кому выбор был или на фронт, или в отдел пропаганды, что выбор их волен.

— Святынею демократизма, — бормочет в седые усы, разворачивая газету:—брум... брум... мы не выдадим...

А в газете на первой странице:

По приказу за номером 118 были подвергнуты телесному наказанью:

Рядовой Ушаков, 25 ударов — за неотдание чести.

Рядовой Иван Гуля, 30 ударов — за самовольную отлучку.

Рабочий Шведченко, 50 ударов — за подстрекательство к неповиновенью.

Рядовой Тайкунен Олаф, 50 ударов — за хранение листовки, без указания источника ее распространения.

Рядовой Мироянц Аршак, 25 ударов — за неотдание чести.

Рядовой Казанчук Тарас, 30 ударов — за самовольную отлучку...

...Привычно скользят глаза по первой странице газеты. Перечисленью конца нет. Лист поворачивается, пепел стряхивается концом пальца на блюдце,—

„Мы не выдадим на растерзанье святыню демократизма, мы — аванпост будущей русской свободы",— додумывает профессор свое выступленье в концерте.

ГЛАВА XXVI.

Митинг.

По слякоти шла, выбирая места, где посуше, фигурка в платке. Мы с ней расстались давно, и она, за магическим кругом повествовательной речи, проделывала от себя свою логику жизни: сжимала в бессильи ручонки, упорствовала, норовила пробиться сквозь стену.

Кусю выбросили из гимназии. Защитник ее, математик Пузатиков, умер. Вдова-переписчица все же ходила к директору, кланялась.

— Нынче как же без образованья? Дороги закрыты, а она девочка скорая, схватывает на-лету, книги так и глотает. Куда ж ей?

Но директор назвал вдову-переписчицу теткой.

— Вы, тетка, следили бы, чтоб не сбивалась девчонка. Против нее восстают одноклассницы, доходило до драки. Мы беспощадно искореняем политику. Учите ее ремеслу, да смотрите, чтоб эта девица не довела вас до тюремной решотки.

— Благодарю за совет,— сказала сурово вдова и ушла, не оглядываясь, с яростным сердцем.

А Куся утешила мать, чем могла: урок раздобыла,— немецкий язык раз в неделю долговязому телеграфисту. И бегала по вечерам в дырявых ботинках за Темерник на окраину Ростова,— там собирались товарищи.

За Темерником на окраине, носом в железнодорожную насыпь, стоял деревянный домишко. Щели, забитые паклей, все же сквозили. Жил там Тишин, Степан Григорьич, отставной управский курьер, а потом типографский наборщик. Как ослабели глаза у Степана Григорьича, стал он ходить по хуторам книгоношей. Не выручал и на хлеб: хутора покупали разве что календарь, да открытку с лазоревым голубем, в клюве несущим конверт. И пришлось Степану Григорьичу примириться с даровым куском хлеба. Жена, помоложе его, и дочь от первого брака служили на фабрике,— одна в конторе, другая—коробочницей в отделеньи. Кормили его. Полуслепой, с голубым, слишком сияющим взором, седенький, старенький, был он начитанным стариком и мудреным.

Водился никак не со старыми, а с молодожью. Дочь, как со службы вернется, читала ему ежедневно газету. Тишин выслушает и загорится ответить. Бывало при лампе нетвердой рукой нанесет свой ответ на бумагу, глядя поверх нее. Строчки кривы, буквы враскидку.

— Разберут ли?—сомнительно спрашивает.

— Разберут,—отвечают ему, чтоб утешить.

А он пишет и пишет.

И часто, в старом конверте со штемпелем городской Ростовской управы, получали сотрудники „Приазовского Края“ длиннейшие письма·

Неразборчивые, перепутанные, как на китайской картинке, буквы шли вверх и вниз не по строчкам. Смеялись сотрудники, не умели прочесть смешную бумажку. Так бросают иной раз зерно в написанном слове, и летит оно с ворохом вымысла городской ежедневною пылью мимо тысячи глаз и ушей, пока не уляжется где-нибудь, зацепившись за землю. Облежится, набухнет, чреватое жизнью, просунется ножками в почву, а головкою к солнцу. И уже зацветает росток, в свою очередь дальнюю землю обсеменяя по ветру.

Суждено было лучшим мыслям Степана Григорьича многократно лежать погребенными в редакционной корзине. Голова с сильным лбом, крепко выдавшимся над седыми бровями, широкодумная, ясная, думала в одиночку. Но бойкий мальчишка, составлявший обзор иностранной печати, бегал за помощью к Якову Львовичу; однажды и он получил таинственный серый конверт и ради курьеза понес его по знакомым.

Яков Львович при лампе разобрался в каракулях. Издалека, не по адресу, крючками, похожими на гиероглифы, летело к нему на серогрязной бумаге близкое слово. Вычитав адрес, пошел он к Степану Григорьичу на дом.

Как надобно людям общенье! Друг другу они нужнее, чем хлеб в иные минуты. Целые залежи тем отмирают в нас от неразделенности, и без друга стоит человек, как куст на корню, усыхая. Когда же раздастся вблизи знакомое слово, душа встрепенется, еще вчера сухостой, а нынче, как померанец, засыпано цветом. Забьются в тебе от общенья родниковые речи. И говоришь в удивленьи: опустошало меня, как саранча, одиночество!

— Нужны, нужны, родимый, человек человеку, — сказал старик Тишин:—погляди-т-ко, в природе разная сила, газовая аль металлическая тягу имеет к себе подобной. Так неужто наш разум в тяготеньи уступит металлу? Я вот слеп, сижу тут калекой, а летучею мыслью проницаю большие пространства. Зашлю свое слово на писчей бумажке, да и думаю: нет резону, чтоб противу целой природы сила пытливой мысли не притянула другую.

— Откуда у вас эта вера в грядущее, Степан Григорьич?

— А ты попробуй-ка жить лицом к восходу, как цветенье и травка. Дождь ли, облачно ли, а уж злак божий знает: встанет солнце не иначе как с востока. Молодежь — она так и живет по ней, как по конпасу, виден путь исторический.

Обрадовался старик собеседнику, разговорился. До самого вечера, сидели они у окошка. А вечером понабралось в светелку с предосторожностями горячего люду: студентов варшавского, а ныне донского университета, железнодорожников, девочек с курсов и с фабрики, партийных людей, в подполье отсиживавших промежуток своих поражений. Было чтенье, потом разговоры. Яков Львович узнал о судьбе Дунаевского, о замученном маленьком горбуне, в морозных степях

под шинелькой наспавшем себе горловую чахотку. Был у него теперь угол, куда уходил он от осенней бессмыслицы жизни.

Вот туда поздним вечером, кутаясь в шаль и выбирая места, где посуше, и торопилась подросшая Куся.

Много было в светелке народу, на этот раз больше, чем прежде. Выходя на крыльцо покурить, каждый зорко выглядывал в осеннем тумане иных следопытов, нежелательных для собранья. Но место глухое, за железнодорожною насыпью, мокрое, мрачное, служит хорошим убежищем, не навлекая ничьих подозрений.

Кусю встретил студент, первокурсник Десницын, недавно вернувшийся в город и теперь ведший тайно работу средь студенческих организаций. Дело было сегодня серьезное, требовало обсуждения. Вокруг стола закипела беседа.

— Вам хорошо говорить, товарищ Десницын, — ораторствовал небольшой, полный студент, снискавший себе популярность: — вы ни-ничего не теряете. Я же считаю, что всякое выступление сейчас бессмыслица, если не тупость. Студенчество хочет учиться; в нем преобладают кадеты, солидный процент монархистов. Такого студенчества, как у нас, Россия не помнит. Не то, что забастовать, а попробуйте только созвать их на сходку.

— Тем более,—начал Десницын:—такую мертвую массу расшевелить можно только событием. Помилуйте, мы студенты, мы единая корпорация на весь мир, и нашего брата, студента, избили в Киеве шомполами, до бесчувствия, и мы это знаем, снесем и будем молчать! Русский студент—когда же бывало, чтоб ходил ты с плевком на лице и все, кому только не лень, плевотину твою созерцали?

— Гнусный факт, — вступилась курсистка с кудрявой рыжей косою: — будет позором, если донское студенчество не отзовется. В Харькове, в Киеве был слышен голос студента по этому поводу.

— Ревекка Борисовна, вот бы вам и попробовать выступить, — ехидно воззрился полный студент, снискавший себе популярность. На шее его, как у лысого какаду, прыгал шариком розовый зобик.

— Не отказываюсь,—сухо сказала курсистка.

Куся подсела к ней, обняв ее нежно за талию.

— Спасибо за мужество, товарищ Ревекка,—через стол протянул ей руку Десницын:—поверьте мне, чем бессмысленней вот такие попытки с точки зрения часа, тем больше в них яркого смысла для будущего. Если бы наши коллеги в мрачную пору реакции слушали вот таких, как милейший Виктор Иваныч (он бровью повел в сторону полного оппонента), то мы не имели бы воспитательной силы традиций. Грош цена демонстрации, когда масса уже победила, когда каждый Виктор Иваныч безопасно может окраситься в защитный цвет революции.

— Это личный выпад, я протестую!—крикнул, запрыгав зобком, полнокровный студент в возмущеньи: — если товарищ Десницын не возьмет все обратно, я покидаю собранье!

— Идите за нами, а не за кадетами, и я скажу, что ошибся.

Пожимая плечами, с недовольным лицом, оппонент подчинился решенью.

Долго, за ночь, сидели в беседе горячие люди. Решено было завтра, в двенадцать, созвать в самой обширной аудитории сходку. Ревекка Борисовна выступит с речью. Курсистка, блок-нот отогнув, задумчиво вслушивалась в то, что вокруг говорилось, и набрасывала конспект своей речи. И Куся проникнет на сходку. То-то радости для нее! Кумачем разгорелись под светлой косицею ушки.

Долго, за ночь, когда уж беседа умолкла, сидело собранье. Разбирали заветные книжки, привезенные из Советской России. И взволнованным голосом, останавливаясь, чтоб взглянуть на Степана Григорьича, читал Яков Львович „Россию и интеллигенцию" Блока. Когда же впервые, контрабандой пробравшись через кордоны, зазвучали в маленькой комнате слова „Двенадцати" Блока, встало собранье, потрясенное острым волненьем. Лучший поэт, чистейший, любимейший, дитя незакатных зорь романтической русской стихии, аристократ духовного мира, он, как верная стрелка барометра, падает, падает к „буре", орлиным певцом ее! Он, тончайший, все понимающий,— с нами! И любовь, как горячая искра, закипала слезами в глазах, ширила сердце.

— Блок-то! Блок-то!

— И они там, на севере, учителя, доктора, адвокаты, писатели, не научились от этого, не доверились совести лучшего!

Поздней парниковые юноши, вскормленные революцией, отвергали „Двенадцать". Но те, кто пронес одиноко на юге России, средь опустошительной клеветы и полного мрака, свое упрямое сердце, знают, чем обязана революция Блоку. Искрой, зажегшейся от одного до другого, радугой, поясом вставшей от неба до неба, были „Двенадцать", сказавшие сердцу:

— Не бойся, ты право! Любовь перешла к тем, кого именуют насильниками. В этом ручаюсь тебе я, любимейший русский поэт...

Шли в темноте, близко друг к другу прижавшись, взволнованные Ревекка и Куся.

— Ах, как прекрасно, как радостно! Куся шепнула соседке: — знаешь, я чувствую, что скоро весь мир станет советским. Вот попомни меня, поймут и один за другим, на перегонки, заторопятся люди устраивать революцию. И музыка, музыка, музыка пройдет по всем улицам мира, а я стану тогда барабанщиком и пойду отбивать перемену: трам-тарарам, просыпайтесь! Играю вам утреннюю зарю, человечество!

— Молчи, не то попадемся,—шепнула Ревекка:—ох, вот за такие минуты не жалко и жизни! Даже думаешь иной раз, если долго чувствовать счастье, сердце не выдержит, разорвется!

— Ривочка, я маме сказала, что буду у вас ночевать. А ты не забудь, что обещала провести меня завтра на сходку.

— Успокойся, не позабуду!

Родители курсистки Ревекки были ремесленниками. Ютились они, где еврейская беднота, на невзрачной Колодезной улице. Вход к ним был со двора и в первый этаж с подворотни. Жили они чуть побогаче соседей. Сын, часовщик, помогал, дочь старшая шила наряды в магазин Удалова-Ипатова, а Ревекка давала уроки.

В первой комнате, за столом, под электрической лампочкой, ужинала семья, не дождавшись Ревекки.

— А, пришла наконец, садись, садись, и Кусе будет местечко.

Ласковый, важный, седой, как лунь, патриарх потеснился с благосклонной улыбкой, посадив к себе Кусю. И мать, еврейка, с острым, нуждой изнуренным лицом, худая, как жердь, наложила е ыбы с салатом. Кусю любили в семье за бесхитростность.

— Редкий христианин, сколь он ни ласков с тобой, станет есть у еврея, как у своих, с аппетитом. Это ты знай, мать, и Ривка запомни, чтоб не запутаться с гоем. А девочка Куся, благослови ее Ягве, ест наш кусок небрезгливо.—Так не раз говорил патриарх, садясь, помолившись, за ужин.

Кончили, руки умыли и разошлись на ночлег. Куся с Ревеккой вместе легли и долго еще молодыми, заглушенными голосами о всемирном советском перевороте шептались.

Ранним утром еще темно на улицах и в квартире. Медленно начинается день привычными звуками. Вот застучал по соседству колодкой сапожник. Полилась из крана вода, скрипнули резко ворота. Старьевщик, сиплым голосом выкликая товар, прошел по дворам, и хозяйки несли ему собранные пустые бутылки.

Невзрачное утро, а все-таки утро. И босоногая детвора, гортанно горланя, съев, кто луковку с солью, кто хлеб, а кто побогаче—лепешку,—бежит, как на лужайку, в грязные недра двора, заводить беспечные игры.

Куся с Ревеккой вышли из дому без четверти девять, чтоб Ревекка успела сходку наладить и подготовить свое выступленье. Белая девушка, веснушчатая, с серым, ясным, не робеющим взглядом, шла, как стройная лебедь, подобрав кудрявую косу. Вышла Ревекка в отца, патриарха: лишнего не болтала, сказанного держалась. Нежно поглядывали на Ревекку приказчики торговых рядов, где подержанным платьем торгуют. Не одна беспокойная мать засылала к родителям сватов. Но Ревеккина мать отвечала: учится девушка, ученая будет нам не до сватов.

Все утро, по коридорам университета, осторожно шмыгала Куся. Как бы хотелось ей тоже учиться тут, вместе с другими! Лаборатория, библиотека, курилка! А на стенах бесконечные схемы, таблицы, под стеклянными крышками гербарии, бабочки, чучела. Физический каби-

Тот же, кто мудрою жизнью обласкан, не раз и не дважды вспомнит об этом.

В градоначальстве хмурили брови, говоря о броженьи студентов. Сорвалась забастовка, а вдруг состоялась бы? И где же! В центре Добровольческой армии, где населенье благословляет спасителей. Недостаточно, значит, отеческое попеченье, не зорки глаза у того, кого следует.

Тот, кому следует, привычной дорогой пошел выполнять порученье. Выходя из ворот градоначальства, с виду он был независим и литературен. Мягкая шляпа не по казённому ползла на затылок. Волосы, вьющиеся не по казённому, спускались на плечи. Глаза смотрели открыто. Во многих домах принимали его за писателя и проповедника из народа.

— Дóма, дóма, пожалуйте,—сказали ему приветливым голосом за парадною дверью, куда он звонил. Загремела цепочка, дверь открыта, и независимый, с рассеянным взглядом российского идеалиста, поднялся по лестнице. В движеньях его была задушевная мягкость.

Гость, подобный ему, не в тягость хозяину, хотя б и пришел в неурочное время. Гость, подобный ему, хоть и не носит подарков, не приглашает ответно к обеду и ужину, да зато и не скажет вредного слова, не испортит вам настроенья. Он знает, где у вас самое слабое место. К слабому месту подходит он осторожно, на цыпочках. Вам в разговоре неоднократно обмолвится, что не след такой тонкой и благородной душе зарывать себя в мертвой провинции. Ваше печенье превознесет над печеньем Варвары Петровны. У Коли найдет изумительный профиль, а у Манечки, барабанящей на фортепьяно, блестящую технику... Гость такой не скупится на время и не щадит ни себя, ни ушей своих.

— Манечка, перестань, ты надоела Константин Константиновичу!

— Что вы! Оставьте ее, она играет, как ангел. Уверяю вас, я эту девочку мог бы слушать весь день.

И ладонь на глаза положив, а другою рукой меланхолически такт отбивая, странный гость отдает перепонки свои растерзанью.

Но лучше всего он бывает в те дни, когда ссорятся перед ним хозяева дома. Обласканный ими, он в доме свой человек. И частенько темные тучи, дождавшись его, вдруг обрушиваются на весь дом облегчающим ливнем. Ссоры бывают двоякие: мужа с женой и родителей с детками. В первом случае видеть отрадно, как приветливый гость, защищая того и другого, убеждает обоих в правоте обоюдной. Во втором же—мягкою речью он детям внушает уважение к старшим, этих миленьких ангелов против себя ничуть не настроя.

— Сил больше нет, Константин Константинович, вы свой человек, вы ведь знаете, это изверг, упрямый, как вот эта стена, самодур. Он бы рад уморить меня!

— Ай-ай-яй, как вы сами перед собой притворяетесь злою! Вы же внутренно духом скорбите сейчас за него, и, как будто, я вас не знаю, чудесная вы душа,—готовы первая протянуть ему руку.

— Чорта с два! Так я и взял протянутую ввиде милости руку! Набросилась чуть свет ни с того, ни с сего, позорит при детях,—пусть просит прощенья!

— Ай-яй-яй, кричите, а у самих под усами улыбка. Юморист вы, ей-богу. Записывать ваши словечки, так не хуже Аверченки. Ну, признайтесь открыто, вы пошутили... Друзья мои милые, люди вы наилучшие в мире, будет вам. Улыбнитесь! Вот так-то.

И, супругов сведя, долго еще Константин Константинович покуривает табак и смеется от чистого сердца. Да, это вам гость, от которого дому лишь прибыль.

Вот и нынче, с сердечной веселостью он целует ручку хозяйке:

— Поправились! Цвет лица, как у Юноны... А детки, здоровы? Что Виктор Иваныч, бедняжка, уж начал бегать по лекциям?

— Садитесь, садитесь, Константин Константиныч, будем пить кофе. Дети в гимназии, Манечка насморк схватила... А вот Виктор,— Виктор опять бесконечно меня беспокоит.

— В чем дело, хорошая моя? Что затеял наш годеамус?

— Витя, иди сюда! Пусть он сам вам расскажет.

В столовую вышел хмурый, еще не побрившийся, Виктор Иваныч, застегивая на ходу студенческий китель.

— Здравствуйте, мамаша опять распустила язык. Ничего такого особенного, возня со всякими делами. Я, мамаша, кофе без молока буду.

— Опять черное кофе с утра! И без того нервы у тебя так и ходят. Виктор наш, Константин Константиныч, на беду свою пользуется слишком большой популярностью. Студенты ему доверяют...

— Не без основанья, конечно!

— Так-то так, да самому Виктору от этого мало хорошего. Вместо ученья изволь там суетиться по всякому поводу, рисковать своей шкурой, бегать на сходки...

— Сходки? Кстати, Аглая Карповна, был я вчера у знакомых и мне говорили, что ходит слух о возможности ареста каких-то студентов. Я надеюсь, Виктор Иваныч, вы не замешаны в этом. Вчера будто, было какое-то антиправительственное выступленье...

— Кто вам сказал? Какой арест?—всполошился Виктор Иваныч.

— Не волнуйтесь, голубчик, вас это разумеется не коснется. Вы же всегда были благоразумны! Арест главарей вчерашнего выступленья. Говорят, их никак не могут дознаться.

— А что с ними будет?

— Очевидно, их мобилизуют для немедленной отправки на фронт. Так, по крайней мере, я слышал.

— И поделом!—вскрикнула Аглая Карповна резко:—что за низость мутить молодежь, когда наш фронт героически борется для спасенья России. Как-будто нельзя потерпеть какой-нибудь год, пока не очистят Великороссию. Уж эти мне голоштанные бунтари, учиться им лень,—вот и бунтуют.

— Мамаша, да помолчи ты! Я сам был... То-есть я сам сидел эстраде в числе участников... Константин Константинович,—умоляю вас, это серьезно?

— Серьезно, родной мой. Вы испугали меня. Неужели вы были вчера на эстраде?

— В том-то и дело... ах, чорт! Ни за что, ни про что... Вот история. И ведь так я и думал, что это нам даром не обойдется.

— Так зачем же?

— Что зачем? Разве я идиот? Разве я им целый день не долбил, что это колоссальная глупость? Я на-чисто отказался... О, чорт бы побрал ее, эта дура тут сунулась...

— И, наверно, жидовка какая-нибудь!

— Мамаша, вы меня раздражаете, я стакан разобью,—крикнул диким голосом Виктор Иваныч:—и без вас можно с ума сойти!

— Да что вы волнуетесь, Виктор Иваныч? Вы говорите, „она"... Значит, курсистка. Ну и слава богу, жертвой меньше. Валите-ка все на нее, ведь курсистку на фронт не пошлют.

— Да на что мне валить? Вот придумали! Вам каждый студент подтвердит, что она вылезла против моих же советов. Я бесился, моя репутация может заверить вас в этом. Чем же я виноват, если навязывают мне дурацкие авантюры!

— А кто она такая?

— Ревекка Борисовна, математичка. Упряма, как столб,—сколько ни спорь с ней, ни на ноготь от своего не отступится.

— Ревекка Борисовна, а как дальше?—и приветливый гость занес фамилию в книжку:—я, кажется, где-то встречался с ней.

— Рыжая, веснушчатая, на колонну похожа. Руку пожмет вам, так съёжишься, сильная, как мужичка.

— Да, вот ведь история... Волнуется молодежь. Ах, годеамус, годеамус мой милый, неисправимый!

И, против обыкновения, хозяев не слишком утешив, встал Констатин Константиныч, рассеянно улыбнулся, попрощался и вышел. Спускаясь по лестнице, подмигнул своему отражению в зеркале: да, брат, такой-сякой, если б знали они, с кем...

Наверху же, из-за стола не вставая, сидели по-прежнему Виктор Иваныч с мамашей.

— Этот ваш Константин Константиныч—хитрый пес, уж очень он все выспрашивает, да вынюхивает, да записывает—переборщил!

— А тебе что за дело?—ответила, чашки перемывая, мамаша:—ты свое слово сказал в нужный час, и помалкивай. С такими людьми надо

жить в дружбе. И напрасно ты, Витя, не сообщил ему между словами адрес этой Ревекки.

— Отстань!—с сердцем стул отодвинув, сын вышел на кухню побриться.

Между тем Константин Константиныч, задумчивый, волоокий, с волосами по плечи, путь свой держал не домой, а во дворец градоначальника Гракова.

ГЛАВА XXVIII.

Градоначальник Граков.

Градоначальник Граков во время Деникина был большою фигурой. Красноречье донцов не давало градоначальнику ни сна, ни покою.

— Воображают,—говорил он,—что пописывают изрядно. А на деле ни тебе ерудиция, ни тебе елоквенция. Вместо же этого одна ерундистика и чепухенция! Эх, взял бы перо да показал бы писакам, как можно пройтись по печатному. Затрещали бы у меня казачьи башки, как под саблей.

— Что ж, ваше превосходительство, останавливаетесь? Дерганите их,—говорили ему сослуживцы:—ваше дело начальственное, что ни прикажете, напечатают, да еще на первой странице.

— Знаю сам, напечатают. Да завистлив народ, особенно к чистому русскому имени. Пойдут говорить... А я, признаться, не люблю за спиной разговоров.

— Что вы, что вы, кто же осмелится-то!

— И осмелятся. Народ нынче вышел зазорный, родной матери юбку подымут...

— А вы, ваше превосходительство, в форме приказов.

— Приказами, ха-ха-ха, вроде этих донецких? Это можно. У меня в канцелярии пишут, поди, каждый день по приказу. А ну-ка попробую я по-своему, по-простецки, истинной русскою речью. Заполонили у нас, мои милые, эсперантисты газету. Книга, которая нынче печатается, чорт ее разбери, что за книга. По букве судя, будто русская, даже иной раз духовная, про бога и чорта. А как начнешь читать—эсперанто, убейте меня, эсперанто. Слова такие неласковые, пятиаршинные: антропософия, мораториум, рентгенизация, прочтешь, так словно пальцем в печёнку тебя. А газеты и того хуже. Как-то я подзанялся статистикой у себя в кабинете, со старшиной дворянского клуба, Войековым. Люди оба начитанные, с образованьем. Ну, и высчитали, что у нас на всю империю русских газет, кроме „Нового Времени", нет: все издаются сплошным инородцем. Вот каково было дело до революции. Судите же, что стало ныне!

— Так вы бы решились, ваш-превосходительство, в форме приказов!

И Граков решился.

Вышел как-то, с чеченцем-охранником в двух шагах от себя, прогуляться по улицам, отечески поглядеть на осеннюю просинь да спознать в бакалейных, какова нынче будет икорка, и удивился: прямо, против него, из подъезда гостиницы Мавританской, глядел на него человек не последней наружности. Глядел вот так просто и прямо, как смотрят иной раз убитые зайцы, висящие за хвосты в зеленных, или кролики на прилавке,—ничуть не смущаясь, пристально, как говорится—с апломбом. Конечно, был генерал в своем инкогнитном виде и даже чеченца пустил за собой в отдаленьи, но все-таки градоначальник, помазанник в своем роде, и у него на лице есть же нечто! К тому же был вывешен в фотографии Овчаренко его портрет поясной со всеми регалиями. Как же можно этак уставиться на генерала посреди улицы? Отвел градоначальник глаза, размышляет:

— Кто бы таков? Из себя благородный и не штафирка. Близорук я, а вижу, что на плечах николаевская шинель. Бакенбарды... Скажите пожалуйста, в России живем, а тоже пускает иной английские бакенбарды неведомо с какой стати. Погляжу вдругоряд.

Поднял глаза—тьфу! Как бомбометатель или переодетый Бакунин, глядит на него из подъезда гостиницы Мавританской в упор внушительный и не последнего вида мужчина. Грудь колесом, как лошадиные бедра, два-три ордена (не разберешь издали), пышнейшие баки и этакий бычий взгляд, круглоглазый, остервенело-спокойный. Не гипнотизер ли заезжий из Константинополя, как-нибудь примостившийся к транспорту пуговиц для Добровольческой армии.

Градоначальник, мановеньем бровей, наведя на лицо начальственный окрик, перешел тротуар и на ходу, мимо подъезда гостиницы Мавританской, отрывисто бросил:

— Кто таков?

— Проходи,—спокойно ответил неизвестный мужчина:—чего лупишь глаза? Много вас тут цельный день охаживают подъезды.

— Ваш-прывосходытельства, ваш-прывосходытельства,— шепнул чеченец градоначальнику, стремительно его догоняя:

— Этта швыцар, швыцар гостыница, прастой швыцар.

Успокоился градоначальник, размотал с шеи гарусный шарф, отдышался. И тут, не доходя до бакалейных рядов, осенило его вдохновенье. Даже в пальцах зуд побежал, как от мелкого клопика. Оборотился градоначальник и быстро, с военною выправкой, зашагал назад во дворец.

— Неси мне,—сказал он слуге,—перо и чернила!

На следующий день газетчики, выбегая с пачкою теплых газет, кричали надрывно: „приказ градоначальника Гракова о швейцарах"!

„Швейцары",

так начинался приказ:

„Я вашу братию знаю. Вы там стоите себе при дверях, норовя содрать чаевые. Я понимаю, что без чаевых вашем

брату скука собачья. Однако кто вас поставил в такое при дверях положение? Кому обязаны всем? Городу и городскому начальству. Поэтому требую раз-на-всегда: швейцар, сократи свою независимость. Если ты грамотен, читай ежесуточно постановленья и следи при дверях, кто оные нарушает. Неграмотен, — проси грамотного разок-другой прочесть тебе вслух. Такой манеркой у нас заведется лишний порядок на улицах, а порядком всем известно нас Бог обидел.

Градоначальник Граков".

Выход в литературу градоначальника Гракова вызвал смятенье. Заскрежетали донцы: не усидел, позавидовал! Петушились в канцелярии: пусть теперь сам потрудится над городскими приказами. Волненье пошло в зеленных, бакалейных и рыбных рядах, собрали между собой, поднесли открыто, с подъезда, икону Георгия Победоносца, повергающего дракона, а со двора на кухню доставили аккуратное подношенье, первый сорт; упаковка без скупости, в ящиках.

— Отец родной,—сказал бакалейщик Терентьев:—не оставь. Нонче, сказывают, ты всем велишь законы читать, а иначе штрафуют. Прикажи бога молить... Чтоб у меня да когда-нибудь тухлый товар! Да нешто я родителев моих обесславлю? С восемьдесят шестого годика фирму имеем. Чтоб мне на том свете без языка ходить!

— Хорошо, хорошо, иди себе, не волнуйся,—милостиво отпустил его градоначальник, супруге своей, распаковывавшей подношенья, с улыбкой промолвя:

— Чуден устроен русский человек! Воистину, пупочка, за границей русского человека не поймут. Я на швейцаров, а они, что ни скажи, сейчас на себя принимают.

— Святая наивность!—умилилась градоначальница, сортируя закуску.

Весь этот день был у градоначальника вроде масленицы. Поданы были, во-первых, не по сезону блины с таким балыком, что сам войсковой старшина дикой дивизии, знаменитый вояка Икаев, языком сделал во рту на манер перепелки. Во-вторых, закатила градоначальница после блинов стерляжью уху; тут уж Икаев, войсковой старшина, курлыкнул, как дятел. Только малость подпортила настроенье сходка студентов.

— Эх,—говорил после обеда, ковыряя в зубах гусиною зубочисткой, градоначальник:—добр я, славен я, никому, даже ворогу, не желаю чумы или там нехорошей французской болезни. А вот этому, кто подзюзюкивает мою молодежь на зазорное дело, честное слово не пожалел бы распороть поперек тула шов, да вложить в нутро бак с бензином, да пустить в него после зажженною спичкой. Лютость во мне на него, как бывает иной раз на блошку. Блошку, если изловишь, ты смочи для начала слюной ее, чтоб она чуточку обмерла, а потом жги ее прямо на спичке. Ну, доложу вам, и разбухает же блошка, что ни

на есть самомалейшая! И откуда такой брюханчук из нее, и как лопнет: тррап!

— Что это ты за ужасы после обеда рассказываешь? Слушать противно.

— Я говорю, моя милая, к слову. Так вот так бы, Икаев, мы с тобой возбудителя забастовок, ась?

— Кха-кха-кха!—залился ястребиною трелью Икаев.

А в дверях в это время, как доверенное лицо, без доклада, с задушевною милой улыбкой, волоокий, задумчивый, волоса по плечам, Константин Константиныч.

— А, милейший, почуял стерлядку? Опоздал, брат. Ну, не кисни, там тебя вдоволь накормят, не бойсь, все оставлено по нумерации. Говори, какие дела?

— Что предложено было мне вашим превосходительством к исполненью, то и сделано неукоснительно. Хотя очень труден мой долг, и, если принять во вниманье малейший риск, возбужденье чьей-нибудь подозрительности...

— Ну, пошел! Перед нами не пой. Свои люди. Цену товара, не дураки, понимаем. Кто же этот перевертун митинговый?

— В том-то и дело, ваше превосходительство, что на сей раз предмет деликатный,—не он, а она, курсистка Ревекка Борисовна...

— Ревекка?.. ох, удружил, ох-хо-хо-хо, удружил, охо-хо-хо, не позабуду, спасибо! Вот так центр тяжести! Вот так открытие, Икаев, а?

— Кха-кха-кха, — загромыхал орлиным клекотом войсковой старшина.

— Нет, право, Петенька, ты после обеда себе прямо-таки надсаживаешь пищеваренье. Разве нельзя то же самое выразить в покойной, гигиенической форме?

— И выражу, если хочешь. Вот что: веди ты его в буфетную, да скажи, чтоб его покормили, начиная с закусок. Ты же, друг Икаев, дело свое понимаешь. Смекай: донское студенчество верноподданное, то бишь патриотическое, в отношеньи политики никогда никаких. А если иной раз заводятся всякие там говоруши, так они инородческие, и мы их железной рукою. Дурную траву из поля вон, понял?

— Экх,—вырвалось у Икаева, как плевок молодого верблюда.

И уже, вдохновившись от крепкой сигары и хорошего бенедиктина, почувствовал градоначальник прилив вдохновенья. Жестом позвал он слугу, и тот принес ему столик, перо и чернильницу.

„Приказ градоначальника Гракова“...

Дернул Икаев его за рукав; красные в веках обращались глаза, не моргая. От старшины пахло крепкою спиртной накачкой.

— Арэстуишь?—спросил он, вытянув губы, как коршун.

— Дам приказ об аресте. Ты его с дикой дивизией приведешь в исполненье, ограждая арестованную от возмущенной толпы, понимаешь? Ну, и доставь ты ее по начальству в Новочеркасск, там разбе-

рут, что с ней делать. Только смотри у меня! Я тебя знаю! Ты не юрист, а дело свое понимаешь. Но чтоб ни-ни-ни-ни, ни волоска!

— Карашо.

И опять наклонился над белой бумагой градоначальник. Сладкое пробежало по жилам, от бренных забот уводящее, вдохновенье. Слова полились на бумагу:

„Ревекка Боруховна! Нам все известно. С какой стати взбрело вам мутить честную русскую молодежь? Какое вам, подумаешь, дело, что где-то там в Киеве с каким-то студентом что-то случилось? А если в Новой Зеландии с кем-нибудь неправильно обойдутся, так вы и в Новую Зеландию смотаетесь? Нет, сердобольная моя, у нас на этот счет закон писан короткий. Евреи, уймите свою молодежь!

Ростовский на Дону
градоначальник Граков“.

Вечером этого дня... впрочем, о вечере ниже.

А на утро другого дня газетчики, выбегая с пачкою теплых газет, кричали надрывно:

„Приказ градоначальника Гракова о Ревекке Боруховне“!

„Приказ градоначальника Гракова о Ревекке Боруховне“!

ГЛАВА XXIX.

Смерть Ревекки.

У старой еврейки, с заостренным заботой лицом, Ревеккиной матери, был заповедный сундук. В этот сундук она складывала из году в год приданое дочери: ленточку, пару чулок фильдекосовых, розовые, обшитые шелком резинки, штуку белья, дюжину пуговиц, косынку. Так набиралось от скудного сбереженья добро. И в день субботний, из синагоги вернувшись, любила она сундук раскрывать на досуге.

Были при этом соседки. Заходили и те, кто прочил Ревекку в невестки. Разглядывали добро, перебирая руками. И многими вздохами делились между собою, женскими вздохами, непонятными для мужчины.

Вышло так и сегодня. Патриарх, очки на носу, с огромнейшим фолиантом, примостился у лампы. Губы шептали слова, а пальцем левой руки бродил он, себе помогая, по строчкам справа налево. Высокое благодушие на лице патриарха: сегодня в семье не услышит никто от него тяжелого слова.

Соседкам легко. Без страха сыплют они, как горох, гортанные речи. Как ни бедна мать Ревекки, а каждый, сердцем живой, найдет по соседству другого, себя победнее. Нашла и она победнее себя отдаленную родственницу с сыном калекой. Им мать Ревекки приберегала кусок и на праздник пекла для калеки любимое блюдо, сияя от гордости: дар беднейшему—бедных богатство.

И сегодня, гостей угощая, что-то слишком разговорились уста ее наперекор осторожному разуму. Сын, часовщик, принес в подарок Ревекке золотую часовую цепочку. Вынув ее из бумажки, соседки ощупывали каждое на цепочке колечко, смотрели, щуря глаза, на пломбу, все ли в порядке.

— Хорошие у вас дети, Фанни Марковна,—говорили соседки,— красивые, умные, с малых лет зарабатывают. Характером не горячие, Ривочке что ни скажи, никогда не рассердится, объяснит терпеливо, словно маленькому ребенку.

— Ох, хорошие,—ответила мать,—дай бог всякому таких детей, как мои. Счастлив тот будет, кому достанется Рива. Учится днем, учится вечером, придут к ней товарищи, между собой говорят, как по книге, а гордости в ней меньше, чем в пятилетней девчонке. Такая простая, да милая, что не стыдно пред ней даже скверному пьянице, сыну старого Мойши, и тот, как ни пьян, проходя, улыбнется ей да поклонится.

— Благословенье вам, Фанни Марковна, такие дети. То-то, должно быть, и выпадет случай для Ривочки! Не миновать вам хорошего зятя. Может быть, доктор посватается или присяжный поверенный...

— О женихах и не думаем, Рива хочет курсы кончать. Вот какая она: покажешь ей что-нибудь из приданого, засмеется, скажет: „что ж мамочка, если это вас радует, так и я рада", и забудет, как будто не видела. Эта цепочка чистого золота, хорошей работы,—подарок богатый—для нее все равно, что горстка изюму.

И как будто в ответ, дверь отворив, вошла с прогулки Ревекка. По-отцовски, приветливо, с каждым она поздоровалась, женщин целуя, мужчинам руку протягивая. А на цепочку взглянув, головой покачала кудрявой:

— Ох, уж этот мне Сима! Сколько ни говоришь ему, непременно поступит по-своему.

Живо припрятала мать цепочку в сундук, самовар углем доложила, сбегала посмотреть, все ли на кухне готово.

— Отец, иди ужинать!

И патриарх, на зов ее поднимаясь, снял осторожно очки, их в футляр положил и закладкой книгу отметил. Но только уселись за стол, как в сенях застучали.

— Кто там?

— Отворите!

Испуганно отворила дверь на незнакомый окрик хозяйка.

В комнату, один за другим, вошли косматые люди. Были они высокие, черные, с глазами, как уголья, в белых папахах. Были надеты на них черкески, разубранные серебром, а у пояса револьверы. Огляделись, шапок не сняли, и патриарху один из них бросил в лицо развернутую бумажку.

— Читай! Где женщина по имени Ревекка?

Обыск и арест! Перепуганные, с побелевшими лицами, одна за другой, соседки набились в кухню; их домой не пустили, обыскав жестоко, по телу, и забрав, что нашли, до последней полушки. Сундук заповедный в миг перерыт, распотрошен, белье скомкано, порвано. Пропала цепочка. Но до цепочки ли? Воет, с силой к Ревекке припав, обезумевшая еврейка.

— Ривочка, да куда же тебя? За что тебя?

— Не знаю, мама, не плачьте, все выяснится,—твердит ей дочь терпеливо.

А патриарх, глядя перед собой голубыми глазами, белый, как лунь, во весь рост выпрямился на пороге.

— Куда ведете вы дочь мою?—сказал он черкесам.

— Куда надо,—ответили те, старика с порога толкая. Но силен старик, прирос к порогу, остерегающе поднял правую руку. Схватили черкесы Ревекку, отрывая ее от кричащей еврейки, и потащили из комнаты; а старика обступила ватага косматых, револьверными ручками нанося ему в спину и грудь удар за ударом.

Опустела квартира. Избитый лежит патриарх, томится от неотмщенной обиды, от оскверненного дня. Голосит на лохмотьях еврейка, Рахили подобная, и не хочет утешиться, ибо нету Ревекки. Голосит бедная родственница, обнимая несчастную.

Смотрит в мутные стекла ночь, нетронут заботливый ужин. Куда итти, кому жаловаться еврейскому бедняку? Кто станет с ним говорить? Нет обиде конца, горю исхода, терпи, терпи, терпи до судного часа!..

Не всякому неприглядна степная осенняя ночь, когда ломит кости от сырости. Горит огнями в осеннюю ночь под Новочеркасском генеральская ставка. Здесь хозяйничает сегодня войсковой старшина, вояка Икаев. Прохаживается по ставке, руки в карманы; ноздри дрожат, как у хищника, от запаха крови.

„Переели, перепились офицеры, нет забавы орлам моим,—думает старшина:—погибает клинок от ржавчины, если долго бездействует".

А что проку в близости города? Все дамочки из румынского перебывали под ставкой, светские женщины на автомобиле с мужьями наезжали сюда; слухи о войсковом старшине и дикой дивизии держат в поту обывателя, каждому хочется хоть в пол-глаза увидеть чудеса, о которых рассказывают под шумок друг дружке на ухо. Но чудес очень мало. Поводит Икаев кровью налитым белком. Такому, как он, вспарывать брюхо пристало, итти на охоту за пленником, волоча его долго по горным стремнинам за собой на аркане. Или, сняв с него скальп, к седлу его крепко подвесить, так, чтоб при скачке над крупом коня вздымались кровавые волосы. А тут изволь сечь труса, или пугать деревенского жителя, летя на косматых лошадках в облаву, и поджигать за измену паршивенькие деревушки. Карательной называют дивизию диких чеченцев.

Ревекку допрашивали поздно ночью, на Ростовском вокзале. Допрашивал смуглый брюнет, сверкая зубами в очень алых губах и пристально глядя на девушку. Каждый ответ ее он принимал, как шутливый, и подмигивал ей: мол-де вы и я, между нами, конечно, оба знаем правду, но будем молчать. Так мучил он долго Ревекку.

Девушка знала, что проступок ее невелик. В сердце ее было спокойствие, мысли направлены только на то, чтоб не выдать кого из кружка Степана Григорьича.

— В каких отношениях вы со студентом по имени Виктор Иваныч?

— Не знаю такого,—отвечает Ревекка.

— Не знаете? Жаль, ему будет грустно. А он-то вас знает очень и очень хорошо,—подмигнул брюнет, глазами сказав ей: „не бойся, мы все знаем, но будем, как камень“.

И чем дальше допрос шел, тем томительней становилось Ревекке. Ясный ум ее не усматривал связи в допросе. Она чувствовала, что в конце концов брюнету до того, что она говорит, мало дела. Но тогда, почему ее не пускают домой или не отсылают в тюрьму?

— Вы не курите?—снова спрашивает брюнет, протягивая портсигар.

— Нет, не курю. Прошу вас, кончайте допрос.

Но улыбается тот, поглядев на часы:

— Еще сорок минут. Потерпите. Мы, собственно, с вами время проводим и не так еще скоро расстанемся.

Покорилась Ревекка, села в кресло, задумалась. Время проводим! Ей стало ясно, что весь допрос, несерьезный, рассеянный, был только „препровождением времени“. Но что значит это? Зачем она на вокзале? Что ждет ее? Тут впервые Ревекка почувствовала холодок.

Секретарь, дописав протокол, протянул его девушке. Это был наспех составленный из полуслов, искаженный, бессмысленный бред полусонного человека. Напрягая вниманье, она прочитала бумажку, исправила кое-где, не вызывая протеста, и подписалась. Сорок минут истекли наконец. Брюнет, оставив солдата у двери, вышел и через минуту вернулся: он проглотил у буфета несколько рюмок.

— Ну-с,—развязно сказал он, обдавая Ревекку спиртным дыханьем:—если вам надо поправиться или там разное дамское дело, идите вот с этим телохранителем в уборную I класса. Через десять минут отходит наш поезд.

— Поезд?—вскрикнула девушка:—куда вы везете меня?

— Мне приказано лично доставить вас в Новочеркасск.

И, не слушая ничего, он взял фуражку, портфель и кивнул головою солдату. Тот подошел к девушке, стуча об пол винтовкой.

Через десять минут они оба сидели в двухместном купе скорого поезда. Солдат расположился в проходе. Брюнет курил и курил, одну за другой, папиросы, не глядя на девушку. И Ревекка, отодвинувшись на самый кончик дивана, закрыла глаза и притворилась заснувшей.

Дон, дон, дон, третий звонок. Тррр—свисток и в ответ свист паровоза, широко протяжный. Воздуху всеми легкими паровоз набирает перед тем, как помчаться. Потянулся, захрустели могучие кости, хряснули, как у подагрика, суставы длинного тела, и уже под ногами у едущих, мягко двигаясь, забежали бесконечные ноги вагонов. На перегонки, на перегонки, раз-два и раз-два торопится поезд. Хорошо нежной качке отдаться тому, кто едет по собственной воле!..

Что это? Вздрогнув, открыла Ревекка глаза от леденящего ужаса. Над ней побелевший, узкий взгляд нагнувшегося человека. Изо рта его бьет в нее запах крепкого спирта. Руки нашаривают по жакетке, схватились за пуговицу, за воротник. Рванулась Ревекка.

— Как вы смеете? Прочь от меня!

— Ого, вы потише! Что за тон, душечка? Я обязан вас обыскать, не прячете ли оружие или отраву.

Ревекка толкнула его и кинулась к двери. Дергает ручку, стучит, но напрасно. Дверь заперта, стук не слышен. Тук-тук-тук семенят быстробегие ноги вагона.

— Рассудите,—сказал брюнет и, покачиваясь, подошел к ней поближе,—мы здесь заперты с глазу на глаз на час времени. Вы, как большевичка, плюете на предрассудки. В этом вопросе я одобряю... Разумно. Отчего б не доставить нам, без этих капризов и разных дамских затычек, по-товарищески удовольствие? А? Обоюдно, я вам, а вы мне.

Ревекка молчала. Собрав свои мысли, обдумывала она, что ей делать. Из-под ресниц, косым незамеченным взглядом скользнула к окну—занавеска не спущена, стекло не двойное. Скоро станция. Лучше всего—молчать и выиграть время.

— Обдумайте... А пока разрешите, я с обыском. Без предвзятости, честное слово. Терпеть не могу брать женщину, как датского дога, сахар совать, заговаривать и другое тому подобное. Я сердитых женщин терпеть не могу. Я люблю, чтобы ласковые, быстренькие, как фокстерьерчики, сами руку лизали... Не толкайтесь, зачем же, я деликатно.

С отвращением, стиснув зубы до скрипа, отводила Ревекка гулявшие по карманам ее паскудные руки. Но не выдержала, закричала отчаянно, вырвалась и с размаху кулаком разбила окно. Стекло—драгоценность, орудие самозащиты!

В руке, изрезанной до крови, зажала она священный осколок. Спокойная, лебединая плавность, куда ты девалась? Как безумная, сверкая глазами, стояла Ревекка в ореоле рыжих кудрей.

— Подходите теперь, мерзавец, посмейте!—кричала она чужим самой себе голосом.

— Ведьма!—рявкнул брюнет и, быстро нагнувшись, схватил ее за ноги, крепко стиснув руками.

Но Ревекка вцепилась в ненавистный затылок. Осколком стекла

она резала вздутую шею, кусала зубами тужурку. В окне замелькали фонари, освещенные окна, поезд замедлил ход—станция.

— Ну, подожди!—крикнул, выпрямившись и кулаком ударив Ревекку, брюнет: — Я покажу тебе, гадина, потаскуха! Ты деликатного обращенья не хочешь, так получишь другое. Думаешь, много с тобой церемоний? В ставку тебя, к дикой дивизии сейчас повезу, рыжая кошка. Небось, надеешься на тюрьму? Надейся, надейся!

Он постучал, и солдат тотчас же вошел к ним.

— Охраняй ее пуще глаза,—сипло вымолвил соблазнитель и, фуражку забрав, удалился. Сел солдат молчаливо на место.

Дверь осталась открытой. В окно сквозь дыру дул яростный ветер осенний, пропитанный дымом. Броситься вниз, доломав остальное? Но тяжко лежит на ней неподвижное око солдата. Стиснула руки Ревекка, сочившиеся теплой кровью. Поводила, как львица, глазами. Уже не думала жалкими, благополучными мыслями „за что, за какую вину?". Знала: нет спасенья, произвол, насилие, ужас. И мать последнего мужества, благодатная ненависть, поила ее своей спасительной силой.

— Низкие, у!—казалось, что ненависть гонит ногти из пальцев, ускоряя их рост, зубы делает острыми, точит, как стрелы, зрачки, отравляя их ядом проклятья; и, готовя ее на последнюю битву, приподымает толчками сердца, как для полета...

Горит огнями в осеннюю ночь под Новочеркасском генеральская ставка.

Ходит большими шагами, руки в карманы, войсковой старшина. Кутят орлы его, дикой дивизии нынче пригнали баранов для шашлыка. Под навесом жарят куски, нанизав их на вертел. Повар дивизионный, грузин, известнейший мастер поварского искусства, покрикивает на помощников. Возле лужайки, на скамьях, лежат бурдюки, просмоленные крепко. Много их, больше, чем убитых баранов. И кружки нацеживая из бурдюков, пьют, в ожидании мяса, черкесы. У столов музыканты завели гортанную песню. Воет маленький в дудку, визжа пронзительным визгом, бьет другой в барабан, а третий на струнах выводит: чорт разберет, что за музыка, дикая, цепкая. Уцепилась крючком за тебя как удочка, и, разрывая сердце, тянет, тянет, тянет в томлении душу.

— И-ах!—не выдержал, выскочил кто-то из-за стола, подбоченился, вышел в присядку.

— Ийя!—завертелся другой, выбрасывая, как безумный, колено. По кругу, волчком, осою жужжащей, за ним третий, четвертый и пятый. Первый, кто бросился в летающую лезгинку, руки вскинул, ногу выставил, павой поплыл. И опять подбоченился, каблуком отбивает.

— И-ах!—кричит душа, мало ей, выхватил револьвер из-за пояса первый танцор;—бац-бац-бац, выстрелил в воздух. И затрещали, как орехи в зубах великана, частые выстрелы.

— Мясо несут!

А к мясу корзинами фрукты. И бурчит в бурдюках, как в чьем-то голодном желудке, выпускаемая струя. Течет коньяк, как водица.

Рев сирены... В свете багровом от факелов—электрический свет автомобильного глаза. Ставка. Доложить старшине войсковому Икаеву, согласно распоряженью, доставлена арестованная политическая преступница.

В гул азиатского пира, со связанными руками, перед белком, налившимся кровью, старшины войскового, Икаева, проходит Ревекка.

— Позвольте доложить,—торопится кто-то,—преступница покушалась вдобавок всего на убийство, стеклом ранила в голову следователя Заримана, учинила буйство и пыталась бежать.

— Карашо,—промолвил Икаев.

Ночь течет. Совещается старшина с Зариманом.

— Не далась, чертовка,—мямлит следователь,—и вообще, по-моему, с ней канителиться нечего. Руки развязаны. Вы всегда можете сослаться на покушенье к убийству, я забинтую затылок.

— Кров кыпит у дывизии,—соглашается старшина.

А на лужайке черкесы костер развели, через огонь проносятся по команде. Все безумней дудит музыкант, все быстрее дробь у того, кто бьет в барабан, и рассыпаются струны под руками у третьего, струнника.

— Ийях!—гуляет душа, кочуя по телу. Ноги, руки взлетают, чертя, как планеты, узоры. Губы в вине над острыми, словно у волка, зубами. Не смеется черкес, он скалится, приподняв над острою челюстью тонкую, с черным усом, губу.

Короток суд. Политическая преступница, обвиняемая в подстрекательстве молодежи, покусилась на убийство следователя Заримана и во время своей доставки на место суда дважды учиняла бунт и попытку к бегству, вследствие чего приговорена к ста ударам нагайки.

Нагайка! Свистела она, прорезывая осеннюю ночь, у костра, в руках пировавших танцоров. Каждый танцор захотел покормить ее телом преступницы. И голодная, взалкав, трепетала в стальных кулаках ожидая кормленья, нагайка.

Привязали Ревекку к скамейке, оголив ее. Рот окровавлен у ней от глубоких укусов. Извивается, норовя укусить, и безумные, не моргая, глаза извергают проклятья. Не страшно Ревекке, не больно: мать последнего мужества, великая ненависть, кормит ее своей спасительной силой.

И с языка у Ревекки слетают пронзительные слова:

— Убийцы, погибнете, сгинете, как собаки, сотрется с лица земли след ваш, а имена, как песок, засыплет проклятье!

По очереди наслаждаются, свистя нагайкой, черкесы. Но жутко им от проклятий и суеверно косится каждый на тень свою. Странно им, что не дрожит распростертое тело, не бьется. И, лютея час от часу, долго еще нагайкой хлещут по мертвой.

ГЛАВА XXX.

Школа пропаганды.

— Организация,—говорит профессор Булыжник в интимном кругу,— мать всякого дела. Я недаром прошел немецкую школу. Хотите выиграть дело — организуйте правильный штат, лучше больше, чем меньше, составьте подробную смету, лучше крупную, нежели мелкую, учредите при этом две контрольных комиссии, увеличивши их добросовестность постоянным окладом,—и вы на пути к одержанию победы.

Золотыми словами своими профессор Булыжник стяжал популярность. Что слова—золотые, знало об этом казначейство Добровольческой армии. И что слово может стать золотом, убедились ораторы и писатели, притянутые в отдел пропаганды.

— Учитесь, друзья мои,—говорил им маститый профессор:—учитесь у заклятых врагов, как Петр Великий учился у шведов. Вы знаете, что привело к революции? Прокламации, ловко составленные листовки, летучки, воззвания. Спросите-ка у любого купца, он вам скажет, что сущность торгового дела в рекламе.

— Так по-вашему революция осуществилась благодаря удачной рекламе?

— Несомненно. Это дело рассчитано было на многолетия, с риском. И упорство рекламы привело, наконец, к убежденью, что революция неизбежна.

Забегали молодые писатели и старые публицисты по разным архивам любителей, доставали из библиотек „Былое", „Исторический Вестник", „Колокол" Герцена, разыскивали прокламации, изучали их стиль и словесный порядок. Ослов же, художник, с собратьями сидел над мюнхенским Симплициссимусом, набрасывая всевозможные карикатуры.

Во всех городах открылись лавочки пропаганды. По всем городам заездили антрепренеры, подыскивая подходящих людей для публичных концерт-агитаций. В центральном же помещении отдела, на обширном дворе, обучался отряд новобранцев. Ему говорили:

— Как выйдете из дому, прежде всего оглядитесь. А как оглянетесь, отметьте себе, не видно ли где человека нетрезвой наружности, шибко худого, походка с раскачкой, желательно без руки или с проломленным носом. Такой человек для нашего дела находка. Сейчас же к нему. Ты, говорите ему, из красных. Он станет отнекиваться. Нет нужды, твердите: из красных. Возьмите под арест. Наддайте хорошего жару, но с присмотром, не то он проломит себе остальное, да и помрет нашему делу в убыток. Проморив с две недели, пустите к нему совопросника, можно с бутылкой. „Так и так, ты бы лучше признался, что удрал из-под красных за жестокое обращение, был истязуем в чеке, получил разрыв сухожилья и показать можешь под

православной присягою, каковы большевистские тайны. Тебя за это простят и даже отчислят награду". Двести против одной, что арестованный согласится и в ножки поклонится. Это заданье номер первый, под названием „свидетельства очевидцев". Дело пустое и легкое!

И когда новобранцы постигнут заданье, им дается второе:

— Теперь, братцы, помните: ум хорошо, а два лучше: Взявшись за руки, остановитесь на улице и твердите друг дружке: нет ли, брат, у тебя донских денег? И если случатся в том месте прохожие, твердите пошибче: нет ли брат, у тебя, донских денег? Один пускай улыбнется с хитринкой и ответит: „есть-то есть, только нужны самому, не обхитришь". Тогда вы искательно обратитесь к прохожему: не согласен ли тот обменять на английские фунты или французские франки донские кредитки? Удивится, конечно, прохожий, заподозрит, а вы приставайте, давайте все больше да больше. Тут пусть мимо пройдет третий из вашего брата и, как честный благожелатель, шепнет прохожему: „не продавайте! Донские деньги в цене, большевики доживают последние дни и донские кредитки по всей вероятности будут объявлены европейской валютой!" Этак сделать приходится не раз и не два, а с полсотни разов, да пройтись по базарам с тою же речью. Нужды нет, если и скупите где кредитку, заплатив за нее английским фунтом. Через неделю поднимется в обывателе крепкое настроенье.

И это заданье исполнив, рекрут обучается третьему, самому сложному. Берет он простейший и ординарнейший лист бумаги. Берет чернила, перо, плюёт себе на руки (истинно-русское, благочестивое правило, чтоб вышло не зря, а в аккурат) и пишет длинными торопливыми буквами:

Тов. Троцкий!

Сколько раз я тебе говорил, что ты погубишь все наше дело!? Зачем не уничтожил расписку амстердамской почтовой конторы! Зиновьев и я всю ночь сидели, обдумывая план реабилитации,—ничего не вышло. Чорт тебя дернул! Прикажи, чтоб аэроплан № 3 был всегда на готове у Иверских ворот. Я уже написал в Цюрих насчет квартиры. Запасись паспортом.

Твой Ленин.

Написав, зовет он парнишку и говорит ему: „Ваня, я обещал тебе сделать кораблик, вот посмотри". И делает из бумажки кораблик, потом петушка, а после солонку. Наигравшись, парнишка привяжет при вас веревочку к бумажонке и будет с ней бегать по комнатам, давая мурлышке занятье. Мурлышка бумажку процапает, понадкусит. После рекрут стымет бумажку и, полив на нее ложкой варенья, положит под муху. Муха обшмыгает бумажонку, поставит несколько точек. Тогда остается лишь утоптать ее сапогом после хорошей прогулки. В таком виде бумажка становится важная штука, — д о к у м е н т-

Теперь вниманье! До сих пор забава была, а сейчас экзамен на зрелость. Взяв дохлого голубя, наденьте ему мешочек на шею, а в мешок положите бумажку, вперемежку с землею. Сунув за пазуху голубя, возьмите ружье монте-кристо, удостоверение от градоначальника, что имеете право на производство охоты в Балабановской роще, и в базарный день идите себе на соборную площадь. Мирно идите, с бабами разговаривая, луск径 семечки, почёсывая в голове. Народу тьма-тмущая. Вдруг, расталкивая ротозеев, по площади мчится рекрут номер два, ваш подручный. Кричит:

— Братцы, гляньте, на небе-то голубь! Почтовый голубь с сумою, зовите милицию, пожарных, собаку ищейку!

Переполох на базаре, глядят, опрокинув затылки, бабы, дети, мальчишки, мужики прямо в небо. Тут вы хвать монте-кристо, стреляете холостыми зарядами бац-бац! Смятение: ой-батюшки! ой, отцы небесные, убили, убили! И в суматохе из-за пазухи вынув мертвого голубя, во всю мочь бросайте его туда, где народу погуще, бабам на волосы. Орите сочно, с надсадой:

— Дуры! Расступись! Политическое дело! Я стрелял в почтового голубя, пусть доставят меня по начальству.

Свистки, милицейские, топот, ругательства, давка. Голубь пойман.

— Родимые, голубок!

— Мертвенький, и у его ридикульчик на шее!

— Расступитесь, отдать вещественное доказательство по начальству. Ты, паря, как смел стрелять? А не хочешь ли полгода отсидки?

— Извините, господин полицейский. Вот мое законное удостоверение на производство охоты. А кроме того почтовый голубь есть хфакт политический. Прошу вас на месте составить протокол с приложением свидетельской подписи.

— Н-ну! Уж и не знаю, верить ли, однако, весь город свидетели. Непостижимое происшествие! — говорит, весь в поту, редактор местной газетки:—Пойман голубь и при нем собственноручный документ огромной политической важности!

Дальше следует передовица:

„Мы запрашиваем амстердамскую почтовую контору, что ей известно о настоящем случае?"

Начало положено, всяк теперь дело докончит.

Профессор Булыжник за ужином метким примером иллюстрирует методы пропаганды и в присутствии градоначальника Гракова, поручика Жмынского, коменданта Авдеева, дам патронесс и министра донского искусства с бокалом речь произносит. Непобедима теперь Добровольческая Дружина! Скоро, скоро мы вступим, друзья мои, верной ногой в первопрестольную! С такою постановкою дела, можно сказать, ничего нам не страшно!

— Ешь, пей, веселись, — воскликнул Жмынский игриво: — иными словами тыл укреплен, фронт продвигается, обыватель может спокойно нести сбережения в банк. Да здравствует Главнокомандующий!

Тост был подхвачен.

ГЛАВА XXXI.

Куда можно дойти по-Булыжнику.

Пируют в тылу, валясь под столы, тыловые. Льется вино из удельного склада нещадно. Весело на душе обывателя, шумно на улицах города... Скоро, скоро!

А команда, обученная на центральном дворе, входит во вкус чем дальше, тем больше.

— Организация, я вам доложу, это первое дело,—говорит молодчик другому: — к примеру ежели вас посылают на фронт для военной корреспонденции, так неужто вам ехать? Под дождем, в такую-то слякоть, сыпняком заболеть от солдата? Очень нужно. Поймите, нужна информация, а не ваша простуда. Тут умному человеку и показать, пошло ль в прок ученье. А изготовить у себя на-дому информацию, имея немецкую карту нашей области, дело пустое. Тут ошибся разве на одну приблизительную, не более.

И той же дорогой пошли дорогие разведчики, засылаемые в глубь страны, где сидят еще красные. У пограничников есть хорошие вина, зарыты консервные банки. Умеют они превесело дуться в картишки. Сходятся к ним все люди солидные, те, что при деньгах. У одного — контрабандный товар, другой перемахивал через границу беглеца и беспаспортника, третий попросту вспарывает у случайных убитых карманы, четвертый шпионствует за приличную мзду и нашим, и вашим. Веселый народ, образованный и с деньгами. С ними выпить одно удовольствие, а захотят, так найдется для них по-близости и подходящая дама.

Вместо опасного продвиженья в глубь страны, сиди себе с ними, да выслушивай разные речи. Пьешь, закусываешь, перебросишься с ними в картишки, глядь — и выудил информацию, все, что нужно. А иной, твое дело смекнув, и продаст тебе, хотя не за дешево, все же дешевле чем твое беспокойство, все первые сведенья.

Проще того дело делается агитатором деревенским. Встал он поздно у себя на-дому, шторки на окнах спущены до самого низу. На случай звонка отвечает слуга Федосей, из казаков:

— Нету-ти барина, они на паганду в деревню уехали. А когда воротятся, не знаем.

Встанет барин во втором часу дня, не позднее. Тотчас же несут ему соды, проветрить губы от выпивки. Помывшись, одевшись, на-

пьется он кофею, подзакусит, малость хлопнет из рюмочки для поддержания духа. Зовет Федосея:

— Ты, вот что... Ведь ты казак из станицы Цымлянской?

— Так точно.

— Ну что, брат, скажи-ка ты мне, разве при большевиках вас не грабили, не увозили пшеницы?

— Свозили пшеницу, а при немце и того хуже.

— Нет, ты молчи про немца. Я тебе дело говорю. Ты скажи, ведь при нас-то, при белых, лучше стало? Сообрази.

— И то лучше.

— Я вот, например, ничего для тебя не жалею. На, допей водку.

— Премного вашей милости.

И пишет в докладе:

„Станица Цымлянская.

Встречен казаками очень приветливо, особенно старыми. Разговорился. Отвечают охотно. Как дети, жалуются на обиды. При разговоре о большевиках сжимают кулаки: хлеб до последнего зернышка грабили звери, хуже, чем немцы. Это врезалось в память, и станица знает теперь лучше всякой пропаганды, кто ей друг, кто ей враг. Провожали с иконой до самой околицы".

Правда, последнюю фразу написал уж под пьяную руку, распив вторую бутылку. Но, отрезвившись, исправил.

Работа покончена, и как хороши вечера агитатора! При спущенных шторах соберутся друзья, немного числом, зато самые близкие, благонадежные. Сбегает Федосей в клуб, к повару Полю, за порцией лучшего ужина, хлопнут, взрываясь, бутылки. Расставлены столики, приготовлен мелок и девственный пояс с колоды срывают привычные руки. Колода для правильного мужчины в наш век желанней, чем женщина. Играет тобой до потери всего твоего состоянья, голову кружит, пьянит козырями и нежданной взаимностью, а покоя тебе не убавит: как сидел, так и сидишь себе в кресле без малейшего сдвига. Спокойное дело!

И чем дальше шли дни, тем уверенней становилось на сердце у обывателя. Правда, ходили какие-то слухи, распространяемые с ехидством главным образом телеграфно-почтовым мелкотравчатым чиновьем, об уничтожении армий Колчака и Юденича и о том, что на южный фронт брошены большевиками огромные силы, но обыватель себе настроенья не портил.

Массивней, чем столбы из базальта, казалось правительство Единой и Неделимой. Давно уже был разработан проект о том, кому и на каком посту быть в завоеванной белокаменной. Москвичи съезжались в Ростов, готовясь вступить во владенье утраченными квартирами и жестоко отмстить вероломным кухаркам. „Сперва пойдет фронт, а мы на повозках и броневиках вслед за ними".

Дни идут. Запаздывает наступленье к досаде нетерпеливых. Клич „на Москву" под шумок спекулянт, нажившийся прочно, уже сравнивает с арией „мы бежим" из Вампуки. А пропаганда летит от края до края, похваляясь своими победами.

Главнокомандующий, поставивший под ружье все казачество и городского мужчину в возрасте от внука до деда, из-под век нацеливается на своих крендельковых людишек, министерства наполнивших. Крендельковые люди, однако, затвердели, как старое тесто. Неожиданно пробудилась в них светлая память. Каждый вспомнил, что кровь проливал и брюки просиживал на службе Единой. Каждый вспомнил, что есть у него на Дону большое поместье, у этого сто десятин, а у другого тыща и боле. Отобраны земли в февральскую революцию и Войсковой круг их не вернул настоящим хозяевам. Пора бы уже Добровольческой армии наградить своих верных сынов и вспомнить их жертвы.

Тузы, положившие в дело немалые деньги, открывавшие на свой счет лазареты, обмундировавшие целые роты, купцы, не щадившие для Деникина ни икон, ни молитв, ни товара, помещики, ставшие ныне министрами, все возвысили голос:

— Пора приступить к справедливой земельной реформе! Правда, мы отстояли передачу земель частных собственников донскому казачеству. Но этого мало! Надо на деле Европе и русскому люду увидеть, что мы истинные правовые устои приносим, а не хаос подачек неразумному стаду. Чья земля, пусть тому и вернется. Отдавать же ее, потакать большевицким замашкам, разводить либеральные тонкости— значит дело губить и в противоречия путаться. Да и крестьянам нужна не земля, а отеческое попеченье.

Вспомнил профессор Булыжник про заповедь демократизма, смутился:

— Нет,—говорит,—не делайте этой ошибки. Вооружите вы против себя народную массу!

— Что вы, помилуйте,—отвечают Булыжнику:—масса давно уж перевоспитана вами. Разве отчеты отдела не говорят о чувствах казаков? Разве весь юг не охвачен крепкою тягою к Добровольческой армии к ее священным заветам и молодецким победам? Будет вам!

И, вдохновившись своими речами, горячие, пылкие, обступили Деникина кредельковые люди.

— Время, отец! Мы идем ведь с тобой на Москву, не шантрапа мы какая-нибудь, а сановные, знатные люди. Не ты ли давал обещанья? Не мы ли служили верой и правдой? Прикажи возвратить нам исконные, наши собственные русские земли.

Много миндальных людишек у Главнокомандующего! Взгляд не охватит—направо, налево, спереди, сзади, целая армия. Их нельзя не потешить! И с высоты кремлевских святынь уж предчувствуя смотр своей армии, генерал отдался соблазну:

— Дать им указ о возвращеньи земель их прежним владельцам!

Дан был указ о возвращеньи земель их прежним владельцам!

Указ был прочитан в станицах при зловещем молчаньи.

Указ пробежал по притихшим войскам, как полоска прожектора, вызывая в озаренном лице зловещую ясность.

На каждого собственника сотни безземельных казаков. На каждый револьвер сотни казачьих винтовок. Пошли, согласно приказу, завоевывать первопрестольную.

Снова ночь. Наступает зима, но не мерзнут на улицах лужи. Четко играет, гуляя по цитрам рассыпчатой трелью, румынский оркестр в зале военного клуба. Столики заняты. Толпятся в дверях, дожидаясь, блестящие адъютанты. Поручик Жмынский, усы вытирая салфеткой, прожевывает ароматный кусок карачаевского барашка. Повар Поль, в белом фартуке, черноусый, с глазами на выкат, вышел из кухни взглянуть, как подается и все ли довольны.

— Да-с, доложу я вам,—звучно твердит, наклоняясь к поручику Жмынскому, полковник Авдеев, честный вояка:—вы, вот, хвалите здешний шашлык, а я скажу: нет лучше блюда, нежели как навага фри у повара Поля. Тут он поистине себе не знает соперников. И что такое навага? Простая, грубая рыба на зимнее время. Навага, когда вам дают ее дома, непременно попахивает чем-то, я бы сказал, рыбо-жабристым, даже просасывать ее у головы и под жаброй противно. Ковырнешь, где мясисто, и отодвинешь. А у Поля не то! У Поля, скажу вам, навага затмит молодую стерлядку. Он ее для начала окунет в молоко, выжмет, выкатает в сухаре со сметаной...

— Господа офицеры!—кто-то крикнул в дверях взволнованным голосом.

Наступило молчанье.

— Господа офицеры! Прекратите еду. Наша армия отступает к Ростову.

И тотчас же, не поняв громовые слова, в затишье входя, как в проход, открытый толпою, рассыпчатой трелью вспорхнул румынский оркестр.

ГЛАВА XXXII.

Судный день.

Было же это, как во дни Ноя.

Ели и пили, женились и выходили замуж, а нашел потоп и поглотил всех. Так и нынче каждый застигнут часом расплаты за очередною нуждою: один на улице, в конторе, в торговле, другой за столом, третий в постели с женою. Заметались богатые люди, забирая запасы.

Как перед взглядом змеиным, оцепенели на миг учрежденья перед приказом об эвакуации. Чтоб минуту спустя в лихорадочной спешке через глубокие впадины луж, под саваном сырости, в темноте, мокроте

и топоте разгоряченных коней, тянуться, колесами застревая в ухабах, по бесконечным околицам.

И весь день, с утра и до вечера, опустошались дома, как кишки выворачивая свои внутренности. С лестниц, с подъездов, из настежь открытых парадных бросались узлы на подводы, люди сбегали, неся мешки и корзины.

И все текли, толкая друг друга, старый и малый, как черные бусы, посыпавшиеся от выдернутой веревки; слетая с веревки, каждый подскакивал рядом с соседом и, место свое потеряв, казался другому куда утеснительней, куда мешковатей, чем раньше. Напирая на локоть, ненавидел стоящего рядом. И было охвачено сердце у каждого слепотою бесстыдства: лишь бы спастись самому, а там хоть земля не вертися.

Одна за другой, одна за другой, лошадиным копытом непролазные лужи, как стекло разбивая, ползут из Ростова подводы. Ругаются дико возницы, хлещут вожжей, торопливо протаптывают сапогами клейкую землю.

Эвакуация! Слово, похожее на протяжный вопль в горах пастушьей свирели. И на свирель, позванивая, ползут шершавые козы, покидающие с неохотой кочевье.

— Эвакуация! Но скажите пожалуйста, что же случилось? Еще вчера мы видели в клубе весь штаб, никто ни звука об опасности положенья. Быть может, паника преувеличена, слух не проверен?

— Помилуйте, да какое там преувеличенье! Выйдите из дому, содом и гоморра! Бегут, как безумные, без спросу, без всяких инструкций. Солдаты начали грабить винные склады...

Жутко под арками оголенных ветвей на встревоженных улицах, в темноте ниспадающей ночи. Ветер сосет и без конца теребит тишину, как собака голодная кость. Уши взвинчены его неотступным глоданием.

А на мосту, под Батайском, скучились люди, лошади; подводы, колеса задрав, налезли одна на другую, вой стоит от непрерывного крику, последнему первых не видно, а первые, отупев от отчаянья, кричат на последних:

— Куда лезете? Не напирайте! Вы давите нас!

Людмила Борисовна успела на этот раз вывезти все свои сундуки. Под непроницаемой тьмой, на крытой подводе, сжав руки, сидит она между ними немеющим призраком. Под глазами опухли мешочки, нежданно состарив ее,—такая сидит непохожая старая женщина с отвислой губою. За ней на подводах, спасая десятками лошадей городское добро, торопятся богачи Кулаковы. Адъютант, кутивший в компании богатых бакинцев, прыгнул в коляску к жене командира, фартуком кожаным застегнулся, по горло в нем спрятался и, задыхаясь, шепчет ей о погибели армии. Едут в казенных подводах дамы, родственники, знакомые родственников, сослуживцы знакомых.

Неистовой бранью ругаются задержанные войска. Проехать нельзя! Десятком верст протянулся обоз отступающих, дело губящих, заваленных сундуками своими богатых. И мост протянулся над черным, скользким, бездонным Доном, мост под Батайском. Остановилось движенье, запружены узкие деревянные доски; подводы, колеса задрав, налезли одна на другую, вой стоит от непрерывного крику, последнему первых не видно, а первые, отупев от отчаянья, кричат на последних:

— Нам некуда, не напирайте, спасите!

Там, впереди, в лихорадочной спешке доканчивают офицеры последнее дело: у голодного автомобиля, оставшегося без бензина, выламывают дорогие, заграничные части. Молотом их разбивают, приводя машину в негодность: нет у России нужных частей, не достанется большевику ни одной здоровой машины! Тяжко хрипя, инвалиды-автомобили, один за другим, как ослепленные твари, сбиты в канаву и стынут в ней помертвелой грудой.

Но в суматохе из города дан приказ отступающей части казачьей: итти на Батайск.

Взбешенные задержкой, пригнувшись к седлу, левой рукой сжав поводья, а правою с гиканьем занеся над собою нагайку, шпорят казаки коней и черной мохнатою массой летят на обоз. Кровью налились глаза, ощетинились бороды, брови дыбом стоят. Как безумные, землю взрывают косматые кони. Шарахнулись в сторону одна за другой подводы, сползли сундуки, тррах—как веточка, переломились оглобли. С моста в черный скользкий, бездонный Дон падают, перекувыркиваясь, вещи, лошади, люди, возы. Вой стоит на мосту под Батайском нечеловечий, звериный...

В городе расквартированы по горожанам юнкера из оставшейся части. Юные мальчики с безусыми лицами перед хозяйкой бодрятся: по-прежнему молодцевато щелкают шпорами, а уходя побродить, оставляют на письменном столике развернутые тетради. Полюбопытствуйте, хозяева дома, полюбопытствуй хозяйка, взгляни в них. Ты тоже когда-то, в ногах у себя, претерпев родильные муки, ощутила впервые трепетанье других, слабых, легоньких ножек и глядела в глаза бытию чрез окно материнского лона. Где твой первенец? Эти мальчики—тоже первенцы, рожденные женщиной. Пожалей ее: кратким был век их, но долгим ужас конца.

В тетрадках вели юнкера свой дневник. Сколько таких дневников разбросано по России! Описывали они душевные тяготы по Пшибышевскому, нехитрую жизнь, безденежье, слухи из штаба. Оплакивали коварство Нади иль Мани; ни чувства, ни мысли о будущем, и чем дальше страницы, тем душнее они и тревожней.

Юнкера ходили справляться, скоро ль их двинут. В городе же, обезлюдевшем, опустевшем, как улей от пчел, не знали начальники плана передвижений, давали, меняли приказы, запутывали своих подчиненных.

И при первом артиллерийском обстреле побежали последние, не дожидаясь приказа. Качались на перекрестках повешенные с прибитыми надписями „вор и дезертир“, высовывали раздутые языки убегавшим, чернели проклеванными вороньем провалами глаз. Под виселицей подвывали собаки.

До тридцати пяти лет поголовная мобилизация. С тридцати пяти до восьмидесяти погнали гуртом за заставу, били прикладами, велели итти рыть окопы. Тюрьмы распущены за недостатком охраны, уголовные разбежались.

Уходя же, войска угоняли с собой первых встречных, бросая их потерявшими разум, тифозными или замерзшими по пути своего отступленья.

Так было в тот день; и тогда пережил человек себя самого без остатка: как-будто, шагнув, он поднял ногу над пропастью и увидел, что рухнет.

Красные снова приблизились к городу, не партизанским отрядом, а регулярною армией. Сыплются пули, наполняя жужжанием воздух. Обыватели, как услышали выстрелы, полезли каждый, крестясь, на знакомое место. Опустели дома, переполнены погреба и подвалы. Страх сводит челюсти, от тошнотворного страха язык разбухает во рту, как морская медуза. Еле ворочается, выговаривая слова; и пухнет, падая, сердце.

Стоном бегут, догоняя друг друга, снаряды и разрываются возле самого уха, близехонько. Окна трясутся, танцуя стеклянные трели. Их не заставили ставнями в спешке, и окна, трясясь, звонко лопаются, рассыпаются, словно смехом, осколками. Тррах, торопится где-то ядро. Бумм! вслед за ним поспевает граната. Трах! городу крах, кррах трррах! Пушки не скупятся, артиллеристы играют.

А по подвалам сидят, обезумевши, беженцы, затыкают уши руками, держат детей на коленях, бледнеют от тошного страха, кто за себя, кто за близких, а кто за имущество. Но под самое утро вдруг сразу все стихло, как после землетрясенья. В ворота степенно вошла молочница, баба Лукерья, с ведром молока, и спокойно сказала жильцам, выползавшим на воздух:

— Белых-то выкурили. Чисто!

Недаром муза трагедии пела городу ночью декабрьской! Жутко на улицах, спотыкаются кони у красных, молчаливо въезжающих стройной, суровою цепью, в шинелях защитного цвета и в богатырских, по рисунку художника, шлемах. Из-под руки, зорким взглядом, высматривает красный взвод опустелые улицы. На перекрестках качаются, вороньем осыпаны черным, повешенные, с оскаленной весело челюстью. Смеются повешенные, тараща пустые глазницы, высовывают языки: вы нам, а мы—вам...

Ни души на пустынных улицах, ни души у ворот, и никто не засмотрится в окна. Жутко на улицах, прячутся по подворотням неизжитые призраки ночи. И осторожно, шаг за шагом, без шума, без музыки, молчаливо-суровые, с четкими профилями под богатырскими шлемами, с красной звездою на лбу, углубляются в улицы всадники.

ГЛАВА XXXIII

и последняя.

Расквартированы красные в городе. Тихо. Ждут подкрепленья. Совет заработал, взвив красное знамя. Оклеены стены воззваньями. Докатился до юга России плакат с цветною картинкой, с неутомимым стихом, подписанным новым для юга России „Демьяном Бедным". Тысячами плакат запестрел на стенах и на тумбах. И, подходя, обыватель почитывает веселые строчки о генерале, попе и помещике, понемногу от ужаса, как от стужи, отогреваясь в улыбке.

Между тем под Батайском остатки белых не дремлют. Деникин давно отступился. Командованье перешло к либеральному Врангелю. Наспех тающей армии обещаны земля и реформы. С тылу же ей и с боков приставлены револьверные дула: не отступай, чорт тебя побери, безмозглое стадо! Мясом живым продвигайся на жерла врага, дай хоть на час беспокойства ему ценой своей жизни!

Внезапно в затишье завоеванных улиц ворвалась бомбардировка. Снова снаряды летят, разрываясь над городом. Политые хмелем, разогретые обещаньями, подгоняемые револьверными дулами, мчатся в бешенстве на конях добровольцы, отбивая завоеванный город. Налет удался. У красных нет подкрепленья,—их армия движется еще на сутки пути. И добровольцы хозяйничают по морозным пролетам обезлюдевших улиц, разбивая там и сям магазины.

Эвакуация! Слово похоже на вопль пастушьей свирели в горах, когда на свирель, позванивая, ползут по склонам шершавые козы, с неохотой покидая кочевье. Быстро, как молния, отступают к Новочеркасску военные части, политкомы, телеграфная станция и с подводами фуражиры...

Ранен товарищ Десницын в ногу на-вылет... Один, не успевши бежать, лежит он в домике Тишина, Степана Григорьича.

— Куся,—шепчет он девочке, наклонившейся над постелью,—постарайтесь достать мне белогвардейский документ. Здесь я отлично устроен, а в случае обыска документ мог бы спасти меня.

— Ладно, не беспокойтесь, лежите тут смирно, я достану документ!—И Куся, платком повязавшись, бросилась снова на улицу, не слушая уговоров старикова семейства: переждать перестрелку.

Она только что, под огнем нестихающего артиллерийского грома, пробралась сюда по окраинам; и снова тем же путем, не оглядываясь,

бежит проворными ножками дальше, дальше, к дому, забитому ставнями, туда, где живет в бэль-этаже двоюродный брат, запасшийся кучей бумажек. Весело Кусе, знает она, что нестрашен налет добровольцев. Шутили, смеясь, фуражиры, неделю стоявшие у вдовы-переписчицы, что оставят ей на подержанье корову, пока не вернутся. С севера движется к ним на подмогу несметная армия красных. Весело Кусе от грома несытых орудий, рвущего небо, от старого, сердцу знакомого свиста комариков-пулек. Но веселее всего от опасной задачи: под обстрелом достать и снести спасенье для друга.

И бумажка добыта. Напрасно Кусю пугают, уговаривая остаться. С легким сердцем торопится Куся домой, в третий раз пробегая пустынной, вечерней дорогой. Отошла заснеженная степь меж Ростовом и Нахичеванью, снова улицы, вымершие от гула снарядов. Каждые две минуты несутся они по воздуху, ухая тяжко. И приседает случайный прохожий в сером сумраке вечера, крестится, посинелой губой поминая вышнюю силу. На перекрестке двух улиц, где ветер взвивает снежок, тарарахнул снаряд, разорвался. Дрогнув, как трость, в двух местах телеграфный столб надломился и сникнул. Отошел беззвучно от дома кусок штукатурной стены, попадали, словно карты, рассыпчато отделяясь, рамы окна, переплеты дверей, карнизы, наличники, ставни. В ту же минуту вырос на улице высокий, как от копанья крота, бугорок. Куся лежала, раскинув руки и ноги, на тротуаре соседнего дома.

Доктор в больнице сказал вдове-переписчице: мало надежды. Осколком гранаты задета кость черепная, есть трещина. Если не будет к вечеру менингита, может быть выживет. Но, по всей видимости, менингит неминуем.

Куся лежала в сознаньи, маленькая, как ребенок, с забинтованной головой. Глазами, огромными из-под бинта, глядела в недвижные материнские очи.

Лиля плакала в уголку, забив себе рот полотенцем. И к ночи, когда под грохот звериных орудий, влились с четырех сторон в город красных несметные силы,—неотвратимым теченьем болезни скакнула у Куси температура. Она потеряла сознанье.

— Менингит,—сказал доктор, взглянув на темное личико.

И недаром муза трагедии пела городу ночью декабрьской.

Вычищен город от белых до последнего белогвардейца, будённовцы лихо гарцуют по городу на конях, одно за другим возвращаются учрежденья. Уже разместился на месте штат телеграфной команды, автомобиль с политкомами и военные части вернулись, и подводу ведя за подводой, на старое место въезжают весельчаки фуражиры.

Все по-прежнему в городе. Нет только Куси!

В серое, снежное утро задвигались тучами толпы, на духовых заиграл прощальную песню оркестр. Неся на руках легкий гробик, шла молодежь, чередуясь, до самой могилы. Когда же в открытую яму посыпались первые комья и больно ударил нам в уши шершавый стук хлопьев земных о гробовую доску,—Яков Львович промолвил над нею дрогнувшим голосом:

— Спи, славной смертью погибшая, маленькая подруга! Умерла наша Куся, но не станем провожать ее плачем. Не она ли нам завещала вечную веру в борьбу? Будем отныне как дети, чистые сердцем, друзья мои! Неутомимо поборемся за победу любви на земле!

А тем временем серое утро ослепительным днем заменилось. Пачками пальм засияли ледяные сосульки. И скатаны снегом, гладко смеясь под полозьями, во все стороны, как провода, понеслись первопутки:

Скоро, скоро все страны станут свободными! Заторопятся люди завести у себя революцию! И музыка, музыка, музыка пройдет по сем улицам мира, с барабанщиками, отбивающими Перемену:

трам-тарарарам, просыпайтесь!
Утреннюю зарю мы играем тебе,
Человечество!

Я обманывать себя не стану.—
Залегла забота в сердце мглистом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?

Не злодей я, и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.
Я—всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам.

Я—московский озорной гуляка.
По всему тверскому околотку,
В переулках, каждая собака
Знает мою легкую походку.

Каждая задрипанная лошадь
Головой кивает мне навстречу.
Для зверей—приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя лечит.

Я хожу в цилиндре не для женщин.
В глупой страсти сердце жить не в силе.
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.

Средь людей я дружбы не имею.
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук.

И теперь уж я болеть не стану,—
Прояснилась омуть в сердце мглистом.
Оттого прослыл я шарлатаном.
Оттого прослыл я скандалистом.

С. Есенин.

Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном.

Были годы тяжелых бедствий,
Годы буйных, безумных сил.
Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.

Не искал я ни славы, ни покоя,—
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.

Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню,
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.

Я любил этот дом деревянный.
В бревнах теплилась грозная морщь,
Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь.

Голос громкий и всхлипень зычный,
Как о ком-то пропавшем живом.
Что он видел, верблюд кирпичный,
В завывании дождевом?

Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары.

Ах, и я эти страны знаю,
Сам немалый прошел там путь.
Ближе, ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.

Но угасла та нежная дрёма.
Все истлело в дыму голубом.
Мир тебе, полевая солома!
Мир тебе, деревянный дом!

С. Есенин.

Сеттер Джек.

Собачье сердце устроено так:
Полюбило—значит навек!
Был славный малый и не дурак
Ирландский сеттер Джек.

Как полагается, был он рыж,
По лапам оброс бахромой;
Коты и кошки окрестных крыш
Называли его чумой.

Клеенчатый нос рылся в траве,
Вынюхивал влажный грунт;
Уши висели, как замшевые,
И каждое весило фунт.

Касательно всяких собачьих дел
Совесть была чиста.
Хозяина Джек любил и жалел,
Что нет у него хвоста.

В первый раз на аэродром
Он пришел зимой в снег.
Хозяин сказал: „Не теперь—потом
Полетишь и ты, Джек!"

Биплан взметнул снежную пыль,
У Джека—ноги врозь:
— Если это автомобиль,
То как же оно поднялось?—

Но тут у Джека замер дух:—
Хозяин взмыл над людьми.
Джек сказал:—Одно из двух,
Останься или возьми!

Кузница при дороге.

Вот кузница при дороге
Стоит, как гриб, разбухший под дождем.
Кузнец—Игнат, уже старик безногий,
Дрожащий над ухватом и гвоздем.
Глаза белесые. В заплатанной рубахе,
Уже с утра он под осадой баб.
Кричат, ругаются. Но жизнь в тяжелом взмахе,
В презрении на высохших губах.
А на полу, среди плевков и сора,
Заклепка к плугу, зуб от бороны,
Заржавленная старая рессора
И штык с войны.
Игнат суров. Лицо в угрюмых складках.
Да и тяжел теперь он на подъем.
Вот к непогоде колет под лопаткой,
Весь дребезжит, пора уже на слом!
Но смерть молчит. А жить—так жить у горна,
Неделя—две, и захрустит ледок,
Все так же равномерно и упорно
Заходит по подковам молоток.
И кузница стара, вся на подпорках,
Но и она кряхтит, а не сдает.
Молчит Игнат. Он продымит махоркой
Неделю, месяц, может быть, и год.
Живет старик, живет. Седеет редкий волос.
Кряхтит и охает. Работает, молчит,
Но всю мужицкую, соломенную волость
Он держит под железным молотком.

В. Александровский.

Удача.

Знаю, знаю, как люди плачут,
Как живут до могилы в тле.
Оттого я шальной удачи
Не искал на родной земле.

Мой ломоть отдает полынью,
Пахнет кровью и потом злым.
Целый день за него гнул спину
Над суглинным полем моим.

Оглянулся: изба да клети,
Ветер в окна, за дверью ночь.
А ведь сколько таких на свете,
Которым нельзя помочь!

Много нас по глухим лачугам,
По полям и густым лесам.
В темной хате, в лесу, друг с другом
Веселей и не страшно нам.

Нас, как сосен уральских, много.
Часто слышу: гудит их шаг.
И одна нам, одна дорога
Из избы — на ночной большак.

Оберем, загромим счастливых,
Чтоб и их пристегнуть к себе.
Чтобы сказки о светлых дивах
Не цвели в полевой избе.

Будь ты проклят, кто жнет удачу,
Кто, смеясь, идет по земле!
Мне дороже — кто пьет и плачет
По полям в духоте и тле.

Петр Орешин.

О детстве.

I.

Мое детство цвело на будке
У железнодорожного моста,
Где весной дрожали незабудки,
Жизнь была, как вода голубая,
Ясна и проста.

В черноземном море пашен
Поезда качались скорые.
Был приветлив и не страшен
Красный глаз семафора.

Так ласково и не строго,
Объискрив брызгами огней,
Меня железная дорога
Качала на груди своей.

В набегающем вихре
Железо скрежетало и ухало.
Приникал я с тихой дрожью
К рельсу розовым ухом.

И когда низко висли
Глаза паровоза,
Набухшие огнем,
Биенье железной мысли
Было мне близко
И понятно в нем.

Полюбил я и так сжился
С этой громадой громовой,
Как будто дым кудрями бился
Над моей гремящей головой.

Тянулись за грозой любимой
Отлетные станицы дыма,
И я тянулся в степь,
В золотое море пшеницы,
Расплеснутое рельсами.

— Тебе девять лет,
И ты совсем взрослый...—
Сказал отец, от загара черный.—
Завтра пойдем мостовые откосы
Обкладывать дерном.

Проросли, зацвели мозоли,
Работал я с братом.
Долбил железный град
По стриженным головам
С моста—набатом.

Раз дрогнуло сердце странно
И перестало биться,
Услышал:
Тревожные свистки над курганом
Уносимой коршуном птицы.

Журчали, пели рельсы,
Манили железными пальцами спиц.
Вечерами
В окнах Сибирских экспрессов
Цвели золотые колосья и лица.

Вспыхивала ночь, синея,
А эти блистающие снопы,
Смеясь, угасали
В степной глубине,

Где огни вокзала
Мерцали звездной кучей,
Такой же далекой,
Таинственной и могучей.

II.

Зимой белый океан метелей
Плескался в насыпь
И мостовые устои,
Вьюжно провода свистели,
И я первый раз услышал,
Как сталь по-волчьи воет.

Вихрились стаи птиц со стоном
На всем пространстве,
Белыми крыльями хлестали
Качающиеся вагоны.

Осыпались пух и перья пылью
И мгла голубая,
Хрустели кости на рельсах
И крылья
В колесных зубах.

Видеть больно в сугробных курганах
Вздрагивающие поезда,
В серебряных волнах буранов
Качалась печально семафорная звезда.

Захлебывался искрами, кипеньем
Напряженный паровоз,
Кувыркаясь в снежной пене
Рокотом чугунных гроз.

Манили дали
В мерцающую глубину.
В теплушках пели и рыдали—
Гнали на японскую войну.

III.

Я слышал:
Весенняя степь звенела,
Наливаясь солнечным светом
И струйками прилетных птиц,
А небо ливнями мокло.
Прыгали по убегающим крышам
Пьяные дожди и грозы,
Стекали по стеклам
Светлые слезы...

А потом в открытых окнах
Радужное дрожанье
И цветенье,
Приветно мелькали
Ленты и локоны
Счастливых детей.

Было горько, досадно—
В курьерских ели душистые сласти,
А я нюхал нефть по откосам,
Уходил искать в кусты,
Был рад бумажкам шоколадным
И консервным банкам пустым.

Ах, как мечтал стать машинистом—
Прогромыхать по мосту радуги,
По облачной насыпи
Сверкающей, чистой
Мчаться с безумным
И радостным свистом.

IV.

Прикован к подножью
Журчащих колес,
Я с тихою дрожью
Бился и рос.

Упорно рвался
В светлый рейс,
Плакал, смеялся
У змеиных рельс.

Бились мысли
У проводов.
На струнах висли
Гроздья дроздов.

От черных пашен
Дымилось тепло;
С облачных башен
Солнце текло.

Светлым чудом—
Цветочная пыль.
Кивал мне чубом
С кургана ковыль.

V.

— Мальчик, подай букетик
Весенней крупки и незабудок,—
Сказала барыня, в красных ботинках,
Ласковей всех на свете.

Я отдал все, вместе с корзинкой,
Дрогнув в лице.
На ее пальце
Искрилась чья-то слезинка
В золотом кольце.

От нее пахло цветами
И таким простором,
Которых я не знал никогда.
Долго смотрел вслед
Слезными глазами
За улетевшим скорым.

— Дурак ты!—крикнула мать,
Плеснул подзатыльник.
— Я послала продавать,
Да как ты смел?—
А я готов был той все отдать,
Чего даже не имел.

Ночью набухли ресницы,
Горло сдавил стон,
Как той птицы,
Уносимой коршуном.

Снился город любимый,
Которого я не видал никогда.
Отлетные станицы дыма
И степь, простреленная рельсами.
Я улыбался железным мыслям,
Гудящим в проводах.

Мих. Герасимов.

Шахматы.

Поэма.

Песнь первая.

В порядке шахмат—бой годов,
В строю отменной простоты,
Так сменим костью молодой
Изношенные шахматы.
Так повелим, разгородив
Работу, как с горы —
Станку токарному родить
Фигуры для игры.
Пусть точит, в искрах исходя,
Работы ветром вспенен,
Сверканье кости доводя
До точного значенья.

Толкни шатун станка. Игра
Без пешек—случай лишь.
Бери их скоростью с утра,
Скоростью наилучшей.
Поочереди вынув,
Наощупь—гладки ль—пробуй,
На стол, как на равнину,
Поставь, шагали чтобы.

Пастухи лохматые важно
На Буге, Волге, Каме,
Дуют в степные, ржавые скважины
Мерно босыми ногами.
Люди на теплых животных хмурых,
Чье имя будет утрачено,
Землю скребут железом бурым
От медного моря до Гатчины.

Ловцы управляют водой и травой,
Где щуки стоят и лисицы на страже;
Прикажем сетям тряхнуть головой,
Капканам звенеть прикажем!
Хозяйственно голосуя
За волчью повадку в лесу,
За дождь для колосьев встав,
Ломают весла и беляны
За речной, за бегучий устав;
На ребрах ночуют руды,
Петлею старейших арканов
Коней полоня ряды.
О их волосатом
Бытье, плывущем в стороны,
Поют кривым закатом
Раскрашенные бороны:
„Мы—пешки на темной равнине,
Мы только означили стык
Восточной души соловьиной
И Запада лап не простых".

Шпиндель от шкива прочь,
Масла дай шестерне,
Желтого пойла,
Режущий угол строй,
Эту токарного дела дочь
Мы назовем турой.
Набить сукна ей под ноги,
Чтоб шаг ее был кроток,
Чтоб враг от одного погиб
Крутого поворота.

Окончен равнин хоровод
Бурленьем янтарей,
Там в дурь соленую, в разброд —
Идут играть туры морей.
Шквал, что светящейся рукой
Свергает горизонт,
Мель в вихрях, скалы, мины, мрак —
Игру многоименно так
Зовут среди племен,
Осевших тысячами тонн,
Поспоривших с волной,
С таможней, с биржевой ценой
На хлеб, на соль, на лен.

И отряхая пояс хмельный
Из пены, бьющейся у стана,
Они, краса еженедельных
Могучей воли расписаний,
Придя с дороги риска
В родное хлебосольство,
На мол Новороссийска
Плеснут смолой довольства.

И рядом в травы, в блески, в пыль,
Где русский дух в погоде,
Но семафоровый костыль,
Уже международен —
Залязгав спокойствием сердца удар,
Проносят бессонную жизнь поезда.
В пролетах мчащихся полос—
Лесов боярская беспечность,
Но степь—насквозь, холмы—насквозь,
В свистящем равенстве колес,
В бегучем равенстве навечно.
Как заповедь, западный ветер
Известен наизусть—
Уложена в метры, как в сети,
Радость его и грусть.
Внизу земля воронкою легкой,
Внизу вода—голубая ртуть,
Сухие летчиков щеки,
Как соль, хрустят на лету.
Серая птица—гонец высоты—
Где повстречаешь ночь ты?
Глухо в тюках шуршат листы,
Листья утренней почты.
Там, где воздушных ям колея,
Туч полнотелых братство,
Руль поворота, воля твоя—
Властвовать и купаться.

Винт круче поворачивай,
Скорость переводи —
Грудь вырезай горячей,
Глаз охолоди.
Пройди по гриве штихелем,
Раз,—конченный в резьбе—
Конь выкормлен и выхолен—
Позволим закурить себе.

Игрок—он, может, раб в ином,
Но он владыкою всегда,
Если цветным табуном
В игру вступают города:

Клячами, в чью душу влез лопушник,
Клячами старины,
Чей тепел зимний наушник,
А уши—богатой длины.

Скакунами холмов—иные,
Пляшущие в зелени,
Водою сытой вспоены,
Овсом высокосеянным.
К ним в углы кирпичные,
В глиняных звезд насест—
Идет необходимостью,
Через послов и лично,
Металла манифест.

Встает последним город,
Проверенный со всех сторон—
Взлетает на барьер он
В угле, в бензине по плечам,
В дыму поводья волоча,
Серым конем трепещет—
Ему сквозь стекла и рамы
Вплотную молятся вещи:
— Мы седла твои. Стремена мы!
Кому запрещается в мире езда?
Дорог корабли, морей поезда
Сменяются, свежей толпой,
Нарочной, как улиц союзы,
И входит горячий котлов водопой
В его станционный узел.

Лишь в душных крушеньях, ямах грозы
На город рухнет тьма,
И в ней самодельный гуляет язык
Высот, сошедших с ума.
Он,—стиснут синей осадой,—
Слышит мускулом каждым,
О чем хлещет вода—
Полям, что воют и падают,
Селам вопящим: пощады!
Кричит воспаленной громадой:
— Ставьте на города!

Точи до полдня и завтракай,
От торопливости отвыкай,
Высоким он быть должен,
Костяной офицер доски.
Яростней всех, моложе—
Тщательней, ученик—
Сглаживай от руки,
Там, где рубцы не схожи.

— Не громовержец надменный,
Лишь металлиста голос
В воздухе выбьет: слушай!
Скатывается голый,
Насквозь драгоценный
Дождь Бессемеровой груши.
Грудь и плечи гор свалив
К ногам, обмоткой сжатым,
Колонны и стены борет в пыли
Каменщик бородатый.

Кинули плотнику рощи
Ветвей черноволосье,
Столы и доски проще,
Чем песню на веселье,
Пожаловать он просит
К нему на новоселье.
Поля ложатся в пряжу
Перед ткачем спесивцами,
Чтоб разобрать продажу
Полотнами и ситцами.

Ночью мы сон даровали вещам,
Но безымянной листвою
Осыпано сердце, встает, трепеща,
Деревом с тканью двойною,
Входит в соседних ветвей игру,
Охвачено счастьем таким,—
Что токи срываются вдруг
Кусками обугленной проволоки.
Все, потому что мы не то,
Что предков племя редкое,
Не на кресте, не под крестом
С другою в памяти отметкою:
Чтоб ямы кидать на дыбы,
Чтоб выси разбились у ног,

Чтоб с гончими выгнав обычай и быт—
В упор расстрелять у берлог.

Уж движет темнота огни —
Пора из-за станка вставать —
Последний ход резца,
Король идет, и ферзь за ним,
Игрою королевствовать,
Игрою без конца.

Стены, стол, провода,
Жесткий времени стук,
На картах повисли земля и вода,
По ним—дорога рук.

Если река—в бунте река—
Идет не туда—правей,—
Река зажимается в кулак,
Плотина на горло ей.

Если сыто смыкаются деревень
Черные рты—
Пустыням даруется тень—
Курсант меняет парты
На строй полка,
Дарят осень сарты
Базарами хлопка,—
Это, значит, картой
Проходит рука.
И жизнь,—как шкура до усов,—
В отделку отдана.
Верховным трепетом лесов
Богата страна.

Но белая по густоте
Плеснет пилы дрожь,
Меж четырех стен
Сроки ставит вождь.

Игра его—не жалость,
Не спор, не дар улова,
Работ праматерью лежала
В тесных глыбах слова,
Пылать пыталась в нефти
И в человечий гнев войти

Владычествуя тишиной
В труды и будней племена—
Как дни и ночи, над страной
Врезается, заострена.

Но, если Запад хвалит меч
И гневом роет берега,
Чтоб королевской лапой лечь,
На горячую печень врага,
Кончено! Кончено! Если хвостом
Бьет отчеканенным, воя —
Север—клыки отточи и стой
У своего водопоя.

Тогда станкам живым
В молчанье только броситься—
В квадраты крови и молвы
Игра сама выносится.
Тогда из доков дохнущих,
Из арсеналов пасти
В гранаты, в пули и еще
В сигналов рабские огни —
В мосты, в сады, в жилища—
Разорванные на части—
Лишь в них тогда, и только в них
Играет бойни мастер!

Оставим наш станок пока,
Игре теперь нужна доска.
Сухая—не суше, чем порох,
Большая—не больше мира,
Чтоб видели мы, играя,
Как страстью и сытым узором
Напряжена до края.

Украшенная травами,
Деревьями и льдинами,
Одетая холмами,
В воде—червонная—направо,
Доска налево—пламя.

Ты—тишиною зажирев
И духотой, и соком—
Занежилась в своей жаре,
Обласканная востоком.
Будешь размечена, оглушена.

Безжалостно, насквозь—
Вымрет в тебе тишина,
Как зубр и неласковый лось.

В порядке шахмат—бой годов,
Ему покоришься и ты—
Сменены костью молодой
Изношенные шахматы.

Начнем игру по правилам—
Холодный битвы ток
Уверенность направила
Твоей рукой, игрок.

И ринутся кости еще и еще,
Отвечая сверкающим оком,
Но первый беспроигрышный ход посвящен
Самой игре высокой!

Николай Тихонов.

Енчмениада.

(К вопросу об идеологическом вырождении.)

Н. Бухарин.

И нарекут имя Ему Эммануил, еже есть глаголемо „с нами Бог“.

Библия.

... А за крыльцом
Сосет рябой котенок суку.
Сей факт, с сияющим лицом,
Вношу, как ценный вклад, в науку.

Саша Черный.

Чрезвычайная запутанность наших социально-экономических отношений, одновременное сосуществование самых разнообразных хозяйственных форм и соответствующих им людских группировок, сложный переплет этих элементов, их крайняя подвижность и т. д.,—все это неизбежно выплывает и дает себя знать не только в сфере политических настроений и политических формулировок, но и в так называемых «высших областях» идеологии. В переходное время — да и не только в переходное время — нередки случаи, когда групповое самосознание начинается именно с этого конца. Таким образом обнаруживается, что под «невинными» теоретическими рассуждениями кроется весьма определенное общественно-политическое содержание, и «идейный» откол влечет за собой политически - групповое почкование. С этой точки зрения вполне понятно, что наша партия должна стоять «на посту» и здесь, чутко прислушиваясь к тем идеологическим процессам, которые складываются из множества ручейков и ручеечков, постепенно формируются и могут в конце концов иметь важное значение в ходе общественной жизни. Не раз и не два партия предупреждала уклоны в сторону от пролетарской линии благодаря тому, что блюла—пусть над этим сколько угодно смеются мещане всех сортов и рангов—свою марксистскую чистоту. Конечно, этим вовсе не сказано, что мы должны воспитывать дух принципиального консерватизма. Перед нами горы задач и проблем. В некоторых областях идеологии мы делаем только первые шаги. Но всегда и всюду мы руководствуемся и будем руководствоваться испытаннейшим методом, — методом марксизма.

Между тем, находятся «оригиналы», для которых этот партийный закон отнюдь не писан. К числу таких оригиналов, в первую очередь, принадлежит Э. *Енчмен*. Мы бы не сказали о нем ни одного слова (как к нам ни пристают, ибо «на всякое чиханье не наздравствуешься»), если бы этот автор не находил себе сторонников. Но он их, к несчастью, находит. Перспектива заменить все науки «пятнадцатью анализаторами», видимо, нравится определенным прослойкам внутри нашей партии. Вот тут-то и кроется опасность, которая видна особенно ясно, если понять социальную обусловленность этого чудовищного идеологического искривления. Задача настоящей статьи и заключается в том, чтобы вскрыть и логический, и социальный смысл всей енчменнады.

Не можем не сказать нескольких слов о литературной физиономии енчменовских произведений. В литературе, претендующей на звание пролетарской, нет ни одного образца, который был бы, хотя отдаленно, похож на произведения Э. Енчмена. Столько в них торгашеской саморекламы, самовлюбленного паясничанья, бредовой мании величия, резкого антипролетарского индивидуализма. Читатель, привыкший работать среди пролетариев, должен преодолевать чувство брезгливости и отвращения, когда ему приходится читать Енчмена: до того бьет в нос поистине базарное хвастовство этого человека. Досужие люди могут сделать статистический подсчет, сколько из страниц в брошюрах Енчмена посвящено саморекламе. Результат получится восхитительный. Вот некоторые образцы этой саморекламы: «великий, священный (sic!) для меня текст,—моя теория новой биологии, эти, поистине, новые *скрижали грядущего»* [1]; «совершенно новые потрясающие дедукции» [2]; «много мощного и яркого» [3]; «автор теории новой биологии в истории человечества не знает и отдаленно похожего или отдаленно равного по мощи органического события» (речь идет о проникновении теории новой биологии «в организм» современного человечества) [4]. Автор уж, конечно, опередил «на несколько лет восставшие трудовые массы производством органического катаклизма в самом себе» и, натурально, ставит своей задачей «призывать восставшие трудовые массы к совершению целого ряда действий, необходимых для полного реального торжества этого самого потрясающего события, о каком когда-либо знало человечество» [5], т. е. для полного усвоения теории новой биологии. С сей целью Э. Енчмен навязчиво предлагает себя в руководители Ревнаучсовета республики или «Мировой Коммуны с соответствующими подчиненными органами на всем пространстве Республики или земного шара» (так прямо и написано! *Н. Б.)* [5]. «Путем введения особой системы физиологических паспортов» новоявленный Мессия, на ко-

---

[1]) Э. Енчмен, Психология перед судом возрождающегося позитивизма.—Статья, отбитая на пишущей машинке, стр. 41.

[2]) Ibid., стр. 44.

[3]) Ibid., стр. 45.

[4]) Э. Енчмен, Восемнадцать тезисов, стр. 5.

[5]) Ibid., стр. 7.

гором почил дух теории новой биологии, переворачивает мир. Ну, а «в позднейшую эпоху Рев. Науч. Совет Мировой Коммуны, созданный (?! *Н. Б.)* и руководимый (?) 15-ю анализаторами теории новой биологии, должен явиться единственным институтом коммунистического управления» [1]). Автор полагает, что открывает истину, которая «не была известна ни одному из существовавших человеческих организмов, во всяком случае, ни одному из человеческих организмов, фигурировавших под именем мыслителей, философов, ученых и проч.» [2]). Конечно, эта истина, это новое евангелие гениального Мессии, воспринимается «с потрясающими (обязательно потрясающими! *Н. Б.)* результатами просто грамотными рабочими. Только восставшие пролетарии имеют уши, чтобы слышать *благую весть* (курсив мой. *Н. Б.)* о наступающей эпохе органических катаклизмов» [3]). Новый Христос не страдает скромностью: «уже сегодня на снежных вершинах идеологии (sic! *Н. Б.)* восставшего пролетариата автор видит свою теорию новой биологии, как исчерпывающего все проблемы (!!!) руководителя коммунистических, хозяйственных и идеологических отношений. Хозяйство и идеология коммунизма сливаются вместе в море единиц теории новой биологии. В этих 15-ти анализаторах не только вся идеология коммунизма, но и все элементы коммунистической практики» [4]). По поводу одного из своих тезисов автор замечает: «Эффект одного *произнесения* этой... истины оказывается всегда безмерно более сильным, чем все восстания против метафизики, которые знала история мысли» [5]). По поводу другого тезиса он вещает: «автор приступает к осуществлению безмерно, безгранично более грандиозного замысла» и т. д. [6]). Для автора «близкими» являются «слова легендарного несвоевременного революционера: «огонь пришел я низвесть на землю и как желал бы я, чтобы он скорее возгорелся... и как томлюсь я, пока это совершится...» (Еванг. от Луки—12, 49—50), и автор теории новой биологии признается организму, как хорошо он понимает, что теперь, в дни пролетарской революции, накануне, в начале *второй* эпохи пролетарской революции, недолго уже осталось томиться и ждать...» [7]). Мы очень благодарны за признание. Тем более, что, как оказывается, эта хилиастическая ерунда—добывание для Э. Енчмена председательского трона в божественном Ревнаучсовете—должна реализоваться «всеми революционными средствами» [8]).

Конечно, при таком дерзновении все «мыслители» просто дураки в сравнении с Енчменом. Исключение он делает (как потом мы увидим, из

---

[1]) Ibid., 8.
[2]) Ibid., 11.
[3]) Ibid., 14.
[4]) Ibid., 23.
[5]) Ibid , 29, курс. наш. *Н. Б.*
[6]) Ibid., 32.
[7]) Ibid , 43—44.
[8]) Ibid., 43.

лицемерия и хитрости) для одного Маркса, которого поощрительно похлопывает по плечу.

Кругом—талантливые трусы
Иль обнаглевшая бездарь,
И только ты, Валерий Брюсов,
Как некий равный государь.

Даже Энгельс—простой переложитель эксплоататорского вранья. Всё, написанное «разными Дебориными», будет встречаться «гомерическим хохотом» [1]), хотя, пока что, Э. Е. чрезвычайно протестует против «наглого осмеяния» (не «гомерического») *своей* «теории».

Можно было бы без конца цитировать подобные самовосхваления, ибо из них-то и состоит большая половина строк в писаниях Енчмена. Такими приемами американского проповедника и пророка Э. Е. думает оказать воздействие на экзальтированных девиц и дам обоего пола: им всегда нужен «томящийся» и «ждущий» пророк, кокетничающий на площади своими «томлениями».

Кстати о приемах. Внимательное чтение последней брошюры Енчмена (которую он называет «первым томом») убеждает, что он не доказывает, а гипнотизирует бесконечным повторением одного и того же и обещаниями «раз'яснить впоследствии» (в следующих «томах»). Кроме того, он прибегает к такому литературному приему: он вводит в действие воображаемого читателя, пишет его с большой буквы в знак любезности и заставляет его на каждом шагу утверждать, что он, этот читатель, крайне «взволнован» истинами Э. Е., «потрясен», «убежден», «благодарен», «признателен» и т. д. В общем, как видите, у Енчмена очень *услужливый* «читатель». Еще бы! Разве можно не услужить человеку, то бишь богочеловеку, который держит «скрижали грядущего», упраздняет все науки, глотает шпаги (pardon, «вводит в организмы» разные анализаторы), перерождает полтора миллиарда людей, пережил в себе преображение господне и сейчас страшно томится по Ревнаучсовету и «физиологическим паспортам»?.. Тем более, что история (в том числе и история рабочего движения), действительно, еще не знала *такого* «мыслителя»!

Но шутки в сторону. Спросим себя серьезно: может быть такой индивидуалистический хвастунишка идеологом пролетариата? Ясно, *что* нужно ответить на это. «Героическая», театральная поза есть остатки (и развитие в то же время) *эс-эровского* прошлого т. Енчмена, той мещанской требухи, которая была известна под именем «философского обоснования народничества». Что это так, нам расскажет сейчас сам Э. Енчмен, которого нужно же когда-нибудь вывести на свежую воду.

---

[1]) Э. Енчмен, Теория новой биологии и марксизм, выпуск I, Пб. 1923, стр. 79.

I. Логические корни „теории" Э. Енчмена.

Последнее по счету произведение Э. Енчмена. это—«Теория новой биологии и марксизм». В этой брошюре сказано не без гордости, что «теория новой биологии—*это прямое и неизбежное развитие подлинного, ортодоксального (!!) марксизма*» [1]).

Всем известно, что после февральской революции даже околоточные вставляли себе в петличку красный бантик. Точно так же известно, что теперь идет генеральная перекраска очень и очень многих «под марксизм». Не так давно проф. Челпанов жаловался на «идеологическую диктатуру» марксизма и, будучи опытным стратегом, учитывающим реальности, предлагал «приспособляться». Если взять это «приспособление», как факт идеологического *перерождения*, хотя бы и под давлением вышеупомянутой диктатуры, то тут нет ничего плохого. Но совсем другое дело, когда под словесным флагом, и при поднятии перстов с марксистскими клятвами сознательно проводится идеология, явно *враждебная* марксизму. А именно с таким случаем мы и имеем здесь дело, что весьма нетрудно демонстрировать.

Э. Енчмен не станет отрицать, что вопрос о *генезисе*, о происхождении данной теории (или «теории») имеет весьма существенное значение. «Филологические доказательства» самого Енчмена были бы совершенно немыслимы без такой предпосылки.

Ну, а теперь мы заставим говорить самого Э. Енчмена, вспомнив предварительно о том, как рассердились его почитатели на тов. Коппа, указавшего на духовное родство Э. Е. с идеалистическим проф. Введенским.

Вот что сообщает нам на сей предмет автор теории новой биологии:

> «Теоретическая формулировка основных руководящих научно-критических принципов, составляющая главное содержание настоящей статьи (речь идет о ненапечатанной статье Э. Е.: «Психология перед судом возрождающегося позитивизма». *Н. Б.)*, а также весьма категорическая формулировка связанных с этими принципами главных методологических выводов: о приближении момента полной научной ликвидации психологии, в связи с начинающимся возрождением критического позитивизма (sic!), о грядущем торжестве *естественно-научного* (курсив автора. *Н. Б.)* изучения социальных явлений, в противоположность традиционно-психологическому, а также о возникновении подлежащей детальной формулировки в следующих статьях проблемы *полного научного обобщения биологических явлений с явлениями социальными* (наш курсив. *Н. Б.)* в новой эволюционной теории «исторической физиологии»,—формулировка всех этих принципов и выводов находится (слушайте! слушайте! *Н. Б.)* **в непосредственной зависимости** (наш курсив. *Н. Б.)* от двух интеллектуально-животворящих источников: от трудов

[1]) „Теория новой биологии", стр. 24.

чисто-методологического характера (*Мах, Р. Авенариус, П. Пирсон, Л. Петражицкий*, **А. И. Введенский**, *Д. С. Милль, Ст. Джевонс, Г. Риккерт* и др.) и от научного творчества *русской физиологической школы*» [1]).

Итак, *непосредственными источниками* «бесконечно гениальных» откровений блаженного Эммануила являются писания эмпириокритиков, позитивистов и неокантианцев, т.-е. на 90% чистых *идеалистов*, буржуазных до мозга костей. Правда, другим «источником» «теории» Енчмена являются работы «русской физиологической школы» (Сеченов, Павлов, Бехтерев). Но ученый, оказавший наибольшее влияние на Э. Е., проф. И. Павлов, вовсе и не ставит тех вопросов, которые составляют «суть» теории Э. Енчмена. Он сознательно ограничивается точкой зрения «натуралиста» в отличие от «философа» [2]). Он вовсе не думает отрицать психических явлений, как таковых, как *инобытия физиологических процессов*. В предисловии к сборнику своих работ он, например, пишет: «Этот (т.-е. собранный учеными-физиологами) опытный и наблюдательный материал, собираемый на животных, иногда уже становится таким, что может быть серьезно использован для понимания в нас происходящих и еще для нас пока темных явлений *нашего внутреннего мира*» [3]). Сфера работ проф. Павлова — физиология. Совсем не то имеем мы у Э. Енчмена. Он ставит вопросы, которые мы до сих пор привыкли называть философскими. И вот **здесь-то, в этой** *области, источником енчменовской премудрости являются господа Введенские и К°*, т.-е. ярко выраженные *буржуазные идеалисты*. Товарищ Копп был совершенно прав, когда обвинял Э. Енчмена в плагиате, в том, что автор теории новой биологии, разрушитель тысячелетнего обмана, своевременно пришедший томящийся Мессия и прочая и прочая, прилежно списывал откровения своих «скрижалей грядущего» у пошловатых идеалистических профессоров и *обманывал* «просто грамотных рабочих» насчет источников своих «священных текстов».

Правда, Э. Е. в послесловии к цитируемой статье пишет, что ссылки на авторитеты были сделаны «не без лукавства» (слова *автора!*), что это было «временное соглашательство». Но на этот раз мы не поверим почтенному автору, у которого нет и следа теоретической «честности с собой». Ибо, если это было соглашательство, то мы спросим: соглашательство *чего с чем?* Павлова с Введенским? Но, ведь, Павлов, как доказано выше, *не ставит* вопросов, основных с точки зрения Енчмена. В этой же последней области среди источников творений Э. Енчмена нет *ни одного*, если можно так выразиться, философски добропорядочного. Эмпириокритики и эпигоны кантианства—вот камень, на котором Э. Енчмен строит здание своей новой церкви.

---

[1]) Э. Енчмен, Психология перед судом возрождающегося позитивизма, стр. 1.

[2]) См., напр., И. Павлов, „Экспериментальная психология и психопатология на животных“ в сборнике „Двадцатилетний опыт“ и т. д., стр. 24.

[3]) И. Павлов, l. c., стр. 10.

Когда Э. Енчмен писал статью «Психология перед судом возрождающегося позитивизма», он *прямо назвал* своих учителей, ибо тогда он еще не «дозрел» до нового Мессии. *Тогда* он не лукавил. Наоборот, он «лукавит» именно теперь, когда клевещет на свое прошлое, обвиняя себя в лукавстве. И он трижды, совсем уж непристойно, лукавит, когда считает, что вульгаризировать Введенского, Риккерта и К°—это значит продолжать традиции «ортодоксального марксизма».

За кого вы принимаете «просто грамотных рабочих», тов. Енчмен?

II. Антиматериализм в „теории" Э. Енчмена.

Неот'емлемой частью ортодоксального марксизма является его *материалистическая основа.* Если выбросить из теоретического здания марксизма его материалистический фундамент, тогда с грохотом рушится вся постройка. Вот почему все, в том числе и очень «лукавые», «критики Маркса» направляли острие своей мысли именно сюда. Они вели подкоп *под фундамент,* что было вполне логично с точки зрения стратегии классовой борьбы. Этот подкоп велся в философской полемике двумя разными способами: или нападение шло по линии *откровенного* антиматериализма, с защитой основных идеалистических твердынь (в первую очередь, кантианства), или по линии антиматериализма *под маской.* Последнее чаще всего было тогда, когда «критики» были близки к пролетарской среде, и когда неудобно было теоретически распоясываться. Этот второй вид антиматериализма обычно преподносился в форме *«преодоления»* самой постановки вопроса о материализме и идеализме; для таких теоретиков и идеализм, и материализм были в *равной* степени «метафизическими» конструкциями. На самом деле эти «критики» стояли по ту сторону баррикады, т.-е. находились в идеалистическом лагере. Но они все время прикрывались плащом нейтралитета. Такова, между прочим, была об'ективная роль эмпириокритицизма, в особенности в его махистской формулировке.

Само собою ясно, что раз Эммануил Енчмен прикрывается марксистским флагом, то ему нужно какое-нибудь прикрытие и здесь. Отсюда—та безвкуснейшая трескотня на тему о тысячелетних обманах, о «вони нечистых вздохов» буржуазных и социалистических ученых, ниспровержение всех и вся, словесное отрицание начисто всего «духовного» и постоянная божба пролетарским характером нового учения. Но чем больше «разоряется» тов. Енчмен, тем меньше ему веришь. Ибо все яснее и яснее становится, что теория Енчмена—это, мягко выражаясь, сплошное «лукавство».

Ниже мы разберем основную «мысль» теории Э. Е. Теперь констатируем лишь тот *факт,* что т. Енчмен ведет борьбу *с материализмом.* Несмотря на все свое «лукавство», автор теории новой биологии должен выбалтывать тайны своей черной магии. Поэтому мы и на этот раз заставим говорить его самого. Автор теории новой биологии «недоволен» идеалистами. Но,—

говорит он,—«*по тем же причинам* **лишены всякого теоретического значения и так называемые материалистические теории**, т.-е. метафизические (лишенные критической дифференциации понятия зависимости) теории, рассматривающие психику, как причинный продукт физических, материальных явлений (например, рассматривающие представления, как выделения мозга; чувства, как причинные продукты органических процессов и пр.)» [1]). *По существу*, возражения Енчмена совершенно пустяковы и основаны на полнейшем непонимании материалистической теории. Тов. Енчмен полагает, что материализм «удвояет» мир. Он воображает, что, с точки зрения материализма, существуют, с одной стороны, физиологические процессы, а, с другой, их психические «выделения», данные *сверх* этих процессов. На самом же деле, материализм Маркса (да и ряда его предшественников, а равно и учеников) под психическими явлениями подразумевает не какую-то *сверхданность*, **а другую сторону** физиологических процессов с особой качественной характеристикой. Именно поэтому Г. В. Плеханов заявлял, что «Marxismus ist eine Art des Spinozismus» («марксизм есть некоторый вид спинозизма»). После плехановского заявления поднялся ужасный шум, потому что господа «критики», изучавшие материализм по идеалистическим историко-философским учебникам, и подумать не могли о возможности назвать Спинозу материалистом. Тов. Енчмен, воспитывавшийся на эс-эровских теориях, конечно, повторяет все пошлости идеалистов и позитивистов. Что ж тут поделаешь? В этом, быть может, не вина его, а беда.

Но все же читатель в праве требовать одного: он в праве требовать, чтобы новый пророк, говоря его собственными словами, не подавал негодной «эмульсионной» похлебки из Введенского, Риккерта и Маркса, а честно говорил, что он антиматериалист, *а потому и антимарксист*.

Ибо напрасно автор думает, что его «лукавство» в обращении с Марксом и его «временное соглашательство» с марксизмом не будет вскрыто. Оно будет ясно для всех, даже для «просто грамотных рабочих». Вульгаризатор Введенского, человек, ведущий подкоп под материализм и даже не знающий этого материализма, не может состоять в родственных отношениях с *марксизмом*. Эта святая истина не нуждается, на наш взгляд, ни в каких дальнейших комментариях.

III. „Психическое“ и „физическое“.

Многим простачкам «теория» Енчмена представляется «последовательно-материалистической». В самом деле, ведь, с первого взгляда, куда же дальше итти в «развитии» материализма? Енчмен во многих местах доказывает с жаром, что психических явлений *нет*, что по поводу этих явлений не может быть ни суждений, ни даже слов; что обычные словесные значки—бессмысленный набор звуков и т. д., и т. д. Для умов, которые не склонны «копать

[1]) Э. Енчмен, Психология перед судом возрождающегося позитивизма, стр. 17; то же самое—в „18 тезисах“, стр. 22, 23, 24.

глубже». и для которых очень притягательна перспектива ничему не учиться, ибо в 15 анализаторах содержится вся хозяйственная и идеологическая премудрость коммунизма (так, ведь, утверждает «сам» пророк),—для таких умов теория Енчмена представляется высшим достижением материализма. Они не видят ни пошлого *вульгаризаторства* Э. Енчмена, вульгаризаторства, снабженного лошадиной дозой отвратительной демагогии, ни лицемерного *лукавства* автора, который тем больше «материалистически» озорничает, чем глубже *падает на дно идеализма.*

Тов. Э. Енчмен считает важнейшим теоретическим результатом «своих» исследований уничтожение «психического ряда» явлений. «Мы показали,—пишет он,—что все эти слова (т.-е. слова, означающие психические явления. *Н. Б.),* во-первых, все без исключения, по своему составу, обозначают пространственные явления; во-вторых, не могут наименовывать непространственных явлений, потому, что об отдельных непространственных явлениях и о группах непространственных явлений невозможно существование слов; наконец, в-третьих, мы обещали показать в дальнейших главах, что господствующее тысячелетиями применение всех этих слов к обозначению непространственных явлений—эксплоататорского происхождения, осуществлено идеологической агентурой эксплоататоров из корыстных целей классовой эксплоатации» [1]).

В самом деле. Присмотримся к ходу рассуждений Енчмена, который «подводит» дело к вышеприведенным положениям, уничтожая «почем зря» психический ряд, суждения о нем и даже соответствующие словесные значки. Ход этих рассуждений крайне характерен и его анализ совершенно необходим, если мы хотим понять *действительную* суть, а не показную *маску* енчменовской теории.

«В связи с существующими и распространенными заблуждениями о точных границах психических явлений,—пишет наш автор,—следует категорически подчеркнуть то общее положение критической методологии, что чужая психика никогда не наблюдается нами, что *каждый из нас* (индивидуумов) интроспективно наблюдает только свою психику, и больше ничью. Таким образом мы приходим к чрезвычайно важному с логической стороны выводу, что ни для кого из людей не может быть доказанным, *что и другие люди психичны, одушевлены,* т.-е. что и другие люди переживают чувства, желания, представления, так как самое тщательное, всестороннее наблюдение за чужим организмом не сможет обнаружить в нем наличности психических явлений (ощущений, представлений, чувств, воли). Бесчисленные явления, ежеминутно наблюдаемые мною (индивидуумом) у всего огромного множества окружающих меня организмов,—в частности, у людей (мимика, волнения, движения, словесные рассуждения и пр.) суть исключительно об'ективные, физические явления. Психические же явления, быть может, протекают (?) интроспективно у каждого из окружающих меня людей или вообще орга-

[1]) Теория новой биологии, стр. 49.

низмов, но сколько-нибудь убедиться в этом я не могу: чужие психические явления недоступны моему наблюдению. *Чужая психика трансцендентна*, т.-е. недоступна коллективному (об'ективному) опыту» [1]. (Далее идет ссылка на авторитет вышеупомянутого буржуазно-идеалистического профессора А. Введенского.)

В этой цепи рассуждений, отнюдь не оригинальных и в основе списанных у Введенского, мы обнаруживаем, прежде и раньше всего, определенную непоследовательность. В самом деле, откуда это автор «заключает»: «*каждый из нас* наблюдает только свою психику»? Откуда это Енчмен знает, что *каждый из нас* «наблюдает»? А если, по Енчмену, *каждый* наблюдает, то каким же путем он, этот «каждый», может наблюдать то, что может быть, вовсе и не существует?

Посмотрите, какую чепуху преподносит нам почтенный шпагоглотатель.

С одной стороны, *категорическое* утверждение на предмет наблюдения «только своей» психики.

С другой стороны, категорическое *сомнение* в существовании об'екта этой «только своей» психики.

И все ничего! Читатель (с большой буквы) проглотит! «Чужая психика трансцендентна». Хорошо! Но если вы про нее говорите, что она «трансцендентна», то значит она *существует* все же? А если она существует, то как вы в ней сомневаетесь? Енчмен не пишет: «*если она есть*, то все же она мне недоступна». Он пишет: чужая психика (т.-е. нечто существующее) мне недоступна.

Потом, что значит: *чужая* психика недоступна *коллективному* опыту? Ведь, это действительно набор слов! Коллективный опыт общества из 20-ти человек есть совместно обработанный опыт этих 20-ти человек. Что по отношению к этому *коллективу* будет «*чужой*» психикой, а что «*своей*»? Ведь, ясно, что эти выражения пригодны только для индивидуального опыта. Иначе перед нами простая тарабарщина и больше ничего.

Но и это проглотит «услужливый» Читатель с большой буквы.

Далее. Э. Енчмен мечет громы и молнии против того, что некоторые теоретики устанавливают *причинную* зависимость между физическим и психическим рядами. Сам же он защищает принцип *параллелизма*.

«Параллельно *всякому*, наблюдаемому интроспективно, психическому явлению можно констатировать неизбежно-одновременно протекающий в организме об'ективный, физический процесс» [2].

«Последние (психические явления. *Н. Б.*) протекают, наблюдаются организмом (речь идет об «организме вообще», о *любом* человеческом организме, а вовсе не об организме самого Енчмена, в чем нетрудно убедиться из контекста. *Н. Б.*) одновременно параллельно пространственным изменениям в организме, не воздействуя на организм» [3].

---

[1]) Психология перед судом возрожд. позитивизма, стр. 3.

[2]) Ibid., стр. 6.

[3]) „18 тезисов", стр. 17.

В этих, тоже отнюдь не новых, мыслях (перед нами обычная теория «психофизического параллелизма») поражает та же наивная (или лукавая?), мягко выражаясь, «непоследовательность».

В самом деле. Здесь Э. Енчмен устанавливает известный об'ективный и общезначимый закон. Но откуда же он знает обо всем этом, *если принять его собственные посылки*, его «потрясающие дедукции» и прочие заповеди «священного текста»?

С точки зрения Енчмена, он не может знать, есть ли параллелизм между психическим и физическим рядом у любого другого человека, определяемого, как «не-Енчмен». Ибо:

1) совершенно неизвестно, по Енчмену, *существует* ли этот психический ряд;

2) если бы даже он существовал, то он был бы недоступен (трансцендентен) для Енчмена;

3) а, следовательно, его нельзя было бы ни с чем сопоставить.

Так обстоит дело с «чужой» (в терминах Енчмена) психикой.

А с авторской? Здесь совсем другой переплет. Если автор не смотрится в зеркало (он *постоянно* смотрится в зеркало, но не физическое), то он наблюдает «интроспективно» свой психический ряд, но не видит ни вибраций своего мозга, ни мимики, ни прочих физических вещей. Следовательно, *непосредственно* он и про себя ничего сказать не может. если только к делу не привлекать *коллективного* опыта.

Так, с первых же шагов, Енчмен опровергает свою собственную теорию и беспомощно, как трехлетний мальчик, блуждает меж трех сосен, сохраняя, правда, при этом победоносный вид.

Откуда же весь этот вздор? Откуда такая несвязанность концов с концами?

Очень просто. Повседневная *практика*, высший критерий истины, ежеминутно убеждает нас в том, что существует не только «я», но и «мы». Лишь сублимированная до индивидуалистического помешательства философия эксплоататоров буржуазного типа могла додуматься до «Единственного», кроме которого существуют лишь бревна, да и то не наверняка. *Практически* нет ни одного солипсиста. Правда, Енчмен пишет (лукавя снова и употребляя марксистскую фразеологию), что «весь наш огромный повседневный опыт каждую минуту подтверждает нам, что мы никогда, ни в каком чужом организме... не встречаем никаких признаков его одушевления» [1]). Но на это можно отвечать только смехом, хотя и не гомерическим: гомерического смеха эта индивидуалистическая чепуха отнюдь не заслуживает.

Пойдем дальше.

«Проклятый вопрос» относительно «физического» и «психического» может быть поставлен, *между прочим*, и так:

1) или мы начисто *отрицаем* существование психических явлений. Тогда

---

[1]) Теория новой биологии, стр. 7.

всякое слово о них—бессмысленный набор звуков, суждения о них невозможны, и т. д.; в таком случае теоретически возможно допустить, что фразеология, построенная на предпосылке существования «психического ряда», есть не что иное, как своеобразное идеологическое искривление;

2) или мы *признаём* психику у «Единственного» (суб'екта), допускаем *возможность ее наличия* у других людей, но считаем *недоказуемым* бытие этой «чужой» психики.

Всякому понятно, что могут быть и другие постановки вопроса; напр., у материалистов-марксистов есть *своя* постановка вопроса, *третья*. Всякому ясно также, что обе вышеприведенные постановки не являются марксистскими. Ясно, наконец, что между ними существует принципиальное, весьма глубокое *различие*.

Между тем, нетрудно показать, что Енчмен *колеблется* между этими двумя «решениями». Но его «колебания» тоже основаны, как он выражается, на «лукавстве». Когда ему нужно заманить в свою идеалистическую ловушку горячую молодежь, он старается взять ее «левым радикализмом», отрицая психику начисто, т.-е. выбрасывает знамя первой формулировки. Но в то же время он ловко протаскивает *второе* решение, списанное у идеалистических профессоров и составляющее *действительную основу* его теории, вернее, «теорию» Введенского и К°. Отсюда—нестерпимая путаница даже в наиболее разумном ядре того хилиастически-мессианского бреда, который носит название «теории новой биологии».

В настоящей логической связи нам нужно, прежде всего, установить один *решающий факт*, а, именно, тот, что автор «теории новой биологии» признаёт, по меньшей мере, и притом признаёт совершенно прочно, *свою собственную психику*. Мы это видели на цитатах, приведенных выше, но для еще большей убедительности, сошлемся на последнее произведение Енчмена, «первый том» теории новой биологии.

Там, между прочим, читаем:

«...*только потому* автор допускает, считает возможным, вполне вероятным..., что в читателе или вообще в людях протекают непространственные явления, *что в себе самом он наблюдает непространственные явления*» [1]), «автор *наблюдая* непространственные явления только в самом себе» [2]).

Правда, потом, путем целого ряда логических подстановок и фокус-покусов, автор как-будто «доказывает», что психических *явлений* нет, и *наблюдать* их нельзя, и *говорить* о них тоже запрещается новыми заповедями I тома «скрижалей». Но *факт остается фактом: исходным теоретическим пунктом «теории» Енчмена является признание психики самого Енчмена.*

Пойдем теперь дальше. Э. Енчмен признаёт, повидимому, реальность внешнего мира. Он признаёт также и существование *других человеческих организмов*. Но он, по меньшей мере, сомневается в том, что все другие люди, «не-Енчмены», «одушевлены».

---

[1]) Теория новой биологии, стр. 4.

[2]) Ibidem, стр. 5, курс. наш. *Н. Б.*

Итак:

Существую я, Енчмен, наблюдающий в себе психические явления, vulgo— предмет одушевленный.

Существуют Петров, Сидоров, Иванов. Но да будет обозван метафизиком и эксплоататором всякий, кто исходит из признания одушевленности этих простых людей!

Признание Енчменом своей собственной психики и сомнение в «чужой» имеет своей предпосылкой допущение, что *все иные люди организованы принципиально иначе,* чем сам гениальный Эммануил. Из этого, конечно, вытекает претензия на руководство «Ревнаучсоветом Мировой Коммуны», управляющим всем хозяйством и всей идеологией человечества; ибо, в самом деле, раз дух божий, психика, почил только на одном человеке, то ему и книги в руки: не спроста же он-то и выдумал теорию новой биологии, пока другие занимались прозаической «мимикой»!

Но, товарищи, из этого следует и кое-что другое. Именно, вот что:

Во-первых. Основные предпосылки Енчмена в корне противоречат и об'ективной действительности, и марксизму, отражающему эту об'ективную действительность. Маркс об'являл не раз пошлым буржуазным *вздором* представление об изолированном индивидууме. Но енчменовская точка зрения является этим вздором в десятой степени, потенцированным вздором. Мы очень рады, если наш Эммануил допускает (несмотря на свое божественное происхождение), что его папаша и его мамаша, возможно, были и «неодушевленными предметами» [1]), которые все же сумели, как никак, произвести единственный в мире одушевленный экземпляр человеческой породы. Однако эта комическая сторона в положении трагически изолированного нового Мессии только лишний раз подтверждает, что *ничего, абсолютно ничего, общего между марксизмом и енчменовскими скрижалями* нет и быть не может. Марксизм исходит из основной «данности», из общества «совместно живущих и совместно работающих людей». Для марксизма нет и *вопроса* о том, устроены ли люди принципиально отлично друг от друга.

Повторяем, лишь индивидуализм мещанства, буржуазии, деклассированной богемы может быть фоном для таких, якобы, «новых», а на самом деле заплесневело старых, выдумок. На книжке Енчмена должно было бы красоваться не то заглавие, которое там красуется. Нужно было бы написать: «Теория новой биологии *против* марксизма». Но разве хватит на это мужества у автора, вся теоретическая премудрость которого построена на двух китах: саморекламе и хитреньком лукавстве?

Во-вторых. Признание собственной психики разрушает всю «стройность» «радикального» варианта енчменовской теории. Ибо, если психика есть хотя у одного автора теории новой биологии (мы становимся на его точку зрения), то, следовательно, об'ективно существует категория *психических явлений.* А отсюда вытекают и все те вопросы о «материи» и «духе»,

---

[1]) Вернее, он „допускает“ возможность их одушевленности. „По правилу“ они считаются именно неодушевленными.

которые храбро изничтожаются Енчменом только потому, что он от них улизывает. А когда он их ставит, то, как мы видели выше, он *опровергает свою собственную теорию* (напр., установлением таких законов, как закон психо-физического параллелизма).

В-третьих. Но если психические явления *существуют*, то о них могут быть и суждения, они могут быть обозначены словами и проч., что и происходит, вопреки Енчмену, в действительности.

Разберем этот вопрос более подробно.

Здесь ход аргументации у Э. Енчмена таков:

a) «Слова—это цепи органических движений, рефлексов» [1]).

b) «Чужие непространственные явления (?!) вообще во всех случаях не вызывают никаких изменений, никаких движений в организме читателя» [2]).

c) «Однако для нас остается неразрешимым вопрос: может быть, те непространственные явления, которые, скажем, протекали *в самом читателе* (курсив автора), вызвали в его организме какие-нибудь движения?»

Однако этот вопрос только кажется другим, отличным от только что нами разрешенного. В самом деле: если бы непространственные явления, допустим, протекающие в организмах, вызывали в этих организмах какие-нибудь пространственные изменения («движения»),—то такие изменения («движения») могли бы служить (служили бы) для окружающих людей доказательством того, что в этих организмах протекают непространственные явления... вместе с тем наш огромный повседневный опыт находится в резком противоречии (!!! *Н. Б.)* с таким допущением... Итак, непространственные явления никогда не вызывают пространственных явлений» [3]). А отсюда, следовательно, невозможно образование «словесных реакций» относительно непространственных явлений.

Присмотримся к этой аргументации ближе. Оставим в покое пункты: а) и b) и обратим наше внимание на пункт с).

Прежде всего, что значит: «для нас остается *неразрешимым* вопрос» etc? Если для Енчмена вопрос остается действительно *неразрешимым*, тогда *неразрешимым* остается для него и вопрос о словесных обозначениях психических явлений, и вся аргументация падает. Однако из последующих рассуждений вытекает, что Э. Енчмен все же «разрешает» и этот вопрос. Следовательно, речь идет не о *«неразрешимости»*, а о *нерешенности в данной стадии рассуждений*. Но тогда мы позволим себе заметить автору, оперирующему доказательствами лингвистического характера, что ему невредно было бы тверже знать русский язык.

Итак, примем лучшее для Енчмена положение, что здесь была всего-навсего некоторая элементарная безграмотность. Спасает ли это нашего пророка?

---

[1]) Теория новой биологии, стр. 6.

[2]) Ibid., стр. 7.

[3]) Теория новой биологии, стр. 7.

Думаем, что нет.

Ибо, на каком это основании Э. Енчмен подставляет на место вопроса о *своем* организме *другие* организмы? Ведь, по Енчмену, у них, возможно и психики-то нет. Допустим, что у них, действительно, нет психики. Вопрос отпадает. Но у Енчмена-то эта психика *есть:* он сам в этом признался. Так потрудитесь ответить на *этот* вопрос: есть ли *связь между вашей психикой и вашими движениями* или *этой связи нет?*

На этот вопрос Енчмен *должен* ответить положительно. И тут он пропал.

Ибо: единственным «выходом» для него была бы, примерно, такая «словесная реакция»: не непространственные явления (мои чувства, желания, представления) вызвали мои движения, а другие *пространственные* явления, протекавшие в моем мозгу и других частях организма.

Но на это мы могли бы ему возразить *в его же собственном духе:* а почем вы знаете, что происходит в вашем мозгу? И откуда вы это знаете, что у вас есть мозг? Вы *никогда* в этом не сможете убедиться. В самом деле, даже если бы вы искусно произвели трепанацию черепа и посмотрели в зеркало, то и то это было бы никудышное доказательство. Ибо на чем основано ваше доверие к зеркалу? На простой *аналогии:* вы видите, как подходят к нему люди и там отражаются. Поэтому делаете вывод и о себе. Но все же это—только аналогия. На самом деле, вы ничего здесь строго-научно не докажете. *Ваш повседневный огромный опыт убеждает вас, что у вас нет мозга,* что вы совсем безмозглый «организм».

Эти рассуждения—совершенно в духе Енчмена.

Их *можно* употреблять против автора новой биологии. Они были бы *достаточны* для опровержения «его» выдумок.

Нас, однако, здесь интересует не только опровержение Енчмена, но и действительное решение вопроса. По сути дела: правильно или нет положение, что мои движения вызываются другими пространственными явлениями, например, физиологическими явлениями, происходящими в моем мозгу?

Конечно, правильно. Но в том-то и дело, что мои психические явления не есть нечто *второе, сверх* и *помимо* этих процессов данное, а лишь *интроспективное выражение того же самого, интроспективное выражение моих физиологических процессов. Этого* не понимает антиматериалистический Аника-воин, и отсюда вся его путаница.

Более того. Как мы видели выше, «я» могу наблюдать процессы в своем мозгу только интроспективно; поэтому я и ставлю в связь многие свои «движения» со своею психикой. А отсюда ясно, что вполне возможна и *словесная реакция* на психические явления, и *обобществление индивидуальных «опытов» в этой области.*

Наделала синица славы,
А моря не зажгла.

IV. Биология и социология в „теории" Э. Енчмена.

Разобрав «оригинальную» (немножко имманентов, солидно — Введенского) «философскую» концепцию Э. Енчмена, мы приглашаем читателя (с маленькой буквы) последовать за нами и спуститься «со снежных вершин» рассуждений о физическом и психическом в долину вещей несколько более конкретных.

Запомним с самого начала, что Э. Енчмен обещал нам развивать *ортодоксальный марксизм*. А теперь к делу.

Всякому понятно, что марксизм произвел переворот прежде всего в *общественных науках*. Общественные науки, т.-е. науки, изучающие *социальные* явления, стали на совершенно твердую почву. В этом—громаднейшая заслуга творцов научного коммунизма, которые, как известно, жили в XIX столетии.

Величайшее событие мировой истории—рождение божественного Эммануила—произошло позже. Сознательная его жизнь и работа над скрижалями грядущего—еще позже.

Следовательно, Э. Енчмен *имел возможность* клясться марксизмом. Но, вопрос другой, нет ли и в этих, более «низменных» областях теории, лошадиной дозы теоретического «лукавства», попросту говоря, теоретической нечестности? Не означают ли и здесь все эти клятвы простого *обмана?*

> В общественных науках,—пишет Э. Е.,—«строются... весьма глубокомысленные «социологические» теории, обильные туманными терминами, мало анализированными понятиями, таинственными экивоками в сторону «глуби вещей» и пр. (Гиддингс, Дюркгейм, Штаммлер, де-Роберти и т. д., **в лучшем случае, Л. И. Петражицкий). Социальные явления** (т.-е. соответствующие физиологические реакции) **еще не знают чисто-причинного** (взаимно-физического, естественно-научного) **изучения;** изучение же их собственно-фантастической... наукой, социологией, совмещает в себе главные пороки научного мышления...» и т. д. [1]).

Итак, в статье, послесловие к которой написано в 1919 году (предисловие к «18 тезисам» написано в том же году), наш ниспровергательный автор

1) считает за «лучшее» в области общественных наук творения Петражицкого (правовые эмоции собак!),

2) считает признаком хорошего тона *даже не упоминать* о марксизме! Если до сотворения одного из «священных текстов» пророка Эммануила социальные явления не находили причинного об'яснения, то, следовательно, *марксизм* — тоже пустяки, и он не дает такого об'яснения. Гораздо выше него стоит Л. Петражицкий.

---

[1]) Психология перед судом etc, стр. 27, курсив наш. *Н. Б.*

Все это с «железной необходимостью» вытекает из вышеприведенных положений Э. Енчмена. *Свою родословную Э. Енчмен и в этой области ведет от кого угодно, но только не от Маркса.* А вся его божба марксизмом есть не что иное, как мимикрия. Это маска, под прикрытием которой Э. Енчмен протаскивает старый буржуазный хлам.

Да не подумает читатель, что вышеприведенные цитаты случайны или что они не характерны для теоретических взглядов Э. Енчмена вообще. Наоборот, нетрудно показать, что именно здесь лежит основа воззрений Енчмена на роль «теории новой биологии» в сфере общественных наук.

По принятому нами обычаю, мы и здесь заставим говорить прежде всего автора. Пускай он сам «пожжет» своим «глаголом» «сердца людей».

«Наука «социология»,—пишет Э. Е.,—призвана изучать, по формулировке социологов, так называемые «абстрактные законы» социальной жизни, т.-е. те законы, которые должны зафиксировать *специфические* события социальной жизни, события, долженствующие безусловно отделить науку социологию от других наук; при этом такими специфическими явлениями социальной жизни одни социологи (сравнительное большинство) считают появившиеся в период социальной жизни «разумные способности» человека (О. Конт, Спенсер, Гиддингс, Уорд, Кидд и др.), создавшие-этику, религию и пр., отделившие его от прежнего биологического бытия (факт «надорганического явления» и пр.); *другие же социологи склонны видеть специфичность социальной жизни не только в появлении «разумных способностей», но и в других фактах социальной жизни, например, в появлении у человека «орудий производства»* **(теория марксизма)** и пр.» [1]).

Товарищи! Насторожитесь здесь! Сейчас вы увидите, насколько ортодоксален наш хамелеон.

«Первое общее основное положение—базис социологической методологии, именно, априорное положение об *исключительной специфичности явлений социальной жизни* **(вне зависимости** от того, какие, именно, явления считаются специфическими—«разумные способности» или «**орудия производства»** и пр.) и полной их несводимости к понятиям других наук, как, напр., биологии, положение, что законы обобщения явлений социальной жизни должны быть «абстрактными» («социология — абстрактная наука»), не сводимыми к понятиям других наук,—это основное положение, базис социологической методологии, *находится в прямом противоречии с общим законом эволюции теоретического мышления,...* законом, изложенным... *Пирсоном и Риккертом»* [2]).

---

[1]) Ibid., стр. 35, Курсив, за искл. первого, наш. *Н. Б.*

[2]) Ibid., 36—37, Курсив, за исключ. первого, наш. *Н. Б.*

Итак:

Марксисты считают, что социальные явления специфичны.

Но это неверно.

Марксисты считают, что специфическим признаком, отделяющим общебиологические явления от социальных, является то обстоятельство, что «общественное животное», именуемое человеком, есть, кроме того, животное, «делающее орудия».

Но и это неверно.

Марксизм ошибается, ибо его положения противоречат идеалисту Пирсону и идеалисту Риккерту, двум профессорам, буржуазным идеологам чистейшей воды. Таковы выводы автора «теории новой биологии».

Вот вам и «ортодоксальный марксизм»! Вот вам и его «развитие»! Нужно сказать, что, действительно, трудно найти другой случай такого *теоретического подхалимства,* какое мы находим у Енчмена, прикрывающего свою индивидуалистически-идеалистическую наготу лоскутами «марксистских» «словесных реакций». «Тут все есть, коли нет обмана»... Неужели, в самом деле, не ясно, что тут есть прямой, наглый обман?.. [1]).

Таким образом *и здесь* между марксизмом и Пирсоном-Риккертом, то бишь Енчменом (он, конечно, очень «самостоятельный» «мыслитель»), *нет ничего общего.*

Теперь скажем несколько слов по существу вопроса, т.-е. вне зависимости от того, марксист Енчмен или «что-нибудь совершенно иное».

Замечание первое. Совершенно непонятно, почему это автор теории новой биологии, стремящийся к максимальным обобщениям, останавливается на *биологии?* Разве биологические явления несводимы к *физико-химическим?* Почему это все дело сводится к рефлексологии? Известно, что теперь делаются попытки (см., напр., проф. *Ла́зарева:* «Ионная теория возбуждения») итти еще глубже. На каком же «достаточном основании» здесь устанавливается предел, его же не прейдеши? На том, что ли, основании, что наш пророк во дни юности своея учился у проф. И. Павлова? Или на том, что он, будучи раньше эс-эром, прошел через школу Лаврова-Михайловского, которые ведут свою родословную от Спенсера и «органической» *(биологической)* школы в социологии?

Логических оснований, явное дело, тут быть не может. И здесь, по своему обыкновению, автор попадает в грубейшее противоречие с самим собой. *С тем же успехом, с каким автор протестует против «фантастической» социологии, «фантастической» политической экономии, «фантастической» теории права и т. д. и т. п., можно протестовать против «фантастической» биологии, ибо возможны обобщения* **физико-химического** *порядка, еще более высокие, чем обобщения рефлексологии.*

Замечание второе. Енчмен не понимает, что самые высокие обобщения

---

[1]) Чтобы читатель не подумал, что перед нами одни лишь „грехи молодости“, мы приглашаем взглянуть и на „18 тезисов“, стр. 32.

(т.-е. самые абстрактные законы) отнюдь не уничтожают значения частных законов, которые есть выражение законов более общего характера в *особой специфической форме*. Было бы поистине чудовищным предположение, что, скажем, закон сохранения энергии делает излишними закон трудовой ценности, или учение о базисе и надстройках, или законы денежного обращения. *Маркс* злостно издевался над такими оригиналами, вроде Енчмена, и здесь повторяющего буржуазно-идеалистические зады. Он писал, напр., про известного кантианца *Ф.-А. Ланге*: «Дело в том, что г. Ланге сделал великое открытие. Всю историю можно-де подвести под единственный великий естественный закон. Этот естественный закон заключается во фразе struggle for life—борьба за существование (выражение Дарвина в этом его употреблении становится пустой фразой)... Следовательно, вместо того, чтобы анализировать эту struggle for life, как она исторически проявлялась в различных общественных формах, не остается ничего другого делать, как превращать всякую конкретную борьбу *в фразу* struggle for life» [1])...

Точь-в-точь, как у Енчмена. Маркс *давным давно* предупредил «великое открытие», преподносимое на скрижалях. Маркс давным давно *опроверг* плоское и вульгарное представление, будто бы последние обобщения науки (даже настоящей науки, а не «науки» о 15 анализаторах) снимают с нас обязанность изучения частных дисциплин и тех особых, качественно разнородных, специфических форм, в которых проявляются эти самые общие законы. Обобщения *не ликвидируют* частных законов, они устанавливают лишь связь между ними, они выражают принципиальный монизм науки и единство ее метода. Но это ни в коей мере не уничтожает *всякого* разделения научного труда, т.-е. особых научных дисциплин.

Э. Енчмен явно вульгаризирует дело, в полном противоречии и с духом, и с буквой марксова учения. Эта вреднейшая идеологическая демагогия, в сущности, фиксируется en toutes lettres в енчменовских «священных текстах». В самом деле, вот что пишет наш автор:

> «Бесчисленное множество научных классовых суждений безостановочно ликвидируется... и на вершине научного творчества остаются, как *отборная интеллектуальная пища для Демоса* (так и написано!!), немногие, несколькие (?), максимально общие и максимально точные, светящиеся наиболее ярким научным светом, научные классовые суждения (научные законы)» [2]).

Это поистине замечательно! Геометрические теоремы? Долой их, раз есть 15 анализаторов. Решение биквадратных уравнений? К чорту эти алгебраические фолианты! Закон издержек производства? Пустяки! Все к чорту! Долой! Долой! Долой!

Демосу (слушайте) нужны *немногие* законы. Демос обойдется и ими.

[1]) **Маркс**, Письма к Кугельману, письмо от 27 июня 1870 г.

[2]) Психология перед судом etc., стр. 40.

Демосу (видите ли) будет подаваться «отборная интеллектуальная пища». Правда, немного, но зато уж в Ревнауче позаботятся о качестве.

Геометрию, физику, химию, механику, политэкономию, историю, социологию и прочее, и прочее, будет изучать не «демос», а *другие люди*. А «Демос» пускай забавляется тем, как горят «ярким светом» пятнадцать тощих анализаторов.

Что отсюда произошло бы? Что было бы, если бы «пророка» подпустить к делу?

Всякий увидит, что́. Ибо и без света «научных законов» ясно: с одними 15 анализаторами не будешь ни инженером, ни администратором, ни педагогом. Будешь *только* болтуном и *неучем*. Кое-кому выгодно, чтобы пролетариат был неучем, хотя бы и с вышеупомянутыми анализаторами. Но это ни в коей мере не совпадает с *интересами самого пролетариата*.

Энгельс еще в начале 90-х годов высмеял вот этаких заносчивых молодых людей, вроде Енчмена, дав им убийственную характеристику. Он писал:

> «Одна из величайших услуг, оказанных нам законом против социалистов, это то, что он освободил нас от навязчивости немецкого студента с социалистическим налетом. Теперь мы достаточно сильны, чтобы переварить и немецкого студиоза, который начал снова распространяться. Вы сами действительно уже кое-что сделали (Энгельс пишет Конраду Шмидту. *Н. Б.)* и должны знать, как мало молодые литераторы, приставшие к партии, дают себе труда изучать экономику, экономическую историю, историю торговли, промышленности, земледелия, общественных форм. Сколько из них знают о Маурере, только одно его имя. Нахальство журналиста должно все преодолеть. Часто дело обстоит так, как-будто эти господа думают, что для рабочих (для «Демоса». *Н. Б.)* все годится» [1]).

Замечательная характеристика, прямо не в бровь, а в глаз. Не за нее ли произвел наш автор в чин эксплоататорского идеолога одного из основоположников научного коммунизма? Очень похоже на это.

А теперь мы попросим читателя спуститься с нами этажом еще ниже и взглянуть, каких поистине гениальных результатов достигает наш Енчмен, когда он применяет свой метод при анализе конкретных явлений. Тут мы увидим нечто такое, что, действительно, превосходит уже всякое воображение.

V. Исторические экскурсы Э. Енчмена.

Уже из данного выше разбора «енчменовских» построений видно, чем дело будет пахнуть при конкретном анализе. В первой, цитировавшейся нами, работе («Психология перед судом возрождающегося позитивизма») мы

[1]) См. „Письма“ Маркса-Энгельса в изд. под ред. Адоратского, стр. 275—276 (I изд.).

имеем ясные намеки на дальнейший путь. Там идет речь о «словесных реакциях», «правовых реакциях», «религиозных реакциях», «реакциях логических суждений» и т. д. Мы теперь знаем, что попытки построить общественные науки на вот этаком базисе обычно приводили лишь к наклейке новых ярлычков, ровно ничего не об'ясняющих. Ибо нетрудно, конечно, изобрести целый каталог названий: «рефлекс цели», «рефлекс бога», «рефлекс права», «рефлекс»... и проч. На все найдется свой рефлекс. Беда только в том, что ничего, кроме игры в бирюльки, здесь мы не получим.

Проверим сие на исторических экскурсах самого Енчмена.

Вот перед нами попытка, с точки зрения теории новой биологии, об'яснить иудаизм и христианство. Посмотрим, что преподносит нам автор «нового» вероучения.

Сперва, конечно, изрядная порция рекламы:

> «... ему, автору теории новой биологии, впервые за несколько тысячелетий (уж конечно! *Н. Б.)* удалось прорваться (!) к пониманию совершенно непонятого до сего дня *самого грандиозного* (курсив наш. *Н. Б.),* органического (!) события последних тысячелетий, к пониманию события (!!), известного под именем библейской и христианской религий; как результаты этого прорыва бурно противоречат не только миллионам комбинаций, шантажа, лживой мистической лирики... но и всем толкованиям этого события «очень передовыми», подчас «очень революционными» и всегда «очень научными» Спенсерами и Тэйлорами или Каутским или Луначарским, рассматривавшим происхождение понятий Бога и Сатаны (большие буквы принадлежат Э. Енчмену, сохраняющему почтительность к этим величествам. *Н. Б.), в библейской и христианской религиях* **так же, как происхождение понятий добрых и злых духов во всех других религиях...»** [1]**).**

Уже из этого рекламного «введения» читатель, имеющий хотя бы косвенное отношение к марксизму, но *знающий дело,* усмотрит сразу, что здесь на-лицо явно вздорный подход к анализу.

В самом деле, почему это иудаизм и христианство—*самые грандиозные* явления? А буддизм, напр.? Или автор не знает всего его, буддизма, историко-религиозного значения? Откуда такие преувеличенные симпатии к господствующей в «цивилизованных» странах религии?

Автор об'ясняет сам, откуда сие. Он, ведь, утверждает, что происхождение понятий «Бога» и «Сатаны» у иудеев и христиан имело *совсем, совсем особые* корни, т.-е., другими словами, он утверждает, что *иудейская и христианская религия занимают среди всех религий мира совершенно особое, принципиально отличное, положение.*

Вот вам и «марксизм»! Любой ученый батюшка в рясе (в особенности начитавшийся г-на Введенского) с удовольствием станет защищать такую

---

[1]) „18 тезисов", стр. 36—37. Курсив наш. *Н. Б.*

позицию. Ведь, все апологеты поповства как-раз так и аргументируют, как аргументирует почтеннейший поклонник «Бога и Сатаны». Апологеты христианства как-раз и претендуют на «совсем особое» место для защитников «*истинной*» религии, перед которой и в сравнении с которой остальные религии — не «истинные», «языческие», «идолопоклоннические» и т. д., и т. п.

По существу вопроса: всякий, знакомый с историей религий, может констатировать совершенно обратное тому, что проповедует Енчмен, а, именно, удивительную схожесть в развитии религиозных фаз. Критический момент—переход к единобожию, который шел параллельно с об'единением разрозненных племен, имевших своих особых богов,—этот момент прекрасно освещен в литературе. То же было и у других народов, переживавших эволюцию в сторону единобожия. Подход Енчмена к вопросу *не только не имеет ничего общего с марксизмом, но и предполагает крайнюю степень невежества автора теории новой биологии.* Кроме того, он очень нехорошо пахнет: автор теории новой биологии *сам* заражен иудейско-христианским религиозным дурманом.

Дальше. Мы знаем, что, марксистски рассматривая вопрос, мы обязаны «выводить» изменение религиозных форм из производственных отношений. Для этого, конечно, недостаточно знать 15 анализаторов, а нужно *изучать* производительные силы, хозяйственный строй, юридические формы, быт и культуру данного народа. Это *изучение* показало, что Ягве — главный, единый бог, грозный и мстительный—был символом централизованной власти об'единившегося под началом богатых военных предводителей еврейских племен.

А по Енчмену? Вы думаете ему нужно изучение, копание в презренных фолиантах и проч.? Ничего подобного! Ему свойственен простой гениальный «прорыв», т.-е. попросту «мистическое озарение» (помним: дух божий почил на нем).

Этот «тэ-эн-бистский» «порыв» и «прорыв» довел автора до такого «об'яснения», что марксистский читатель с трудом может выдавить «словесные реакции» парламентского свойства. Судите сами:

> Автор, «прорвавшись (!) к проблемам библийской и христианской религий, обнаружил, что, *в отличие от всех других соседних религий,*— в библейской религии в понятии Бога (большая буква принадлежит автору. *Н. Б.)* художественно отражались отнюдь не «благоприятствующие ведению хозяйства силы природы», а (слушайте внимательно! *Н. Б.) содержание центрального, самого мощного анализатора из 15 анализаторов* теории новой биологии, художественно отражалось общебиологическое понятие («анализатор») *органического оптимума,* органической радостности..., а в понятии Сатаны художественно отражалось то же *общебиологическое понятие органического угнетения,* органической нерадостности...» [1]).

[1]) „18 тезисов", стр. 35—36.

Все другие об'яснения шельмуются Енчменом, как шантаж. Но шантажом является, в первую очередь, «об'яснение» самого Енчмена.

Ибо, в самом деле, предположим даже, что «Бог» физиологически выражал «положительный аффекционал» Р. Авенариуса (ведь, и тут Енчман не дает ничего оригинального, а списывает без указания источника), «Сатана» же—«отрицательный аффекционал». Предположим, выражаясь просто, что чувства и мысли о боге сопровождались радостным под'емом, а мысли о сатане (просим извинения у т. Енчмена за человеческий язык)—чувством угнетения. Согласимся с этим. Что же, будет это об'яснением? Малый ребенок видит, что это будет только *фразой*, которая не перестает быть в достаточной мере *глупой* от того, что т. Енчмен снабдит ее десятком иностранных слов («стенизм», «оптимум» и проч., ведь, для «Демоса» нужна «отборная интеллектуальная пища»).

Ибо, в самом деле: «органическая радостность» или «нерадостность» могут быть у людей, общественных групп, классов, целых племен и т. д. по *разным* поводам и проявляться—что еще более важно—в *совершенно различных формах*. Почему Израиль испытывал под'ем в *религиозной* оболочке? Почему эта оболочка приняла форму *единобожия?* Почему израильский «Бог» имел *специфические черты*, сатирически так чудесно схваченные Гейне:

Unser Gott ist nicht gestorben
Als ein armes Lämmerschwänzchen
Für die Menschheit, ist kein süsses
Philantröpfchen, Faselhänschen.

Unser Gott ist nicht die Liebe;
Schnäbeln ist nicht seine Sache,
Denn er ist ein Donnergott
Und er ist der Gott der Rache.

. . . .

. . . .

Unser Gott ist stark. In Händen
Trägt er Sonne, Mond, Gestirne;
Throne brechen, Völker schwinden,
Wenn er runzelt seine Stirne [1]).

На все эти вопросы нельзя дать ответа с точки зрения вечного повторения *фразы* о «самом важном анализаторе». Метод Енчмена—растворение социологии в биологии—мстит здесь за себя со всей жестокостью израильского бога. Этот метод показывает себя читателям во всей красе. Нельзя же брать в серьез этот кукольно-попугайский «анализ», который состоит из повторения нескольких слов:

Па-па.
Ма-ма.
Ана-ли-за-тор и т. д.

Основная *методологическая* ошибка—не анализ *специфической общественной формы* человеческой жизни, а общие рассуждения биологического

[1]) Heinrich Heine, Werke, B. I, Lyrische Gedichte, „Disputation“.

характера—эта методологическая ошибка приводит к тем тощим, с позволения сказать, «выводам», которые могут вызывать лишь досаду, смех или возмущение.

Ну, посудите сами: разве пахнет здесь марксизмом? Разве может человек, *так* «об'ясняющий» религиозные формы, претендовать на какое-нибудь родство с великим пролетарским учением?..

Далее. Мы с изумлением узнаём, что «исход из Египта» был не что иное, как чуть ли не пролетарская революция, а скрижали Моисея—нечто вроде революционно-пролетарского кодекса и, притом, в форме *енчменовской теории новой биологии!* Вот, что вещает нам пророк Эммануил о своих предшественниках моисеева периода:

«... автор теории новой биологии напоминает организму (!), как это величественное, не научно, а художественно выраженное *биологическое учение* (учение «теории новой биологии»), внезапно восторжествовавшее сейчас же вслед за *революционной победой восстания трудящихся масс* (восстание и исшествие из Египта), вызывая массовые органические катаклизмы, руководило восставшие (-ими? *Н. Б.)* трудовые (-ыми? *Н. Б.)* массы (массами? *Н. Б.),* заключая в себе все необходимые, тоже художественно-выраженные, выводы (по-катаклизматические прорывы) о способах, о методах борьбы за радостное, за стеническое существование (Израиль—«борец за Бога», борец за **органическую Бого-реакцию,** борец за органический стенизм, т.-е. борец за органическую радостность), о способах, о методах фиксации, закрепления сочетаний рефлексов, цепей рефлексов, поддерживающих органический стенизм (**заповеди**); и как великая ценность, великая *истинность* этого *биологического учения,* пропитав тогда восставшие трудовые массы, возбудила в них пламенную ненависть к бесчисленным *фантазмам, к идолам всех народов,* порабощенных культурами своих господствующих классов,—возбудила в них *ту самую ненависть,* которой возгорится коммунистический человек, переживший органический катаклизм 15-ти анализаторов теории новой биологии ко всем фантазмам старого мира» [1]).

Уф! Не-стер-пимо! Извиняемся перед читателем за цитату, столь умную и столь «потрясающую». Но мы должны же показать «автора теории новой биологии» во всей его красе.

Итак:

Повидимому, Э. Енчмен «прорвался» к об'яснению того факта, что Израиль создавал себе *религиозное выражение* теории новой биологии. Это, видите ли, происходило потому, что тогда была «органическая Бого-реакция». «Органическая Бого-реакция»—это прямо перл!

Бросим этот пошлый quasi-научный вздор, недостойный и действительно грязно-эксплоататорский. Посмотрим на другие мысли в «анализе» Э. Енчмена:

---

[1]) „18 тезисов", стр. 36—37. Курсивы все наши. *Н. Б.*

Исход евреев был восстанием трудящихся масс, понявших теорию новой биологии. Хорошо! Но не припомнит ли наш «марксист», *однороден* был еврейский народ при своем «исходе» или нет? По нашему—нет, ибо мы знаем о существовании классов даже в то время. Но биологически — эс-эровские взгляды Э. Е. все замазывают ярлычком: «народ».

Дальше. Заповеди Моисея были кодексом восставших трудящихся масс, проникнутых идеями теории новой биологии. Тоже хорошо. Но не вспомнит ли Э. Енчмен следующую заповедь, которую он, вероятно, учил в школе еще до того, как осознал свою божественную сущность:

«Не пожелай жены ближнего твоего, ни села его, ни *раба* его, ни *рабыни* его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, елика суть ближнего твоего»?

Как же это так, почтеннейший пророк, насчет рабов и насчет рабынь?..

Все дело в том, что у Енчмена нет *и намека* на конкретное изучение социальных явлений. Отделываясь общебиологическими фразами, он неизбежно вынужден попадать впросак, как только речь коснется конкретных событий.

Пойдем еще дальше. Оказывается, ведь, что религиозная форма у иудеев вовсе не «фантазма», а великая истинность. У других народов боги (разные там Ваалы и прочее)—«фантазмы» и «идолы», они никакого «оптимума» не выражали, а вот у народа избранного, у народа, который борется за «органическую Бого-реакцию», у этакого народа господин Ягве не идол, не фантазма, а очень приятная и весьма истинная вещь.

Ну, знаете ли, можно городить какой угодно вздор, но все же знать меру. Ибо люди, *знающие* историю религий, отлично понимают, что тот же самый общественно-функциональный смысл был и у Ваала, и у Мардука, и у Афины-Паллады, и у Аллаха. С точки зрения марксизма принципиально выделять иудаизм—*бессмыслица*.

Но эта бессмыслица нужна автору для совсем других целей. Он совершенно серьезно хочет «потрясающе» «дедуцировать» свое собственное происхождение in der Eigenschaft—как выражаются немцы—Мессии № 3. Об этом ниже. Но не правда ли, как замечательно похожа вся эта белиберда на «развитие ортодоксального марксизма»?

Никаких классовых противоречий Э. Енчмен не признает для эпохи Моисея. Более того, он думает, что «колена израилевы» со всеми их первосвященниками и прочими совершенно эквивалентны *современным пролетариям*. Так у него и написано; он повествует о событиях,

«развернувшихся под палящим солнцем синайской пустыни немедленно. сейчас же вслед за ликвидацией экономического базиса эксплоататорских хозяйственных отношений, в обстановке полного мирового одиночества и мирового «избранничества» этих *восставших рабочих*, первых неудержимых ликвидаторов классового шантажа эксплоататоров» [1]).

[1]) „18 тезисов", 40.

Эти «рабочие» (вроде Моисея, Аарона, Иисуса Навина и проч.) проделали настоящую «пролетарскую революцию», ибо ставили своею целью возврат «к идеологии до-египетского, до-эксплоататорского хозяйства—к забытой в условиях эксплоатации идеологии коммунистических хозяйственных отношений, к скрещению анализаторов номадного коммунизма далеких *предков, патриархов*» [1]).

Тут опять поневоле удивляешься: да читал ли когда-нибудь Э. Енчмен хоть библию? Или, так как все фолианты—«гиль», то, быть может, он предпочитал здесь «изустное предание», скажем, рассказы своей бабушки? Ведь, это вполне достаточно для «гениальных прорывов» Wunderkind'a?

Патриархи библии, как известно, имели большое количество рабов (Авраам, Иаков etc.), вели караванную торговлю и разбойничали (Авраам торговал и идолами), торговали также рабами, очень хвастались своим богатством и т. д. Вообще же, да будет известна Енчмену та азбучная истина, что «коммунизм патриархов», это—круглый квадрат. Ибо патриархат есть продукт *разложения* первобытного коммунизма—это знает теперь каждый ученик совпартшколы. Но тов. Енчмену законы не писаны.

Реклама для Енчмена—всё. Сенсация—всё. Стоит ли *работать,* когда легче «прорваться»?

Будем слушать дальше.

Пророки израильские, представлявшие, действительно, общественные низы и игравшие революционную роль, были, по Енчмену, ...*марксистами!* Мы то до сих пор думали, что марксизм есть идеология пролетариата, категории капиталистического общества. Ничего подобного:

> «Трагический опыт несвоевременного... победоносного восстания (речь идет все о том же «исходе из Египта». *Н. Б.) был* гениально учтен, совершенно *в марксистском духе,* этими учителями массовых органических катаклизмов» [2]).

Оказывается, в этом состоит «еще одна *совершенно потрясающая* подробность о совершенно *ошеломляющей мощи* научного (sic! *Н. Б.)* анализа и научного прогноза, проявленной... создателями библейских пророчеств [3]). Действительно, «выдающая из выходящих» «подробность»!

Причесав Моисея под восставшего пролетария, рабовладельца Авраама под коммуниста, исход евреев из Египта под пролетарскую революцию, а пророков Израиля под ученых марксистов, немудрено, конечно, об'единить все это какой-нибудь *фразой.*

Только такой «*анализ*» не стóит выеденного яйца. Как мы и говорили, так и случилось: не довели до добра нашего любителя «прорывов» его «оптимумы».

Переходим теперь к «анализу» христианства.

---

[1]) Ibid., стр. 40.

[2]) Ibid., стр. 41.

[3]) Ibid., стр. 40.

Мы знаем (не путем высасывания из пальца, а путем *изучения* целого ряда источников), что христианство возникло на *иной социальной базе*, чем «моисеев закон». Мы знаем также, что основные положения христианства, как громадного идейного течения, были—если их рассматривать с точки зрения этих идей—сложным продуктом различных потоков, при чем здесь, на-ряду с греческими и римскими источниками, большую роль играли восточные культы (ассирийские, индусские и т. д.), т.-е. те самые «боги», которые с таким негодованием отвергались Енчменом, верным до гроба господину Ягве.

Все это — *азбучные* истины. Но совсем не так представляется дело Э. Енчмену. По его мнению, моисеева теория новой биологии была задавлена, но тлела где-то в глубине народа, «прорываясь» иногда через пророков. Затем наступил долгий период гнета, и вдруг та же теория новой биологии прорвалась с новой силой:

> «И еще рассказывает организму автор теории новой биологии (стиль-то! стиль-то! Прямо библейский! *Н. Б.*), как после этой трагической по последствиям эпохи до-капиталистического и, следовательно, безнадежного восстания угнетенных, как затем, в последующую эпоху, когда, под воздействием лжи, обмана, шантажа вновь возникших господствующих классов, это изумительное художественно выраженное биологическое учение подверглось полному разложению,—из низов угнетенных масс, в момент наитягчайшего угнетения, оно (sic! *Н. Б.*) прорвалось снова, но уже в гениально завершенном, в совершенно законченном, хотя опять-таки, по условиям времени, в художественном, а не научном виде...» [1]).

Это «об'яснение» подходило бы для 14-летней ученицы балетной школы, не более. Христианство, это вовсе не та же «биологическая» (!) теория моисеева периода; его социальная база — *другая;* его (логические) составные элементы — тоже не те; его «заповеди»—совсем не повторение заповедей Моисея, а в некоторых, довольно существенных, частях нечто прямо *противоположное* (например, «космополитизм» раннего христианства в противоположность резко выраженной национальной ограниченности старого еврейства). Но какое дело до этого нашему пророку?

Вопрос для него решается очень просто. И там был религиозный экстаз, и здесь; и там была «органическая Бого-реакция», и здесь. Ну, и довольно. А что до того, какие отличия были у христианства, какие *специфические* черты, которые и сделали возможным колоссальный идеологический его размах, какие *специфические* черты имелись в «общественном бытии» того времени и прочее и прочее—все эти вопросы, *в первую очередь обязательные для марксиста*, «не суть важны» для «гениальных интуиций» Енчмена: ведь «для Демоса нужна отборная интеллектуальная пища».

---

[1]) „18 тезисов“, стр. 37.

Самое забавное во всей этой пошлости еще то, что т. Э. Енчмен подводит христианский базис под коммунизм, «обосновывая» сие натурально *биологически*.

В период раннего христианства появилось учение о любви (Енчмену невдомек, что в других местах, в других географических пунктах земного шара, в других религиозных оболочках это учение появилось еще раньше). «Это событие,—пишет автор,—является *решающим* в проблеме отбора единиц раздражителей и цепей рефлексов *при организации коммунистического хозяйства* [1]). Если перевести сие с языка теории новой биологии на обычный язык, получим: *основа христианства есть основа коммунизма*.

Поистине замечательный результат! Колоссальный прогресс! Замечательное достижение науки!

Буржуазные ученые чрезвычайно любят пускать пыль в глаза, *замазывая* коренные противоречия и прикрывая все ничего не значащими словами или фразами. Они берут, напр., фразу о *солидарности* и сейчас же подводят под соответствующую рубрику масонское общество, профсоюз, акционерную компанию, рабочую партию, капиталистический трест, христианскую общину и т. д. Конечно, здесь есть общие черты. Но тот, кто хочет обосновать на этаких пустяках *науку*, тот останется вечным неучем, а его «наука» не будет ни на что нужна. *Капиталистам*, впрочем, такой метод нужен с точки зрения одурачивания масс, ибо он, этот метод, чрезвычайно удобно воссоединяется с положением: «Так было, так будет».

Милостивые государи! так было, но так *не будет*. Не будет именно потому, что классы, на которые опиралось христианство, были одними, а классы, на которые опирается коммунизм, ничего существенно общего не имеют с первыми; не будет именно потому, что христианство ни в коем случае *не* является «решающим событием», т.-е. решающей предпосылкой для коммунизма, не будет потому, что вообще то общество, которое было в период раннего христианства, как определенная структурная величина, бесконечно *далеко* от общества эпохи финансового капитала и проч. и проч.

Неужели все это нужно повторять? А если все это правильно, то ясно, что *биологический метод Енчмена есть вреднейший пустяк. Так* «об'яснять» конкретные исторические события нельзя.

Но во всем этом енчменовском вздоре есть своеобразная логика, только совсем в иной плоскости. Енчмен готовит себя на роль «своевременно пришедшего» Мессии и хочет уловить на эту удочку мещан. Автор «признается организму» в том, «какими *близкими* являются для него... все непонятные пророчества...» [2]); «автор теории новой биологии признается организму, какими *близкими* являются для него слова легендарного несвоевременного революционера...» [3]). И, наконец,

---

[1]) „18 тезисов", 38, курсив наш. *Н. Б.*

[2]) Ibid., 42.

[3]) Ibid, 43–44.

«он рассказывает организму, все для достижения той же цели, для того, чтобы, *соблазняя* (!!) его *совершенно небывалым ясновидением* прошлого и будущего, больше ослабить в нем силу сопротивления конкурирующих... понятий» [1]).

Цыганка гадала,
Цыганка гадала,
Цыганка гадала,
За ручку брала.

Приходите все! Совершенно небывалое ясновидение! Гадаю прорывами! Подаю отборную пищу!..

Не пора ли, однако, нам распроститься с *«ясновидящим»* Енчменом, мастером новой масонской ложи? Не довольно ли ковыряться в этой белой и черной магии, где есть все, что угодно, кроме хотя бы одного, малюсенького «грана марксизма»?

Элементарная *безграмотность* с точки зрения марксизма и крайняя пошлость енчменовских «упражнений» проскальзывает у него повсеместно. Просто удивляешься, как он рискует выступать перед рабочими, еще не расставшимися, вопреки Енчмену, «с цепями разума» и не заменившими эти цепи «совершенно небывалым ясновидением».

Мы видели выше, что Э. Е. *топит* всё исторически-специфическое в гнилой воде «общебиологической» *фразы*.

Вот, напр., автор теории новой биологии, вдохновленный «волнующим критическим стилем Карла Маркса» [2]), начинает тоже критиковать:

« ...Только величайшая органическая неспособность мыслителей *буржуазного мира* проникать хотя бы несколько глубже вульгарной поверхности явлений, могла заставить их в этом вопросе (о физ. и псих. *Н. Б.) тысячелетиями,* до сих пор утверждать очевидность таких вещей, которые оказываются совершенно несуществующими» [3]).

В сноске фигурирует ссылка на известное место из «Капитала», где Маркс расправляется с вульгарной экономией.

Но почтенный автор, очевидно, был так «взволнован» *стилем* Маркса, что совершенно не понял *смысла* марксовой критики. Ибо Маркс перевернулся бы в гробу, если бы узнал, что буржуазная структура производства существует целые *«тысячелетия»!*

Это все из той же биологической оперы!

Или другой пример:

Для марксиста совершенно ясно, что определенному «способу производства» соответствует и определенный «способ представления». Точно также ясно, что «способ представления», поддерживающий определенный способ производства, культивируется и идеологически воспроизводится господствую-

[1]) Ibid., 44—45, курсив наш. *Н. Б.*

[2]) Теория новой биологии, 34.

[3]) Ibid., 34.

щим классом. Но было бы ужасной вульгарщиной думать, что любое, органически выросшее из данной производственной структуры, представление или любая «категория» есть сознательное «мероприятие» господствующего класса. Это было бы похуже дюринговской теории насилия.

А между тем, именно такое «представление» имеем мы у тов. Енчмена. Полюбуйтесь:

««*Логика*» (от греческого слова «логос», которое одновременно значило «слово» и «разум»), точно так же, *как «разум» и «познание»*, возникает вместе с возникновением деления общества на классы, как *результат особых*, исследуемых нами в 4-й главе, *мероприятий эксплоататоров* над эксплоатируемыми...»» [1]).

. Физиологическим реакциям ««для *определенных корыстных целей*, **насильственно**, целыми тысячелетиями давались общие имена, общие клички с «непространственными явлениями»»... [2]).

Логика, как результат корыстных *мероприятий*—это тоже перл!

Разве человек, знающий *факты*, может так «об'яснять» категории общества, даже классового?

Ужасная переоценка «мероприятий» легко переходит в теорию «героев и толпы», т.-е. в эс-эровскую переоценку «роли личности в истории». С этим связан и тот «мессианизм», о котором мы неоднократно говорили.

И опять таки, что здесь общего с тем замечательным теоретическим построением, которое носит название марксизма?

Ничего. Ровно ничего.

VI. Социальные корни енчмениады.

Мы закончили теоретический разбор произведений Енчмена и должны теперь перейти к анализу социальных корней всей енчмениады.

Характернейшей чертой енчменовских «теорий» является их **глубочайший индивидуализм.**

Этот индивидуализм мы обнаруживаем у Енчмена буквально на каждом шагу: и когда речь идет об основных его философских посылках; и когда он ставит вопрос об исходном пункте социологического (биологического) анализа; и когда он разбирает конкретные вопросы истории; и когда ставится проблема вождей и массы; и тогда, когда нужно определить тактическую линию. Даже *форма* его произведений, стиль языка, обороты речи—все так и пышет прямо нестерпимым индивидуализмом.

В самом деле. *Философски*—перед нами *стыдливый солипсист*. Исходный пункт философского анализа у Енчмена,—это его, Енчмена, «я», совершенно особое, исключительное, божественное; «я», так сказать, первого

[1]) Теория новой биологии, стр. 39, курсив наш. *Н. Б.*

[2]) Ibid., 42, курсив наш. *Н. Б.*

сорта. С точки зрения этого замечательного «я», другие «я» устроены по-другому; они стоят по отношению к этому «пупу земли» на такой же доске, как бревно, телеграфный столб, блохи или минералы; они—материал для творческих упражнений «Единственного».

Эта черта енчменовской теории, представляющая перепевы старых-престарых мотивов буржуазной идеалистической философии, есть *выражение психологии глубокого индивидуализма.*

Та же психология выражается и в совершенно эс-эровской трактовке вопроса об исходном пункте анализа в общественных науках. И здесь перед нами фигурирует не *общество,* а «индивидуум», «организм», другими словами, тот самый Робинзон, который был в свое время на смерть поражен стрелами ядовитой марксистской критики. Так же индивидуалистически трактуется вопрос о «вождях» и «массе»—совершенно в духе «героев и толпы» блаженной памяти Н. К. Михайловского.

Если мы присоединим сюда ярко выраженный мессианизм, игру в Христа и мадонн, и прочее, претензию на единоличное руководство всем миром через «Ревнаучсовет Мировой Коммуны», теорию постоянных «прорывов» и озарений вместо коллективного опыта—мы получим совершенно ясную картину *рецидива мещанского индивидуализма.*

Теория Енчмена уже по одному тому не может быть пролетарской или даже близкой пролетариату, что она *индивидуалистична.* Это свойство органически противоречит пролетарской психологии и идеологии. Индивидуализм есть вернейший признак *антипролетарского* характера разбираемого «учения». Базарная самореклама и поистине распутинский язык, которым уснащены «труды» нашего совершенно исключительного хвастуна, целиком идут по той же самой линии *торгашеского индивидуализма.*

Смесь вульгарного «материализма» с идеалистической сущностью является второй коренной чертой енчменовского учения. Ядро его—насквозь идеалистично. Он даже кокетничает с религией, и притом с религией, господствующей в «великих державах». Но в то же время, как мы определили выше, «материалистически озорничает». По существу, его «философия» идеалистична, поскольку она исходит из единственной психической монады, самого Енчмена; с этим психологически и логически связан и метод «прорывов», т.-е., по сути дела, интуитивных мистических озарений, и мессиански-хилиастический бред, т.-е. попытка перевести научный коммунизм в лучшем случае на язык братьев Маккавеев, масонских лож или российских хлыстов.

Наконец, третьей чертой учения Енчмена является **упростительский практицизм.** Вся теория сводится к 15 анализаторам, упраздняющим все специальные науки и решающим все проблемы об'единенной теории и практики. Упростительство, якобы практичное, на самом деле ведет к «болтологическому» характеру всего построения, к талмудической схоластике, не имеющей никакой практической ценности. Простота здесь, поистине, «хуже воровства». «Практицизм» теории Енчмена, именно в силу своего упростительского характера, перестает быть практичным, т.-е. превращается в свою собственную противоположность. Недооценка культуры, науки, соответ-

ствующе квалифицированных людских кадров, об'явление всего культурного наследства простым вздором, «смелость» и «дерзновение», сильно напоминающие озорство взбесившегося мещанина, идут по этой же линии.

Каким же социально-классовым элементом соответствуют эти социально-психологические особенности, застывшие в соответствующих логических «линиях» енчменовского построения?

Прежде всего, здесь на-лицо элементы *нового торгаша.* Он, этот торгаш, индивидуалист до мозга костей. Он прошел огонь, воду и медные трубы. Он был бит бичами и скорпионами чека, надевал иногда красную мантию, становился и на «советскую площадку», получал рекомендации, сидел во узилище, теперь всплыл на снежную вершину своей лавки. Собственными локтями протолкался он и вышел «в люди». Своим умом, энергией, пронырливостью, ловкостью, меняя костюмы, приспособляясь к обстоятельствам, энергично шел по своему пути он, Единственный, «homo novus». Не на гербах предков, не на наследствах, не на старых традициях рос он: он всходил, как на дрожжах, на революционной пене, и не раз его поднимала кверху сама революционная волна. Конечно, он «приемлет революцию». Ведь, он, в некотором роде, ее сын, хотя и побочный. Но от этого у него нисколько не меньше самоуверенности, нахальства, саморекламы. Он, Единственный, питает даже надежду оттереть законных детей от революционного наследства и, пролезая через щель советского купца, думает еще раз переодеться, прочно осев в качестве самого настоящего, самого обыкновенного, уже обросшего жирком, представителя торгового капитала. Эти надежды окрыляют его. Пройдя все испытания, он мало похож на рассудительных типов Замоскворечья: он шумит, он хвастается, он форсит, он пророчествует о самом себе: «Да приидет царствие Мое». Этого царствия ждет сейчас наш *крайний индивидуалист,* побочный сын революции, *новый торгаш.*

Этот новый торгаш, с одной стороны, вульгарный материалист; в обычных житейских делишках для него нет ничего «святого» и «возвышенного»: он привык смотреть на вещи «трезво»; он не связан никакими традициями в прошлом, не отягощен фолиантами премудрости и грудами старых реликвий—их выбросила за борт революция. Сам он вышел не из «духовной аристократии»,—нет, он пришел сам из низов; он—чумазый, быстро пролезший наверх, он—российско-американский новый буржуй, без интеллигентских предрассудков. Он все хочет понюхать, пощупать, лизнуть. Он доверяет только своим собственным глазам; он, в известном смысле, весьма «физичен». Отсюда его *вульгарно-материалистическая поверхность.* Но в то же время он, как всякий буржуа, ходит по *рыночной* «тропинке бедствий»: спекулирует ли он мылом или валютой—неумолимые законы рынка часто хватают его за шиворот и заставляют вспоминать о боге и сатане. Бог ему нужен хороший, такой же хороший, как оптимум рыночных цен, бог прочный, западно-европейский, но не расслабленный бог времен упадка, а именно «оптимальный» бог, у которого еще жизнь не выщипала всех перьев. Этот бог должен выражать «радостность» его, Единственного, на котором почиет

Дух святый. Такой оптимальный цивилизованный бог—не какой-нибудь дикарский—весьма по вкусу *нашему торгашу*. Его рыночное нутро—идеалистично и божественно.

Наконец, новый торгаш *грубо «практичен» и вульгарен*, он—великий упроститель. Он, ведь, еще не находится в такой стадии своего собственного общественного линяния, когда ему нужны «всякие науки». Его задачи более элементарны. Ему нужны сейчас весьма простые «правила поведения»; он на практике своей должен быть грубым эмпириком. «Широкие задачи» (весьма непрактичные) имеют для него стратегическое значение: подорвать марксизм, помешать образованию действительно знающих и умеющих дело делать кадров из рабочих и крестьян. *Отсюда* его борьба с марксизмом под прикрытием этого последнего.

Во избежание всяких недоразумений мы заявляем здесь, что отнюдь не подозреваем ни самого тов. Енчмена, ни его сторонников в сознательном и корыстном характере их «мероприятий», «словесных реакций», всего, как выражаются американские социологи физиологической марки (кстати сказать, зело упредившие т. Енчмена), их «внешнего поведения». Дело идет об *об'ективной роли* «нового» учения, каковая роль отнюдь не всегда ясна самим носителям слепых общественных тенденций.

Каким же образом, если правильна эта характеристика, енчмениада втягивает в свою орбиту часть нашей учащейся молодежи, и даже молодежи из рабочих (есть и такие товарищи)?

Это есть *основной* вопрос, освещение которого поможет уяснить все.

Наша молодежь, из которой выйдут кадры новых, красных спецов, т.-е. квалифицированных работников во всех областях теории и практики, эта молодежь стоит на перевале, на *рубеже*.

Она—новые люди, с новыми психологическими и физиологическими чертами, *нужными для эпохи*. Но функциональная роль этой молодежи, или, вернее, ее известной части, будет зависеть от *всей судьбы нашей революции*.

Из нее могут выйти *американско-капиталистические дельцы*, полководцы, предприниматели, дельцы буржуазной интеллигенции, если *наше развитие пойдет по линии нашего вырождения и нашего превращения в буржуазно-капиталистическую страну*.

Из нее могут выйти (и, надеемся, так именно и будет) крепко сколоченные, смелые, знающие, преданные рабочему классу *строители нового общества*, если *мы будем развиваться на все более и более социалистических рельсах*.

Как может переходить одна перспектива в другую, если рассматривать этот процесс с точки зрения общественно-психологической?

Очень просто. Жажда *творческой самодеятельности* может превратиться в *индивидуализм*.

Желание *развивать дальше* (вполне законное) марксистскую теорию в *отказ* от марксизма.

Жажда нового, *энтузиазм*, может надеть на себя *религиозную* оболочку (здесь есть *тысячи* ступенек).

Желание *«все понять и все постигнуть»*—в вульгарное упростительство и т. д., и т. д.

В механике идеологической борьбы на самых высших этажах надстроек есть много общего с тем, что имеется и в области политической борьбы. Более того, одно обычно является специфическим выражением другого.

Разве не используется законное желание со стороны рабочих (заместить ненадежную интеллигенцию) врагами Советской власти, «углубляющими» вопрос и травящими всякого красного директора, всякого интеллигента, всякого руководителя партийной организации? При этом происходит «смычка» между «уклонистами влево» и самыми доподлинными противниками рабочей диктатуры.

«Истина конкретна». Стоит только перейти—иногда очень небольшую—грань, и эффект будет совершенно другой.]

Так же точно и в идеологической борьбе, в исканиях, в мучительных поисках ответов на наболевшие «проклятые вопросы».

Безусловная *правда*, что мы обязательно должны в партии «двигать вперед новых людей». Но эта правда грозит перейти в *неправду*, когда она (как в одном енчменистском *политическом* произведении: «Так ли мы поняли?») преподносится в форме борьбы против «старой партийной гвардии».

Безусловная *правда*, что мы должны развивать марксизм, т.-е. вносить *новое* в наше учение.

Но эта правда превращается в свою собственную *противоположность*, когда новые (по отношению к марксизму) элементы изменяют самый *метод* нашего учения.

Безусловная *правда*, что мы должны итти ко все возрастающему об'единению различных специальных дисциплин.

Но эта правда превращается в *неправду*, если из нее делается вывод об уничтожении всех этих частных дисциплин и о замене их парой тощих общих положений.

И так далее. И так далее.

Другими словами: как в области идеологической вообще, так и в области политической борьбы в частности, *враги* марксизма имеют *зацепки* у его друзей, вытягивая их за их, часто небольшие, уклончики. Вся енчмениада, рассматриваемая с этой стороны, есть не что иное, *как попытка со стороны идеологов полународнического типа использовать уклоны в сторону махаевщины, «раб. оппозиции» и проч., и проч.* Таких попыток будет еще много. *Их нужно стараться изжить в процессе товарищеского обсуждения.*

PS. Pro domo sua. Тов. Енчмен очень сердился в своей «Теории новой биологии» на меня за то, что я с ним «не посоветовался» по поводу каких-то вопросов. Читатель, надеюсь, догадался, *почему* я с ним не советовался.

Вопросы морали, пола, быта и тов. Коллонтай.

П. Виноградская.

В последние месяцы у нас усиленно обсуждаются вопросы быта и морали. То, что эти вопросы всплыли на поверхность и привлекают к себе усиленное внимание, как членов партии, так и беспартийных рабочих и работниц, отнюдь не является случайным. После окончания гражданской войны в России и до начала пролетарской революции в Германии в борьбе мирового пролетариата с буржуазией наступило некоторое затишье. Борьба на территории Советской России, если можно так выразиться, приняла позиционный характер. А там, где переходят к окопной войне, там всегда появляется желание расположиться и в окопах и за окопами несколько по мирному; появляется желание, а вместе с тем возможность отойти несколько от вопросов непосредственной классовой борьбы и перейти к вопросам более косвенно связанным с ней, к вопросам, так сказать, второй очереди. Это тем более естественно у нас в Советской России, где, после политического разгрома буржуазии, мы сосредоточили наши главные силы на хозяйственном фронте и вступили в период оживленного культурного строительства. Теперь у рабочего класса есть возможность гораздо больше внимания посвятить таким вопросам, какие он до сих пор отодвигал на задний план, считая их второстепенными, с другой стороны, подрастает молодежь, которой приходится жить и работать в обстановке гораздо более сложной, чем обстановка двух воюющих лагерей. Тогда вопрос о том, как жить, не ставился, потому что ответ был ясен сам собой: жить—значило бороться с белыми до полной победы. Теперь противник гораздо более многолик (пока взрыв западно-европейской революции еще не наступил). Каждый борется на своем узком участке, какой ему отвела революция, специализируется на своем деле и поэтому не без труда может обозреть общий контур поля сражения. В такой обстановке менее ощутимой становится для каждого борца его связь со всей армией, и у него естественно является потребность почаще перекликаться с передовыми сторожами на других участках. Отсюда и настойчивые запросы молодежи за последнее время, скажите «как нам правильно жить?» [1]).

[1]) *Между прочим*, такими чисто социологическими причинами можно об'яснить наблюдающиеся в последнее время такие явления, как: оторванность некоторых слоев от коллек-

Таким образом мы видим, что интерес ко всем названным вопросам является в значительной мере естественным и законным и неправильно видеть во всем этом признак упадочности по голой аналогии с 1907—1908 годами [1]).

Но при постановке всех этих вопросов легко сделать две ошибки. Во-первых, при нашей неискоренимой привычке бросаться из одной крайности в другую мы можем слишком перегнуть палку насчет семьи, быта, морали и т. п. После того как мы несколько лет под-ряд напирали в своей пропаганде даже среди самых отсталых масс на III Интернационал и мировую революцию, игнорируя часто житейские нужды и запросы массовика рабочего, мы можем впасть теперь в обратную крайность, а именно: увлекшись не в меру всеми вопросами быта, семьи и т. п., мы можем посеять реформистские иллюзии и ослабить боеспособность пролетарских масс в такой момент, когда международная обстановка отнюдь этого не позволяет.

С другой стороны, при трактовке этих вопросов не каждому удается сохранить марксистский тон и правильную пропорцию с действительностью. В последнюю ошибку тем легче впасть, что при трактовке этих вопросов легко подменить запросы, вытекающие из жизни и быта рабочего и работницы, запросами мелко-буржуазной интеллигенции, той интеллигенции, которая так многочисленна в нашей стране (и каковой не мало в нашей партии), потому что, как известно, эти слои имеют застарелую слабость обсасывать и пережевывать все эти проблемы.

Последний казус случился с тов. Коллонтай в целом ряде ее статей, опубликованных за последнее время. Спрос рождает предложение.

Спрос этого слоя давнишний, и предложение делается тов. Коллонтай не в первый раз. Собственно говоря тов. Коллонтай начала когда-то свои дебюты именно с этих вопросов. К ним же она и возвращается теперь. Недаром же говорится: On revient toujours à son premier amour. Благо для этого представляется удобный повод: спрос социалистического мещанства, выдаваемый за спрос пролетариата. Она возвращается к этим вопросам отчасти и под влиянием той обстановки в тихой Норвегии, где буржуазия спокойно сидит на шее пролетариата, где сильны еще мещанско-демократические настроения и где, пожалуй, писания тов. Коллонтай были более к месту, чем в стране с диктатурой пролетариата.

Характерной чертой всех писаний и устных выступлений тов. Коллонтай было всегда то, что она не в меру выпячивала и подчеркивала проблемы пола и любви, не умея сохранить нужных пропорций с другими проблемами, стоявшими на очереди, она отрывала тем самым эти проблемы от условий общей обстановки, превращая эти проблемы тем самым в абсолютные и ме-

---

тива, стремление уйти глубже в себя, больше анализировать свои поступки и—с другой стороны—реакция против ослабления этих связей: жалобы на падение чувства товарищеской спайки между коммунистами и т. д.

[1]) Мы не говорим уже о том, что эта аналогия является грубо-ошибочной и потому, что в 1907—1908 годах пролетариат и революционная интеллигенция потерпели поражение, а теперь побежденной является буржуазия.

тафизические (как бы она этого сама на словах ни отрицала). Говорят, что Энгельс в личной беседе с Плехановым сказал как-то о Лаврове: «Я не понимаю, как можно, не будучи жуликом, так много говорить о морали». А про тов. Коллонтай он наверное бы сказал: «как можно, считая себя марксистом и революционером, так много говорить о любовном эросе и половой морали».

Пролетариат сознающий, в лице своего авангарда, свои классовые задачи и отнюдь не заинтересованный в том, чтобы выдавать свои классовые нормы за что-то общеобязательное и на все время необходимое, т.-е. в сущности надувать под флагом морали все другие классы и самого себя—именно вследствие всего этого пролетариат не нуждается в моральной мифологии; он заинтересован скорей в том, чтобы вообще похоронить мораль в ее старом понимании.

С этой точки зрения и теоретически неправильно ставить вопрос о пролетарской морали вообще (в старом смысле этого слова). С другой стороны, пролетариат как класс, имеющий за собой все будущее, спаянный внутренней дисциплиной и солидарностью, отнюдь не нуждается во внешне принудительных моральных скрепах старого типа, которые необходимы для всех упадочных и разлагающихся классов накануне их политической смерти [1]).

Поэтому вопросы морали ни при каких условиях не могут выдвигаться на первый план в общей обстановке жизни и борьбы рабочего класса. И даже там, где мы стоим перед рядом проблем, которые раньше по-своему решались буржуазной моралью, мы не можем эти проблемы ни трактовать по-старому, ни выдвигать на первый план. Тем менее мы, не порывая с марксизмом, как наукой, можем вдаваться в подробное рассуждение и изображение жизни будущего коммунистического общества вплоть до мельчайших подробностей, до форм половых отношений включительно. Между тем, т. Коллонтай с очень большим аппетитом проделывает экскурсии в область коммунистического быта, надувая ветром половых проблем паруса социалистического корабля не только до его отплытия, а даже, пожалуй, до окончательной его постройки.

---

[1]) Так в древней Греции конца V века стали расти классовые и сословные противоречия: разрасталась сложная борьба особенно в городах, связи между людьми ослабли,—естественно возникал вопрос о внешнем регулировании этих отношений. Особенно в этом были заинтересованы господствующие классы, которые стремились склеивать трещавшие по швам общественные отношения и сохранить там старый порядок вещей. Мы видим, как во всей идеологии этого времени центральное место начинает занимать этика. Вся философия получает оттенок так называемой практической философии. Философию перестают волновать и занимать вопросы о сущности мира, о природе, все свое внимание она устремляет на изучение природы человека, норм его поведения, вопросов должного и сущего, добра и зла. Такую же приблизительно картину мы видим и в эпоху падения Рима, с его грабежом колоний, эксплоатацией рабов, пресыщенностью господствующих классов с массой люмпен-пролетариев—праздной толпы, живущей государственными подачками; там на первое место выступает так называемая философия жизни. Речи о проповеди морали, даже необходимости самоубийств и т. д. привлекают громадные аудитории слушателей. (См. подробней об этом: К. Каутский, „Этика и материал. понимание истории", гл. 1-я, изд. „Новая Москва" 1922 г. и Н. Бухарин, „Теория исторического материализма", Гос. Издат., 1922 г.).

Но было бы ошибкой думать, что мы здесь имеем дело с одной только индивидуальной склонностью тов. Коллонтай. Дело обстоит здесь сложнее. Подобное любопытство насчет будущего общества есть характерная черта всех мещанских элементов, примыкающих к социализму. Энгельс в своем письме к Марксу (от 26 мая 1876 г.) сказал по поводу марксистов, которые берутся удовлетворять любопытство этих элементов, что у них: «страсть исправить недостаточность нашей (т.-е. марксистской. *П. В.*) теории, иметь ответ на всякое филистерское возражение и дать картину будущего общества, потому что филистер ведь требует ее»... Товарищ Коллонтай несомненно удовлетворяет спросу, который мы не хотели бы называть прямо филистерским, но который все-таки ему сродни. Тем более странно видеть статьи т. Коллонтай в журнале «Молодая Гвардия», который должен являться органом нашей передовой революционной молодежи, и который на-ряду с прочим призван безжалостно бороться также и с филистерством и мещанством.

Мораль товарища Коллонтай.

Как известно, излюбленный конек т. Коллонтай, это—вопросы половой морали. Но она нашла нужным высказаться в своих «Письмах к трудящейся молодежи» и по вопросу о морали вообще.

Сначала два слова по поводу самой формы этих писем. Они изложены в виде ответов на вопросы, которые ставят автору юные корреспонденты. Переписка представляет из себя образец какой-то странной заранее предустановленной гармонии между автором и читателями. Как-то так случается все время, что корреспонденты счастливым образом задают т. Коллонтай те самые вопросы, на которые у нее есть давно уже готовые ответы. Они как бы заранее угадывают по интуиции, что именно тов. Коллонтай хотела бы поведать миру. И, что еще более удобно для автора, они скромно помалкивают насчет таких вопросов, которые, хотя и волнуют рабочих и работниц и их молодежь, гораздо больше, чем излюбленные темы т. Коллонтай, но на которые у последней нет ответа. С такими услужливыми корреспондентами очень приятно иметь дело.

Однако это не мешает т. Коллонтай делать грубые ошибки даже при ответах на те вопросы, на которые она имеет страстное желание ответить. Правда, в статье о морали [1]) мы встречаемся лишь с менее важными промахами автора, быть может потому, что тов. Коллонтай вообще мало останавливается на этой теме. Зато в других «письмах» дело обстоит из рук вон плохо и для тов. Коллонтай, и для молодых читателей ее писаний, и для марксизма.

Мы поэтому на первой статье остановимся лишь вкратце.

Итак, о морали.

«Юный друг» тов. Коллонтай вопрошает ее «как жить?»... «как должен жить истинный коммунист? научите».

---

[1]) См. статью: „Мораль, как орудие классового господства и классовой морали" (Письмо второе), стр. 128—136. — „Молодая Гвардия" № 6—7, 1922 г.

Ответ на этот вопрос гласит у т. Коллонтай следующее: «Вы хотите невозможного, мой юный друг. Таких правил нет и быть не может. Жить и поступать по коммунистически, значит *мыслить* и чувствовать *по коммунистически*, а этому учат не правила, не инструкции партии. а с одной стороны—усвоение коммунистической *идеологии*, понимание законов развития общества, целей рабочего класса, с другой стороны—атмосфера, обстановка, условия жизни рабочего класса» (стр. 128, курс. всюду автора. *П. В.*).

Мы не понимаем, почему вообще правила и инструкции партии не могут на-ряду со всеми прочими помогать нам действовать и поступать по коммунистически. Партийная программа и основы тактики нашей партии как раз и помогают и указывают, как поступать по коммунистически в самой главной области нашей деятельности. Конечно, правил на все случаи жизни коммуниста нет и быть не может. И поскольку и т. Коллонтай тоже так думает, она должна согласиться, что весь вопрос тем самым переносится на другую почву. Надо не придумывать коммунистический моральный рецептарий, *а найти правильную постановку самого вопроса о морали*. А если вопрос ставится так, то прежде всего надо спросить себя, можно ли, а если можно, то в каком смысле *можно, говорить о пролетарской морали вообще*.

Однако этот самый главный вопрос тов. Коллонтай даже и не ставит. Для нее здесь все ясно и просто. Дело решается обычной аналогией с другими классами. Она пишет:

«...Сейчас, когда волны мелко-буржуазной стихии захлестывают трудящийся класс, когда в обстановке Нэпа идеология буржуазии получает новые подкрепления, так важно сознать пролетарскую мораль и со всей отчетливостью противопоставить ее морали буржуазной» (там же, стр. 129—130). Таким образом пролетарская мораль, оказывается, существует, это просто утверждается. Тов. Коллонтай видно и в голову даже не приходит мысль, что для противопоставления пролетарской точки зрения буржуазной в области морали недостаточно только об'явить всякую вообще мораль классовой. Предстоит сейчас же рассмотреть и следующий вопрос. Если всякая мораль является классовой, хотя и выдает себя за общечеловеческую, общеобязательную и абсолютную, то может ли называться моралью такая система норм, которая с самого начала об'является классовой. Тов. Бухарин совершенно правильно указывает в своей «Теории исторического материализма» [1], что если пролетариату нужны нормы поведения и притом очень отчетливые, то ему вовсе не нужна «этика», т. е. фетишистский соус к полезной еде [2]). Нам уже пора теперь сделать более точной, марксистски выдержанной и научной терминологию и не бросаться направо и налево фразами

[1]) См. Бухарин, „Теория исторического материализма", стр. 279, Госиздат, 1922 г.

[2]) Правда, Энгельс в Анти-Дюринге говорит о пролетарской морали, но он этим имел в виду самое содержание норм пролетариата, их классовый характер в противоположность якобы общечеловеческой буржуазной морали. Правда, он не ставил вопрос о новом названии для всего этого.

«пролетарская мораль», «коммунистическая этика», «социалистическая нравственность» без всякого критического отношения ко всем этим оборотам.

Впрочем, можно и не требовать от тов. Коллонтай каких-либо новых открытий в области марксистской теории и даже улучшений в терминологии, тем более, что во всем, что не касается вопросов любви и взаимоотношений полов, тов. Коллонтай всегда плавала в море общих, избитых фраз и давным давно известных мыслей, лишь разбавленных слащавой сентиментальностью и риторическими папильотками (как раз под вкус аудитории с мещанскими вкусами). Но одного мы требовать должны безусловно. Всякий товарищ, пишущий для молодежи и имеющий очень внимательную, впечатлительную и *желающую учиться* молодую аудиторию, должен основательно взвешивать то, что он говорит, и чувствовать ответственность за сказанное. Между тем, формулировки тов. Коллонтай подчас небрежны, неточны и прямо неверны даже там, где идет речь о всем известных вещах. Например, характеризуя моральные теории буржуазных философов, она про кантовскую мораль пишет:

«Кант—этот наиболее яркий представитель буржуазного мышления,—утверждал, что в самом существе человека заложено чувство долга, понятие *о должном,* так называемый «категорический императив», заставляющий человека следовать предписаниям морали. Если человек уклоняется от предписаний морали, внутренний голос в виде угрызения совести или других чувств (?! *П. В.)* выправляет волю человека» (стр. 130, там же).

Тов. Коллонтай не мешало бы, прежде, чем писать о кантовской морали, просмотреть, если не «Критику практического разума» и «Метафизику нравов» самого Канта, то хотя бы несколько страниц из какого-нибудь комментария Канта или из учебника по истории философии. Она узнала бы оттуда, что Кант категорически протестовал против того, чтобы какие-либо «другие чувства», кроме сознания морального долга, «выправляли волю человека».

Тов. Коллонтай только что назвала Канта наиболее ярким представителем буржуазного мышления, а несколькими строками ниже мы читаем у нее:

«Самое же содержание моральных норм, представление о том, что такое «добро» и что такое «зло», буржуазно-этическая философия считала раз-на-всегда установленным».

Между тем, каждый хоть чуть-чуть знающий историю философии человек знает, что как раз *кантовская мораль* меньше всего занималась *содержанием* моральных норм, ее отличительнейшее свойство как раз в том и заключается, что она является строго формальной.

Интересно также отметить, что, при описании моральной философии буржуазии, мы у тов. Коллонтай не находим ни единого слова о буржуазном аморализме, который как раз является наиболее характерным для третьего сословия периода бури и натиска.

Но последуем дальше за тем, что автор говорит: «что хорошо с точки

зрения дикаря—имморальны, преступно с точки зрения гражданина оформленного государства (?! *П. В.)* (например, с'едать пленника, уничтожать стариков и т. д.)». Выходит, что в определенный период различные племена с'едали пленников и уничтожали стариков потому, что у них не было оформленного государства!

Это далеко не все места из статьи тов. Коллонтай, которые являются образчиком легкомысленно небрежных и неверных формулировок. Поучать так молодежь можно лишь при отсутствии чувства ответственности за свои писания.

Что же в конце концов рекомендует тов. Коллонтай своему «юному другу» после этой не особенно удачной экскурсии в области теории и истории морали?

После вполне правильного, но вряд ли нового совета добросовестно относиться к труду

Бог лениться не велит...

и назидания любить учебу

Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно...—

тов. Коллонтай заканчивает свою статью-письмо следующими словами:

«Лучший способ жить, как коммунист, это—найти ту область работы, где каждый может принести частичку своего творчества. Поля для творчества для строительства в трудовой России—много. Надо лишь каждому приглядеться и понять: где и при каких условиях его силы, его трудовая энергия могут быть наиболее полезными? И тогда остальные правила пролетарской морали приложатся сами собой» (стр. 136).

Только и всего?

Стоило ли тогда писать о морали вообще, чтобы кончить этой глубокой сентенцией?! Стоило ли посвящать обоснованию такой житейской мудрости несколько страниц журнала? Не было ли проще ответить вопрошателю открыткой, где вместе с этой премудростью хватило бы, пожалуй, еще места для какого-либо вида из Норвегии.

Но невзыскательный «юный друг» сказал, повидимому, спасибо и за это, и больше уже не приставал к т. Коллонтай, судя по ее дальнейшим письмам, посвященным уже темам об эросе, утонченной поэзии и т. п. Юный корреспондент, угадав очевидно желание тов. Коллонтай, перешел к другим вопросам, отвечать на которые автору, повидимому, более интересно.

Крылатый эрос товарища Коллонтай.

Свою статью, под названием «Дорогу крылатому эросу» [1]) (и это все письма к *трудящейся* молодежи! *П. В.)*, тов. Коллонтай начинает так:

«Вы спрашиваете меня, мой юный товарищ, какое место пролетарская

---

[1]) См. „Молодую Гвардию“ № 3, май 1923, стр. 111—124.

идеология отводит «любви»? Вас смущает, что сейчас трудовая молодежь «больше занята любовью и всякими вопросами, связанными с ней», чем большими задачами, которые стоят перед трудовой республикой. Если так (мне издалека судить об этом трудно), то давайте поищем об'яснений данному явлению, и тогда нам легче будет найти с вами ответ, и на первый вопрос: какое место занимает любовь в идеологии рабочего класса?»

И далее:

«...Чем острее борьба двух идеологий, чем больше областей она захватывает, тем *неизбежней встают перед человечеством все новые и новые «загадки жизни»*,—проблемы, на которые удовлетворительный ответ может дать только идеология рабочего класса.

К числу таких проблем относится и затронутый вами вопрос—«загадка любви», другими словами, вопрос взаимоотношений полов.—загадка старая, как само человеческое общество. На разных ступенях своего исторического развития человечество по разному подходило к ее разрешению. «Загадка» остается, ключи меняются. Эти ключи зависят от эпохи, от класса, от «духа времени» (*культуры*) (стр. 111).

В предыдущем письме о морали т. Коллонтай передавала вопросы своего корреспондента своими словами, так что были некоторые основания думать, что вообще и цитировать было нечего. Но в этой статье вопрос «юного товарища» заключен в кавычки, так что дело может итти о реальном письме. Если это письмо принадлежит живому человеку из Советской России, то мы, я думаю, с полного согласия подавляющего большинства нашей истинно пролетарской учащейся молодежи, можем утверждать, что оно является клеветой на молодежь. Быть может, есть отдельные лица из числа молодежи, в том числе возможно и партийной молодежи, для которой половые вопросы затмили все, заслонили собой все остальные проблемы, в том числе и проблему еле-еле только начатой и лишь в одной стране доведенной до победы пролетарской революции. Но было бы грубой неправдой утверждать, что такое настроение характерно для «всей трудовой молодежи» или большинства ее. Если же тов. Коллонтай нужно дело изобразить таким образом, что она пишет на свои излюбленные «эротические темы» не по собственному влечению, а потому, что она спровоцирована на это самой молодежью, то она могла бы обойтись без цитат из писем извращающих положение дел в России. Фантазии у нее на это, наверно, хватило бы.

Между тем, тов. Коллонтай вместо того, чтобы проверить, как в действительности обстоит дело, с места в карьер об'являет: «давайте поищем об'яснения».

Хорошее занятие: искать об'яснение для того, чего нет! У читателя невольно может появиться вопрос, а не поискать ли об'яснения, почему тов. Коллонтай так рвется дать это «об'яснение» и все ли обстоит благополучно *с ее марксизмом и коммунизмом? Почему это тов. Коллонтай так* упорно хочет быть Вербицкой в нашей коммунистической журналистике и всюду и везде выпячивать половую проблему? Неужели старой опытной

коммунистке больше и писать не о чем? Неужели у нас уже во всех областях жизни такой расцвет, что только и осталось как расправить крылья эросу: или до ее ушей и сознания доходят только одни те вопросы, которые умеет ставить социалистическая интеллигентская обывательница, а то, что думает, что чувствует в данное время настоящая массовая работница (не из истеричек и слабонервных мещан) ей неизвестно?

Тов. Коллонтай оговаривается, что ей «издали» из Норвегии не видно, насколько действительно вопросы любви являются животрепещущими теперь в среде молодежи. Это не помешало ей, однако, подхватить версию о том, что молодежь по уши погружена в любовь, в искание «счастья».

Но, если тов. Коллонтай с таким аппетитом ухватилась за одно сообщение, чтобы лишний раз посмаковать свою излюбленную тему, то с таким же правом кто-нибудь другой с противоположными вкусами мог бы ухватиться для построения обратной теории и иного об'яснения хотя бы за тот формально противоположный факт, который тов. Рафаил приводит в «Правде» (№ 175, от 5 августа 1923 г.), в своей корреспонденции с Украины: «...Нам известны отдельные случаи организации типа так называемой «лиги свободной любви». Случай имел место в захолустьи одной из украинских губерний. Эта лига прикрывалась якобы «идейными мотивами коммунистической программы», требуя полной свободы и, в первую очередь, «половой свободы». Организация такой лиги, к которой были причастны и некоторые члены партии, свидетельствует о проникновении основ буржуазной идеологии и морали в головы и обиход нашей молодежи.

«Мы имеет и другие язвы. На прошлой неделе нам пришлось говорить с одной руководительницей селянского будынка крупного села. Она с высшим образованием. Год вращается в среде сельских коммунистов. Совместно с председателем сельсоветов она решила организовать сельскую комячейку. После длинной беседы удалось установить, что не только она, но и некоторые другие близкие ей товарищи решили, что наша программа компартии предписывает аскетический образ жизни. Это факт я изложил, чтобы указать не только как на известное событие, что наша деревня отстала, но что в нашей деревне начинает появляться своеобразный тип учителя, учительницы со средним и высшим образованием, которые проповедуют половой аскетизм и воздержание, обосновывая это коммунистической программой»...

Как же фактически обстоит дело у нас с вопросами любви и пола среди молодежи, рабочих и работниц?

Изменилось ли что-нибудь со времени гражданской войны? Несомненно, и тут произошли изменения, сдвиги и перевороты, как произошли они во всей обстановке жизни в период временного затишья в гражданской войне, или, вернее сказать, в период изменения форм борьбы с буржуазией при Нэпе. Революция раскрепостила все силы каждого индивидуума из трудящихся классов как физические, так и умственные и дала больший простор выявлению всех их. Однако она сама же и не дала реализовать «свободы» в строительстве новых форм жизни, пока борьба не окончена. В период острой

классовой борьбы с его лозунгами и требованием: «война до полной победы», вся воля и все внимание масс были сконцентрированы на вопросах непосредственной борьбы с врагом. Но внутри указанный выше процесс распада старых форм уже вполне созрел. Вся половая жизнь с ее проблемами была таким образом лишь отодвинута на второй план, и лишь теперь эти вопросы второго порядка начинают играть *более заметную роль* (если их не снимет снова с очереди германская революция). *Более заметную роль*—так нужно выразиться, чтобы не впасть в ошибки и преувеличения. Только и всего.

Что вопросы любви начинают интересовать учащуюся молодежь больше, чем раньше,—это бесспорно. Любопытный материал в этом отношении представляет собой анкета о половой жизни, проведенная у свердловцев [1]). Но от этого интереса до увлечения половыми проблемами вплоть до забвения дела учебы и основных задач пролетарской борьбы—дистанция огромного размера. Мы знаем, наоборот, что учащаяся молодежь большую часть сил отдает учебе, несмотря на тяжелые материальные условия, в которых находится наша пролетарская учащаяся молодежь и коммунистическое студенчество. И если у них есть интерес к половым проблемам, то зато есть удвоенный интерес к материализму, утроенный к экономике и т. п. Доказательством может служить хотя бы тот же журнал Свердловского университета, в котором была помещена упомянутая выше статья. Этот журнал, очевидно, исходя именно из потребностей учащейся молодежи и ее запросов, посвящает научным вопросам почти все свои страницы, и лишь самую ничтожную часть уделяет вопросам пола.

И в рабочем быту вопросы пола и проблемы новой семьи выдвигаются в гораздо большей мере, чем раньше. Но было бы грубейшей несправедливостью утверждать, что мы имеем здесь на-лицо господство «Санинских» упадочных настроений и интересов. Нам известен случай, когда коммунист—старый член партии—стрелял из-за ревности в беспартийного. Далее, не так давно в Москве двое из слушателей военной академии дрались на дуэли из-за женщины. Факт, сам по себе заслуживающий, конечно, внимания. Его надо учесть среди других изменений кон'юнктуры в общественном настроении. Но было бы клеветой обвинять весь кадровый состав Красной армии в том, что среди него начало господствовать бреттерство и дуэлянтские замашки вообще. О том, что думает на этот счет *большинство* наших красных командиров, лучше всего свидетельствует письмо коллектива коммунистов той же Военной академии, опубликованное затем в «Правде».

Несомненно, с другой стороны, что старые скрепы в области семьи и половых отношений находятся теперь в процессе ломки и непрерывных изменений всюду там, где их разлагает новая экономика и обогнавшая кое в чем экономику психика людей. Но это разложение идет крайне медленно. Переход от военного коммунизма к Нэпу скорее замедлил (временно, по крайней мере), чем ускорил этот процесс. Если учащееся пролетарское студенчество

[1]) См. „Записки Коммунистического университета им. Свердлова“, январь 1923 г., том I.

и молодежь вообще довольно бурно на практике протестуют против старых мелко-буржуазных заповедей в области половых отношений, доходя даже до форм беспорядочных половых сношений и пытаясь даже принципиально обосновать это, то, вообще говоря, это лишь маленький участок на классовом теле пролетариата и далеко не характерный для общего положения. А все это скорее говорит лишь о небрежно-неряшливом отношении к вопросам половой жизни и невнимательном, нетоварищеском отношении к женщине, потому что (в условиях данного времени) ведь исключительно ей приходится в итоге иметь дело с плодами любви. Но повторяю, это отнюдь еще не значит, что половые вопросы привлекают к себе усиленное внимание молодежи и отвлекают ее от главного. Часто это говорит скорей об обратном, о господстве «бескрылого эроса», украшение которого павлиньими перьями тов. Коллонтай провозглашает очередной задачей марксизма и пролетарской идеологии.

Надо иметь далее в виду, что благодаря совместному обучению обоих полов молодежи в школе, благодаря их совместному участию во всех видах спорта и, наконец, благодаря общему сглаживанию искусственно поставленных перегородок между мужчинами и женщинами во всей нашей общественной жизни, благодаря общему духу более товарищеского (хотя еще далеко недостаточно товарищеского) отношения к женщине—у нас и сама любовь и женское тело совсем не является тем запретным плодом, тем райским яблоком, предметом всяких вздохов и затаенных мечтаний, каким оно являлось в прошлом. Когда художники ренессанса на полотне своих картин пели гимны прекрасному женскому телу, нарушая этикет христианского аскетизма и заповедь «борьбы с плотью», когда подобные мотивы звучали во всей освободительной буржуазной литературе следующих веков, то все это было естественно, понятно, необходимо и прогрессивно. Но теперь-то ведь иные времена, иные нравы, иные песни. Запретные плоды давно стали всем доступными, отношения между полами совсем другие—они гораздо более рационализированы; в такой обстановке Жорж-Зандовский пафос тов. Коллонтай, ее выпячивание проблем любви, ее показная ходульная революционность в этой области производит смешное и жалкое впечатление.

Проблема любви не играет в нашей жизни и одной десятой того значения в сравнении с тем, какое этому хочет придать в своих статьях тов. Коллонтай, зря растрачивая здесь свой пафос и энтузиазм. Поистине стрельба по воробьям из пушек.

То же, что действительно является важным, и что связано с проблемой пола помимо эротики, как например: вопросы семьи, вопрос о детях, о потомстве вообще—вопросы, больше всего волнующие рабочих и особенно работниц, то эти вопросы тов. Коллонтай обходит полным молчанием. Но об этом ниже.

Статья тов. Коллонтай об истинно-пролетарском и истинно-коммунистическом эросе не только доказывает, что она не знает обстановки в Совет-

ской России, но *что она неверно оценивает и общую социально-политическую обстановку вообще, а потому и обстановку на фронте своего эроса.* Указав на то, что, по сравнению с периодом военного коммунизма, «сейчас картина меняется», она пишет: «теперь, когда революция в России одержала верх и укрепилась, когда атмосфера революционной схватки перестала поглощать человека целиком и без остатка, нежнокрылый эрос, загнанный временно в терновник пренебрежения, снова начинает пред'являть свои права. Он хмурится на осмелевшего бескрылого эроса—инстинкт воспроизводства, но прикрашенный чарами любви. Бескрылый эрос перестает удовлетворять душевным запросам. Скапливается избыточная душевная энергия, которую современные люди, даже представители трудового класса, еще не умеют приложить к духовной и душевной жизни коллектива. Эта избыточная энергия души ищет приложения в любовных переживаниях. Многострунная лира пестрокрылого божка любви покрывает однострунный голос бескрылого эроса... Женщина и мужчина сейчас не только «сходятся», не только завязывают скоропроходящую связь для утоления полового инстинкта, как это чаще всего было в годы революции, но и начинают снова переживать «любовные романы», познавая все муки любви, всю окрыленность счастья, взаимного влюбления» (112—113).

Один стиль этого литературного шедевра чего стоит! Тов. Коллонтай считает таким образом, что обстановка теперь в России такова, что уже пора заняться «крылатым эросом» и зовет в области половых отношений устраиваться по-иному. Как конкретно—мы это разберем дальше. Правда, она, по привычке, выше говорит, что затишье «временное и относительное», а по выводам и практическим предложениям выходит, что изменение коренное. Такая оценка общего положения есть вреднейшая иллюзия, недопустимость которой так ярко сейчас подчеркивается событиями в Германии. И нужно сказать, что ошибка тов. Коллонтай отнюдь не является только ее индивидуальной ошибкой. В обстановке Нэпа за какие-нибудь три года перемирия у нас значительное количество наших товарищей укрепилось в психологии «мирного обновления». Как-то упускается из виду и забывается, что пролетарская революция победила лишь на одном участке, участке далеко не самом важном как в экономическом, так и в культурном отношении. Все у нас по привычке повторяют, что главные бои впереди, что опасности, угрожающие нам, огромны. Тем не менее, на практике, многие поступают так, как будто бы дело социализма вообще уже если не совсем, то наполовину в шляпе. Не мешает поэтому всем и в частности пропагандистам новой эпохи в области эроса вспомнить прекрасные слова [1]) тов. Троцкого на этот счет, хотя и сказанные им по другому поводу: «Мы по-прежнему солдаты в походе. У нас дневка. Надо выстирать рубаху, постричь и причесать волосы и, первым долгом, прочистить и смазать винтовку. Вся нынешняя хозяйственно-культурная работа есть не что иное, как приведение себя в не-

---

[1] См. „Правда“ № 207 от 14 сентября 1923 г. „Пролетарская культура и пролетарское искусство“.

который порядок меж двух боев и походов. Главные бои впереди—и, может быть, не так уж далеко»...

Если бы спросить тов. Коллонтай, согласна ли она с этими строками, то она, пожалуй, обидится даже за вопрос. Еще бы, ведь она такая «лёвая»! И в то же время у нее нехватает, повидимому, логики продумать до конца, что означают политически ее теперешние усиленные разговоры о новом периоде в области эроса. Ей нехватает марксистского и коммунистического чутья понять, что независимо от существа ее мыслей самое уже выпячивание и подчеркивание этой проблемы является грубой политической ошибкой. Ошибкой является это и с точки зрения общего международного положения, и с точки зрения наших очередных задач, и с точки зрения тех реальных условий, в которых приходится пока жить и работать нашим рабочим и коммунистам, рядовым коммунисткам и работницам, и из которых выскочить нельзя [1]). Подумать только, чем рекомендуется заниматься, над чем ломать голову? У нас нужда, нищета, низкая заработная плата, элементарные потребности рабочих масс далеко не удовлетворены, более половины страны безграмотны, учащаяся молодежь живет часто в ужасающих жилищных и материальных условиях: ей не хватает пищи, одежды, нет достаточно учебников, тысячи из них на почве переутомления умственного и недоедания болеет туберкулезом и нервным расстройством. Нужно еще многие годы работать, чтобы началось как следует социалистическое накопление, чтобы можно было обстроиться, одеться, воспитать сотни тысяч беспризорных людей и т. д. А думы тов. Коллонтай о другом — «нежнокрылый эрос, изволите ли видеть, снова начинает пред'являть свои права», «избыточная энергия души ищет приложения в духовно-душевных переживаниях», «многострунная лира пестрокрылого божка любви» и т. д., и т. д.

Можно с уверенностью сказать, что на все эти ламентации тов. Коллонтай наша сознательная молодежь (не из «гимназистов» и нэпманских сынков) ответит не на «многострунной лире», а подует в однозвучный инструмент, который зовется «свисток». И нас еще, пожалуй, будут обвинять в том, что мы зря употребляем его там, где нужен этот простой инструмент. Однако если мы будем продолжать и дальше всерьез разбирать писания нашего уважаемого полпреда в Норвегии, то потому, что тов. Коллонтай пользуется еще некоторым уважением в определенных кругах работниц и молодежи, и ее поклонники и поклонницы будут требовать возражений по существу.

Кстати, мне кажется, что если последние писания тов. Коллонтай перевести бы на немецкий язык и дать прочитать немецким работницам и коммунисткам, то они сочтут нас, печатающих эти вещи в коммунистических органах молодежи и женщин, либо сумасшедшими, либо подумают всерьез, что мы начинаем быстро вырождаться. Стоить лишь вспомнить, что на очереди

[1]) Достаточно хотя бы указать на то, что невсегда муж, разлюбивший жену и бросивший семью, считает себя обязанным материально поддерживать детей. „Брошенная“ жена, пока государство не может в массовом масштабе осуществить дело воспитания детей, вынуждена нередко обращаться к суду за защитой. А таких процессов у нас теперь много. Где же тут до крылатого эроса?

дня у истерзанного, измученного германского пролетариата, чтобы представить себе, какой величайшей бестактностью в интернациональном масштабе является подобная литература, выходящая из-под пера одного из недавних видных вождей международного коммунистического движения женщин-работниц. Между прочим, для русских читателей будет, вероятно, не безынтересно узнать, что брошюра тов. Коллонтай «Рабочий класс и новая мораль», изд. 1919 г. (изданная затем в 1922 году в Германии частным издательством), встретила самую резкую и беспощадную критику на страницах одного из номеров журнала немецких коммунисток «Die Kommunistin». Уже по этому факту можно судить, как оценили бы немецкие товарищи теперь новые писания тов. Коллонтай в этой области.

В своей статье об эросе тов. Коллонтай делает по вопросу «историческую справку». В этой справке имеются такие перлы приложения исторического материализма к проблемам «крылатого и бескрылого эроса», что их никак нельзя обойти молчанием. Даже очень добрая, очень терпимая и очень вежливая редакция «Молодой Гвардии» почувствовала некоторую неловкость, и, не выдержав, снабдила два таких места из статьи своими примечаниями. Извиняемся перед читателями за длинную цитату, но, быть может, нам будет это прощено ввиду того, что смех у нас давно «пред'являет свои права», а юмористические наши журналы еще скудны и худосочны. Читаем: «Любовь в известных случаях... и при известных обстоятельствах может явиться двигателем, толкающим влюбленного человека на ряд поступков, на которые он был бы неспособен при ином, менее повышенном душевном состоянии. Между тем, рыцарство требовало от каждого своего сочлена высоких и притом чисто личных доблестей в области военного дела: бесстрашия, храбрости, выносливости и т. д. Битвы в те века решались не столько организацией войска, сколько индивидуальными качествами ее участников[1]). Рыцарь, влюбленный в недоступную «даму сердца», легче совершал «чудеса храбрости», легче побеждал в единоборстве, легче жертвовал жизнью во имя прекрасной дамы. Влюбленного рыцаря толкало стремление «отличиться», чтобы этим способом снискать расположение своей возлюбленной.

«Рыцарская идеология учла это явление и, признав любовь как психическое состояние, весьма полезной для классовых задач феодального сословия, тем не менее поставила самое чувство в определенные рамки. Любовь супругов в те века не ценилась и не воспевалась, не ею держалась семья, проживавшая в рыцарских замках и русских боярских теремах. Любовь, как социальный фактор, чтилась лишь тогда, когда дело шло о влюбленном рыцаре *к чужой жене*, заставлявшей рыцаря итти на военные или иные рыцарские подвиги. Чем недоступнее была женщина, тем настойчивее приходилось рыцарю добиваться ее благосклонности, и тем больше приходилось ему раз-

---

[1]) Гораздо правильнее было бы сказать: тогдашняя организация войска требовала высоких индивидуальных качеств отдельного бойца, так как почти все бои были рукопашными боями. *Прим. редакц. журн. „Мол. Гвардия“.*

вивать в себе добродетели и качества, какие ценились в его сословии (бесстрашие, выносливость, настойчивость, отвагу и т. д.).

«Обычно «дамой сердца» рыцари избирали как раз женщину наименее доступную: жену своего владыки (сюзерена), нередко королеву. Только такая «духовная любовь», без плотского утоления пришпорившая рыцаря на доблестные подвиги [1]) заставляя его творить чудеса храбрости, считалась достойной подражания и возводилась в «добродетель».

«Рыцари почти никогда не избирали предметом своего обожания девушку: как бы недоступно-высоко над рыцарем по феодальной лестнице ни стояла девушка, любовь рыцаря к девушке могла повести к браку, а с браком неизбежно исчезал психологический двигатель, толкавший рыцаря на подвиги. Этого-то и не допускала феодальная мораль. Отсюда совмещение идеала аскетизма (полового воздержания) с возведением влюбленности в моральную добродетель. В своем рвении очистить любовь от всего плотского «греховного», превратить любовь в абстрактное чувство, совершенно оторванное от своей биологической базы, рыцари доходили до уродливейших извращений: избирали «дамой сердца» женщину, которую никогда не видали, записывались в возлюбленные «девы Марии», богоматери... (Дальше итти было некуда)».

Действительно, дальше итти некуда; перед нами целое открытие в области средневековой истории. Почему только молчат т.т. Покровский, Лукин, Волгин и др.? До сих пор мы думали, что вся рыцарская идеология с ее «дамами сердца» была лишь особым выражением сословной связи и сословных скреп внутри феодального дворянства, что эта рыцарская «любовь» была лишь одним из причудливых отображений отношений между вассалом и сюзереном, что все поступки, якобы совершенные из чувства «бескорыстной» любви, поскольку дело шло о чем-либо политически и экономически существенном, совершались под действием и давлением сословных интересов рыцарей и вытекала из их внутрисословного соподчинения. Теперь, оказывается, дело обстояло иначе. Получается так, что не экономические, не политически-сословные интересы двигали рыцарями в их поступках, а двигал эрос. Диву даешься, как только тов. Коллонтай не пришло в голову, даже в связи с приведенным примером, что если рыцари выбирали «дамой сердца» даже пресвятую «деву Марию», то здесь дело меньше всего могло итти о любви, как понимают ее люди, находящиеся в здравом уме и твердой памяти; что здесь была речь лишь о символическом отображении социальных отношений эпохи. Анализировать такие символы, в качестве проявлений любви, следовательно, как явление биологического порядка, все равно, что заниматься с ланцетом в руке анатомией не самого человеческого тела, а отображением его в зеркале. Такого анатома посадили бы в сумасшедший дом. Что же нам делать с таким горе-социологом и историком, как тов. Коллонтай, с ее эротической философией истории? Как отнестись ко всей этой

---

[1]) Конечно, в большинстве случаев рыцаря „пришпоривала“ не духовная любовь, а жажда грабежа и наживы. *Прим. ред. журн. „Молод. Гвард.“*.

невообразимой чепухе, состряпанной ею? Высмеять надо. Больше ничего не остается. Дорогу же «Красному Перцу», «Крокодилу», Демьяну Бедному, Моору и Дени!

Но тов. Коллонтай не только занялась критическим пересмотром истории, она обогатила и теорию исторического материализма новым фактором, действие какого Маркс и Энгельс явно недооценивали и ничего о нем не упоминали ни в «Коммунистическом Манифесте», ни в «Капитале»,—этот фактор тот же самый эрос. С этой стороны марксизм явно нуждается в дополнении.

Тов. Коллонтай и в будущем обществе видит то, что ей хочется видеть, и, несмотря на то, что она (это уже вошло у нас в привычку) и твердит, что нельзя пророчествовать насчет будущего, однако, успокоивши свою марксистскую совесть этой фразой, она все же никак не может удержаться от любопытства, чтобы не заглянуть в это будущее и широко о нем распространиться. Она пишет:

«В этом новом коллективистическом по духу и эмоциям обществе, на фоне радостного единения и товарищеского общения всех членов трудового-творческого коллектива эрос займет почетное место, как переживание, приумножающее человеческую радость. Каков будет этот новый преображенный эрос? Самая смелая фантазия бессильна охватить его облик. Но ясно одно: чем крепче будет спаяно новое человечество прочными узами солидарности, тем выше будет *его духовно-душевная связь во всех* областях жизни, творчество, общение, тем меньше места останется для любви в современном смысле слова. Современная любовь всегда грешит тем, что, поглощая мысли и чувства «любящих сердец», вместе с тем изолирует, выделяет любящую пару из коллектива. Такое выделение «любящей пары» моральная изоляция от коллектива, в котором интересы, задачи, стремления всех членов переплетены в густую сеть, станет не только излишней, но психологически не осуществимой. В этом новом мире признанной, нормальной и желательной формой общения полов будет, вероятно, покоиться на здоровом, свободном, естественном (без извращения и излишества) влечении полов, на *«преображенном* эросе».

Итак, тов. Коллонтай готова, в интересах пропаганды своего взгляда на эрос, не только всю историю исказить и все будущее перекроить по своему вкусу. В коммунистическом обществе, оказывается, отношения между полами обязательно будут складываться «по Коллонтай». Насчет вкусов вообще не спорят, так гласит пословица, но по поводу всяких попыток навязать будущему обществу наши теперешние и к тому же личные вкусы мы всячески должны протестовать. В этом отношении вполне прав тов. Преображенский, когда он пишет в свой брошюре [1]):

«Конкретно, можно ли с точки зрения пролетарских интересов поставить и дать ответ на вопрос, какие формы общения полов больше совме-

[1]) „О морали и классовых нормах", стр. 97—98, Госиздат 1923 г.

стимы, если не с теперешними социальными отношениями и социальными интересами, то с отношениями социалистического общества: моногамия, кратковременные связи или, так назыв. беспорядочное половое общение. До сих пор защитники той или иной точки зрения в этом вопросе скорее обосновывали всевозможными аргументами свои личные вкусы и привычки в этой области, чем давали правильный социологически- и классово-обоснованный ответ. Кому больше нравился несколько филистерский личный семейный быт Маркса и кто, по своим наклонностям, предпочитал моногамию, тот пытался возвести в догмат и норму моногамную форму брака, подбирая медицинские и социальные аргументы. Те, которые склонны к обратному, пытаются выдать «быстротечные браки» и «половой коммунизм» за естественную форму брака в будущем обществе, при чем иногда проведение на практике этого типа общения между полами с гордостью рассматриваются как «протест на деле» против мещанской семейной морали настоящего.

«В действительности же вся такая постановка вопроса сводится к тому, что люди рекомендуют коммунистическому обществу свои личные вкусы и выдают свои личные симпатии за об'ективную необходимость» [1]).

Итак, побывав в будущем обществе и заглянув вместе с тов. Коллонтай через очки эротического фактора в средневековье, вернемся к нашей реальной земле. И здесь, оказывается, мы, узкие, односторонние марксисты, совсем недооцениваем новый фактор истории, открытый тов. Коллонтай в самом деле. На стр. 118 читаем:

«...Новое трудовое коммунистическое общество строится на принципе товарищества—солидарности. Но что такое солидарность? Это не только сознание общности интересов, но и духовно-душевная связь, устанавливаемая между членами трудового коллектива. Общественный строй, построенный на солидарности и сотрудничестве, требует, однако, чтобы данное общество обладало высоко развитой потенцией любви, т.-е. способностью людей переживать симпатические чувствования»... «Но все эти симпатические чувствования—чуткость, сочувствие, отзывчивость вытекают из одного общего источника—способности любить»... А на странице 122 мы находим такие строки:

---

[1]) Но если т. Коллонтай принципиально неправильно ставит вопрос о многогранной любви (т.-е. сожительство одновременно со многими), поскольку вопрос лежит вне области регламентации со стороны партии, то столь же неверной, но с другого конца, является моральная заповедь т. Сорина по отношению к коммунистам, которых он поучает коммунистическому благочестию: „не живи сразу с тремя женами“ (см. „Правда“ № 237 от 19/X: „Азбучные истины“).

Ко всем прочим нелегким обязанностям контрольных комиссий тов. Сорин прибавляет еще новую: прослеживать и подсчитывать, сколько у каждого коммуниста имеется жен, помимо полагающейся на каждого одной „законной“, и обратно—у коммунисток мужей. Но этим самым т. Сорин выдает свою старомодную точку зрения на брак, как на хозяйственно-семейный союз, при котором сожительство с тремя одновременно должно потребовать утроенных расходов со стороны мужа (как у мусульман). А между тем, такое сожительство со многими, как со стороны мужчины, так и со стороны женщины, может быть у нас совершенно не связано с материальными последствиями и в этом случае подобные браки не задевали бы коллектив и лежали бы вне моральной регулировки.

«Безразлично пролетариату также, какие оттенки и грани преобладают в «крылатом эросе»: нежные ли тона влюбленности, жаркие ли краски страсти или общность и созвучие духа. Важно лишь одно, чтобы при всех этих оттенках в любовь привходили те душевно-духовные элементы, какие служат к развитию и закреплению чувства товарищества».

Мы думаем, что пролетариату «важно», во-первых, чтобы со словами пролетарская идеология не обращались, как с бесхозяйными имуществами и не трепали его по всем поводам. Надо потерять всякое чувство коммунистической ответственности, чтобы выдавать свои эротические измышления и «духовно-душевное» пустословие за элементы пролетарской идеологии.

Во-вторых, мы узнаем здесь, что строющееся *коммунистическое общество базируется не на определенной производственной основе и трудовых связях,* строго отвечающих этой основе, а на «потенции любви». Я думаю, что даже для эс-эров нашего времени это было бы слишком. (Надо думать, что это не описка.) А если не описка, то тов. Коллонтай собирается видно дополнить Маркса из арсенала Михайловского. Кропоткина, Толстого и евангелия Иоанна. Как видим, успевая в вопросах дипломатии, тов. Коллонтай находится явно на ущербе по части марксизма.

Что же рекомендует тов. Коллонтай рабочим, работницам - коммунистам. коммунисткам и нашей молодежи?

В своей статье о морали она отказалась читать какую-либо мораль. (И правильно сделала!) Но вот по части половой морали она не выдержала характера. Вся ее статья есть именно сплошная мораль по части половых отношений. И история средневековья критически пересмотрена в сущности ради этой морали. Рекомендует же она следующее:

«Многогранность любви сама по себе не противоречит интересам пролетариата. Напротив, она облегчает торжество того идеала любви во взаимных отношениях между полами, которое уже оформляется и выкристаллизовывается в недрах рабочего класса. А именно: любви—товарищества».

Под многогранностью любви здесь понимается сожительство одного мужчины с несколькими женщинами, и наоборот. Мы отнюдь не думаем выступать против такой «многогранности» в любви. Но одно необходимо сказать: потребность в сожительстве одновременно со многими есть прежде всего дело темперамента, продукт чисто суб'ективных свойств и вкусов человека. Но возможность широкого осуществления таких личных вкусов зависит раньше всего от экономики, от того, насколько далеко шагнуло вперед строительство социализма, как велик прибавочный продукт общества, одним словом, зависит от того, насколько коллектив совершил уже скачок из царства необходимости в царство свободы.

Возможно вполне, что в будущем обществе, где успехи производства дадут возможность развернуть в полной мере все стороны человеческой личности; каждому будет предоставлено столько свободы, в жизни и поступках, что формы взаимоотношений полов будут определяться почти всецело личными склонностями людей, их темпераментом и т. п. Однако надо думать,

что и там, вероятно, будут регулирующие начала в виде того, какие формы общения, с медицинской точки зрения и с точки зрения евгеники, представляются наилучшими.

Но, переносясь в обстановку наших будней, нашей реальной действительности, мы должны сказать, что все вопросы рационализации половых отношений, прежде всего упираются (при нашей бедности, безработице, особенно среди женщин, отсутствии общественного воспитания) в вопрос о семье, в вопрос о детях. Об этом вопросе наш автор усердно молчит, ограничиваясь областью чисто психологических рассуждений о любви и неизменно приплетая сюда «пролетарские интересы», «пролетарскую идеологию» и т. д. Молчать же об этом, значит молчать о самом главном, о самом больном, что глубочайшим образом волнует женщину-работницу, всякую женщину, вообще, а также, разумеется, и мужскую половину. В статье тов. Коллонтай говорится о целой дюжине всяких эросов: «эрос бескрылый», «эрос выщипанный», «пугливый эрос», «преображенный эрос», «нежнокрылый эрос» и т. д. и т. д. Это лишь маленький букетик. Но в статье ни слова о естественных последствиях этих наикрылатых, наиразноцветных эросов—о плодах любви, о детях. А между тем именно в них-то теперь все дело. Надо действительно потерять всякое чувство действительности, чтобы об этом не знать и об этом не вспомнить. Массы отнюдь не разделяют того взгляда, будто половая любовь существует лишь для самой любви, и что мужчина и женщина должны обязательно смотреть друг на друга, как на об'ект наслаждения. Разве любовь, — взятая в социально-биологическом разрезе — это какое-то искусство ради искусства? Разве она не является прелюдией к воспроизводству—деторождению? Нелишне будет тут указать на тот факт, что на юбилейном вечере, устроенном отделом работниц Ц. К. в память трехлетия существования журнала «Коммунистка», некоторые работницы в своих речах выражали протест против того, что в журнале печатались подобные статьи, как статьи тов. Коллонтай. При чем одна из них указала, что статья тов. Коллонтай «Сестра» (о которой речь ниже) так чужда по духу работницам, что они вообще ее не поняли. Таким образом юбилей в честь «Коммунистки» неожиданно кончился критикой позиции тов. Коллонтай в области эроса. Одна работница женотдела в Донбассе совершенно правильно заметила также, сказав: «Перед нами не стоят вопросы о любви. У нас стоит вопрос о детях. Вот в чем дело». А в каком положении дети? Больше полумиллиона беспризорных, находящихся на иждивении государства и содерживаемых в нищенских, безобразных, часто кошмарных условиях. Десятки тысяч детей рабочих и работниц некуда поместить из-за отсутствия достаточного количества ясель, детских домов и садов. Вопрос о социальном воспитании—вот центральный вопрос семьи и проблемы пола у нас сейчас. Но все эти вопросы, так глубоко волнующие трудящихся женщин, вопросы, на которые *прежде всего* ждут они ответа, тов. Коллонтай обходит упорным молчанием. Она занята исключительно психологией любви, суб'ективными переживаниями любящих, т.-е. она не думает о том, что если бы наши рабо-

чие и работницы в массовом масштабе ушли бы головой в «пестрокрылый эрос» и утопали бы в роскоши «многогранной любви», то это для весьма многих из них означало бы увеличение семьи, прибавление новых детей, в то самое время, когда имеющихся некуда деть. Как же им в таком случае быть?

На этот вопрос они не получат ответа у тов. Коллонтай. Ибо она адресуется, повидимому, к тем, для кого эти вопросы не возникают. И в конце концов вся ее идеология эроса, сосредоточенная лишь на психологической стороне любви и игнорирующая все остальное в наших реальных советских условиях, есть лишь идеология «Keinkindersistem». Это идеология Жозефины из романа Эмиля Золя «Плодородие», этих типичнейших персонажей буржуазного вырождения, для которых, говоря словами Альфреда Мюссе: «L'amour est tout, la vie ou le soleil», а против деторождения меры приняты заранее. И сколько бы раз в своей статье тов. Коллонтай не упоминала: «пролетарская идеология», «пролетарская культура», «коллектив коммунистический» и т. п., сколько бы раз она ни оговаривалась насчет интересов «трудового коллектива», общий тон ее статей именно таков—это буржуазная идеология культа любви, которую хотят навязать пролетариату и выдать за его продукт, в то время, когда в порядке дня его продолжают стоять культ винтовки и социалистического накопления, а все условия жизни — лишь комфорт окопов третьей линии.

Правда, лишь у немногочисленных верхушечных групп, которые сравнительно материально лучше обеспечены и общие условия жизни которых лучше, есть большая возможность для культа личной жизни. Тут мы встречаемся иногда с попытками разрешить по-коммунистически проблему «многогранной любви», «об'единения любви к верхам души одной с любовью к телу другой и т. д.». Мы знаем в этой среде факты сожительства одного с двумя, тремя женщинами и наоборот, без проявления чувства ревности с чьей бы то ни было стороны (конечно, изжить ревность—это уже большой шаг вперед—и с этой стороны надо рассматривать такую форму, как прогрессивную). Но, во-первых, если любовь к одному человеку в наших условиях урывает время от общественной работы, то любовь к трем отнимет в три раза больше времени. А, как известно, у нас ведется сейчас усиленная борьба за время, революция требует напряжения всех сил. Поэтому лозунг тов. Коллонтай даже и для верхушки этой не является своевременным, поскольку она связана с революцией [1]).

---

[1]) Не возражая по существу против „многогранной любви" (ибо принципиально нельзя спорить о таких вещах, весь вопрос только в том, на сколько это подходит к нашим теперешним реальным условиям), я должна показать на одном известном мне примере, как именно широкая „любовь ко многим" протекает за счет уменьшения внимания к делам общественным. В родственной нам немецкой коммунистической партии один товарищ, сильно любивший свою „единственную" жену, часто отнекивался от поездок в провинцию, не желая расставаться с женой. Товарищи решили настроить его в духе „новой морали" и им удалось его с'агитировать насчет преимущества с коммунистической точки зрения любви ко многим,—они надеялись, что любовь ко многим рассеет любовь к одной. Но „пациент", к сожалению, сильно привязался сразу к 8-ти, кото-

Мы живем в век великих социальных потрясений, в сравнении с которыми даже небывалое землетрясение в Японии окажется мелким и незначительным. Десятилетия революций и социалистических войн потребуют огромного напряжения пролетарских сил. Они потребуют людей, закаленных в своей сфере не хуже, чем та сталь, с помощью которой они будут сводить счеты со старым миром. Наша партия умела воспитывать таких людей. Но и наша партия и предшествовавшее ей поколение революционных народников никогда не воспитывали шедшую за ними молодежь на проблемах любви. До того ли было! И теперь наша молодежь в лучшем случае ответит полным недоумением на попытки тов. Коллонтай воспитывать молодое поколение революции на вопросах любви, которой заполняли свое время паразиты Печорины и Онегины, сидя на спинах крепостных мужиков.

„Сестры" тов. Коллонтай[1]).

Перейдем к вопросу о быте. Тов. Коллонтай сочла нужным откликнуться и на эту тему.

Но какую сторону быта сочла она нужным осветить?

Отношение ли рабочих и работниц к производству,—область, которая представляет у нас огромный интерес, область, где произошел величайший сдвиг со времени октябрьской революции? Нет, на этом она не сочла нужным остановиться. А между тем мы видим, как коренным образом изменилась здесь психика рабочего и работницы. Несмотря на то, что жилищные условия, в которых продолжают жить рабочие, самые ужасные, охрана труда из рук вон плоха, хотя бы уже потому, что работать приходится в прежних фабриках, построенных не нами, а капиталистами, где все было приспособлено только к лучшей эксплоатации; прозодежды у нас отнюдь не хватает, оплата труда в общем еще низка—несмотря на все это, рабочие и работницы в общем относятся более чем добросовестно к работе; гораздо бережней относятся они и к государственному имуществу, чем раньше, больше заинтересованы увеличением производства. В общей массе рабочих заметен сильный интерес к самому процессу и к технике производства; из среды рабочих появилось много самоучек-изобретателей; растет жажда к техническому образованию и повышению своей квалификации, восполняемая часто на дому в свободное от работы время. Повысились духовные вопросы, тяга к клубу, кружку и театру. Иногда можно видеть прямо любовное отношение к фабрике, особенно там, где директором фабрики состоит рабочий их же предприятия. Такая фабрика представляет нередко дружную семью — единый коллектив. Общими силами устроены у них и учреждения по обобществлению быта (ясли, столовые и т. п.). Там и работницы чувствуют себя лучше. Но на-ряду

рые к тому живут в разных городах, и теперь, когда его посылают в провинцию, он ездит охотно, но он вместо нужной одной провинции об'езжает все девять.

[1]) См. статью в журнале „Коммунистка", издание отдела Ц. К. Р. К. П. по работе среди женщин, № 3—4, март—апрель 1923 г.

с этим, мы видим картину иного порядка. Есть еще часть предприятий, где рабочие думают лишь о том, как бы больше урвать для себя лично. Работниц держат в черном теле, смотрят на них как на существа низшего разряда. Чтобы не быть «сокращенными», работницы готовы иногда вступить в личную сделку со старшим мастером, директором... Но все эти светы и тени этой части нашего пролетарского быта не интересуют тов. Коллонтай.

Пойдем тогда дальше. Возьмем отношение между родителями и детьми [1]). Мы видим тут громадный сдвиг: работницы-матери в громадном уже большинстве охотно идут на то, чтобы детей отдавать в ясли; пора их первого недоверия миновала; «материнский инстинкт» у них уже не связан больше с мелко-буржуазным семейным индивидуализмом. Вопрос у нас уже не в том, чтобы принуждать их отдавать своих детей в ясли, а в том, что у нас не хватает этих ясель для всех желающих. Для того, чтобы понять все изменения в этой области, достаточно вдуматься в тот факт, что у нас в Советской России, где над темными женщинами довлело до сих пор церковно-поповское влияние, матери дают своим детям-юношам и девушкам не только совместно участвовать в различных видах спорта, но и принимать участие в комсомольских Рождестве и Пасхе и прочих пародиях на церковные праздники. Это говорит о том, что у женщин поколебалась религиозная вера. Часто пожилые уже работницы, осознавшие поповский обман, срывают с себя кресты, снимают с углов «святые» образа. Атеизм начинает завоевывать последнюю цитадель религии, веры и предрассудков. Массами происходит теперь венчание не в церкви [2]), а дело ограничивается записью в комиссариате или просто добровольным уговором обеих сторон [3]). Вместо крестин устраивается товарищеский обед для приятелей по заводу. Вместо крещения ребенка именем из святцев дня его рождения, ребенку дают имя одного из вождей революции (недавно в одной рабочей семье новорожденного мальчика наименовали «Нинел», что означает, если читать слова слева направо: «Ленин»).

Изменились несомненно и взаимоотношения между мужем и женой.

[1]) См. интереснейшую анкету по этому вопросу, напечатанную в „Правде" (за № 187 от 22 августа под заглавием „Рабочая семья" С. Дзюбинского).

[2]) В интересной корреспонденции в „Известиях" приводился факт, как в одном селе дочь попа деревенского отказалась венчаться в церкви, и попу ничего не осталось, как принять участие в гражданской свадьбе своей же дочери.

[3]) И. С. в „Известиях" от 3/X в заметке „За новый быт" приводит несколько примеров этой борьбы молодежи за новый быт,—примеров, которые насчитываются тысячами: комсомольская свадьба, устроенная на одном уральском заводе молодежью этого завода по случаю женитьбы комсомольца этого завода на беспартийной девушке. Свадьба была сыграна не так, как обычно: вечером, после регистрации молодые приехали в комсомольский клуб, где в честь их брака была устроена комсомольская вечеринка в присутствии громадного количества рабочих не только этой фабрики, но и окрестных. Помимо игр и танцев были доклады „О церковном и советском браке", „О старой и новой семье". Или вот еще пример из области коммунистических свадеб: в Карелии, в селе В..., Олонецкого уезда, председатель сельсовета, женившись советским браком на беспартийной девушке, вместе с комсомолом в клубе по-разумному отпраздновал свою свадьбу, несмотря на то, что вся деревня этого темного края знать его не хотела и отвернулась от него.

Часто вышедшая за коммуниста беспартийная стремится не отставать духовно от мужа. Она сама втягивается в общественную работу и вступает в партию. В такой семье, где оба партийные и втянуты в работу, можно видеть. как муж несет не только материальные тяготы о детях, заботы о семье, но делит с женой и домашнюю работу, которая обыкновенно еще целиком ложится на женщину. Так, например, там можно наблюдать картину, как муж заменяет жену, ушедшую на собрание, качает ребенка в люльке или нагревает ужин. Конечно, это еще не массовые явления. Материнство продолжает оставаться до сих пор тяжелым крестом для работницы, особенно партийной. поскольку не созданы еще те общественные учреждения, которые призваны снять с женщины гнет индивидуального хозяйства. Массовое явление абортов в среде работниц говорит о том, что они не хотят итти добровольно в ярмо кухонно-семейного рабства, опускаться, отставать от мужа, зная, что материнство в данных условиях превращается в тяжелый крест. И они охотней идут на калечение своего организма, отказываясь от материнства. Мы тут таким образом стоим перед вопиющим противоречием: сознание работницы, обогнавшее создавшиеся условия жизни, не помогает, а препятствует женшине-матери-работнице выполнить свое назначение [1]).

Таким образом здесь уродливые явления перемежаются с прогрессивными. Современные формы семьи во многом уже изжиты. Семья как таковая разложилась в ходе самой жизни. Число разводов очень велико [2]). Характерно, что это явление наблюдается не только в городе, но и в деревне. Там делу развода в значительной мере содействует то, что по нашему кодексу законов детям полагается выделить наделы в случае расторжения брака и где женщина после развода не столь беспомощна, как безработная жена рабочего в городе. Но, тем не менее, мы должны констатировать, что во многих случаях семья продолжает искусственно держаться, руководясь соображениями исключительно материального свойства, когда мужа и жену уже ничего больше не связывает и когда каждый готов был бы построить свою жизнь по иному. Приходится держаться семьи из-за детей, которых часто прямо-таки некуда деть. Это порождает массу конфликтов. Поскольку речь идет о муже, то он в таких случаях либо пользуется проституцией, либо пытается строить свою жизнь сызнова—и бросает семью. Мать детей, очутившись в таких условиях, при общей трудности найти теперь работу, нередко бывает вынужденной проституцией заработать себе кусок хлеба, если она не хочет или не может пользоваться унизительными подачками со стороны родственников. Бывает и так, что и работницам, сокращенным на предприятиях из-за безработицы, уготована такая же участь.

---

[1]) Этого же я коснулась в моей статье „О быте" (см. „Правда" от 26 июля 1923 г.), но еще подробней я останавливаюсь на этом вопросе в моей ответной статье тов. Троцкому, которая появится в журнале „Коммунистка" (ноябрь 1923 г.).

[2]) Тов. Гойхбарг в „Известиях" оспаривает это, но он имел при этом в виду число формально-зарегистрированных разводов, число которых значительно меньше фактических, но не регистрируемых разводов.

Проституция в нашей стране и в наше время—это конечно худшее зло, которое только и можно себе вообразить. Впрочем, надо сказать, что причины нашей проституции коренятся не в одной только безработице. И тут перед нами много нового, чрезвычайно важного, что с одной стороны должно стать об'ектом внимательного изучения, а, с другой стороны, должно побудить нас к ряду безотлагательных, срочно-практических мероприятий.

Тов. Коллонтай из всей совокупности затронутых нами вопросов была остановилась лишь на проституции, ухватившись при этом отнюдь не за самое характерное. Посмотрим же на эту проблему в ее освещении.

Статья, в которой трактуется этот вопрос, написана автором в форме маленького рассказа. Рассказ ведется от имени той, которая пришла к тов. Коллонтай «за советом».

Фабула рассказа приблизительно такова: Она, конечно, полуинтеллигентка—он рабочий (тов. Коллонтай очень любит такие персонажи). Оба в партии. Познакомились, когда она работала в экспедиции. Полюбивши друг друга, поженились и были счастливы без конца. Тут и служба и работа революционная, и он и она на собрания ходят, наконец... и ребенок родился к общей радости. Муж помогает нянчить его. Найдена квартирка. Приобретена кой-какая мебелишка. Словом, счастью нет конца. Но развязка впереди. Наступает пресловутый Нэп. И в этой семье все идет кубарем. Муж становится хозяйственником; при этом он обязательно теряет волю и поддается влиянию разлагающей буржуазной среды. Между любящими сердцами растет непонимание, надвигается разлад. Между ними происходит об'яснение и временное примирение. Но драма лишь усиливается. Он начинает в дом водить гостей нэпманов. Иногда даже выпивает вместе с ними. А там дальше больше, муж доходит до пользования проститутками и привода однажды одной даже к себе в дом на ночь. Для полноты картины ребенок заболевает и умирает, а жена из-за «сокращения» лишается места.

Дома уж не жизнь, а настоящий ад. Работы нет и найти негде, с мужем совсем как чужие. Полное одиночество, заброшенность и сознание ненужности никому. Характерно для автора, что о всех делегатских собраниях, отделе работниц, активным работником которых была в начале статьи героиня рассказа—теперь ни слова. Больше того, не видно даже на этом фоне товарищей ее по предприятию. Все они исчезли, когда это потребовалось автору, как будто бы их и не было. Круг совсем сомкнут. Единственно живым, близким человеком оказалась для героини вторая по счету проститутка, которую муж привел домой. Эта последняя была «с аттестатом». (Тов. Коллонтай и это не забыла подметить. Ведь страшно важно, имеет ли проститутка аттестат об окончании гимназии или нет. Как будто бы проституция интеллигентной женщины страшнее, чем проституция женщины-работницы.) *С ней она разговорилась тогда на рассвете, когда муж уснул. У них нашелся* общий «женский язык». Они поняли друг друга и поговорили совсем как близкие, как сестры. Та ушла на рассвете, тепло попрощавшись. Больше она ее не видела. Видно «яма» ее снова поглотила. И вот теперь единственная

мысль буравит мозг: ей бы отыскать эту проститутку. В этом все спасение. Ибо та ей настоящая сестра. У них ведь теперь общий путь—Цветной бульвар и Трубная площадь...

Нам неизвестно, какой совет получила рассказчица от тов. Коллонтай. Указала ли последняя ей иные пути или возможности к отысканию этих путей. Об этом, к сожалению, тов. Коллонтай ничего не говорит. А такой вопрос будет невольно напрашиваться у тысяч и тысяч работниц партийных и беспартийных, которые прочтут этот рассказ. Ибо иначе какой смысл получает этот рассказ, написанный пером чуть ли не вождя женских рабочих масс и помещенный в руководящем органе русских коммунисток. Но т. Коллонтай, очевидно, об этом думала меньше всего. До этих запросов ей дела нет. Ибо *в противном случае она бы свой рассказ построила совсем по-иному*. И героиней не избрала бы интеллигентку, психология и переживания которой вовсе не характерны для работниц. Краски нарочно сгущены. Единичный факт выхвачен из жизни (если не выдуман) без малейшей связи со всем окружающим и без всякого желания со стороны автора об'яснить и глубже вскрыть затрагиваемые явления нашей жизни. Тут нет попытки автора подойти социологически, марксистски к трактуемой вещи. Рассказ явно тенденциозен, и определенно бьет на эффект. Мы вполне понимаем, когда так изображает вещи фельетонист по профессии, но нам непонятно, как может писать так человек, близкий нам, человек, который должен бы болеть вместе с массой за все болезни и страдания, через которые она проходит в переходную эпоху. Он не может так описывать факты. Он не может запротоколировать или сфотографировать темный и тяжелый кусок жизни. Тем более, не должен так писать человек, от которого женские массы ищут ответа. Писать так, как написан этот рассказ, значит не помогать массам, бороться с язвами нашей жизни, а сеять уныние, отчаяние, безнадежность и, пожалуй, панику. Единственный, вполне определенный вывод и лозунг, напрашивающийся у читателя рассказа—это: «долой мужчин». Разумеется, мы не должны замалчивать или хоть в малой мере скрашивать отрицательные стороны нашей жизни. Сила нашей партии всегда была и есть в том, что она не боялась правды; *она открыто смотрела правде в лицо и от масс ее не скрывала, как бы горька она ни была*. Но сила партии заключается при этом также и в том, что она никогда не ограничивалась голым констатированием язв, а вскрывала всегда их причины и указывала пути к преодолению их.

Однако тщетно мы стали бы пред'являть такие требования к тов. Коллонтай. Она не только ничему за последнее время не научилась, но забыла даже то, чему сама учила других. И действительно, насколько она отстает от жизни, насколько она не пытается вдумываться в окружающее и понять происходящее, мы видим из того, что она недавно нашла возможным переиздать у нас в Советской России сборник своих старых рассказов—поросших мхом...

Я не буду на этой книжке останавливаться, ибо она не заслуживает того, чтобы ей заниматься на страницах журнала. Эту книжку достаточно

раскрыть, чтобы убедиться, что там и в помине нет о переломе у женщин. Но зато на версту от каждого рассказа разит порнографией и бульварщиной. Надо поистине потерять чувство смешного, чтобы на шестой год революции переиздавать такие вещи и преподносить русским работницам и молодежи такого рода дребедень. (Не известно, зачем Госиздат переиздает у нас такой хлам, из симпатии ли к порнографии или к автору сего предмета.)

„Белая птица" тов. Коллонтай.

Идеологом каких персонажей является тов. Коллонтай, к чьим вкусам она апеллирует, можно лучше всего видеть из той рекомендательной статьи, которую она написала поэтессе Анне Ахматовой [1]). Обращаясь с подобной рекомендацией к трудящейся молодежи, тов. Коллонтай не сознает, повидимому, того, что она усиленно пытается всю психологию надлома и упадочного настроения, которыми болела расслабленная интеллигенция времен распада старого общества, привить пролетариату. Как будто это есть неизбежный этап в его духовном развитии, без которого он не сможет добиться победы и создать новую культуру и новый быт. Нам тем более странно слышать от тов. Коллонтай, что «уму и сердцу огромного большинства женщин, которые живут основами буржуазных идеологий и которые и в жизнь и в любовь вносят весь тот багаж, каким питались наши матери, белые томики Ахматовой ничего не скажут...». Наоборот, повидимому, эти томики должны явиться книгой откровения, святым евангелием для «работниц (широких масс, не единиц), для учащейся молодежи, женщины, трудящейся на всех поприщах (т.-е. всех тех, которые уже на переломе)».

Между тем Ахматова как раз есть истинный певец настроения индивидуалистически настроенных, растерявшихся интеллигентов, женщин последнего предреволюционного периода, тех женщин, которые главный смысл жизни по-прежнему видели лишь в любви, в любви, потревоженной предчувствием социальных потрясений, чахоточной и надломленной. Любовь ушла и жизнь пуста. Впереди «лишь холодные своды моста».

Но для того, чтобы лучше понять и увидеть, какой именно мирок отражает Ахматова, какая конкретная эпоха и среда могла создать и вдохновить Ахматову, не бесполезно будет оглянуться назад и сказать несколько слов о постановке проблемы любви в буржуазно-дворянской литературе. Тогда нам будет ясней, какое место занимает литературная точка творчества Ахматовой на этой длинной исторической линии.

Дворянская литература почти целиком посвящена любви. Она почти не занималась другими проблемами. Дворянин, крепостник и аристократ, жившие за счет труда крепостных мужиков, считали получение от них своих доходов делом само собой разумеющимся. Здесь не было каких-либо

[1]) См. статью о „Драконе и Белой птице", — „Молод. Гвардия" № 2 (9), февраль—март 1923 года.

сложных, трудных и интересных для них проблем, требовавших работы мысли, и творческого напряжения художника. Литература этой эпохи искала «высокого и прекрасного» не в изображении трудового фундамента крепостнического общества, не в изображении жизни и социальных отношений трудящихся классов, а в любви господ. Господская любовь господствовала в литературе. Типы крепостных мужиков выступают на арене этой литературы, как бытовая кайма. Любовь играет центральную роль в поэзии, в драме, в романе. Повесть без любви—скучная повесть, ее не дочитывают до конца.

Но по мере обуржуазиванья наших отношений, по мере вырождения крепостничества в нашей литературе начинают трактоваться и социальные темы. Но трактуются они тоже преимущественно под углом зрения отражения этих отношений в любви. Барин начинает замечать любовь не только себе подобных, но и любовь своих крепостных.

Но вот дворянских гнезд становится все меньше. Вишневые сады начинают вырубаться. На сцену появляются чумазый с одной стороны и революционный разночинец с другой,—этот передовой отряд буржуазного общества. Но постановка вопросов любви в литературе разночинцев шестидесятых годов носит совсем другой характер, чем в дворянской литературе 40-х годов. Любовь ради любви, как искусство ради искусства, об'являются реакционным пережитков. Писарев поднимает бунт против Пушкина. Поэзия Фета об'является поэзией дворянских бездельников и паразитов. Чернышевский превращается на момент в романиста лишь за тем, чтоб в форме романа, т.-е. в наиболее привычной для публики и наиболее удобной по цензурным условиям форме, выдвинуть проблемы рационализации семейных отношений применительно к запросам зарождающейся буржуазной России, пока в лице хотя бы сознательной мелко-буржуазной интеллигенции. На сцене появляется не только роман, а социальный роман, где любовь лишь канва, а главное в другом: в изображении новых социальных отношений, назревающих новых социальных конфликтов и в изображении новых типов людей. Романы Тургенева начинают удовлетворять отчасти этой потребности, не говоря уже о романах, принадлежащих перу самих разночинцев.

В семидесятые годы,—в годы напряженной борьбы демократической интеллигенции с царизмом, проблемы любви далеко отступают на задний план, в литературе этого слоя, т.-е. народнической литературы, перед задачами борьбы с царизмом.

Поражение «Народной Воли» и реакция восьмидесятых годов, снова выдвигает на-ряду с идеологией культурничества и малых дел вопросы личной жизни, вопросы психологии любви и т. п.

Но капитализм, раз начавший подчинять себе экономику страны, идет неустанно вперед. Вместе с усилением класса капиталистов быстро возрастает численно пролетариат. И теперь уже на этой новой базе, рабочей базе, наступает период нового под'ема революционного движения девяностых годов. А в связи с этим начинается реакция против упадочничества, против

интеллигентского копания в собственной душе, против обсасывания вопросов личной жизни, любви и т. д. Я говорю здесь в первую голову о настроениях нашей мелко-буржуазной демократической интеллигенции, наиболее передовой части (в буржуазном смысле), кающихся дворян и о студенческой молодежи.

Поражение революции пятого года снова вызывает в жизни упадочное настроение. Культ любви снова поднимает голову. Появляется санинщина. И это продолжается до начала нового под'ема после Ленского расстрела.

Правда, данный мною здесь обзор схематичен. Наша литература к концу XIX века разбилась на несколько ручьев в связи с гораздо большим богатством социальных группировок, в сравнении с началом XIX века. При чем струя чисто дворянско-крепостнической литературы с ее культом любви никогда не замирала до самой предреволюционной эпохи и находила свою аудиторию. Тем не менее, если мы проследим все движение по главному основному руслу, по тому, которое было равнодействующей передовых классов, задававших тон в политической борьбе и в культурном развитии, то можно установить с полной определенностью одно: чем ближе от XIX века к XX, чем ближе от дворянства через либеральную буржуазию (а у нас в России прежде всего через мелко-буржуазную разночинную интеллигенцию), к пролетариату, чем ближе от периода упадка классовой борьбы к ее под'ему, тем больше отступает на задний план в литературе проблема любви как таковой, проблема чистой любви пола к полу; и тем больше все эти вопросы заслоняются вопросами политическими и социальными. Эту мысль можно выразить и иначе. Усиление интереса к вопросам пола, любви; увеличение удельного веса этих вопросов в литературе в период не законченной классовой борьбы должно говорить об усилении реакционно-буржуазно-дворянских тенденций за счет пролетарских; о передвижке в идеологической области от революционного класса в сторону его классовых врагов.

Это общее положение, бесспорность которого подтверждается историей не только нашей, но и всей мировой литературой, поможет нам, с одной стороны, оценить с социально-исторической точки зрения поэзию А. Ахматовой, а с другой стороны, даст нам возможность понять социальные корни восторгов тов. Коллонтай перед стихами этой поэтессы.

Ахматова писала в тот период распада буржуазно-дворянского класса, когда среди растерявшихся господствующих слоев и связанных с ними групп происходит, с одной стороны, пир во время чумы, с другой стороны, появляется тяга к религии, мистицизму, к потустороннему миру. Любовь, эрос— есть то, что вплетается во все эти настроения, лишь придавая им в том или ином случае разные оттенки. И у Ахматовой основной лейтмотив, любовь:

Слишком сладко земное питье,
Слишком плотны любовные сети... (стр. 28) [1])

---

[1]) Тут, как и впредь, мы цитируем стихи Анны Ахматовой из сборника „Четки", изд. „Алконос". Петроград 1922, стр. 18, изд. 8.

Но любовь у нее не разгульно-оголенная, не буйно-развратная, а тихая, уединенная, глубоко-интимная, полная молитвенного экстаза и жертвенного настроения. Хотя у ней и встречаются стихи вроде:

Кто ты, брат мой или любовник?
Я не помню и помнить не надо... (Стр. 96)

Но не эти стихи характерны для нее, а все те, которые говорят о том, что земля не мила, обманная она:

Оба мы в страну обманную
Забрели и горько каемся... (Стр. 105)

И что людям тесно на этой земле, они заблудились в этом мире:

Все мы бражницы здесь, блудницы,
Как не весело вместе нам!..

Вот это есть то настроение, которое красной нитью пронизывает все ее стихи. И женщины, которые изображены Ахматовой, женщины, которые могут так любить, естественно должны быть достаточно обеспечены (разумеется за счет прибавочной стоимости), чтоб не вести отчаянную борьбу за существование. Только обеспеченность материальная могла дать возможность вести пассивно-созерцательный образ жизни, отдавая свой досуг любовным переживаниям и эмоциям. О женщине, которая трудится, Ахматова ничего не знает и не о ней слагает она свои песни. Женщины Ахматовой—это капризные, изменчивые, игрушечно-будуарные существа, пришедшие в этот мир лишь затем, чтобы быть забавой для мужчин; она сама о них говорит:

А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду... (Стр. 36)

Они сами о себе говорят:

Не люблю только час пред закатом,
Ветер с моря и слово уйди... (Стр. 86)

Уже по одному тому, что им не нравится, мы можем судить о вкусах и запросах: измены чередуются любовью, любовь изменой и этим заполнена вся жизнь. И диким кажется, когда тов. Коллонтай утверждает, что «Ахматова поет не о женщине вообще, а о женщине того оклада, той женщине, что своим трудом сама пробивает себе жизненный путь». Ни слова, конечно, нет об этом у Ахматовой. В лучшем случае у ней может быть изображена женщина, рукодельничающая для препровождения времени и мещаночка в соответствующей обстановке. И эта обстановка далеко не напоминает конурки или общежития фабричной работницы. Она поет о таких, где:

Протертый коврик под иконой,
От роз струится запах сладкий,
Трещит лампадка чуть горя,
И у окна белеют пяльцы... (Стр. 74)

Рукоделье, платье с кринолинами, папильотки в волосах, это то, что знакомо Ахматовой, а не согбенная трудом спина и изборожденное морщинами от забот лицо работницы.

Тем более чудовищным кажется нам утверждение тов. Коллонтай, что мы можем искать у Ахматовой разрешение социальных проблем. «Две основных темы, два мотива,—говорит тов. Коллонтай,—звучат в ее стихах: Конфликт в любви из-за непризнания в женщине со стороны мужчины ее человеческого «я». Конфликт в душе самой женщине из-за неумения совместить любовь и участие в творчестве жизни». Ниже мы покажем, как неправильно отрывать от всего остального и делать специальной проблемой для работниц и молодежи вопрос об отстаивании «я» женщины (или Белой птицы) в любви, поскольку эта проблема связана со всем положением и со всей ролью, которую играет трудящаяся женщина в производстве. А это значит, что первая проблема непосредственно вытекает из второй. Поэтому сначала посмотрим, как отражает эту проблему Ахматова.

Согласно утверждению тов. Коллонтай, Ахматова указывает на то, что будто у разлюбленной остается не «пустота и одиночество», а работа в чудесном саду коллективного творчества. Женщины же Ахматовой знают:

Мне не страшно. Я ношу на счастье
Темно-синий шелковый шнурок... (Стр. 42)

При жизни они умеют лишь вздыхать и взывать к всевышнему:

Господи, я нерадивая,
Твоя скупая раба... (Стр. 53)

или:

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,
О смерти Господа моля... (Стр. 44)

и:

Помолись о нищей, о потерянной
О моей живой душе... (Стр. 49)

Вот так «Белые птицы»!

На этой земле женщины Ахматовой не борются за лучшее будущее, все что сваливается на них они принимают как ниспосланное сверху, неотвратимое и фатальное, и тешат себя мыслями о лучшем потустороннем мире:

Отчего же бог меня наказывал
Каждый день и каждый час
Или это ангел мне указывал
Свет невидимый для нас... (Стр. 50)

Характерно для Ахматовой, что любовь для нее такое счастье, во имя которого можно выносить величайшие обиды и унижения. Так она безропотно и спокойно описывает муки любящей:

Муж хлестал меня узорчатым,
Вдвое сложенным ремнем.
Для тебя в окошке створчатом
Я всю ночь сижу с огнем... (Стр. 106)

Работница, как производитель ценностей, чувствует и должна себя чувствовать равной с мужчиной. Она поднимает знамя протеста против семейных унижений и тем самым и культурно, и как человек поднимается исторически на целую ступень выше женщины эксплоататорских классов—захолустных домохозяек. А у Ахматовой мы не видим бунта против этого. Она готова лишь пожаловаться на «судьбу»:

Сколько дорог пустынных исхожено
С тем, кто не был сердцу мил.
Сколько поклонов в церквах положено
За того, кто меня любил [1]).

Не только наша работница; но и русская деревенская женщина, пожалуй, уж не примирилась бы с таким положением. Она уж не удовлетворяется жизнью с нелюбимым человеком и поклонами в церквах и молитвами к богу за любимого. Тов. Коллонтай права, когда говорит, что в «массе трудящихся женщин революция разбудила «Белую птицу». Но Ахматова не зовет женщину к проявлению активности и борьбы за отстаивание своей личности даже в области любви. Наоборот, даже и тут она зовет к непротивленству и всепрощению. Она говорит:

Я у Бога вымолю прощения
Тебе и всем, кого ты любишь. (Стр. 55.)

Тем менее можно искать у Ахматовой разрешения проблемы столь волнующей многих трудящихся женщин в наше время—способности и возможности гармонично соединить общественную и личную жизнь. Уже из приведенных стихов видно, что Ахматова даже и в малой мере не затрагивает этих вопросов. Она и не может их затронуть, ибо исходит из интересов совсем других слоев женщин. Надо по истине потерять разум, чтобы за разрешением таких вопросов отсылать работниц и молодежь к Ахматовой. Ведь кроме любви у ней ничего нет: нет ни труда, ни коллектива... Любовь у нее переплетается лишь с мыслями о боге и с жаждой жизни не от мира сего. Не к активному участию в строительстве может она звать наших женщин, а к богу, боженьке и ангелам его. Кроме любви и бога она ничего «не ощутила концами своих пальцев».

Тов. Коллонтай как бы нарочно для того, чтобы дать лишние аргументы против себя, приводит знаменитый стих Ахматовой: «Я научилась просто, мудро жить» и говорит: «В этом стихотворении Ахматовой передана радость восприятия самого бытия за узким кругом любви. Уйдя из плена любовного, женщина может снова творить»... мудро жить. Посмотрим же, в чем заключаются эти «творчество» и мудрость. Первые две строчки говорят буквально следующее:

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу.

---

[1]) Цитирую по памяти.

А тов. Коллонтай все же убеждена, что «коммунистка может плакать над Белыми томиками не-коммунистки Ахматовой». Лейте слезы, лейте! Ведь в этом стихотворении изображено истинное приобщение к коллективу. Если это есть приобщение к коллективу, то к тому, очевидно, коллективу, который правил Россией под лозунгом: «Православие, самодержавие и народность».

Впрочем, сама Коллонтай пытается сделать ряд оговорок: «Ахматовой чужд и незнаком тот законченный (а незаконченный знаком? *П. В.)* тип новой женщины, борца строителя..., который в своих недрах в суровой борьбе уже выковывает рабочий класс». Тем не менее, тов. Коллонтай спешит успокоить «юную товарищ - соратницу», которую тревожит вопрос. «совместимо ли увлечение писателями, в которых живет чуждый нам дух, с настоящим пролетарским мировоззрением». Она успокаивает ее тем, что «Анна Ахматова в эпоху мертвой схватки двух культур, двух идеологий буржуазной и пролетарской—на стороне не отживающей, а создающейся идеологии». И это, конечно, только потому, что Ахматова изображает любовь и изображает так, как ее воспринимает женщина. Поэтому-то она и заслуживает такого одобрения от нашей феминистки: «Пусть Анна Ахматова умеет осветить лишь один изгиб женской души, пусть вскрывает нам лишь те переживания женщины, что сопричастны к загадке любви... Сейчас на переломе и это важно». Ибо, видите ли: «дело идет о проблемах пола, о старой любви, как само общество, «загадке любви».

Маркс говорил, что история общества это есть история борьбы классов. По мнению же Коллонтай, это кроме того и история борьбы полов. Многие проблемы, которые стояли перед буржуазным обществом и естественно вытекали из того строя, она механически переносит к нам и навязывает их пролетариату. Так в тысячу первый раз она пристает к читателю со своими «загадками любви». «Загадки любви», «ключи счастья»—как все это старо, как пошло! «Не надо забывать,—говорит она,—что именно во взаимном отношении полов сейчас совершается в истории человечества революция (лозунги которой, очевидно, призвана ею формулировать Ахматова. *П. В.)*, и идеология пролетариата заключает в себе ответ и на эту неразрешимую при буржуазной культуре загадку». Все эти «загадки» тов. Коллонтай требуют от нас разгадки: почему она поет все одну и ту же песнь?

Разгадка заключается в том, что мы имеем перед собой коммунистку с солидной дозой феминистского хлама. Ставим вопрос так, что, утверждая себя как равноценную личность в любви, работница сможет утвердить себя как равноценный член коллектива, значит подходить к вопросу именно по-буржуазному, по-феминистски. Марксист не может не понимать того, что положение женщины-работницы в любви, в семье и вообще во взаимоотношении между полами определяется теми экономическими отношениями, той ролью, которую женщина занимает в производстве. А тут у тов. Коллонтай получается наоборот, что любовь определяет собой все остальное. Отвоевав подобающее себе место в любви, женщина может итти дальше к завоеванию своих прав в обществе,—так могли ставить вопрос только феминистки.

И для них это было вполне естественно. Историческим ходом вещей они были вынуждены итти от борьбы в семье к борьбе в обществе. Свою борьбу за свое «я» они в буржуазных условиях могли начинать только в сфере своей семьи, в сфере любви, в сфере половых взаимоотношений. Ибо больше места им буржуазное общество не отводило. Только этим ограничивался круг их деятельности, круг их общения с коллективом. Дом был для них миром, в то время как для их мужчин мир был домом. Поэтому область любви и была та единственная арена на первых порах борьбы, где они могли утверждать свою личность. Переступить установленные для семьи рамки, перешагнуть утвердившиеся традиции уже означало в тех условиях целую революцию. Буржуазные женщины, которые на это «дерзнули», делались героями на долгое время. О них говорили, о них писали. За и против них создалась целая литература. Мы могли бы тут привести целый ряд западноевропейских литераторов, вроде Ибсена, Гамсуна и др., которые специально трактовали эти вопросы. И лишь по мере того, как буржуазные женщины в своей борьбе добивались в семье равного положения, они начинали понимать, что за семьей остается для них закрытым общество. Борьба в области любви таким образом должна была лишь углубить эту драму и показать женщине, что, по мере того, как она себя осознает как человек, она не может ограничиться домом, она должна расширить рамки борьбы, чтобы покончить с тем униженным и жалким положением, какое она занимает в обществе. Движение суфражисток и есть типичный бунт в этой области, который охватил уже большую площадь. Таким образом, начавши с требования уравнения себя, как полноправных членов семьи, буржуазные женщины должны были кончить требованием признания их, как полноправных граждан в обществе. И то, что пробуждение сознания у буржуазных женщин шло от осознания себя как женщины к осознанию себя как человека, т.-е. от семьи к обществу, совершенно не случайно. Ибо закрепощение женщин этого класса шло точно таким же путем. Будучи постепенно разделением труда прикованы к семейному очагу, к дому, они тем самым должны были оторваться от общества и замкнуться в узкий круг семейных интересов и домашних дел. Правда, освобожденные впоследствии своим классом от необходимости ведения работы на дому и воспитания детей, они были освобождены и от принижающего женщин труда по хозяйству. Но они тем самым с другой стороны, были превращены не в творцов и общественных деятелей, а в будуарных кукол и постельную принадлежность, призванную услаждать мужское тело.

Совсем иначе обстояло дело с женщинами рабочего класса. Они были самим капитализмом вырваны из семей к станкам и тем самым экономически эмансипированы от своих мужей и от своих возлюбленных. Таким образом специальной проблемы «любви» у работницы быть не могло. Для нее брак, любовь не были сделкой. В области любви она имела возможность проявить себя как человек, равный мужчине. В выборе друга работница была свободна, как и рабочий. Другое дело, что тяжелый труд, невыносимые условия жизни не давали досуга, нужного для любви, и не давали возможности

расправить крылья «Белой птицы». Поэтому-то осуществить право любви работница могла, лишь осуществив право на участие в производстве, на всю культуру, на досуг, на лучшую светлую жизнь вообще. А последнего она могла добиться, лишь сбросивши окончательно власть и иго капитала. Таким образом для работниц, для трудящейся женщины путь освобождения лежал в борьбе от общества к семье, и эту борьбу работница могла победоносно проделать, только об'единившись с пролетариатом. Ибо его историческая миссия как раз в том и заключается, что он должен принести освобождение всему человечеству и, в первую голову, конечно, женщине-работнице, как наиболее угнетенной части человечества. Так что не общеженская война против мужчин, а лишь спаянная и успешная борьба всех работниц вместе с рабочими против мужчин и женщин буржуазного класса может работнице помочь достичь желанной цели.

Это все старые, избитые вещи, которые тов. Коллонтай неоднократно твердила работницам. Но вот на шестой год революции она почему-то считает своевременным отсылать работниц и трудящуюся молодежь к Ахматовой, которая научит их убивать «дракона» в мужчине, отстаивать свою белую птицу от задушения и приобщаться к творческой работе коллектива. Как Ахматова разрешила последнюю задачу, мы уже выше показывали. Но зато тов. Коллонтай считает, что с первой задачей Ахматова великолепно справилась. И это, конечно, потому, что тов. Коллонтай сама же мыслит, как и Ахматова, будто взаимоотношения полов устанавливаются искусственно и не зависят полностью от экономических условий жизни и, главным образом, от роли полов в производственном процессе. Остается повторить для тов. Коллонтай в тысячу первый раз ту простую истину, что, пока женщины-работницы будут представлять у нас не квалифицированную, а черную рабочую силу, до тех пор они будут при всяком сокращении производства выталкиваться из предприятий и пополнять кадр безработных. А тем самым они делаются экономически более зависимыми от другого пола— мужчин. Зависимость же эта есть уже первый путь к задушению и «закопанию белой птицы».

Далее, поскольку над женщиной-работницей довлеет еще домашняя кухня, постольку она должна тратить массу времени на непроизводительный и принижающий ее труд, который заставляет ее отставать умственно от мужчины. И это есть вторая причина задушения той же птицы.

Значит, для трудящейся женщины путь к отстаиванию своего «я», не только в общественной, но и в личной жизни, лежит через овладевание технически-профессиональным образованием, через утверждение себя, как создателя ценностей, в производстве, через приобщение к науке, технике и культуре и, наконец, через об'единение всех трудящихся женщин в деле обобществления быта на коллективистических началах.

Но что может обо всем этом знать Ахматова? Смешно даже искать намека на эти вопросы в ее стихах. Но, может быть, стихи Ахматовой могут оказать благотворное действие на мужчин? В самом деле, вдруг да по про-

чтении стихов Ахматовой, а еще больше после отзыва о них тов. Коллонтай зрогнет сердце мужского пола и мужчины вереницей потянутся, чтобы из рук этой благородной леди взять меч и убить в себе на-веки злого дракона.

Конечно, смешно искать разрешения каких-то специальных проблем вообще у Ахматовой, а тем более проблем, связанных с пролетарской идеологией [1]).

Уже из нашего изложения читатель мог видеть, чему может научить тов. Коллонтай трудящихся женщин и нашу молодежь. Естественно возникает при этом вопрос, как могла она так долго считаться одним из вождей не только русского, но и международного женского коммунистического движения? Встает невольно вопрос, почему она имеет еще до сих пор читателей, читательниц и почитательниц? Почему идеалистическая фразеология по форме и архиинтеллигентское содержание ее произведений могли увлекать и нравиться даже рабочей среде? Почему эта Жорж-Занд XX века, опоздавшая своим появлением на полстолетия и копирующая свой оригинал так, как фарс копирует трагедию, могла быть властительницей дум женской части пролетариата, совершившего величайшую революцию в мире и указывающего путь к освобождению пролетариям других стран?

Имеем ли мы здесь дело с недооцененными нами достинствами тов. Коллонтай или с недостатками самих трудящихся женщин? Мне думается, что здесь дело не в достоинствах первой, а в забитости, заброшенности, бесправии наших женщин до революции. Они были рады каждому, кто заговорил об их страданиях, об их специфических женских нуждах, кто будил внимание к ним; они считали спасителем своим того, кто приходил к ним со словами ободрения и надежды. Только этим глубоким чувством признательности можно об'яснить, почему работницы принуждены были на-ряду с коммунистическим содержанием статей и речей тов. Коллонтай проглатывать и феминистский соус. Вот почему их ухо, жадно ловившее в словах тов. Коллонтай все дорогое и близкое сердцу работницы, не реагировало на фальшивые ноты, скользившие в ее речах и звучавшие подобно эху иной среды и иного мира.

Но работницы, разбуженные тогда впервые, теперь уже не те: слух и зрение их обострились, классовое сознание оформилось; их требования

[1]) Ахматова пишет просто про любовь. Любовь не чужда и пролетариату, поскольку половой инстинкт у людей в отличие от зверей носит очеловеченный характер, поскольку любовь—большая сила. Надо думать, что в будущем обществе, построить которое призван пролетариат, любовь найдет себе не мало места. Она, вероятно, будет такой прекрасной, глубокой и богатой, какой она сейчас даже не может быть. И поскольку Ахматова пишет именно о любви, о ее силе, о ее радостях, муках, постольку она есть и впредь остается нечуждой пролетариату, но пролетариату в целом, как его женской, так и его мужской части.

возрасли; из пассивных слушательниц аудитории они превратились в активных строителей и участников новой жизни и инициаторов дела своего фактического раскрепощения. Путь им тут еще длинный и путь тяжелый в условиях нашей общей нищеты. Они нуждаются еще в поддержке, в указаниях, но они уже не мирятся с одними громкими фразами, а тем более они не могут удовлетвориться винегретом, состряпанным из феминизма и коммунизма. Им нужны вожаки, которые вместе с ними шаг за шагом будут помогать им разрушать старый уродливый быт и строить новый. Но им не нужен уже вождь, которому подходит больше роль идеолога социалистического мещанства интеллигенции, чем выразителя дум и чувств русской работницы и трудящейся молодежи на 7-м году революции.

Курс лекций по историческому материализму.

Л. Аксельрод-Ортодокс.

Аналогический метод в социологии.

Лекция IV.

Этот очерк разрешите начать с ответа на обращенный ко мне одним моим читателем вопрос,—почему я не подвергла критическому рассмотрению знаменитый Контовский закон трех стадий исторического развития. Отвечаю. Во-первых, мне кажется, что сделанные мною критические замечания обще-методологического характера включают в себя по существу критическую оценку известного закона. Во-вторых, Контовский закон трех стадий критически рассмотрен в социологической литературе с многих сторон различными представителями социологической мысли. В-третьих, характеристика и об'яснение хода и развития мировой истории сменой мировоззрений,—теологического, метафизического и позитивного, являясь по своему внутреннему содержанию идеалистическим истолкованием истории, будет в общем виде подвергаться критике на всем протяжении моего курса. Вот те мотивы, под влиянием которых я не считала нужным специально останавливаться на так называемом законе трех стадий, который сводится к идеалистической формуле—***бытие определяется сознанием.***

Тем не менее, раз вопрос поставлен, то приходится, естественно, считаться с ним по существу, т.-е. коснуться специально контовского идеалистического истолкования процесса исторического развития.

Как уже отмечено, существует довольно обширная критика, посвященная закону трех стадий. Критика эта, на мой взгляд,—почти что исчерпывающая вопрос. Но наиболее сильными и наиболее попадающими в цель доводами против этого закона являются доводы Вл. Соловьева, на которых и остановимся прежде всего. Сочувствуя Конту в его конечных религиозных выводах, русский философ ехидно указывает на тот интересный факт, что собственное развитие автора «Курса позитивной философии» нашло свое окончательное завершение не в позитивизме, а в религии. Уже один этот факт заслуживает серьезного внимания и может, по мнению Вл. Соловьева,

служить одним из внушительных доказательств против контовского философско-исторического обобщения.

Дело в том, что Конт строит эту свою историческую теорию прогресса — по аналогии и в зависимой связи от процесса индивидуального развития. С точки зрения знаменитого позитивиста, путь духовного роста индивидуума совершается начиная теологическим моментом и, пройдя через метафизически отвлеченное мышление, заканчивается научным, т.-е., по терминологии Конта, позитивистским мировоззрением.

По тому же пути совершается общее развитие мировой истории. Но, как справедливо указывает Вл. Соловьев, процесс духовного развития и духовного совершенствования у самого Конта совершался в обратном порядке. В эпоху его молодости, тогда, когда он работал под непосредственным руководством своего великого учителя С. Симона, знаменитый ученик был решительным, фанатическим позитивистом, резко отвергавшим религиозные тенденции С. Симона. К этому доводу Вл. Соловьева можно прибавить еще и тот несомненный факт, что не один Конт, а значительное количество мыслителей прошедшего и даже настоящего времени совершали и совершают свой путь духовной жизни в противоположном контовской схеме направлении, идя от позитивизма чрез метафизику к религии.

Но этим возражением, как бы сильно и внушительно оно ни было, не исчерпывается критика контовского построения. И этим возражением не ограничивается и Вл. Соловьев. Если допустить, справедливо рассуждает Вл. Соловьев, вместе с Контом полную аналогию между индивидуальным и историческим духовным развитием, то следует заметить, что первоначальное состояние ребенка вовсе не характеризуется преобладанием теологических или фетишистских представлений. Чтобы об'яснить явления окружающего мира, как произведение невидимых духовных деятелей, нужно предварительно пройти через очень сложные умственные процессы, которые на высших стадиях развития представляются весьма простыми и элементарными. Состояние ума грудного ребенка подходит более к позитивизму, если определить последний вместе с Контом, как ограничение всего познания областью чувственных фактов. Затем, с пробуждением и развитием сознания под влиянием дара слова, следует метафизический период детства, когда мышление ребенка определяется главным образом категориями субстанции, причинности и цели. Всем известны вопросы детей — *откуда, почему, зачем,* те вопросы, прибавляю я, благодаря которым французы называют ребенка этого возраста «m-r pourqoi». А за детской пытливостью нередко наступает отроческая религиозность. Этим, однако, думает Вл. Соловьев, дело не заканчивается. Указанные Контом периоды могут повториться и нередко повторяются и в обратном порядке. Так называемый позитивизм зрелого возраста отличается более практическим характером, нежели теоретическим обоснованием мировоззрения. Переходя далее к истории человечества, Вл. Соловьев справедливо указывает на то, что целый и законченный круг развития метафизики (греческая философия), вместо того, чтобы следовать за окончанием теологической стадии (как того требует закон Конта), напротив, предва-

ряет на много веков эпоху господства теологии средневековья. Только с XV столетия закон трех стадий как будто входит в силу. Ибо за господством теологии следует развитие и господство новой метафизики и сменившей ее положительной науки. Но и на этом цикле историческое развитие мировоззрения отнюдь не заканчивается, так как после периода позитивизма, мы снова видим расцвет метафизики и т. д. Все эти соображения русского мыслителя бьют в цель, но к ним, раз уже речь идет о Контовском законе, надо прибавить, что и Конт, открывший этот так называемый закон, и контисты, а также противники этого закона, в том числе и Вл. Соловьев, рассуждая об этом законе, имеют дело с высшей, самой квалифицированной интеллигенцией. Мне думается, что мировоззрение народных масс слагается иными путями. И если верно и тонко замечание Вл. Соловьева, что первая стадия развития ребенка может быть определена в духе позитивизма, то дальнейшая ступень развития детей народных масс вряд ли характеризуется метафизическими моментами и сознательной религиозностью. Дети крестьян и рабочих не лишены, конечно, любознательности, но вопросы, с которыми они обращаются к окружающим их взрослым, носят преимущественно практический, конкретный характер. Эти вопросы касаются реальных окружающих вещей и их взаимоотношений. Они, эти вопросы, определяются не категорией субстанции и причинности, а имеют в виду категорию цели в непосредственно утилитарном значении.—*Зачем такое-то действие?* К чему служит тот или другой предмет? и т. д. Вопросы—откуда? почему? и зачем? в их отвлеченном метафизическом значении вопросы, которые приводят в восторг членов интеллигентской семьи, не встретили бы ни малейшего сочувствия и ни малейшего поощрения в крестьянской и рабочей семье, члены которой постоянно озабочены и подавлены тяжестью реальной действительности, и у которых нет времени вникать в смысл вопроса, лишенного конкретного, практического содержания. Да, в трудовой обстановке они не могут возникнуть в детской голове. Досуг и определенный минимум материального обеспечения культурными ценностями делают возможным развитие и культивирование философской детской любознательности.

Размышления этого порядка и в голову не приходят мыслителям, являющимся идеологами высших, привилегированных классов. Когда у них речь идет о человеческой индивидуальности, то этой индивидуальностью оказывается всегда и неизменно человек, вышедший из привилегированного класса. В таком методологическом подходе чрезвычайно ярко оказывается психология и способ мышления идеолога высших господствующих сословий. Если бы Конт судил о позитивистском характере своей эпохи не по умственному состоянию кружка крупных ученых, которым он читал свой «Курс позитивной философии», а спросил бы себя, какое мировоззрение исповедывало французское крестьянство и большинство рабочих 20-х годов XIX столетия, знаменитая триада потерпела бы полное крушение. Ибо крестьяне и рабочие Франции эпохи Конта в большинстве своем находились, без всякого сомнения, на теологической стадии развития, проникнутой первобытным фетишиз-

мом. В том-то и беда и прямо непостижимое заблуждение идеалистических толкователей исторического хода развития, что они бессознательно, в силу вкоренившейся привычки, отождествляют количественно ничтожную часть человечества, незначительную группу мировой интеллигенции, со всем человечеством в его великом, безбрежном целом. Это вкоренившееся, неистребимое заблуждение является также основой философско-исторической формулы О. Конта.

Впрочем, необходимо тут же отметить, что сам Конт чувствовал несостоятельность и, если можно так выразиться, тесноту своего об'яснения исторического хода вещей. Испытав на себе сильное влияние С. Симона, который, как известно, придавал огромное значение экономическим отношениям и в первую голову промышленности, Конт вынужден был признаться, что его теория не совсем применима к периоду, продолжавшемуся от XIV столетия до его времени. В течение этого исторического периода, думает Конт, не только идея, а также промышленность обусловливала собою социальное развитие. Какой же, спрашивается, вес может иметь философско-историческая теория, которая бессильна об'яснить не более, не менее, как шесть столетий исторической жизни? Ясно, что, по существу дела,—решительно никакого.

На этом покончим наши критические замечания по поводу формулы Конта, повторяя, что подробное рассмотрение влияния идей в историческом процессе развития—впереди.

А теперь перейдем к изложению главных основ социологии продолжателя Конта Герберта Спенсера.

Органическая теория Герберта Спенсера пользуется такой известностью у значительной части читающей публики, что изложение ее принципов может показаться излишним. Но в интересах критики и конечной критической оценки этой господствующей в буржуазной социологии теории такое изложение безусловно необходимо. Думаю также, что старое правило repetio est mater studiorum всегда сохраняет свое значение. Прибавляю к тому же, что очень часто популярные теории именно благодаря своей популярности *по существу* плохо усвоены.

Во второй части I тома «Оснований социологии» Спенсер старается определить свое отношение к своим предшественникам. Это определение четко выявляет существенные черты органической теории. Остановимся на нем.

Своими предшественниками Спенсер считает Платона, Гоббса и Конта. Но, считая этих мыслителей своими предшественниками, он не разделяет их социологических воззрений в главной их основе. «В «Республике» Платона,— говорит Спенсер,—Сократ утверждает, что государства таковы, каковы люди, ибо в основании их лежат людские характеры». Это утверждение представляется Спенсеру непонятным до сих пор в его настоящем значении. Разделяя вполне эту истину, Спенсер продолжает: «разделение труда описывается в этом сочинении («Республика» Платона. *А.),* как общественная необходимость, но оно изображается скорее, как порядок, который следует установить, чем устанавливающийся сам собою». Очевидно, следовательно, что,

с точки зрения Спенсера, государство не устанавливается сознательным способом, а вырастает, как нечто органическое, естественным путем слагаясь из человеческих характеров. Признавая далее сходство между своей общественной теорией и социальным учением Гоббса, Спенсер подчеркивает решительно свои разногласия и с этим мыслителем. «Подобно Платону,—рассуждает Спенсер,—Гоббс смотрит на общественную организацию, как на искусственную, так как он вводит понятие об общественном договоре, у которого будто бы берут начала правительственные учреждения, который придает верховной власти ее неот'емлемый авторитет». Устанавливаемая Гоббсом аналогия между обществом и организмом принимается Спенсером во внимание, и на основании этой именно аналогии он причисляет себя к последователям Гоббса. Тем не менее Спенсер не солидарен с знаменитым английским материалистом. В чем же сущность их разногласия? Характеристика, которая дается Гоббсом своему учению, заключает в себе ответ на этот вопрос. «Искусством,—рассуждает Гоббс,—сотворен тот великий Левиафан, которого называют обществом, народом (Commonwealth), государством, а полатыни civitas, и который есть не что иное, как искусственный человек, хотя и превышающий по своим размерам и силе естественного человека, для охранения и защиты которого он придуман. Верховная власть есть его искусственная душа, придающая жизнь и движение всему телу. Судьи и другие чины судебного ведомства суть его искусственные сочленения; награды и наказания, понуждающие к действию и к выполнению своей обязанности каждое сочленение и каждый член, связанный с седалищем верховной власти,—суть нервы, исполняющие ту же самую роль в естественном человеческом теле». Сравнение общества с организмом утверждается, таким образом, с полной сознательной точностью. Органическая теория общества, казалось бы, налицо, но Спенсер принимает учение Гоббса лишь наполовину и, с своей точки зрения, он совершенно прав. «Понятие Гоббса,—рассуждает Спенсер дальше,—только с одной стороны подходит ближе к действительно рациональному представлению». Чего же не хватает Спенсеру в формулировке Гоббса? Его не удовлетворяет учение об искусственном создании государственного устройства. Согласно учению Гоббса, государственное устройство сходствует с человеческим организмом. Тот факт, что именно с человеческим организмом, а не с организмом вообще, придает государству оттенок сознательности, сознательного созидания. По Спенсеру же, дело обстоит несколько иначе. Общество, по существу его учения, определяется сходством не с тем или другим организмом, а с *биологическим организмом вообще, как таковым*. «Общественная организация,—рассуждает Спенсер о только что приведенной характеристике государства у Гоббса,—приравнивается здесь к организации человека, а такая аналогия должна считаться слишком специальной». Половинчатость и неполноту Гоббсовского учения Спенсер об'ясняет недостаточной степенью развития биологии в эпоху великого автора «Левиафана». Но благодаря крупным успехам биологии периода Конта, последний ближе подошел к пониманию сущности государственного строения. «Принадлежа,—читаем мы в «Основаниях социологии»,—к более новому времени, когда био-

логи уже открыли и установили до очень значительной степени общие основания всякой организации, и когда было уже признано, что общественное устройство не создается искусственно, но постепенно развивается само собой,—Огюст Конт избег этих ошибок. Он не сравнивал общественного организма с каким-нибудь особенным родом индивидуального организма, но утверждал просто, что основания организации одинаковы в обоих этих случаях. Он смотрел на каждую ступень общественного прогресса, как на следствие предшествовавших ступеней, и признавал, что развитие строения идет от общего к специальному». Значительны и важны в этой выдержке следующие утверждения: во-первых, признание Спенсера, что органическая теория явилась, с одной стороны, следствием развития биологии и, с другой—созревшей мысли об общественном развитии; во-вторых, интересно прямое заявление Спенсера, что он—продолжатель и, по существу дела, ученик Огюста Конта. Пока остановимся на втором положении. Будучи продолжателем и учеником Конта, Спенсер развивает учение, значительно отличное от теории своего учителя. «Он (Конт. *А.)*,—заявляет решительно Спенсер,—не избег вполне старого ошибочного взгляда на учреждения, как на искусственные распорядки, ибо, противореча самому себе, считал возможным для общества реорганизовываться на будущее время согласно с принципами его позитивной философии». Разногласие Спенсера с Контом начинается, таким образом, там, где речь идет о примеси искусственного элемента в государственном строительстве. Конт, стоя на точке зрения эволюции и развивая ту мысль, что социология является продолжением биологии, сравнивая дальше историческое развитие с развитием индивидуума, признавал тем не менее возможность реорганизации общественного устройства соответственно идеалу позитивистской философии. Такая возможность отвергается Спенсером принципиально, т.-е. в том смысле, что реорганизация государственного устройства, в какой бы то ни было форме, представляет собою утопию, противоречащую строго научному определению общества и теории его развития.

Действительно, научный метод в деле общественно-исторического исследования должен, с точки зрения Спенсера, исключить всякую возможность сознательного воздействия на исторический процесс.

Итак, определяемое Спенсером главное отличие его метода исследования от метода исследования его предшественников—Платона, Гоббса и Конта—заключается в том, что последние, сравнивая общество с организмом, допускали возможность общественной реорганизации, между тем, как, по мнению Спенсера, общество, подобно организму, не допускает никаких радикальных изменений путем планомерного сознательного воздействия. Посмотрим теперь, как обосновывает Спенсер свою строго выдержанную органическую теорию общества. Спенсер начинает свои теоретические исследования с правильно поставленного вопроса,—что такое общество? Этот вопрос должен быть разрешен с самого начала всякого социологического рассмотрения. Общество, как мы уже это видели из сопоставления взглядов Спенсера с воззрениями его предшественников, представляет собою, по мнению первого, организм. Это утверждение нам пока известно в чисто догматической форме.

Спрашивается, следовательно, каким образом обосновывает глава органической теории эту последнюю. Начнем с следующей характерной, с нашей точки зрения, и нужной для наших последних выводов выдержки: «Решившись,— читаем в «Основаниях социологии»,—смотреть на общество, как на особенный индивидуальный предмет, мы должны спросить себя теперь, что же это за предмет? При внешнем рассмотрении оно кажется не имеющим никакого сходства ни с одним из об'ектов, известных нам через посредство наших чувств.

Если оно и может иметь какое-либо сходство с другими об'ектами, то сходство это не может быть усмотрено простым восприятием, но может быть открыто только путем рассуждения. Коль скоро общество становится особым, индивидуальным бытием, в силу постоянства отношения между его составными частями, то у нас сейчас же является вопрос—не представляют ли эти отношения между его частями каких-нибудь сходств с постоянными отношениями между частями, замечаемыми нами в каких-либо других бытиях? Единственное мыслимое сходство между обществом и чем-либо другим может заключаться в *параллелизме принципа, управляющего расположением составных частей».*

Здесь утверждаются весьма важные методологические положения. Общество, не являясь чувственно воспринимаемым предметом, не может само по себе стать об'ектом научного исследования. Для того, чтобы оно стало таковым, оно должно быть сравниваемо с предметом чувственного восприятия, и далее, лишь на основании сравнения постоянства отношений—в обществе и в чувственно воспринимаемых предметах является возможность исследовать общество, как предмет. Метод Спенсера может, таким образом, быть назван методом аналогическим. С каким же предметом, спрашивается, является возможным сравнивать общество? Существуют два большие класса *агрегатов, с которыми представляется возможность сравнивать общественный* агрегат: класс агрегатов неорганических и класс агрегатов органических. Встает вопрос—представляют ли отличительные свойства общества сходство со свойствами неживого тела, или же эти свойства сходны в каких-либо отношениях со свойствами живого организма? Стоит только,—рассуждает Спенсер,—поставить первый из этих вопросов, чтобы немедленно дать на него отрицательный ответ. Общество, состоящее из живых существ, не может по своим общим свойствам походить на неживое тело. Что же касается второго вопроса — о сходстве общества с живым организмом, то нет возможности решить его без тщательного анализа *постоянства* взаимоотношений в обществе и *постоянства* взаимоотношений в живом организме. И тот и другой род взаимоотношений должны быть определены и сопоставлены. Лишь на основании этого взаимного сопоставления явится возможность вывести законы общественного развития. Исследованию этой параллели отводится в «Основаниях социологии» вся теоретическая часть. Последуем за Спенсером. Первым важнейшим отличительным свойством как общества, так и живого тела является рост. Это есть главная черта, в силу которой общество сходствует с органическим телом и вследствие которой оно существенно отличается от мира неорганического. Другая отличительная черта и челове-

ческих обществ и живых существ состоит в том, что на-ряду с увеличением размеров наблюдается увеличение сложности в их строении. Низшие животные или зародыши высшего обладают лишь немногими отличными друг от друга частями. Но, с увеличением общей массы тела, число таких частей увеличивается, при чем в то же время части дифференцируются одна от другой. Тот же самый процесс мы наблюдаем в ходе общественного развития. Вначале различия между разными группами весьма незначительны как количественно, так и качественно. Но, с ростом народонаселения в данном коллективе, общественные разделения и подразделения становятся и более многочисленными и более определенными. Помимо этого, как в общественном, так и в индивидуальном организме дальнейший ход дифференциации прекращается только с завершением типа, определяющим собою зрелый возраст. Это важнейшее и существенное сходство,—утверждает Спенсер,—выступает с наибольшей четкостью, если обратить внимание на тот факт, что развитие «структурной дифференциации» сопровождается в обоих случаях растущей дифференциацией в отправлениях. По мере увеличения числа отделов, на которые распадается общая масса тела развивающегося животного, эти отделы становятся все более и более несходными между собою и не без основания, то-есть вполне целесообразно. Разнообразие в их наружных формах, а также во внутреннем строении обусловливает собой и разнообразие тех действий, которые ими выполняются. Они вырастают в несходные органы, имеющие различные отправления. Пищеварительная система, принимая на себя, в зависимости от ее структурных особенностей, сполна всю функцию всасывания питательных веществ, распадается постепенно на отдельные отличные друг от друга системы. Каждая из них выполняет свою определенную функцию, составляющую часть общей функции всего пищеварительного канала. То же самое можно сказать и о тех частях, на которые распадается общество. Возникающий в нем господствующий класс является не только отличным от остальных, но он исполняет особенную функцию, беря на себя контроль над действиями остальных групп. Когда же этот господствующий класс распадается далее на подклассы, одни из которых обладают большей, а другие меньшей степенью господства, то эти последние опять-таки начинают выполнять каждый совершенно особую часть контроля. В классах подчиненных можно наблюдать то же самое явление. Далее Спенсер развивает и с особенной силой подчеркивает ту важнейшую мысль, что как в органическом мире, так точно в социально-политическом коллективе процесс разделения на функции совершается, как единое и связное целое, точнее, что возникающие функции находятся в теснейшей органической связи в обеих областях в совершенно одинаковой степени. *«И у тех, и у других* (в животных и в общественных организмах. *А.),*—подчеркивает Спенсер,—*развитие вызывает не простое различие, но различия, определенно связанные друг с другом, то-есть такие различия, из которых каждое делает возможным остальные.* Это важнейшее положение подтверждается на параллелях конкретного характера. Аналогия между организмом и обществом выводится Спенсером не только на основании крупных общих черт их состояний,

но также и частностей. В отличие от неорганических тел, увеличивающихся только в своем об'еме, не изменяя своего общего внутреннего строения (так, например, растут минералы путем последовательной инкрустации), органические тела не только увеличиваются в своем об'еме, но параллельно с ростом усложняются, расчленяясь все более и более, стремясь к прогрессивной дифференциации своих органов и функций. Решительно то же самое мы наблюдаем в процессах развития человеческого общества. Примитивные общества совершенно недифференцированы. Каждый член в них одновременно и воин, и охотник, и рыбак, лекари—вместе с тем прорицатели и заклинатели духов. Совершенно так же и у низших организмов, у которых отсутствуют специальные органы питания, движения, дыхания и т. д. Затем в процессе развития животного организма приближение к высшим органическим формам определяется появлением новых органов, из которых каждый предназначается к выполнению особой самостоятельной функции. То же самое мы замечаем в переходе человеческого общества от низших к высшим формам, которые определяются образованием специализированных социальных органов, выполняющих особые функции. Создаются, таким образом, специальные органы—питания (земледелие и промышленность), социального кровообращения (торговля), социальной защиты (полиция, правовая охрана, войско, война и т. д.). Но это еще не все. Наиболее отличительной чертой животного организма, обладающего различными специализированными органами, является внутренняя имманентная связь между функциями. Абсолютная зависимость их друг от друга приводит к тому, что прекращение одной функции вызывает с неизбежной необходимостью прекращение многих других. Как только сердце перестает биться,—легкие перестают дышать, мозг—мыслить, нервы—вибрировать и т. д. Такая же строго имманентная связь наблюдается между органами общественного коллектива. Когда не хватает, например, каменного угля, может остановиться транспорт, остановка транспорта обусловливает собою в зависимости от места повышение или понижение цен на продукты первой необходимости и прочие продукты вообще. Это же явление связано с целым рядом других явлений, составляющих длинную цепь, другой конец которой может оказаться на весьма большом расстоянии от исходного пункта. Сам Спенсер, оперируя явлениями капиталистического развития, иллюстрирует это положение такими конкретными примерами: рабочие по железу,—говорит Спенсер,—должны прекратить свою деятельность, коль скоро рудокопы перестают снабжать их нужными материалами. Портные не могут заниматься своим делом при отсутствии прядильщиков и ткачей, мануфактурные круги вынуждены приостановить свои работы, коль скоро группа людей, занимающаяся производством и распределением пищи, прекратит свою деятельность и т. д., и т. д. И подобно тому, как в животном организме общая зависимость, имманентная связь функций тем сильнее и заметнее, чем более развит этот организм, точно так же и в общественном организме, вместе с развитием последнего, растет и крепнет указанная нерасторжимая связь.

Аналогия идет все дальше и дальше. Жизнь животного организма,—продолжает Спенсер,—оставляя в стороне случаи исключительных катастроф,

продолжительнее, чем жизнь отдельных его частей. Клеточки разрушаются и вновь производятся, органы возобновляются, а организм продожает существовать. Точно так же жизнь общественного коллектива продолжительнее его клеточек, т.-е. отдельных людей, из которых он состоит; в то время как поколение за поколением сходит с мировой арены жизни, образуя собою кладбище, общество, как таковое, живет тысячелетиями и во всяком случае исчезает не ранее, как по прошествии нескольких веков.

Отмечу дальше еще одну весьма отличительную черту для спенсеровой аналогической теории. В животном организме имеются троякого рода ткани. Первая из них предоставлена непосредственному воздействию внешней среды, имея своим назначением извлекать из воздуха полезные для организма элементы, отделяя вредные; это—внешняя ткань (экзодерма). Вторая воспринимает предназначенные для усвоения элементы, перерабатывает их; это—внутренняя ткань (эндодерма). Между этими двумя тканями расположена третья; это—средняя ткань (мезодерма), состоящая из кровеносных сосудов. В общественном коллективе внешней ткани вполне соответствует класс военных и судей, служащих защитой; внутренней ткани—класс земледельцев и промышленников, доставляющих коллективу питательные средства к существованию, и средний класс—торговый, который занимается распределением. Равным образом, подобно тому, как в животном организме из внешне-покровной системы при дальнейшем развитии образуется нервная система, так и в общественном коллективе из военной касты создается правящий класс. Точно так, как в процессе органического развития внешняя ткань постепенно теряет свое значение сравнительно с обоими остальными, так и в общественном организме значение военного класса постепенно падает в сравнении с классом промышленным и торговым. Человеческое общество совершает, таким образом, свое поступательное движение, идя неуклонно от военного состояния к состоянию промышленному. И по мере того, как общественный коллектив удаляется от форм общежития первобытных, исключительно воинствующих племен, он все более и более приближается к социальной форме, при которой деятельность отдельной личности будет развиваться свободно и беспрепятственно под охраной внешнего мира.

В общих и главных чертах я представила изложение органической теории Спенсера, имея в виду, главным образом, его аналогический метод. Приведенные здесь параллели для иллюстрации аналогического метода мне представляются вполне достаточными. К некоторым положениям нам, вероятно, придется возвращаться при критике, но пока считаю все же нужным прибавить, что Спенсер в развитии и обосновании своего метода углубляется подчас с нестерпимым терпением английского эмпирика в самые мельчайшие подробности. «Чтобы видеть еще яснее,—заявляет мыслитель,—каким образом жизнь целого слагается из комбинации деятельности его составных частей, находящихся в тесной взаимной зависимости, и каким образом отсюда вытекает несомненный параллелизм между национальной жизнью и индивидуальной,—следует обратить внимание на тот факт, что жизнь каждого отдельного организма слагается из жизни крошечных единиц, слиш-

ком мелких для того, чтобы быть видимыми невооруженным глазом». Автор органической теории не останавливается перед этим, вооружает глаз и погружается окончательно в микроскопические детали. Результат везде один и тот же: *общество или государство есть организм, не отличающийся в главных основах от животного организма.*

Обычная критика органической теории выдвигала в качестве главного довода против Спенсера два существенных различия между животным организмом и общественным коллективом. Указанная в столь многих отношениях аналогия между индивидуальным и социальным организмом не может уничтожить двух существенных особенностей, которыми эти организмы друг от друга отличаются. Во-первых, животный организм состоит из нераздельно связанных между собой частей, в то время как социальный коллектив является совокупностью самостоятельных, друг от друга отделимых индивидуумов. Клеточка не может отделиться от другой, с которой она неразрывно связана, она не может покинуть свой агрегат, тогда как социальная клеточка—человек—может удалиться от других себе подобных клеточек, от своих сограждан; он имеет возможность переселиться, может быть изгнан из своей страны в другие отдаленные страны, может, наконец, путем самоубийства даже произвольно уничтожить свою индивидуальность. Во-вторых, в животном организме имеются органы, воспринимающие и познающие, и органы, этим качеством не обладающие. В общественном же организме, напротив, не существует никакой монополии восприятия или познания отдельных индивидуумов и общественных групп. Способность эта распределяется между всеми членами общества. Поэтому, в то время как в животном организме способность восприятия и познания концентрируется в специальной, более или менее ограниченной области—в социальном коллективе она рассеянно распространяется на весь коллектив. Эти с виду вполне веские возражения, которые, повторяю, приводятся большинством критиков органической теории, не вполне основательны по той простой причине, что сам Спенсер указывает на эти различия, считается с ними и все же приходит к окончательному заключению, что по основному существу общество все-таки не отличается от животного организма. Снова заглянем в «Основания социологии». § 220 гласит: «от этих сходств между социальным и индивидуальным организмом мы должны обратиться к рассмотрению тех крайних несходств, которые существуют между ними. Все части животного образуют одно конкретное целое, но части, составляющие общество, образуют такое целое, которое должно считаться раздельным. Живые единицы, составляющие собою животное, тесно связаны между собою и находятся в непосредственном или почти непосредственном соприкосновении друг с другом, тогда как живые единицы, составляющие собою общество, свободны, не находятся в тесном соприкосновении, но рассеяны более или менее далеко друг от друга. Каким же образом можно толковать после этого о каком-либо параллелизме?». Спенсер говорит, следовательно, решительно то же самое, что сказано его критиками. Но, указывая на эти различия, Спенсер старается аван-

сом опровергнуть возможные возражения. Доводы, преодолевающие это различие, следующие. Физически непрерывное тело животного не состоит повсюду из живых единиц, а состоит в значительной степени из обособившихся частей, которые были образованы в начале жизнедеятельности частями, но впоследствии сделались полуживыми или даже стали вовсе безжизненными. Протоплазматический слой, лежащий под кожей, состоит действительно из живых единиц, но образующиеся в нем клетки, переходя в эпителиальные чешуйки, превращаются в инертный охранительный аппарат. Затем Спенсер делает указание на нечувствительные ногти, волосы, рога и зубы, образующиеся из этого слоя. К сказанному можно еще прибавить и то, что, хотя эти образования и суть составные части организма, однакоже они едва ли могут быть названы его живыми частями и могут, следовательно, быть отдалены и удалены. Следуя далее по этому же пути, Спенсер замечает, что и во всех других частях организма существуют такие протоплазматические слои, из которых вырастают ткани, слагающиеся в различные органы, что эти слои одни только остаются вполне живыми, между тем как развивающиеся из них аппараты теряют свою жизненность, пропорционально степени своей специализации. В подтверждение этого, Спенсер ссылается на хрящи, связки, соединительную ткань, обнаруживающие весьма заметным образом низкую степень присущей им жизненности. Заключение, вытекающее отсюда, то, что хотя тело животного представляет собою непрерывное целое, тем не менее его существенные единицы, рассматриваемые сами по себе, образуют такое непрерывное целое только там, где мы находим протоплазматические слои. Так обстоит дело относительно имманентной целостности животного организма. К этой аргументации можно было бы еще прибавить, что современные исследования по биологии могут дать Спенсеру в защиту этого его положения значительное количество фактов. С другой стороны, социальный коллектив, при правильном и более углубленном к нему отношении, представляется неравненно менее «прерывистым» или раздельным, нежели это может казаться на первый взгляд. Аргументация в этой части параллели является наиболее интересной. Спенсер подчеркивает то обстоятельство, что и в общественном коллективе также наблюдается рядом с жизненными составными частями, определяющими собою главным образом общественные явления, и менее жизненные элементы, играющие в нем весьма видную роль и оказывающие человечеству большое содействие в его борьбе за существование. К менее жизненным элементам Спенсер относит животных, а также растения. Стоящие ниже в органической цепи как животные, так и растения имеют, конечно, для человеческой жизни значение, не поддающееся даже учету.

В защиту этого положения Спенсер указывает на то влияние, которое оказывают низшие классы организмов, сосуществующие с людьми в общественном коллективе. Как животные, так и растения влияют на склад и деятельность общественных групп в различных и важных случаях. Различные, например, особенности пастушеского типа обусловливаются родом воспитываемых животных. В оседлом обществе растения, служащие пищей, материа-

лом для пряжи, тканей и пр., определяют собою те или иные особенности общественного склада, те или иные формы общественной деятельности. Эти мысли весьма замечательны. Чрезвычайно интересен и несомненно справедлив взгляд на влияние животных и растений, служащих средством к существованию, на так называемую человеческую природу. Идя этим путем, Спенсер мог бы с большим успехом указать на значение орудий производства, как на цементирующее начало всего общественного коллектива. Орудия же производства являются не живыми органами, а искусственными. Но такой оборот небезопасен для органической теории, ибо пришлось бы тогда признать, что общественный коллектив покоится на совершенно другом фундаменте, или, точнее, что он имеет фундамент, которого, как мы увидим в дальнейшем изложении, вообще лишена органическая теория. Но не будем забегать вперед. Перейдем к другому возражению.

Что касается второго, выше отмеченного возражения, то критики, делая его, ошибаются вдвойне. Спенсер, как и в первом разобранном случае, сам отмечает различие между животным организмом и социальным коллективом. Более того, это различие имеет в его учении особенное, большое и принципиальное значение. Об этом различии Спенсер пишет: «Хотя раздельность социального организма не препятствует разделению отправлений и взаимной зависимости частей, однако она не позволяет подобной диференциации дойти до такого предела, чтобы одна часть сделалась органом чувств и мыслей, а остальные части, взамен того, утратили совершенно всякую чувствительность». Но в социальном организме мы видим иное. «Его составные единицы, не находясь в непосредственном соприкосновении и будучи удерживаемы в своих относительных положениях с меньшей строгостью, не могут дифференцироваться в такой мере, чтобы одни из них стали совсем бесчувственными, а другие монополизировали себе всякое сознание». Как видите, Спенсер сам подчеркивает это основное различие и не только подчеркивает его, но, как уже упомянуто, делает на основании этого различия важное заключение. Из того факта, что чувственное восприятие и сознание в социальном коллективе, в отличие от индивидуального организма, «разлито по всему организму», что все единицы, составляющие его, способны чувствовать наслаждение и страдание, если не в равной мере, то приблизительно одинаково, Спенсер выводит свою теорию государства. Резюмируя результат исследования указанного различия, Спенсер заключает: «Следовательно, тут не существует ничего похожего на какое-либо *«средоточие общественного* чувства» (Social Sensorium), а потому благосостояние агрегата, рассматриваемое независимо от благосостояния составляющих его единиц, никогда не может считаться целью общественных стремлений. *Общество существует для блага своих членов, а не члены его существуют для блага общества* (подчеркнуто мною). Следует всегда помнить, что как бы ни были велики усилия, направленные к благосостоянию политического агрегата, все притязания этого политического агрегата, сами по себе, суть ничто, и что они становятся чем-нибудь лишь в той мере, в какой они воплощают в себе притязания составляющих этот агрегат единиц». С этим важным

выводом мы будем иметь дело при критике метода органической теории. Теперь же укажем, что в этом как-раз пункте Спенсер больше всего расходится со своим учителем Контом. С точки зрения Конта, единица общественного коллектива есть абстракция, истинно конкретным является человечество в своем социальном историческом целом; Спенсер же, оставаясь на почве строгого номинализма и позитивизма, считает, например, истинно конкретным и действительным лишь единицы, входящие в состав общества. На этом закончим сегодняшнюю лекцию. Следующее чтение будет посвящено общей формулировке задач и законов органической социологии, критике ее метода и общей критической оценке этого учения.

Смерть грузинского меньшевизма.

Ил. Вардин.

Мировой меньшевизм и грузинская социал-демократия.

Мировой меньшевизм неразрывно связал свою судьбу с грузинской социал-демократией. Европейская социал-демократия считала и продолжает считать, что Грузия при меньшевиках являлась образцовой страной демократии и социализма. В 1920 году вожди 2-го Интернационала организовали паломничество в Грузию. Вандервельде, Сноуден, Каутский, Гюисманс, Ренодель и ряд других деятелей мирового меньшевизма свидетельствовали свое преклонение перед грузинским меньшевизмом.

Грузинское правительство, — заявлял Вандервельде, — это — «первое социалистическое правительство». Каутский посвятил грузинским меньшевикам ряд восторженных статей, одну восторженную брошюру. Каутский, наиболее продолжительное время гостивший в Грузии при меньшевиках, был избран почетным членом карательного отряда грузинской социал-демократии, так называемой «народной гвардии». Каутский гордился этим избранием, и на с'езде народной гвардии заявлял, что он, самый старый из всех присутствующих, является самым молодым рекрутом народной гвардии и, тем не менее, постарается оправдать доверие, оказанное ему со стороны преторианской гвардии грузинского меньшевизма. Возвратившись в Европу, Каутский, между прочим, заявил, что «нет ни одного правительства, которое стояло бы так прочно, как грузинское».

А. Гюисманс от имени всего мирового меньшевизма говорил в 1920 г. грузинским меньшевикам:

«Помните, *вы наша надежда*, ибо *Грузия единственная страна, во главе которой стоят социалисты. Ваша гибель будет нашей гибелью; ваша победа— наша победой»*.

Гюисманс, разумеется, ни минуты не сомневался в том, что победа останется именно за грузинской социал-демократией, иначе он не выразился бы так категорически, иначе он не связал бы так резко судьбу меньшевистского интернационала с судьбой грузинской социал-демократии.

В марте 1921 года случилось «великое преступление»: грузинских меньшевиков попросили вон, их место заняла коммунистическая партия Грузии. Взрыв негодования прошелся по всей социал-демократической и буржуазной Европе. Бурным протестам против «насильников и узурпаторов» не было конца. Мировой меньшевизм категорически требовал от Советской власти ухода из Грузии и возвращения туда грузинских меньшевиков, которые, ведь, были изгнаны из Грузии не потому, что этого захотели большевики московские или тифлисские, а оказались изгнанными потому, что за три года по всем направлениям решительно обанкротились. Были изгнаны потому, что в Грузинской меньшевистской республике не было ни социализма, ни демократизма, ни революционности, ни даже простой политической честности.

Тем не менее мировой меньшевизм с необыкновенной настойчивостью требовал и требует от нас, чтобы мы очистили место для банкротов меньшевизма. На собраниях, в прессе, в парламентах социал-демократические партии Европы с начала падения грузинского меньшевизма и до последних дней настаивают, требуют «восстановления в правах» грузинских меньшевиков.

В апреле 1922 года на берлинском совещании трех Интернационалов *Вандервельде* говорил: *«я настаиваю на Грузии в особенности, ибо там я был в продолжение нескольких незабвенных недель»*. Вандервельде и К° одним из условий единого фронта выставляли именно передачу власти в Грузии меньшевикам. Допускаем, что недели пребывания господ Вандервельде и К° в Грузии были «незабвенными» для них. Допускаем, что они снова хотят повторения этих «незабвенных недель». Но, увы, не все в мире делается по доброму желанию сентиментальных вождей меньшевистского интернационала. Вопрос о Грузии решается борьбой между революцией и контрреволюцией.

После берлинского совещания, окончившегося, как известно, по вине мирового меньшевизма, почти полной неудачей, кампания по «восстановлению в правах» грузинского меньшевизма ни на одну минуту не прекращалась. Последний раз за «права» демократической Грузии вступился в английской палате общин *Филипп Сноуден*. 19 июля 1923 года этот с позволения сказать, рабочий лидер спрашивал правительство, осведомлено ли оно о «казнях и преследованиях» грузинского населения со стороны большевиков, знает ли оно о «массовых арестах представителей духовенства», и не может ли Британское правительство, ввиду признания независимости Грузии союзными державами и Лигой Наций, *«в порядке дипломатическом повлиять на Советское правительство»*, чтобы оно прекратило террор в Грузии.

Ниже мы увидим, сколько фактической правды в заявлениях тр. Сноудена. Ниже мы, на основании фактов и документов, покажем, что вопли о «казнях и преследованиях» грузинского населения являются сплошной ложью и сплошным лицемерием.

В данном случае, мы обращаем внимание читателей на то, что один из вождей нового «Социалистического Рабочего Интернационала», в состав

которого входят не только такие негодяи, как Носке, Шейдеман, но и такие благородные люди, как Макдональд, Фридрих Адлер, Отто Бауэр и другие, что представитель этого «Рабочего Интернационала» требует *от английского империалистического правительства* дипломатически *воздействовать на рабоче-крестьянское правительство России.*

Ведь грузинский вопрос интересует не только мировой меньшевизм, грузинским вопросом крайне заинтересовано капиталистическое правительство «великих держав». Грузия—это дорога на Баку, Грузия в руках меньшевизма—это значит Грузия в руках англо-французского империализма. Если бы, по предложению Сноудена, английское правительство «повлияло» на Советскую Россию, если бы под этим воздействием Советское правительство отдало бы Грузию меньшевикам, то, разумеется, фактически это означало бы *отдать Грузию в руки английского империализма,* ибо, ведь, даром правительство Болдуина-Керзона «работать» не будет.

Это ясно для всякого. Когда грузинская социал-демократия стояла у власти, она являлась ареной для бесконечных козней и конспираций мирового империализма и русских белогвардейцев против Советской России. Известно всему миру, что господство меньшевизма в Грузии фактически означало вначале господство германского, затем английского, а в последний момент французского империализма. Восстановление в правах грузинской социал-демократии может означать не что иное, как предоставление возможности англо-французским нефтяным компаниям добиваться восстановле*ния своих «прав» в Баку. На берлинской конференции трех* Интернационалов, когда Вандервельде заливался соловьем о «незабвенных неделях», Радек совершенно резонно ответил ему: «Я не знаю, что собственно беспокоит Вандервельде: то ли, что на месте Чхеидзе и Жордания в Тифлисе появился Мдивани, или то, что доступ в Баку находится не в английских руках».

Да, именно, в нефти дело. И *когда Сноуден пред'являл требование английскому правительству «спасти» Грузию, он тем самым советовал своему правительству добиваться открытия пути к бакинской нефти.*

На этот раз руки у английской буржуазии оказываются короткими. Мак Ниль, товарищ министра иностранных дел, разочаровал г. Сноудена указанием, что, мол, «бесполезны попытки повлиять на большевиков путем дипломатических представлений, не сопровождаемых нажимом», который они в данном случае произвести не могут. Только в данном случае нажима произвести английская буржуазия не может, но завтра, послезавтра случай, может быть, представится, и тогда гр. Сноуден и с ним весь так называемый «Рабочий Социалистический Интернационал» благословит английский капитал на разбойничий нажим на Союз Советских Республик под высоким лозунгом освобождения грузинской демократии.

Но это может быть завтра, послезавтра, а возможно такого случая не представится вовсе. Как бы то ни было, об одном случае гр. Сноуден уже сейчас конкретно хочет уговориться с правительством Болдуина-Керзона. Сноуден спрашивал правительство: может ли оно, если станет на очередь

вопрос о *признании большевиков, обусловить такое признание восстановлением независимости Грузии.* Увы, Мак Ниль вновь должен был разочаровать гр. Сноудена. Он заявил, что правительство такого обещания дать не может, но что лично Мак Ниль «вполне сочувствует» предложению Сноудена. Как видите, *и «социалист» Сноуден и консервативный империалист Мак Ниль на грузинский вопрос смотрят одинаково,* только способа его разрешения правительство еще не может найти. Но в принципах единодушие полное, и честный английский либерал *Конворти* был совершенно прав, когда констатировал, что в палате общин образовалась новая коалиция Сноуден-Мак Ниль.

Так вот, борьба за «освобождение» Грузии, борьба за «восстановление в правах» изгнанных революцией банкротов по-прежнему является важнейшей очередной задачей мирового меньшевизма и мирового империализма. Меньшевизм обрабатывает общественное мнение. Империализму предлагается и предоставляется «повлиять» на правительство Советов.

Но в это самое время в самой Грузии *меньшевизм умирает.* Умирание это происходит в формах совершенно исключительных. Факты и цифры, иллюстрирующие развал и разложение грузинского меньшевизма, являются убийственными для всего мирового меньшевизма. Грузинское правительство являлось образцовым социал-демократическим правительством для мирового меньшевизма. Смерть грузинского меньшевизма дает нам картину будущего неизбежного развала меньшевизма.

Граждане Сноудены, Вандервельде, Адлеры и Бауэры, вглядитесь пристально в вашу образцовую, в вашу великолепную, в вашу несравненную грузинскую социал-демократию, вглядитесь пристально в ту картину небывалого катастрофического развала, который развернулся за период март—август 1923 года,—и вы увидите *свое собственное будущее!*

Вырождение.

В начале марта 1921 года советизация Грузии была окончена, а вожди меньшевистской партии в это время обосновались уже в Париже. Им предлагали остаться в Грузии. Им гарантировали полную неприкосновенность, при условии подчинения Советской власти, разумеется. Но вожди меньшевизма остаться в Советской Грузии не захотели... Ведь, еще так недавно патриарх грузинской социал-демократии Жордания заявлял, что он предпочитает империалистов Запада фанатикам Востока. Вот, под крылышко империалистов Запада верхушка меньшевистской партии и спряталась.

Подавляющее большинство членов партии меньшевиков, ряд виднейших деятелей этой партии остались в Грузии. В апреле ими было создано в Тифлисе огромное собрание, и на этом собрании они заявили, что отказываются от нелегальной работы, отказываются от всякой вооруженной борьбы с Советским правительством и решительно осуждают идею интервенции. Вне всякого сомнения, такое постановление было принято под давлением рабочих

низов меньшевистской партии. Подавляющее большинство из них в то время недоверчиво относилось к Советской власти, но вооруженной борьбы с нею они ни в коем случае не хотели, ибо прекрасно понимали, что всякая вооруженная борьба с Советским правительством есть работа на буржуазно-помещичью контр-революцию.

Однако, спустя некоторое время, оставшийся в Грузии Центральный Комитет меньшевистской партии ушел в глубокое подполье и принялся за энергичную *нелегальную работу* с целью *свержения* Советской власти. Силой одной меньшевистской партии свергнуть большевиков, очевидно, они не надеялись, поэтому меньшевистская партия выступает инициатором мобилизации «обще-народных» сил против «оккупантской» власти большевиков. Меньшевики вступают в переговоры с шовинистической мелко-дворянской партией федералистов, с партией национал-демократов (грузинские кадеты) и некоторыми другими мелкими политическими группировками. В результате этих переговоров создается междупартийный, так называемый *Паритетный Комитет*.

Этот Паритетный Комитет представлял собою *блок всех дворянско-буржуазных и мелко-буржуазных партий Грузии*. Задача Паритетного Комитета заключалась в подготовке военно-политической борьбы с Советской властью. В начале 1922 года при Паритетном Комитете создается *Военный Центр*. В состав Военного Центра входят сплошь князья, дворяне, бывшие генералы, бывшие полковники. Военный Центр подготовлял восстание в связи с внутренними волнениями в России или в связи с войной между Антантой и Советской Республикой. На-ряду с организацией Военного Центра,—с подготовкой восстания сверху,—ведется подготовка восстания *снизу* путем широкой *партизанской борьбы* с Советской властью. Партии меньшевиков и национал-демократов, на-ряду с общим военным центром имевшие свою чисто партийную организацию, создают на местах целый ряд партизанских отрядов, поднимавших местные восстания, нападавших на советские учреждения, убивавших деятелей Советской власти. Наиболее крупные партизанские отряды возглавлялись национал-демократами, князьями Чолокаевым и Вачнадзе, меньшевиками Павленишвили, Лашкаришвили, Матигайшвили и другими. Связь между Центральным Комитетом меньшевиков и бандой Чолокаева поддерживал меньшевик Крацашвили, сам главарь банды.

Восстания должны были проводиться комбинированным путем. Удар в центральные пункты должен был предпринять Военный Центр, на местах ликвидацию Советской власти должны были довести до конца местные партизанские отряды. В течение 1922 года план восстания наиболее близок был к осуществлению: первый раз в период Генуи и Гааги, второй раз осенью 1922 года. Грузинские контр-революционеры почему-то были уверены, что Антанта подготовляет новую интервенцию, и свое восстание они приурочивали к периоду между 27 сентября и 15 октября.

Подготовляя единый организованный удар, вместе с тем Военный Центр не запрещал захвата власти на местах. Так, например, Чолокаев к концу

лета 1922 года спровоцировал горское племя хевсуров, живущее все еще почти в первобытных условиях, и вызвал среди них восстание, которое было ликвидировано совершенно легко. Потерпев неудачу у горцев, Чолокаев продолжал свои бандитские налеты в течение еще нескольких месяцев. Таким же путем действовали партизанские группы меньшевиков и национал-демократов в ряде других мест. Все эти бандитские действия меньшевистской партией выдавались, как восстания широких народных масс.

На агрессивные действия меньшевистской партии Советская власть совершенно естественно ответила репрессиями. Были произведены аресты. Было решено выселить меньшевистских деятелей за границу, куда в свое время добровольно уехали многие вожди меньшевистской партии.

Партия меньшевиков реагировала на этот шаг власти самым резким образом. В воззвании Центрального Комитета меньшевиков говорилось: «Троцкий думает *обезглавить Грузию*, отнять у *нации* ее лучших сынов и тем потушить народные восстания». Паритетный Комитет в своем воззвании заявлял о том, что «оккупанты» хотят удалить из Грузии «главных людей нации, лучших граждан». Протестуя против этой совершенно естественной оборонительной меры Советской власти, Центральный Комитет меньшевиков в своей листовке заявлял:

«Втянутая в борьбу Грузия не положит оружия, пока не отправит в могилу оккупантов... Прочь их кровавые руки! Будем мстить за мучения грузинских революционеров, за их высылку из пределов родины!».

В листовке социал-демократического союза молодежи говорилось: «*За каждого загубленного сына народа десятками и сотнями будут отвечать палачи народа. Никакая пощада не будет иметь места. Это не будут пустые слова, это превратится в реальное дело*».

Наконец, в особой листовке грузинских политических партий (т.-е. меньшевиков, национал-демократов, федералистов и т. д.) говорилось:

«Прежде всего будут отвечать местные агенты Москвы и их подражатели и будут отвечать не только перед ближайшим будущим, не только перед историей, но гораздо раньше и не только политически».

Таким образом, картина была совершенно ясна. Все анти-советские политические партии и группы, об'единившись, подготовляют при помощи Антанты вооруженное восстание против власти Советов, ведут на местах партизанскую борьбу и заявляют, что эта борьба не прекратится, пока Советская власть не погибнет. Во-вторых, эти партии обещают массовый белый террор («будут отвечать десятки и сотни»). Наконец, анти-советские политические партии угрожают индивидуальным белым террором («прежде всего будут отвечать местные агенты Москвы»).

Разумеется, Советская власть пугаться этих угроз не имела никаких оснований. Было ясно, что в борьбу была втянута не «Грузия», а непримиримую борьбу вело дворянство, буржуазия, националистическая интеллигенция. Восстания, которые происходили на местах, представляли собою

обычный политический (со значительной долей уголовщины) бандитизм, многочисленные примеры которого мы в свое время видели почти на всей территории Советских республик, прежде всего на Украине. Этот бандитизм говорил не о том, что народ против Советской власти,—наоборот, *бандитизм свидетельствовал о том, что партии меньшевиков, национал-демократов, федералистов могут опираться только на ничтожную верхушку, но ни в коем случае ни на широкие массы.*

При таких условиях задача Советской власти заключалась в том, чтобы *решительным ударом разбить военно-политические силы грузинской контрреволюции.* В ответ на угрозы меньшевиков и национал-демократов, Советская власть заявила, что своими угрозами и своими провокационными выходками грузинские меньшевики могут заставить Советскую власть в Грузии вспомнить и повторить российский 18-й год, год красного террора. Советская власть *предупредила* меньшевиков, что партия, которая станет на путь белого террора, будет уничтожена решительно и навсегда. Меньшевики с этим предупреждением не посчитались. От угроз они перешли к действиям. На местах был совершен *ряд террористических актов, попытки восстания продолжались.* Советская власть, разумеется, не имела никаких оснований особенно церемониться с активными участниками белого террора и белых восстаний.

В борьбе против Советской власти действовавшие в Грузии меньшевики, национал-демократы и федералисты опирались на помощь *заграничного центра меньшевиков,* во главе которого стояли и стоят поныне *Жордания, Церетели и Ной Рамишвили.* Этот заграничный центр снабжал грузинских белогвардейцев деньгами и литературой, обещал в нужный момент оказание помощи оружием, обещал поддержку Антанты.

Зная позицию международного меньшевизма в грузинском вопросе, мы можем понять, каким путем эта поддержка Антанты обеспечивалась грузинским меньшевикам. *Вне всякого сомнения, содействие Сноудена, Ренодея, Вандервельде и других «социалистических» деятелей Европы играло не малую роль в установлении «контакта» между грузинским заграничным меньшевистским штабом и правительствами англо-французских империалистов.*

Гражданская война в Грузии подготовлялась меньшевистской партией в союзе со всеми имущими слоями Грузии, в союзе с обиженными революцией князьями, дворянами, духовенством и верхами офицерства. С другой стороны, грузинская социал-демократия надеялась победить Советскую власть в союзе с англо-французским империализмом. Этот триединый союз подогревался и скреплялся политическим бандитизмом, долженствовавшим перед Европой олицетворять собою непрерывные восстания «угнетенного большевизмом» грузинского «народа».

Все это характеризует уже *крайнее вырождение меньшевизма.* Партия, которая стала на путь индивидуального террора и бандитских выступлений, тем самым подписала себе смертный приговор.

Но тут необходимо подчеркнуть одно важнейшее обстоятельство. В борьбе, которая велась в течение 1922 года против Советской власти именем всего грузинского народа, в этой борьбе *рабочие и крестьяне Грузии не принимали никакого участия*. Даже больше. *Рабочие и крестьяне, члены социал-демократической партии, были решительно в стороне от всякой активной борьбы с большевизмом*. Вся эта кампания бандитизма, терроризма, все эти коалиции с национал-демократами и федералистами, боевой союз с кн. Чолокаевым и с рядом других врагов Советской власти,—все это делалось *интеллигентскими верхами меньшевистской партии, и рабочие социал-демократы никакого участия во всем этом не принимали. В период наиболее обостренной борьбы между меньшевизмом и Советской властью в Грузии за активную вооруженную борьбу с Советской властью не было арестовано ни одного рабочего*. Не было арестовано потому, что ни один рабочий меньшевик не участвовал в этой гнусной анти-советской борьбе. *Активной анти-советской силой в Грузии были интеллигентско-мещанские элементы меньшевизма*, буржуазия, дворянство и военщина. Рабочий класс и крестьянство никакой решительно поддержки белым заговорщикам не оказывали. Рабочие и крестьяне прекрасно учитывали, что свержение Советской власти в союзе с имущими классами Грузии и в союзе с европейскими империалистами означает даже не возвращение к власти меньшевиков, а приход к власти самой черной буржуазно-генеральской реакции. Поэтому, подчеркиваем, *рабочие и крестьяне, члены меньшевистской партии стояли совершенно в стороне от той будто бы «всенародной» борьбы, которая велась путем бандитизма и индивидуального террора против Советской власти*.

Вандервельды и Сноудены, полагаем, на этот счет осведомлены,—тогда они подло лицемерят, когда кричат о каком-то насилии над «населением», о какой-то борьбе всего грузинского народа против «оккупантов». Но возможно, что они, полагаясь на лживую информацию господ Жордания и Церетели, не представляют истинной картины той борьбы, которая происходила на протяжении 1922 года в Грузии. Но, в таком случае, как они смеют на весь мир кричать о том, чего они не знают? *Мы заявляем еще раз, и пусть это наше утверждение опровергнут господа меньшевики, мы заявляем категорически, что рабочие и крестьяне, члены социал-демократической партии, стояли в стороне от той военно-политической борьбы, которую белые меньшевики, кадеты и федералисты вели против республики Советов*.

Творимые легенды.

В борьбе грузинских меньшевиков с Советской властью большую роль играли и продолжают играть «творимые легенды». Если рассказать правду о Грузии, так, как она есть, то эта правда будет убийственна для меньшевизма. Начать с того, что Красная армия, которой, по предсказанию меньшевиков, надлежало ворваться в Грузию в качестве какой-то чудовищной банды разбойников, эта Красная армия явила собой образец дисциплиниро-

ванности, сознательности, и выдержки, и буквально поразила возмущенное меньшевистскими сплетнями население Грузии. Более двухлетнее господство Советской власти в Грузии является периодом неуклонного хозяйственного и культурного возрождения страны. Успехи, достигнутые за эти два года на хозяйственно-культурном фронте,—грандиозны.

Основные вопросы политической жизни,—прежде всего, вопрос аграрный и национальный,—были разрешены в интересах трудящихся масс только Советской властью. Улучшение материального положения рабочих началось только после прихода Советской власти. Рассказать все это правдиво, значит нанести жестокий удар меньшевизму. Поэтому меньшевистская партия предпочитает творить легенды об ужасах, царящих в Грузии, о разрухе, господствующей там, о насилиях и издевательствах, творимых большевиками, о том, что народ поднимается против Советской власти и, что этот народ нуждается в безусловной поддержке со стороны всех честных людей всего мира. Творимые легенды являются важнейшим средством для подготовки общественного мнения к борьбе с Советской властью. Творимые легенды должны ввести в заблуждение трудящихся всех стран, ослабить их симпатии в отношении Советской республики и усилить эти симпатии в отношении обиженных грузинских меньшевиков. Творимые легенды распространялись и распространяются меньшевиками как внутри, так и вне страны. Каждое бандитское выступление меньшевики пытались представить в виде всенародного восстания в том или ином районе. Об этом писали в меньшевистских листках, потом лживые сообщения этих листков в еще более раздутом виде передавались в европейскую и американскую буржуазную социал-демократическую печать.

Вот несколько характернейших примеров. В сентябре 1922 года, когда, как известно, подготовлялось вооруженное восстание в Грузии, орган Центрального Комитета грузинской социал-демократии «Сакартвелос Хма» («Голос Грузии») писал, например, следующее:

> «Огнем дышит плененная Грузия, на поверхности «красным» штыком «успокоенной» жизни слышен подземный гул и то здесь, то там с естественной неизбежностью вспыхивает пламя. Коммунистическая пресса набрала в рот воды. Она молчала, когда проливалась кровь в Сванетии, она молчит, когда льется кровь в Кахетии, Карталинии, Гурии... Читатель не найдет в коммунистических газетах ни одной строчки по этим вопросам».

В коммунистических газетах Грузии читатель мог найти не одну сотню строк по поводу обсуждаемых меньшевистским листком вопросов, но, понятно, читатель не мог найти в коммунистической прессе того нелепого шума и звона, какой был поднят меньшевиками. Кошмарные картины, нарисованные меньшевистским листком, являлись творимой легендой.

«Огнем дышит плененная Грузия»... «Подземный гул»... Бесконечные столкновения»... Кровь и ужас, стон неба и земли, бесконечные насилия,

бесконечные кошмары... Этот истерический крик поднимали либо больные, потерявшие душевное равновесие люди, либо политические мошенники, сознательно сочинявшие легенды для европейских политических жуликов, шантажистов и... простаков.

Конечно, в Грузии происходила борьба между новой трудовой властью, с одной стороны, и жалкими остатками старой, раздавленной буржуазно-меньшевистской, интеллигентско-дворянской Грузии, — с другой. Конечно, в Грузии имелись еще бывшие князья, дворяне, офицеры, остались меньшевики и федералисты, национал-демократы, которые продолжали непримеримую борьбу против Советского правопорядка, но борьба эта носила сравнительно мелкий характер. Силы врага были лишены серьезного размаха, масса решительно отвернулась от вчерашних властителей Грузии, предоставив их своей жалкой участи.

Но чем более безрадостна была судьба бывших меньшевистских правителей, тем энергичнее декламировали меньшевистские литераторы. В ложноклассическом стиле они писали: «Грузинская нация охвачена огнем, борьба с чужеземной силой разоряет горы и долы Грузии». Это было просто смешно. Грузия горела в больном воображении меньшевистских литераторов. Ее разорял огонь меньшевистского пустословия. Народ Грузии, ее рабочие и крестьяне, были бесконечно далеки от той мелко-авантюристской борьбы, которую вели меньшевики и их буржуазно-помещичьи союзники против власти Советов. Рабочие и крестьяне Грузии хотели мира и порядка, а не войны, нужной только европейскому империализму и его социалистическим лакеям.

Грузинская социал-демократия начинала умирать. Ей было необходимо искусственное возбуждение, и вот эта несчастная партия творила легенды, бредила кровью, принимала духовный кокаин, держала себя во власти политического наркоза.

Посмотрим теперь, какие легенды творились за границей. Вот, например, в центральном органе германской социал-демократии «Форвертс» летом 1922 года появилось следующее сообщение, полученное из Грузии:

> «В Батуме председатель революционного комитета Гамбаров и видные представители учреждений оккупантов были избиты манифестантами. Оккупационные войска обстреляли манифестантов. Число жертв не выяснено. Во время восстания в Грузии многие советские учреждения ликвидировались и скрывались. Местами жел.-дорожное сообщение совершенно прекращалось. Советское правительство отвечало на это в тех местах, где чувствовало себя уверенным, массовыми арестами. В Батуме арестовано свыше 500 человек. Вся страна об'явлена на осадном положении. Вся страна обречена на голодную смерть. Подвоз всех жизненных припасов прекратился. В феврале был случай разгрома в Тифлисе продовольственных лавок. Несколько торговцев было убито».

Это сообщение «Форвертса» было перепечатано в центральном органе грузинской коммунистической партии с следующим примечанием: «Мы

воздерживаемся от каких-либо пояснений, пусть читатель сам оценит такую информацию». Читатель, независимо от своей партийной принадлежности, должен был великолепно оценить эту блестящую информацию грузинско-немецкого меньшевизма, ибо в ней не было ни слова правды. Грузинская коммунистическая пресса вообще довольно часто приводила из европейской, главным образом, социал-демократической, прессы те чудовищные легенды, которые распространялись по всей Западной Европе. В коммунистической прессе подобные сообщения заменяли собой маленький фельетон.

В Грузии всякий понимал цену этой информации, но в Западной Европе, на основани творимых легенд, социал-демократические и буржуазные партии пытались воздержаться делать «большую» «демократическую» политику. Вот, например, последний документ, приводимый в грузинской прессе. В Лондоне группа грузинских меньшевиков опубликовала нечто вроде обвинительного акта против большевистского правительства Грузии. Вот основные пункты этого обвинения: 1) арестованных пытают в подвалах Ч. К., 2) в начале 23 года в одну ночь в Тифлисе было расстреляно 92 человека: учителя, интеллигенты, представители рабочих и крестьян, 3) в Гурии было расстреляно 300 человек, крестьянам не позволяли хоронить расстрелянных, трупы их валялись по дорогам, их грызли собаки. Служителей православной церкви пытают в тюрьмах и т. д., и т. п.

Во всем этом сообщении правда только то, что в Тифлисе в течение нескольких недель было расстреляно 92 человека и, разумеется, не представителей рабочих и крестьян, а бандитов, взятых с оружием в руках, совершенно неисправимых белогвардейцев, в подавляющем большинстве своем— представителей дворянства, офицерства и высшей контр-революционной интеллигенции. Вся остальная информация представляет собой сплошной вымысел. Что касается вопроса о расстрелах, то по этому поводу в грузинской прессе один из видных деятелей меньшевистской партии, ныне покинувший ее ряды, А. Рухадзе, указав на то, «что исключительные условия империалистического окружения, в котором находится Советская власть в Грузии, диктуют ей меры необходимой самообороны, что она не может щадить жизни тех элементов, которые с оружием в руках борются против ее существование,—вместе с тем, спрашивает вождей грузинского меньшевизма:

«Разве мало расстреляли мы во время меньшевистской власти, вспомните Душетию, Асетию, Александровский сад и т. д. Разве мало выслали мы из пределов Грузии, разве мало арестовали. Вспомним 1 мая 1920 года, вспомним избиение коммунистов в этот день, вспомним расстрелы и сожжение коммунистов в Кутаисе и т. д., и т. п.».

Разумеется, ничего этого меньшевистские лидеры не вспомнят и бесстыдно будут продолжать свою кампанию лжи и клеветы, ибо ведь ничего другого в их распоряжении не остается.

Наконец, документ, исходящий от «самого» *Рамзая Макдональда,* первосвященника английского меньшевизма. В апреле 1922 года, во время совещания трех Интернационалов, *К. Радек* получил от Макдональда следующее письмо:

> «Уважаемый товарищ! Жордания сообщил мне о положении дел в Грузии. Он заявляет, что летом прошлого года *население Западной Грузии восстало, разбило русские войска и до сих пор удерживает власть в своих руках.* Теперь восставшие предлагают *перемирие и обмен пленных,* на условиях: *трех русских за одного повстанца* и вступления в переговоры относительно дальнейших судеб страны.
>
> Имеется сообщение, что русские отказываются от каких бы то ни было переговоров и продолжают концентрацию войск в Западной Грузии. Не представите ли данных по этому наболевшему вопросу. Вы должны указать ваше мнение относительно условий полной независимости какого бы то ни было правительства Грузии от интриг других правительств. Мне кажется, что вы согласитесь со мной, что наступило время для окончательного решения вопроса, которое даст нам возможность работать совместно, что до сих пор было невозможно. Я буду рад, если вы обдумаете этот вопрос и сообщите мне свое мнение. С искренним приветом *Рамзай Макдональд*».

В сообщении Макдональда было верно только то, что в природе существует: Западная Грузия, восточные лгуны и западные простаки и лицемеры.

Жордания на то и вождь грузинских меньшевиков, чтобы врать, не моргнув глазом, но как же мистер Макдональд, один из виднейших вождей мирового меньшевизма, решился в письме к представителю 3-го Интернационала рассказывать сущую небылицу? Вопрос о Грузии мировой меньшевизм поставил в центре своего внимания по той простой причине, что вопрос о нефти стоит в центре внимания мирового капитала. Все это вполне понятно, но как же можно оперировать творимыми легендами в официальном письме?

Гр. Макдональду в свое время было раз'яснено, что никакое население Западной Грузии не восставало (Западная Грузия, это бо́льшая часть всей Грузии), что никто русских войск не разбивал, никакие повстанцы власть в своих руках не удерживали, никаких разговоров о перемирии и обмене пленных не было. Все это представляло собою какую-то дикую, нелепую, грубую выдумку, которой оперировал вождь 2-го Интернационала. Но разоблачение лжи нисколько не изменило положения. Легенды творятся так же, как творились и год, и два тому назад. В основе упомянутого запроса гр. Сноудена лежит легенда так же, как лежала она в основе всех других, запросов и информаций мирового меньшевизма о Грузии. Это и понятно. Молчать о Грузии мировой меньшевизм не может, говорить правду о Грузии он не в состоянии,—остается лгать бесконечно и беспредельно.

Разложение.

Итак, решительная и всесторонняя борьба против Советской власти,— таков курс, взятый верхами меньшевистской партии Грузии. Но этот курс вызывает решительное *недовольство рабоче-крестьянских низов* этой партии. Под давлением этих низов в руководящей верхушке партии начинается острое *разногласие*, и, как финал этого разногласия, в конце февраля 1923 года мы имеем публичное выступление одного из руководителей меньшевистской партии Грузии, члена Центрального Комитета этой партии, члена Учредительного Собрания Грузии—*Виктора Тевзая*.

Письмом в редакцию газеты «Коммунист» Тевзая заявил, что он, «согласно совершенно сознательно принятому решению, отказывается от всякой политической деятельности».

В чем дело? Что заставило члена Центрального Комитета партии покинуть высокий руководящий пост?

На этот вопрос Тевзая дает косвенный, но достаточно ясный ответ:

«Я всегда был и сейчас остаюсь противником вооруженной борьбы против существующей власти и всякой империалистической интервенции в делах Грузии».

Таким образом картина ясна: меньшевистская партия Грузии стоит во главе вооруженной борьбы с Советской властью, меньшевистская партия Грузии является инициатором интервенции англо-французского империализма. С этим не могут примириться низы меньшевистской партии, и Тевзая, отражая их настроение, выходит из состава того Центрального Комитета, который возглавляет контр-революционную борьбу.

Одновременно с выступлением Тевзая, с заявлением об уходе из рядов меньшевистской партии выступил и другой видный деятель меньшевистской партии—*Петр Гелейшвили*, бывший товарищ министра земледелия, виднейший литератор партии.

Выступления Тевзая и Гелейшвили послужили как бы призывом ко всем честным элементам меньшевистской партии покинуть ряды этой белогвардейско-бандитско-интервенцской организации. Заявления Тевзая и Гелейшвили формально никакого призыва в себе не содержали, они даже не заявили о своем вступлении в коммунистическую партию, они только отходили от политической работы. Но тем не менее их выступления послужили той искрой, которая взорвала меньшевистскую партию.

В первых числах марта начинается широкая кампания массового ухода из рядов меньшевистской партии. В русской советской печати неоднократно появлялись телеграфные сообщения о коллективных выступлениях рабочих меньшевиков, однако, эти отрывочные сообщения не дают даже малейшего представления о том грандиозном, совершенно небывалом явлении, свидетелями которого мы являемся в настоящее время. *История политических партий не знает еще подобного катастрофического краха, какой пережила грузинская социал-демократия.*

В первых числах марта в газете «Коммунисти» был опубликован спи 66-ти членов меньшевистской партии, рабочих и крестьян. в подавляю своем большинстве, со стажем до революции 1917 года.

В этом заявлении авторы говорят, что они оставляют ряды меньшеви ской партии, ибо, начиная с 1914 г. и. в особенности. за последнее вре даятельность этой партии выражается *«в открытом союзе с буржуаз с разного рода анти-советскими партиями и бандитами*, которые подго вляют величайшую опасность пролетарской революции вооруженным в станием и интервенцией». Авторы заявления, становясь на платформу ветской власти, «клянутся перед рабочим классом решительно борот против врагов рабоче-крестьянской власти, как внешних. так и внутренни Авторы призывают «всех честных членов партии, у которых осталась х малейшая любовь к рабочему классу, оставить ряды ставшей бандитс меньшевистской партии и стать в ряды борцов за общее народное дело».

Следующий список 22-х. В их заявлении, дающем подробную харак ристику деятельности меньшевистской партии за период войны и рево ции, мы, между прочим, читаем следующее:

«Мы, подписавшие это письмо. являемся рабочими и крестьянами. своими собственными глазами видели деятельность меньшевистской пар и поэтому считаем своим нравственным долгом поставить в известно трудящийся народ республики о деятельности меньшевистской партии, р которой оставляем навсегда. *Настала пора, чтобы каждый трудящийся нял, в чем дело,* и поэтому мы призываем их стать в ряды поборников Со ской власти и работать во имя окончательной победы рабочего класса».

Дальше список 116-ти. Авторы заявляют, что «меньшевистская пар и 2-й Интернационал уже достаточно предавали интересы рабочего кла Они вошли в союз с мировой буржуазией и работают против рабоч класса. Меньшевики во время своего господства преследовали в Грузии щитницу рабочего класса—коммунистическую партию и работали в пол контакте и союзе с царскими генералами. После установления в Грузии ветской власти они заключили союз как с мировой буржуазией, так действовавшими на территории Грузии бандитами».

В заявлении следующей группы рабочих и крестьян мы читаем:

«*Меньшевистская партия, отвергнув диктатуру пролетариата, прими лась с диктатурой буржуазии и действовала на благо буржуазии*. Расс женные Октябрьской революцией в России меньшевики повели жесто борьбу против пролетариата и примирились и заключили союз с бел генералами. *Но история сделала свое дело — меньшевизм умер*. В Гру меньшевистская партия начала *борьбу с соседними народами при пом армий Антанты* и, таким образом, сделалась лакеем Антанты. Если бу говорить о независимости Грузии, то на деле увидим. что эта *независимо была фикцией. Грузия была антантовской колонией*. Если сказать пра *независимость эта была сочинена в интересах борьбы против большеви* и советского правительства».

Эту совершенно бесспорную историческую справку о грузинских меньшевиках дают рабочие меньшевики, перед глазами которых прошла вся деятельность «демократического» правительства.

Рабочие тифлисского трамвайного парка в своем заявлении говорят, что «они *не могут долее терпеть* такого положения—*оторванности от общего рабочего фронта*». Они хотят «вместе со всем пролетариатом бороться против капитала».

Рабочие вагонного парка и депо Тифлиса (список 70-ти) в резолюции, вынесенной на общем собрании, заявляют:

«Фактически доказано банкротство меньшевистской партии во главе со 2-м Интернационалом, банкротство их соглашательской политики с буржуазией, банкротство политики интервенции и борьбы против рабочего класса и социальной революции... Оставляя ряды этой партии, мы считаем своим классовым долгом создание *единого рабочего фронта под красным знаменем 3-го Коммунистического Интернационала*».

Рабочие железно-дорожных мастерских Тифлиса в резолюции, вынесенной на общем собрании, заявляют:

«Мы, старые революционеры, отмечаем, что разрозненными действиями мы ослабляем общий рабочий фронт и тем усиливаем врагов рабочего класса и, следовательно, врагов рабоче-крестьянской республики». В интересах усиления рабочего класса присутствовавшие на собрании 75 членов меньшевистской партии заявляют, что они из рядов этой партии выходят.

Рабочие трамвая (группа 92-х) в своей резолюции пишут:

«Существование меньшевистской партии Грузии нас глубоко убедило в ее *шовинистской политике*, которая нанесла огромный вред трудящимся массам Закавказья. Сегодня народами Закавказья, как единой братской семьей, руководит коммунистическая партия и этим путем борется против мирового капитализма. Покидая навсегда ряды меньшевистской партии, клянемся бороться вместе с коммунистической партией. *Да здравствует международная рабочая солидарность! Рабочие, все под знамя коммунистического интернационала!*».

Следующая группа бывших меньшевиков (список 56-ти) в своем заявлении пишет:

«Мы, рабочие, лишены научного образования и поэтому *не можем философски обосновать преимущества пролетарской диктатуры и Советов перед демократической республикой и Учредительным Собранием, но своим рабочим инстинктом мы ясно чувствуем, что сегодня, в период революционных бурь, совершенно неприемлемо сотрудничество с нашим вековым врагом—буржуазией*. Мы хорошо видим, что, если будем говорить о демократизме, то совершенно *невозможно представить более демократическую форму, чем Советы*, так как в этих советах нет места ни дворянству, ни духовенству, ни буржуазии, которые—это бесспорная истина — составляют и устои реакции»

Авторы письма порывают всякую связь с меньшевистской партией и призывают «настоящих рабочих и крестьян последовать их примеру». «Надеемся,—говорят в заключение авторы письма,—что *рабочие хорошо поймут язык рабочих*».

Далее группа 84-х в своей подробной резолюции, между прочим, заявляет:

«Меньшевистская партия все свои силы употребила на борьбу против истинных социалистов. Этим об'ясняется то, что она *Грузию превратила в арену для действия войск европейской реакции*. Отсюда, из пределов Грузии, она подготовляла величайшую опасность для революционной Грузии. Оставляя ряды меньшевистской партии, мы призываем всех рабочих и крестьян, в ком только осталась революционность, покинуть ряды этой бандитской партии и содействовать Советской власти в ее строительной работе, руководствуясь примером нашего старого, теперь образумившегося товарища Виктора Тевзая, который открыто заявил о своих ошибках».

Мы отметили только ничтожное количество тех заявлений, которые были опубликованы в грузинской советской прессе и которые в совокупности дают почти полную характеристику грузинской социал-демократии. В течение трех месяцев—март, апрель, май—по одной только центральной грузинской газете «Коммунисти» нами было зарегистрировано *53 групповых заявления;* каждое из этих заявлений представляет само по себе любопытнейший политический документ, но цитировать всех их, разумеется, совершенно невозможно. Очевидно, в ближайшее время эти заявления будут собраны и составят в высшей степени поучительную книгу, которую, несомненно, следует посвятить вождям меньшевистского интернационала — в память о «незабвенных неделях».

Отметим только последнее заявление меньшевиков города Ланчхуты Город этот—родина вождя грузинского меньшевизма Жордания. Если по всей Грузии Жордания в свое время пользовался огромной популярностью, то здесь, в его родном городке, его буквально боготворили. А теперь 156 членов меньшевистской организации г. Ланчхуты выступили с убийственным заявлением против меньшевистской партии. В этом заявлении они, между прочим, пишут:

«Мы спрашиваем наших вождей, что *дали* они и их собратья, дашнаки и муссаватисты, рабочему классу и беднейшему крестьянству Закавказья во время их господства? *Вместо мира — войну, вместо освобождения—господство европейской буржуазии, вместо просвещения—раздувание национальной розни, вместо улучшения положения рабочего класса—только болтовню.* Где были лидеры меньшевистской партии тогда, когда рабочий класс России и Закавказья истекал кровью в борьбе с внутренней и всемирной буржуазией? *Они были в лагере врагов, они всеми средствами помогали кровопийце-буржуазии,* чтобы она имела возможность по-прежнему сосать кровь трудящегося народа».

Заявляя о своем уходе из рядов меньшевистской партии, соотечественники Жордания восклицают:

«Да здравствует Коммунистический Интернационал! Да здравствует единый трудовой фронт против капитала! *Проклятие тем, кто боролся и сегодня борется против трудового народа!*».

Как выше было указано, нами за три месяца зарегистрировано 53 групповых заявления о выходе из меньшевистской партии. Эти данные не полны. На самом деле, несомненно, групп было несколько больше: до нас не все номера газ. «Коммунисти» доходили. Кроме того, заявления печатались и в других газетах. Тем не менее и эти недостаточно полные данные позволяют нам составить представление о том, *какой элемент* покинул ряды меньшевистской партии.

Самая меньшая группа составлялась из трех человек, самая большая из 170, в среднем на каждую группу приходится по 37 человек. *Огромное количество индивидуальных заявлений*, часто исходящих от видных работников партии, *нами не зарегистрировано*. А такие заявления публиковались почти ежедневно, начиная с 1922 года. В особенности же единичные заявления участились после публикования массовых заявлений о выходе из рядов партии.

Всего, по нашим данным, за первые три месяца заявило о выходе из меньшевистской партии 1.966 человек,—повторяем, только по групповым заявлениям. Сведения о стаже вышедших из партии имеются относительно 1.477 человек, остальные 489 в своем заявлении стажа не указывают. Эти 1.477 чел. по своему стажу разделяются следующим образом: вступивших в партию до 1905 года 285 чел. (19,3%), вступивших в партию за период с 1905 по 1914 г. 387 ч. (26,2%), вступивших в партию в период с 1914 г. по 1917 г. 95 ч. (6,4%). *Итого с дореволюционным стажем покинуло меньшевистскую партию 767 чел., что составляет 51,9%*. Далее, вступивших в партию в 1917 г., вышло 341 чел. (23,1%), со стажем 1918—1919 г.г.—316 чел. (21,4%), со стажем 1920—1921 г.г.—53 чел. (3,6%), итого с дореволюционным стажем 710 чел., или 48,1%.

Всего *со стажем от 5 до 25 лет 75%. Эта цифра убийственна для грузинской социал-демократии. Эта цифра убийственна для мирового меньшевизма. 75% вышедших дают элементы, вступившие в партию в то время, когда она могла считаться еще революционной рабочей партией, когда она не стояла у власти. 52% ушедших имеют дореволюционный стаж.*

Против таких цифр ничего серьезного сказать невозможно. Только 25% вышедших из рядов меньшевистской партии вошли в эту партию в период, когда она стояла у власти. *Основной слой рабочих революционеров, которые вынесли всю тяжесть революционной борьбы в Грузии, которые серьезно относились к красному знамени* (в 1920 г. оно было заменено меньшевистским правительством *трехцветным* знаменем), *рабочие революционеры, которые серьезно считали меньшевистскую партию социалистической, марксистской, интернациональной партией*,—эти рабочие революцио-

неры, убедившись окончательно, что меньшевистская партия не является ни марксистской, ни социалистической, ни интернационалистической, покинули ее ряды. 767 рабочих и крестьян с до-революционным стажем, 285 человек, или *19,3%, вступивших в партию до 1905 года,*—для меньшевистской партии это—катастрофа! *После таких уходов старая меньшевистская партия умирает...*

Но мы подвели неполный итог только за три месяца.

«Твердый» Ц. К. и «лишние» рабочие.

Центральный Комитет меньшевиков сделал отчаянную попытку остановить катастрофический развал. Он выступил с грозным заявлением, в котором всю историю об'яснил давлением че-ка и слабостью ушедших, обзывал их изменниками и заявлял, что уходит «колеблющийся элемент», представляющий для партии «лишний балласт».

Обвинение старых рабочих революционеров в трусости и измене социалистическому знамени вызвало бурю негодования не только среди ушедших, но и среди тех рабочих, которые оставались еще в партии. Все прекрасно понимали, что ушедшие не являлись ни трусами, ни, тем более, изменниками рабочему делу.

Целый ряд рабочих групп дал достойный ответ банкротам из Центрального Комитета. Приводим один только исчерпывающий *ответ рабочих тифлисского трамвая*. Вот, что мы в этом ответе читаем:

«Мы, рабочие трамвая, вышедшие из рядов меньшевистской партии, рассматривая резолюцию Центрального Комитета по поводу развала партии, заявляем:

1. Мы решительно отвергаем попытку меньшевиков об'яснить наш уход, как результат воздействия со стороны власти. Мы, которые десятилетиями работаем в партии, знаем, что *никакая власть, никакие репрессии не могут заставить преданных партии людей тысячами оставить ряды этой партии.*

2. Мы совершенно сознательно, отдавая себе полный отчет и взвесив каждый наш шаг, вышли из рядов меньшевистской партии, так как *перед нашими глазами наши руководители примкнули к капиталу.*

3. *Кто именует нас предателями? Те, которые в продолжение двух лет на заграничные деньги пытаются потопить в крови рабоче-крестьянскую власть,* те, которые организационно связались в Паритетном Комитете с дворянами, князьями, попами и кулаками, те, которые организуют вооруженное восстание, которые были связаны с бандитскими шайками Грузии. Мы не изменники рабочему классу, а мы сознательные пролетарии и порвали всякую связь с меньшевистскими руководителями, изменившими пролетариату.

4. Нам говорили в течение многих лет, что необходимо соглашение с буржуазией, что рабочий класс не должен брать власть в свои руки, что только демократия откроет путь к социализму. *Во время трехлетнего господства меньшевизма мы на практике ознакомились с демократией.* Господство англо-французского капитала, национальная вражда, развал народного хозяйства, отрыв грузинских рабочих от революционного пролетариата России и превращение демократической Грузии в арену борьбы между капиталом и пролетарской революцией,—вот итоги меньшевистского демократизма.

5. Мы убеждены теперь, что *только при помощи пролетарской диктатуры трудящиеся могут притти к социализму. Тот, кто является врагом Советской власти, тот является врагом революции, тот изменник пролетариата и слуга капитала.*

6. На примере Германии и других стран мы *убедились, что пролетариату трудно будет победить буржуазию там, где сильна социал-демократия.* Меньшевики на каждом шагу доказывали свою преданность капиталу и предательство в отношении рабочих. *2-ой Интернационал стал надежным резервом буржуазии.* Теперь для каждого сознательного рабочего ясно, что только 3-ий Коммунистический Интернационал является надежным стражем пролетариата.

7. В резолюции Ц. К. меньшевиков нас назвали колеблющимся элементом и излишним балластом. Мы, рабочие трамвая, старые члены партии, которые работали 10-летиями, которые составляли *главное рабочее сердце меньшевистской партии*, с презрением оставляем без внимания такую оценку нас и отвечаем меньшевистскому Ц. К.: *если мы излишний балласт для меньшевистской партии, надеемся, что станем не последними в авангарде рабочего движения.*

8. Рабочие и крестьяне, разумеется, излишний балласт для тех, кто всю свою судьбу связал с буржуазией и капиталом. *Чтобы окончательно освободить меньшевистскую партию от рабоче-крестьянского балласта, сегодня мы выбираем Инициативное Бюро, которому поручаем вместе с рабочими других производств организовать конференцию бывших меньшевиков.* Мы обращаемся ко всем рабочим, ко всем трудящимся во-время одуматься и оставить партию, желтым знаменем которой пользуется буржуазия в борьбе против рабочего класса. Да здравствует всемирная пролетарская революция!».

Документ, разумеется, не нуждается ни в каких комментариях. Центральный Комитет меньшевистской партии получил ответ, которого он заслуживал.

После этого замечательного выступления меньшевистского Ц. К. развал партии еще более усилился, несмотря на то, что Ц. К. меньшевиков проявил большую энергию: распространял листки и воззвания, уговаривал, угрожал, что вышедшие из партии будут перед лицом всемирного пролетариата ошельмованы в качестве изменников революции и т. д., и т. п. Ничто не помогло;

групповые и единичные заявления о выходе из партии все время продолжались.

Конференции бывших меньшевиков.

Началась подготовка к организации конференций бывших меньшевиков. Конференции состоялись во всех крупнейших городах и уездных центрах Грузии, они проходили почти одновременно, как в Тифлисе—столице Грузии, так и на местах. В некоторых случаях провинция даже опережала центр.

6-го июля состоялась конференция 1-го района г. Тифлиса. 1-й район—это рабочий центр Тифлиса. Здесь расположены жел.-дорожные мастерские, депо и ряд других предприятий. Сюда входит рабочий поселок Нахаловка. И для меньшевистской и для большевистской партии 1-й район всегда был основным районом.

На конференции бывших меньшевиков от рабочего района главным докладчиком выступал бывший член Центрального Комитета меньшевистской партии, бывший член Учредительного Собрания, один из виднейших рабочих—, меньшевик *Фарниев*. Конференция об'явила меньшевистскую организацию 1-го раойна распущенной. В своей декларации конференция, между прочим, заявила:

«Наш уход из меньшевистской партии нельзя об'яснять насилием со стороны правительства. Это есть *сознательный уход из рядов партии, которая имеет много заслуг в прошлом, но которая сошла с исторического пути пролетариата. С болью в сердце оставляем ряды той партии, с которой были неразрывно связаны многолетней борьбой за рабочее дело»*. В заключение конференция заявляет: Ввиду того, что все рабочие вышли из меньшевистской организации 1-го района, то *«отныне никто не имеет права пользоваться именем той организации, которая уже не существует»*.

Конференции состоялись также во 2-ом и 3-ем районах Тифлиса. 2-й район целиком присоединился к декларации 1-го района и со своей стороны заявил:

«Во имя сохранения в руках пролетариата всех революционных завоеваний в интересах усиления пролетарской борьбы во всемирном масштабе, конференция призывает всех честных революционеров об'единиться вокруг Советской власти для борьбы против капитализма и контр-революции... Конференция *отвергает формулу меньшевизма: через демократизм—к социализму—и призывает всех стать на платформу Советской власти»*.

Конференция обратилась к заключенным в тюрьмах меньшевикам и к революционной молодежи с призывом уйти из рядов меньшевизма и стать под знамя пролетарской революции.

Аналогичная декларация была принята конференцией 3-го района.

Конференция 4-го района в своей декларации, между прочим, заявляет:

«Не будучи принципиально противником пролетарской диктатуры, меньшевистская партия все же об'явила борьбу пролетарской революции,

признав ее несвоевременной, и тем очутилась в лагере врагов рабочего класса. *Шествие русской революции по восходящей линии и переход революционной власти от одной стадии ко второй оправданы историей. Меньшевистская партия, продолжая борьбу против Советской власти, группировала вокруг себя обреченные историей элементы старого общества и среди этих элементов теряла свое социалистическое лицо.* Вся борьба против Советской власти в настоящих условиях вызывает усиление реакции не только у нас, но и во всемирном масштабе, ибо *поражение Советской власти вместе с тем является поражением идеи социализма и, разумеется, поражением идеалов рабочего класса во всемирном масштабе».*

Все районные конференции избирали делегатов на общегородскую тифлисскую конференцию. На тифлисской конференции было представлено 1.800 человек. С докладом о диктатуре демократии выступал т. Мартынов (этот доклад он делал почти на всех районных конференциях и на ряде уездных конференций). Далее. в порядке дня конференции стояли вопросы: национальный. о тактике грузинской социал-демократии, о развале партии и о созыве всегрузинской конференции бывших меньшевиков.

Декларация конференции, в которой меньшевистская организация Тифлиса об'является распущенной, была принята всеми голосами при 13 воздержавшихся. Вопросы порядка дня конференции обсуждались со всей подробностью. Центральный Комитет меньшевиков как на районных, так и на тифлисской конференции имел своих неофициальных представителей, которые по всем пунктам порядка дня пытались отстаивать линию партии. Но дело это было безнадежно. Конференция. ведь, потому и стала возможной, что вопрос о политике и тактике меньшевизма стал слишком ясным для подавляющего большинства рабочих членов меньшевистской партии.

В своей декларации тифлисская конференция бывших меньшевиков говорит:

«1. В оценке Октябрьской революции партия меньшевиков ошибалась. История уже оправдала переход власти в руки трудящихся масс.

«2. Борьба меньшевистской партии против Октябрьской революции привела ее к борьбе против российского пролетариата, а враждебное отношение этой партии к российскому пролетариату явилось ударом в спину истекавших кровью русских пролетариев, которые вели борьбу против контр-революции, пытавшейся ликвидировать все завоевания революции.

«3. Разорвав союз с русским пролетариатом. меньшевистская партия содействовала антантовскому империализму в его борьбе против Советской власти. Тем самым меньшевистская партия изменила принципу борьбы за пролетарское дело.

«4. *Дав полную свободу господства антантовскому империализму, меньшевистская партия не пыталась заключить союз с русским пролетариатом, который нам несравненно ближе, чем империалисты.*

«5. Стремление рабочих и крестьян к восстановлению связи с русским пролетариатом безжалостно было задушено демократической властью Грузии.

«6. *Не считаясь с тем обстоятельством, что всякая борьба против Советской власти в условиях реакционного движения буржуазии ведет к гибели рабочего класса, его завоеваний, к гибели идеи социализма, меньшевики доселе продолжают неутомимую борьбу против Советской власти, чем льют воду на мельницу реакции*».

Исходя из этих основных положений, конференция рвет с тактикой меньшевистской партии и «*твердо становится на позицию диктатуры пролетариата*», на основе которой, находясь в прочном союзе с крестьянством, пролетариат может «сохранить в своих руках власть».

Большой интерес представляет уездная конференция, состоявшаяся в *Кутаисе* в первых числах июля. Инициатива созыва этой конференции принадлежала *рабочим меньшевикам г. Самтреди.* Подготовительная работа конференции велась в течение двух месяцев. Центральный Комитет меньшевиков, учитывая всю важность для себя кутаисской организации, — самой важной в Западной Грузии,— прилагал все усилия к тому, чтобы сорвать эту конференцию. Подготовительная работа протекала в условиях почти полной свободы для агентов меньшевистского Ц. К. вести агитацию—и устную, и печатную—против инициаторов конференции. По окончании конференции ее руководитель *Бахтадзе*, видный рабочий деятель меньшевистской партии, в газете «Коммунисти» писал:

«Заявляем во всеобщее сведение—и соответствующие документы, подписанные и с печатью, у нас имеются,—что в Кутаисском уезде в избирательной кампании на конференцию происходила форменная идейная борьба между двумя течениями меньшевизма. В эту борьбу *власти совершенно не вмешивались... На одной стороне стояло Инициативное Бюро, рабочие меньшевики города Самтреди, на другой стороне стоял меньшевистский Ц. К. со своими специально посланными эмиссарами, со своими местными агентами, прокламациями, листками, инсинуациями, провокациями и, представьте, угрозами, да, именно угрозами, что они «расправятся» и т. д.*».

Конференция окончилась блестящим успехом для сторонников ликвидации партии. В выборах делегатов приняло участие 1.630 активных членов партии. Среди них больше половины рабочих города Самтреди, ж.-д. района Кутаиса, Тквибульских копей и т. д. Социальный состав делегатов конференции: *рабочих—117, крестьян—115,* служащих—70, интеллигентов—8, прочих—11, всего—321. Национальный состав: мусульман—1, русских—2, грузин—318. По образовательному цензу: с высшим образованием 3, со средним—32, с низшим—135, с домашним—145, неграмотных—6. Но самое интересное, разумеется, партийный стаж. *Со стажем до 1905 года—145, почти половина, со стажем от 1905—1914 г.—30 человек, с 1914—1917—*

101, с 1917—45. Таким образом *почти 80% всех делегатов—члены партии с дореволюционным стажем.*

Почти во всех районах, сельских обществах, селах организации меньшевиков об'явлены распущенными. С основным докладом на конференции выступил тов. Мартынов. Его выступление вызвало бурный энтузиазм. Конференция устроила ему продолжительную овацию. По окончании конференции на улицах Кутаиса были устроены грандиозные демонстрации... Похороны меньшевизма в Кутаисе—на родине Чхеидзе и Церетели — носили весьма торжественный характер.

Тут—конец!

22-го августа состоялась *всегрузинская конференция бывших меньшевиков.* Она подвела итоги проведенной работе исторического значения и констатировала совершившийся факт—*смерть грузинского меньшевизма.* Грузинская социал-демократия *как партия рабочих и крестьян умерла.* Оставшиеся в ее рядах интеллигентские, мещанские, мелко-дворянские элементы могут еще на некоторое время размахивать «старым знаменем» партии. *но по своей социальной природе это будет «новая»* партия грузинской средней буржуазии.

Рабочий класс Грузии целиком сплотился под знаменем коммунизма. Пролетарии, прошедшие хоть и меньшевистскую, но *революционную школу*, снова обрели истинный путь революции и социализма...

Выше мы сказали, что развал меньшевитской партии Грузии является «небывалым». Понятие «небывалый» относится, в сущности, к *темпу*, к *сроку*, в течение которого этот развал произошел. На деле, в Грузии повторилось то, что произошло в России. *Но в России меньшевизм развалился в течение пяти лет, в Грузии он крахнул в течение пяти месяцев.* Это небывало!

Особенность заключается еще в том, что развал партии в Грузии сопровождался *борьбою, активностью* уходящих. В России уходили *пассивно.* В Грузии, уходя, *взорвали* партию, предательство которой стало очевидно для ее пролетарской части.

Вообще говоря, всякая победоносная пролетарская революция неизбежно убивает меньшевизм. В Германии, где социал-демократия уже основательно зашаталась, она сгорит в огне революции. Судьба русско-грузинского меньшевизма не избегнуть всемирной социал-демократии.

В Германии меньшевизм, повидимому, погибнет в историческое завтра. «Социалисты» Англии, Франции, Бельгии, Швеции имеют еще некоторый срок...

Во всяком случае, сегодня одно несомненно: *в Грузии «незабвенные недели» для вас, Вандервельды и Макдональды, Ренодели и Сноудены, более не повторятся—никогда!*

Тут—конец!

Научная организация труда и ее анархистское выявление.

Я. Шатуновский.

После пяти лет Советской власти казалось бы нет уже надобности доказывать, что командные высоты пролетариата вообще и идеологические в частности выдерживают натиск буржуазной и мещанской стихии, когда они в твердых руках коммунистов, и тем не менее научная организация труда, к сожалению, находится под влиянием и воздействием идеологии работникок, только по недоразумению занимающих наши высоты.

Первое место на этих высотах занимает поэт А. Гастев. Сильное перо и образный язык делают его статьи и книжки для многих привлекательными и вызывают готовность верить на слово в полезность руководимой им работы.

Ввиду широкого распространия, которое получает сейчас литература по научной организации труда, необходимо внимательно отнестись к его последней книжке «Восстание культуры», которая к тому же претендует на то, чтобы по этим вопросам стать и руководящей в Республике и без должного отпора может на некоторое время ею сделаться.

А. Гастев, его идеология и его Институт идут, как пена на гребне производственной волны нашей революции. Пена всегда на гребне, но не всем видно, что это только пена. И поэтому книжку А. Гастева, в которой он собрал свои основные манифесты, необходимо разобрать детально.

Сначала обложка. В верху на черном фоне сероватый А. Гастев. Затем идет название—«Восстание культуры». — Восстание не простое, а символическое. Буквы все возрастают. Над ними вьются не то молнии, не то стрелы. После «А», которое занимает уже почти пол обложки, восстание идет на убыль, и буквы подпираются изображениями символических прямых углов и тупоугольного треугольника. Сама «культура» призрачно-синяя и клепаная. Клепана она неграмотно: по одной заклепке на каждый шов, так что расшатать ее могло бы дитя малое.

Пожалуй, нечего и расшатывать. Это, собственно, не заклепки, а одни только дыры—тронь, все рассыпется. К сожалению, ее защищает подпись под книжкой: издательство «Молодой Рабочий».

Эта внешность характерна для А. Гастева, который, как Армия Спасения, берет сначала показательной пестротой, а потом громкими, но пустыми фразами.

Крикливая внешность могла быть работой самих издателей. Бывает, что издатели придадут твоей книжке такой вид, что от нее приходится отказаться. В данном случае этого нет. Этими поломанными буквами разных размеров А. Гастев занимает нередко целые страницы наших газет. После обложки идет портрет А. Гастева. В полукружном сиянии архангела кубистские пятна демона. Лицо по линии середины глаз разрезано пополам, и половинки грозно сдвинуты. Шея Дон-Кихота Ламанчского, кое-где подправленная топором, уходит в свиттер, излучающий сияние. Вся грудь покрыта огромной ладонью руки, повидимому, вдохновенно вооруженной пером поэта, и по стремлению к величественности напоминает руку на портретах Козьмы Пруткова.

Вокруг лица воздушные замки, телеграфные столбы, взрывы и знаменитые гастевские спасатели отечества: молоток и зубило.

Еще одна страница для совершенно бессмысленного рисунка, сделанного почему-то в клетку. Можно перейти к самому содержанию книжки.

Сначала предисловие. «Сноровка и выдержка прежде всего должны быть в Ваших работающих руках, в Ваших ходячих ногах. Они автоматически дают выдержку и сноровку Вашей голове» (стр. 4).

Оригинально и просто. Обрабатывать голову задача трудная вообще, а для А. Гастева—в особенности. Давайте руки, давайте ноги. Кулачный боец, велосипедный гонщик—вот истинные автоматические мыслители; рубщик зубилом—вот выдержанный готовый работник мысли, вот уже обученный борец за новый мир. Читать Маркса и даже книжку А. Гастева уже ненужно, пожалуй, вредно.

Последнее верно, и пусть бы А. Гастев обрабатывал руки и ноги, нет, он пишет книжки, «долбит в одну точку» (стр. 4) и претендует не более, не менее как на то, чтобы «мне этими строками удалось создать хотя бы по десятку долбежников в каждом городе (стр. 4). Это к 2.500 городам СССР приписать 0. А много ли А. Гастев знает книжек, которые бы давали сразу 25.000 долбежников. Или ему, наоборот, может быть, оскорбительна ничтожность моего предположения, и он называет городами и села, которые больше других городов—бесчисленные большие и промышленные села. Уральские и др. заводы и т. д. Может быть, речь идет не только о бедной, неграмотной, книжек не читающей СССР, где в большинство городов эта книжка, пожалуй, и не попадет, а обо всей богатой загранице, о Европе и Америке.— и при этом в каждом городе десяток. Это уж, называется, счет потерять. Помилуйте, А. Гастев, нельзя ли примириться на меньшем, ведь у самого Хлестакова было только 30.000 курьеров.

Первая глава «Бьет час», и нам «из той рухляди, какая осталась, над почти делать все своими собственными силами» (стр. 5).

Вот непонятно, почему из рухляди. Царя мы смели, чиновника Акакия Акакиевича смели, свадебного генерала не сыщешь—смели. Смели помещика фабрикант Вукуло и купец Кит сметены—всю живую рухлядь смели. Н сметенное, в виде всяких губошлепов и бумагомарателей науки, искусст и техники, хотя бы они занялись даже НОТ-ом,—сметем. Это уж—будьте по койны. Из живой рухляди, сметенной и несметенной, ничего не сделать даж А. Гастеву при всем его старании.

Но может быть та рухлядь, о которой говорит А. Гастев,—орудия про изводства и сырье?

Сырья не осталось, но оно текуче, и его обычная жизнь — один го. Создадим ли мы его или купим за границей в обмен на урожай, это не буде оставшейся рухлядью, а оборудования у нас достаточно много—отличного Для выплавки чугуна из 65 домен Юга России работают 2. Трудно ли выбрат такие, которые лучше тех, что работают в Европе и Америке? Там ж катают сортовое и листовое железо 5 заводов из имеющихся 17. То же в всем, вплоть до 7½ миллионов исправных веретен в текстильной промышлен ности Московского района, из которых работает 1½. Кое-где оборудовани не хватает, но вообще его избыток. При избытке говорить о рухляди н приходится; но если бы это было так, то и тогда только дрянной столя может тупым рубанком строгать гнилую колоду. Ничего у него из такой работы не выйдет.

Мы идем другим путем. Наша ставка на нашу лучшую в мире руду на дубовые и буковые леса, на мачтовые сосны, на лучший в мире лен, н первоклассный хлопок, посев которого мы в этом году утроили, на мерино совую шерсть, которую мы вновь заводим.

Не знаю, на какой рухляди умеет работать поэт Гастев, наша ставк на машинизацию лесных и всяких других заготовок, на агрикультуру, н новую технику, по пути которой идет Германия, выбрасывая старую ка неокупающуюся в тяжелых условиях денежной депрессии.

А. Гастев слышал, что нет средств для новой техники, но, может быть А. Гастев слышал и о том, что снегоочиститель стоит дешевле тех лопа и кирок, которые он заменяет, и его стоимость иногда окупается его рабо той за один день. Может быть, А. Гастев слышал о паровом молоте в 5 тон или о пневматическом молоте, который делает 3.000 ударов в минуту и за меняет сотни и тысячи кузнецов, может быть, он вместо поэзии рухляд займется простым подсчетом того, насколько меньше нужно затратит средств на изготовление пневматики по сравнению с ручным дзебанием мо лотком по зубилу и сколько новых механических установок мы ежедневн ввозим и изготовляем. Может быть, он учел бы и то, что молоток и зубил это только так называются «собственными силами», а они тоже в наш время требуют техники. Для них нужна сталь и ее высоконаучная обработка

В понятие рухлядь у А. Гастева укладывается, повидимому, многое. «Есть черты,—пишет он в начале этой главы,—покрывающие одним настроением самые различные группы и слои населения. Этим настроением заражены в значительной степени и революционеры и контр-революционеры, попы и атеисты, старики и юноши, рабочие и капиталисты, простой поденщик и советский сановник. Эти черты—раздумье, неверие, скептицизм, ожидание.

«Даже партийные рамки, повидимому, не способны обеззаразить широкие массы от этих настроений» (стр. 5).

Интересны эти сопоставления: рабочие и простой поденщик оказываются понятиями разными; первому противопоставляется капиталист, второму — советский сановник. О каких сановниках речь? У нас есть советские работники, годные и негодные—сановников пока нет. Есть закомиссарившиеся, которых мы при чистке выбрасываем, а в обычное время гоним вон, и потом не все ли, вообще, равно, какие настроения у всех этих групп, кроме групп трудящихся, и типично ли для трудящихся нашей эпохи—раздумье, неверие, скептицизм, ожидание? Казалось бы та революция, в которой так или иначе участвует А. Гастев, дала основание считать господствующими другие настроения.

«Как безумно мало людей, — восклицает он далее, — помешанных на одной определенной организационной идее» (стр. 5). Помешанных, по счастью, мало,—часть обезврежена посредством изоляции в сумасшедших домах. Но есть такие, которые помешались на следующем:

«При усилии или, вернее, при суровом насилии над собой можно, очутившись в лесу только с огнем, ножом и с полпудом хлеба, развернуть через полгода настоящее хозяйство. Только надо вдуматься на другой же день, как крепче устроить упорные колья для костра, состряпать лопату, смастерить лом, набрать с'едобных листьев, ягод и кореньев и даже устроить аптеку» (стр. 8).

Робинзон Гастев захватил кое-что лишнее. Зачем ему полпуда хлеба? Пощипать травки можно уже в первый день. Зачем огонь? Его можно выбить камнем, добыть трением. Нож человеку помешанному прямо опасен, и при этом дома им все равно не построить, и в лучшем случае его сразу испортишь, занявшись понятными и нужными только помешанному упорными кольями для костра».

В патетической главе «Бьет час» есть не только бред, есть и бредовые идеи, например:

«Профессора и учителя, бросьте принципиальное непротивленчество ваших трудовых школ. Рядом с беззаботной прогулкой ребенка по истории культуры делайте ему принудительные прививки энергии и работайте по педагогической инструкционной карточке. Как занимаются культурой животных, так же надо заниматься культурой людей» (стр. 10).

Итак, Луначарского в отставку. В Наркомы Просвещения клоуна Дурова. Давайте организовать изготовление дрессировочных хлыстов вместо

учебных пособий. Можно, учитывая все же некоторое физическое отличие человека от животного, заменить хлысты нагайками.

Можно было бы на этом вопрос об А. Гастеве покончить, если бы он не умел, как тургеневский Аркадий, говорить красиво и если бы им не были увлечены многие товарищи; перейдем поэтому к следующей главе.

Речь идет о «народной выправке»,—подход исторический.

«Под ружье стало сорок миллионов человек. А Европа и Америка готовили вторую сорокамиллионную смену». «Россия ответила революцией. И, к удивлению многих, здесь, кроме пения марсельезы и красных флагов, пронеслось настоящее черное знамя грязи, копоти, гражданской войны, голода, людоедства» (стр. 12). Грязь и копоть, голод и людоедство—все от революции. Это ли не мещанство?

Дальше идут следующие не менее мещанские, но еще более устаревшие рассуждения.

«Революция экспериментально, почти лабораторно показала, что за стихийные под'емы и стихийные реакции в нынешние времена придется расплачиваться катастрофой культуры» (стр. 12).

Итак, культура погибла, и нужна новая,—нельзя же без культуры. На этом основании дальше, в форме пафоса и революционной фразы, идут мещанские рецепты, и «можно быть уверенным, что Вы из наблюдения хотя бы над криком торговок на базаре создадите особую науку» (стр. 13). При этом А. Гастев и не думает спросить вас, считаете ли вы нужным этот крик изучать. Тут «любовь к трудовым орудиям» (стр. 14). При чем «все орудия, все обработочные машины, это—интуиция человеческого тела, человеческого организма» (стр. 14).

На этом глубокомысленном основании все сводится к изучению и подбору человеческой машины. «При такой постановке и кретин найдет свое место, и сумасброд—подходящий бассейн (стр. 16). Неясно, что это значит, но надо думать, что А. Гастев тогда нашел бы другой бассейн, а не тот, в котором он сейчас плавает.

Подбор и изучение, конечно, недостаточны, основа всего—тренировка. Реальная политика А. Гастева это «Если прежде гимнастика Мюллера была в комнате барчука или любителя, тренировочные модели должны быть не только в заводах, но и в каждой крестьянской избе» (стр. 16). Непонятно только, что раньше,—тренировочная модель, плуг или хотя бы соха. Еще «нашу страну надо о-город-ить, надо урбанизировать» (стр. 16).

Ясно, что сейчас, реально, это значит город-ить чепуху. И «вот комплекс той культуры, за которую надо биться нашей стране» (стр. 17).

В рассмотренных главах А. Гастев вырисовывается уже с достаточной определенностью, тем не менее не остановиться на следующей главе нельзя.

«Электризация и народная энергетика» может служить примером тому, как можно долгое время иметь успех, если свое предприятие обставить достаточно помпезно.

Сначала расшаркивание перед делом, которое из рухляди как будто не создашь. «Самым лучшим, самым вдохновенным словом, которое вскрыло, как новая скрижаль новой России — этим словом стала — электрификация» (стр. 18), для которой, по сведениям А. Гастева, «создано планирующее государственное учреждение—Госплан, которое развивает свою плановую работу на основе электрификации» (стр. 19).

Пышно расшаркавшись перед электрификацией, кулик начинает хвалить свое собственное болото. — «Электрификация только одна полоса грядущего возрождения России. Оно неминуемо должно найти свой отклик в биологии современного человека» (стр. 21). Ни больше, ни меньше, давайте сразу новую биологию, но вот беда: «не сложился еще, еще не пришел генеральный план этой народной энергетизации» (стр. 21). Нет плана, и вот А. Гастев предлагает такой план.

Невольно вспоминается поэт Бородавкин, он же учитель словесности, который спьяна об'яснял гимназисткам, что такое поэтическая вольность, перепутав стихи Пушкина:

Птичка божия
Не знает ни заботы ни труда хлопотливо,
Не свивает долговечного гнезда в долгую ночь.
На ветке дремлет солнце красное.

Можно ли не знать им заботы, ни труда хлопотливо? Можно ли вить гнездо в долгу ночь? Может ли солнце красное дремать на ветке? Не может, но поэту говорить об этих вещах разрешается. Это—поэтическая вольность.

Времена изменились, поэт Бородавкин, он же учитель словесности, ушел в вечность. Нет «педагогичек» гимназисток. Поэта Бородавкина сменил поэт Гастев, теорию словесности он заменил рубкой зубилом. Путает он уже не птичку божию, а научную организацию труда. Но нам не пристало заменить гимназисток.

А. Гастев делает все это в состоянии совершенно трезвом, делает убедительно, но не доказательно: тут и необходимость «убить все философские замашки» (стр. 21). Если все, то, очевидно, и материализм и Маркса целиком. Тут и «та патриотическая растяпость, которая характерна для всех наших былин, анекдотов и художественной литературы должна быть убита бесповоротно» (стр. 22), по рецепту Скалозуба — «Собрать бы книги все и сжечь».—Тут и «мы должны изобретательность возвести в научный элемент воспитания» (стр. 22), и уже тогда, повидимому, кретин не только найдет свое место, но и будет изобретать. В конечном счете, «дежурные современной цивилизации», ввиду их отсутствия, требуют всего только создания нового человека, но это дело пока кончается довольно мирно, ограничиваясь пока одной агитацией. «В этой области нужен такой же

революционный призыв к ученым биологам, какой сделала власть по отношению к инженерам и экономистам в вопросе электрификации» (стр. 23).

Основное практическое предложение этой главы производит впечатление заимствованного из остроумной пьесы Е. Зозули, ставившейся в Теревсате. Тот сочинил пьесу «Хлам», в которой Коллегия Высшей Решимости по рецепту мудреца Ака проверяет право обывателей на жизнь. Хлам должен уничтожаться. Но во втором действии оказывается, что из этой коллегии ничего не вышло. Обыватели нашли средство доказать отсутствие права на жизнь самой Коллегии Высшей Решимости, и она обратилась в Коллегию Высшей Деликатности, занявшись поздравлениями обывателей и пожеланиями им плодиться и размножаться.

А. Гастев осторожнее Ака. Он не идет дальше «психологического паспорта». Но зато Ак скромнее и не идет дальше рамы Теревсата. Ак сам оказывается хламом. А. Гастев до второй части своего фарса еще не дошел.

«Было бы непростительно,—пишет А. Гастев, — брать на ответственные посты людей только потому, что он профессор или только потому, что он называется коммунистом, нужно этих людей проводить, по крайней мере, через полутодовой стаж, где бы за ними тщательно наблюдали и записывали их психологические реакции, инструментально измеряли их и выдавали бы психологические паспорта» (стр. 23).

Не имея никакого психологического паспорта и не имея основания надеяться получить удостоверительный, А. Гастев берется не только дать план, равный электрификации, закончив ряд путаных соображений заявлением: «Вот семь линий, из которых должны быть сконструированы принципы народной энергетики в унисон электрификации России» (стр. 24). — А. Гастев идет дальше.

«В предчувствии этого нового мира мы создаем в Москве Центральный Институт Труда, который хочет одновременно с технической проблемой электрификации России энергетизировать человека» (стр. 25).

Можно было бы потерпеть еще один институт. У нас их много. Но А. Гастев претендует ни больше, ни меньше, как на то, чтобы «те семь лабораторий, которые сейчас развернуты в Институте Труда, и которые отвечают поставленным выше проблемам, должны быть так же признаны новой Россией, как признан ею план электрификации России, а работа Института должна находиться под таким же строгим фиксированным вниманием власти, как и электрификация» (стр. 25).

У читателя, который не знает о том, что этот институт собою представляет, невольно возникает мысль. Если А. Гастев не стесняется ставить его на одну доску с Госпланом, и его работу с электрификацией, значит — он представляет собою что-то ценное.

В этой главе вскользь и глухо, по довольно невинному поводу, выплывает чужая враждебная нам идеология, которая вполне ясна из следующих строк.

«Мы говорим не об охране труда: здесь может быть столько филантропическо-дамских ошибок, сколько в обществе покровительства животным» (стр. 21).

А дальше перо поэта А. Гастева дописалось до следующей фразы: «Мы тут со всех сторон запутаны истрепанным мочалом охрано-трудческих, полицейских и обывательских идей» (стр. 24).

Вряд ли нам нужно говорить о том, что такое охрана труда в рабочей стране. Вряд ли человек мало-мальски грамотный в вопросах научной организации труда может не знать, что основным условием его производительности является светлое, чистое, просторное, вентилируемое помещение и т. д. Говорить об этом почти через 6 лет Советской власти незачем, но одно я хотел сказать. Когда-то мы, организованные фабричные, такую развязность оценивали легко и быстро. Сейчас на фабрике ее тоже оценили бы сразу, если бы ее не поддерживал авторитет учреждений, дающих на это деньги, и издательство «Молодой Рабочий».

Идет затем основная глава «Тренаж». Сначала рисунок нажимающих рук и заявление «от горячих споров об образовании, воспитании и культуре мы переходим к «Тренажу» (стр. 29).

Создание пластики движения для А. Гастева совершенно недостаточно. «В понятие физической культуры должно входить уменье питаться не много, но сытно, с регулировкой расписаний пищи даже в пределах самых беднейших возможностей, усиливая или уменьшая количество соли, черного хлеба и воды» (стр. 30). Голодное существование рабочего, пережитое и не рабочими в первые годы революции, возводится в перл создания. До мяса и белого хлеба А. Гастев не додумался.

Зато он додумался до «психологического тренажа», цель его «автоматизм» (стр. 31).

«Тренировка,—путает А. Гастев,—и есть то, что предрешает автоматизм, и даже больше.—Что предрешает автоматизм социальный. Этот социальный автоматизм является залогом цельности и нерушимости человеческой культуры в тот момент, когда рушатся ее материальные опоры. Вопросы социальной дисциплины, вопросы темпа налаженного функционирования общества, конечно, решаются этим социальным автоматизмом» (стр. 33).

А мы по необразованности строили именно на материальных опорах, не рассчитывая на то, что они рушатся. Мы не только не захлебываемся от доведения тейлоризма до абсурда, но вообще вносим в него существенные реформы. и в том числе корректив сознательности, а следовательно, и воли к труду. Тренаж для нас, это—усиление координации между хочу и могу. Агитотделы мы не закрыли, сознательность будим и поддерживаем. А Гастеву она не нужна даже для того, чтобы начать тренажем воспитывать эту самую автоматичность.

«Конечно, — говорит он, — нельзя проповедывать телесное наказание, но, во всяком случае, надо без колебания ставить суровый терпеливый тренаж, не чуждый и принуждения» (стр. 32).

Проповедывать как будто бы действительно нельзя, но и применять в каком бы то ни было виде тоже нельзя. Уж лучше проповедывать.

И, наконец, после бессмысленной страницы 34, занятой ломанными буквами и молнией, А. Гастев, который таким образом пытается крикнуть «разворачиваем», издал свой основной манифест, основную главу книги «Восстание культуры».

„Монтеры.
Вот вам выжженная страна.
У вас в сумке два гвоздя и камень.
Имея это — воздвигните город" (стр. 35).

С электрификацией или без? О ней уже больше нет речи, и опять А. Гастев не может без излишеств. Зачем таскать в сумке камень? При постройке города будет достаточно камня и щебня. Почему два гвоздя? Нельзя ли «долбить» одним. Выжженная страна тоже странно выжжена. «Молодая страна с непроходимым пластом тайги». Но выжженная тайга проходима, и если тайга есть «пласт» вроде чернозема или суглинка, то ведь мы как будто ходим по поверхности и пласты проходим только в горном деле, «с четырехсот-тысяче-верстными реками», для выжженной страны реки как будто длинноваты, но это, может быть, увлечение наборщика, первого гастевского «долбежника». «С бескрайными равнинами, по которым на бешеных ходулях мчатся бураны», а эти бураны в выжженной стране снежные? «Чуть вышедшая из стадии кочевья», самые монтеры тоже кочевники? «Европо-Азиатская громада—Россия, где по уши завяз и чуть не утонул в болоте Петр I» (стр. 35), тонул в болоте в выжженной стране—чудак!

И вот, в этой «выжженной стране», в которой сейчас недурной урожай, которым мы уже в этом году сможем ослабить стихийно выигравшую войну Америку и поддержать катастрофически ее проигравшую Японию, Советская власть организует тракторостроение, закончило Каширу, кончает Шатурскую силовую станцию, ведет работы на Волховстрое, на Кизелевской и др. станциях, строит фосфатные заводы для культурного удобрения, увеличивает производительность наших заводов, везет в Московский район хлопок иностранный и из союзной Туркестанской республики. Поезда Москва—Иркутск, Петроград—Батум и все прочие вплоть до Москва—Кунцево стали уходить и приходить минута в минуту. Аэропланы Юнкерса связали Москву с Кенигсбергом, Харьковом, Ростовом, Новороссийском. Русский инженер Шелест изобрел, и на советские деньги строит тепловоз со взрывной турбиной, которая является последним словом техники и сокращает расход паровоза на топливо втрое. Русский инженер Япольский кон-

струирует новые магнитофугальные машины, составляющие в новейшей технике переворот. Начало сети радиостанций в России положено Советской властью и т. д. без конца. Растут новые люди, новые средства и новые формы нашей величайшей эпохи. А. Гастев этого не видит и не хочет знать. Вместо всего этого, он предлагает «восстание культуры».

«В какой же форме?»—спрашивает А. Гастев и отвечает:

«В форме новой своеобразной робинзонады. Мы должны быть колонизаторами своей собственной страны. Мы, конечно. нас небольшая кучка в аграрном пустыре,—автоколонизаторы» (стр. 37). Это под стиль другого поэта Игоря Северянина сейчас не серого, а белого. У того дама едет в юрту эскимоса. Но эта дама последовательнее А. Гастева. Автоколонизаторство у нее действительно, на «ландолете бензиновом»; что у нее лежит в несессере Игорь Северянин не пишет, но об этом можно судить по практичности его использования. «Я достала фрукты и стала пить вино». У А. Гастева в «несессере культуры» лежат две спички, один камень, палка и... все (стр. 39).

И дался же ему этот камень. Всюду он, бедный, тащит его с собой. По счастью это ему не тяжело. и свое «Восстание культуры» он заканчивает призывом: «На громадном материке мы воскресим и возвеличим гениальный образ Робинзона, сделаем его шефом нашего культурного движения» (стр. 43 и последняя).

Шефом? А кто же будет работать? Кто будет строить?

Если А. Гастев рассчитывает по старому на туземного Пятницу, то тот хоть и в «выжженной стране», но под большевистским влиянием поумнел и сейчас долбить двумя гвоздями камень, чтобы вышел город, не согласен, сколько бы об этом А. Гастев не нагородил чепухи.

На нашей первой Сельско-хозяйственной Московской Выставке Пятница учится не тому, как обслуживать своего навязчивого. ненужного ему теперь гениального Робинзона, а как насадить у себя в своем новом Союзе Советских Социалистических Республик новую технику и агрикультуру своим простым умом и теми формами труда, которым под знаменем действительного НОТ он обучается в сейчас заполненных им ВУЗ'ах. И всего лучше бы А. Гастеву своей палкой из «несессера культуры» выбить себе всю свою Робинзонаду из головы.

«По десятку новых долбежников в каждом городе» А. Гастев для своих «идей» не найдет. Они действительно интересны и поучительны, но только для тех, кто изучает навязчивые идеи.

Но когда книжку выпускает издательство «Молодой Рабочий» при Центральном Комитете У. К. С. М., то этот сумбур может встретить поддержку не только среди неудосужившихся разобраться в этом идеологическом вздоре руководителей учреждений. поддерживающих А. Гастева, но, что гораздо страшнее, среди нашей молодежи, составляющей наш грядущий день. Этого не должно быть.

Физические основы жизни [1]).

Профессор **Эдмунд Б. Вильсон.**

(Пер. **С. И. Зимина** под редакцией и с предисловием **Б. М. Завадовского.**)

Я был очень польщен приглашением говорить перед данным собранием, и тем более мне это приятно. что человек, в память которого основано лекционное общество—Седжвик, был всю жизнь моим хорошим другом. Моя сегодняшняя тема взята из бесконечно малого, но всеоб'емлющего мира, лежащего в границах видимости сложного микроскопа; мира, могущего показаться очень отдаленным от области санитарии и общественного здоровья, чем занимался Седжвик. Но я уверен, что мнение самого Седжвика было бы иное, ибо он был одним из первых учителей общей биологии в нашей стране и привык думать о феноменах жизни, как о проявлении и свойствах протоплазмы.

У меня сохранились яркие воспоминания, как мы с ним в дни нашей молодости, студентами, попали на лекцию «Физические основы жизни» Гёксли в Эдинбурге и были ею очарованы. В этой замечательной лекции, читанной в 1868 году, знаменитый английский биолог выставил некоторые общие выводы, касающиеся протоплазмы, выводы, вытекающие из работ таких исследователей, как Де-Бари, Макс Шульце, Кюнэ, Брюкке и Лайонель Биль. Гёксли прочел лекцию блестяще как со стороны красоты слога, так и со стороны философской трактовки. Отчасти по этой причине, но более из-за предполагаемых материалистических выводов, она возбудила немедленный и широкий интерес в публике. Сам Гёксли предостерегал, что принять эти выводы равносильно тому, как если бы «поставить одну ногу на первую ступеньку лестницы, которая, по мнению большинства, противоположна лестнице Иакова и ведет в противоположную сторону от неба». Сам он не был материалистом, а, наоборот, верил, что материализм ведет к серьезной философской ошибке. Несмотря на это, выводы его вызвали бурю критики и протеста, которые дошли до своего апогея несколько лет позже: после того, как Тиндаль в знаменитой речи в Бельфасте провозгласил свою веру в неживое

[1]) Первая лекция в память Седжвика (Sedgwick), прочитанная в Бостоне 29 декабря 1922 г. Впоследствии она будет опубликована полностью с иллюстрациями в издании Массачузетского Технологического Института Биологии и Народного Здравия.

вещество, в качестве «залога и силы каждого проявления земной жизни». Выводы Гёксли, получившие 60 лет тому назад наименование ересей, теперь общепризнаны, но проблемы изучения свойств протоплазмы с течением времени нисколько не потеряли своего захватывающего интереса. В каком свете представляются нам выводы Гёксли после полувекового прогресса биологии?

Необходимо помнить, что эти выводы были формулированы до того, как появилась на свет современная цитология, и задолго до того, как сложилось ясное представление о клетке, как о коллоидальной системе. С нашей теперешней точки зрения мы употребляем слово протоплазма, как обобщающий термин для обозначения субстанций, которые образуют активное или живое вещество клетки. Я употребляю множественное число, «субстанции», обдуманно; именно в этой части утверждения Гёксли требуют в настоящее время поправки. У слушателей его лекции получалось впечатление, что протоплазма есть единая химическая субстанция или «живой белок». В своих вступительных словах он говорит о физической основе жизни, как «об особого рода материи, общей для всех живых существ». Он рисует соединение неживых субстанций, каковы вода, аммиак, углекислый газ, в «еще более сложные тела, протоплазму»; основные свойства этой субстанции, он утверждал, должны являться результатом природы и расположения ее молекул. «Мысли, которые я сейчас высказываю,—сказал Гёксли,—и ваши мысли, вызванные ими, являются результатом молекулярных изменений в той живой материи, которая является источником также и других наших жизненных проявлений».

В одном смысле эти слова без сомнения правильны, но все же они справедливы не в полной мере. Давно уже стало ясно, что то, что мы называем протоплазмой, не есть химически однородная субстанция. Это есть смесь многих субстанций, смесь в высшей степени сложная, в которой происходят беспрестанно различные изменения; несмотря на это, она сохраняет в продолжении бесчисленных поколений свой собственный постоянный характер. Очевидно, клетка чрезвычайно сложна, она является микрокосмом, живой системой. При помощи микроскопа мы различаем в этой системе светлую основную субстанцию или гиалоплазму, в которой находится много различных оформленных телец, очень различных по форме и функции; каждое из этих образований играет особую роль в деятельности системы. Примером этому могут служить ядро, цитоплазматические хондриозомы и пластиды, аппарат Гольджи и центрозомы, различные гранули и фибрилли. Некоторые из них оказываются постоянными, другие временными образованиями, которые являются и исчезают в калейдоскопе жизни клеток. Которые из них живы? Которые из них составляют физическую основу жизни? Что такое, другими словами, есть протоплазма?

Это затруднительный вопрос. Одной из наиболее приятных обязанностей преподавателя элементарной биологии является демонстрация студентам в лаборатории живой клетки, когда приходится убеждать их в том, что они видят протоплазму; редко приходит ученику в голову передопрашивать своего учи-

теля на эту тему. Будь это не так, как много неприятных минут пришлось бы перенести. Чем более критически мы подходим к изучению вопроса, тем очевиднее становится, что мы не можем выделить ни одной составной части клетки, как живую материю по преимуществу. В этом давно убедились такие выдающиеся цитологи, как Флемминг, Страсбургер, Бючли, Кёликер и Гайденгайн. «Никто,—сказал Флемминг,—не может доподлинно сказать, что такое протоплазма... По моему мнению живою является вся клетка в целом». К такому взгляду мы все больше и больше приходим, в то время как наши знания о клетке совершенствуются. «Мы не можем,—говорит проф. Хопкинс. — без больших неправильностей в употреблении терминов говорить о жизни клетки, как находящейся в зависимости от какого-либо особого типа молекул. Жизнь клеток есть выражение особого динамического равновесия, которое получается в многофазной системе. Некоторые фазы могут быть выделены, отделены, но жизнь является свойством клетки как целого, потому что она зависит от равновесия целого ряда сопряженных фаз». Эти выводы сходятся по существу с выводами цитологов.

Я повторяю, что, когда мы говорим о протоплазме как о физической основе жизни, мы суммируем все вещества, играющие некоторую роль в деятельности клетки. И мы не можем, я думаю, исключить из этого перечня такие субстанции, как вода и неорганические соли, о которых принято говорить, как неживых. На первый взгляд это может показаться необоснованным заключением, однако это так. Ни одна идея современной биологии не может обещать большего будущему прогрессу, как идея о клетке, рассматриваемой в виде коллоидальной системы, и то, что мы называем жизнью, есть, как говорит Чапек, комплекс бесчисленных химических реакций в этой коллоидальной среде. Современное исследование действительно так много черпает из таким образом поставленной проблемы, что является мнение, что изучению протоплазмы и клетки суждено перейти в руки физиков и химиков. Во всяком случае возрастающий интерес к изучению клетки в этом направлении служит хорошим предзнаменованием для будущего экспериментального анализа жизненных феноменов. Существуют, однако, и другие взгляды на данную проблему, основывающиеся на том, что она все-таки еще не поддается точным физическим и химическим методам исследования или же только что начинает им подчиняться. Я отсылаю к тем феноменам, с которыми приходится иметь дело цитологам, эмбриологам и генетикам, и прошу обратить сугубое внимание на эту сторону вопроса. Цитолог первый из всех поражен теми необыкновенными усилиями природы, с какою она как бы стремится обеспечить правильное распределение отдельных компонентов при разделении клеток. Ничто не может произвести большего впечатления, как картина деления ядра клетки; однако его несомненная важность часто проглядывалась или трактовалась слепым скептицизмом так, что как будто оно не имеет никакого значения. Для нашего ограниченного понимания казалось бы простой задачей разделить ядро на равные части, клетка же явно держится совершенно другого мнения. Ничто не могло бы

быть более неожиданным для нас, как картина, которая шаг за шагом развертывается перед нашими глазами в действительности. Ядро разрезается на две части таким образом, что каждая часть его сетеобразной структуры разделяется с величайшей точностью между двумя дочерними ядрами; эту процедуру клетка проделывает с видом полной и разумной уверенности. Ядерная субстанция оказывается разделенной на отдельные длинные нити или хромозомы; хромозомы расщепляются продольно на две равные части, которые укорачиваются, утолщаются, расщепляются в свою очередь и расходятся к противоположным полюсам; из каждой группы образуется по дочернему ядру, между тем как тело клетки разделяется пополам. По внешности такой процесс кажется противоречащим всем физическим принципам, однако, его значение в настоящее время совершенно раз'яснено. В общем это значит, как указал Ру сорок лет тому назад, что ядро не состоит из одной какой-нибудь гомогенной субстанции, а построено из различных компонентов, расположенных в нитях в линейном порядке, так что при продольном расщеплении нитей они разделяются и равномерно распределяются на равные части.

Этот вывод привел к целой серии исследований, которые являются наиболее замечательными открытиями нашего времени. Прямое цитологическое наблюдение указало, хотя и несколько грубо, на тот факт, что ядерные нити могут состоять из цепи меньших телец или хромомеров, имеющих иногда разные размеры. Однако несомненно, эта видимая структура есть не более, как грубое выражение более тонкой, лежащей вне видимости микроскопа. Тут пришли на помощь с косвенным доказательством генетические эксперименты по механизму менделевской наследственности. Эти доказательства были выдвинуты главным образом Морганом, Стертвентом, Бриджесом и их сотрудниками в их широко известных работах над наследственностью плодовой мухи.

Этот об'ект представляет несравнимые удобства для широких и точных опытов, благодаря легкости, с которой эти мухи могут быть разводимы, благодаря удивительной быстроте развития и частым появлениям наследственных мутаций. Я сожалею, что должен ограничиться, при упоминании об этой замечательной работе, простыми указаниями на ее наиболее общие результаты. Данные работы привели к окончательному установлению того факта, выдвинутого в более общей форме ранними наблюдателями, что ядерные нити и хромозомы, видимые во время деления клетки, играют существенную роль в процессе передачи по наследству. Исчезли последние сомнения, что менделевский феномен может быть вполне об'яснен поведением хромозом или их компонентов (как это было в общей форме впервые указано Сеттоном, Бовери и де-Фризом).

Это привело к поразительному подтверждению правильности выводов Ру об ядерных нитях, как о линейных разнообразных специфических тельцах, какого-то неизвестного нам характера, собранных в линейные ряды. Ко всему этому мы были в известной мере подготовлены ранними изысканиями, но то

что следует в дальнейшем, я сознаюсь, кажется при первом взгляде совершенно невероятным. Очевидность приводит нас к заключению, что даже мельчайшие наследственные подробности зависят от поведения бесконечно малых единиц или «генов», гораздо более мелких, чем хромомеры. Они расположены в линейном порядке в ядерных нитях, имеют каждый специфический характер,—они самостоятельно растут и делятся. И, наконец, среди наших стараний усвоить все это нас окончательно огорошивают, доказывая нам, что эти единицы должны быть в определенном числе, что они разделены очень определенными промежутками и расположены в определенном, неизменном, сериальном порядке. Когда мы пробуем разобраться во всех этих вопросах, мы теряемся. Подобные результаты действительно поразительны—некоторым умам поверить в это труднее, чем в то, что физики просят принять нас относительно структуры атомов. Несмотря на это, по всей вероятности, все это верно.

Необходимо подчеркнуть, что эти заключения возникли не в богатом воображении Боннэ, Бюффона или Вейсмана, а они являются продуктом конкретных и широко поставленных опытов, выполненных под строгим контролем. Они сделали возможными точные количественные предсказания, и получаемые цифры могут быть подтверждаемы лабораторным опытом почти с такой же легкостью, как те цифры, с которыми приходится иметь дело физикам и химикам. В этом смысле они равноценны со многими понятиями физических наук. Я полагаю, что подобные заключения можно рассматривать, как удобное измышление или алгебраический символ, как идеальную модель, посредством которой удобно сгруппировывать генетические факты. Те, кто предпочитают точку отправления брать от цитологических наблюдений, по всей вероятности воспользуются действительною моделью, которую дает нам каждая делящаяся клетка. Действительный образ производит не меньшее впечатление, хотя цитолог видит его только в неясных контурах, с неясными указаниями на еще бóльшую сложность, вытекающую из результатов генетических изысканий. Но на самом деле именно живая картина зародила предыдущие выводы, и таким образом стали возможны некоторые, самые важные экспериментальные изыскания по наследственности. Даже если рассматривать их только как рабочие гипотезы, они имеют почти не меньшую практическую ценность, чем атомная гипотеза в химии и физике.

Об'единившись, цитология и генетика выяснили нам с полной реальностью наличие организации в ядерной части клеточной системы, и эта организация по своей сложности оказывается не менее удивительной, чем умозрительные теории натур-философов. Но мы на этом не можем остановиться. Нам неизбежно приходится итти вперед, я бы сказал, оглянуться назад; мы должны обратиться к вопросу о значении цитозомы или о значении внеядерного вещества в клеточной системе. Консервативное цитологическое мнение крайне нерешительно; оно даже уклоняется от рассмотрения подобных вопросов. Было бы слишком поспешно рассматривать клеточную цитоплазматическую часть, по первой видимости: слишком еще рано считать протоплазму

за неопределенную и бесформенную массу и только за ядром признавать организованность. Мы привыкли думать об истории тела клетки, как о простом делении массы, в противоположность сложному митостическому процессу, различаемому в ядре. Однако медленно накопляющиеся факты принуждают нас основательно пересмотреть это представление. Последние цитологические наблюдения выдвигают тот факт, что многие форменные образования клетки либо прямо распределяются от материнской клетки к дочерним, как таковые, либо же предопределены заранее в виде специфических задатков.

Неопределенные указания для таких заключений были известны давно, при изучении пластид растительных клеток, которые, повидимому, в большинстве случаев, а может быть и всегда, происходят от себе подобных путем роста и деления без изменения их идентичности, хотя их распределение на дочерние клетки во время деления часто кажется неравномерным или почти случайным процессом. В более позднее время было показано, что центриоли или центральные тельца, составляющие фокусы митостического деления, самопродолжаются схожим образом, но в этом случае передача происходит совершенно определенным путем—от клетки к клетке во время деления. Более новые цитологические исследования поднимают вопрос, не происходит ли того же самого с другими форменными телами. На этот вопрос окончательного ответа не дано, но появились такие наблюдения, которые ставят в этом отношении под подозрением хондриозомы и аппарат Гольджи. Они во многих случаях передаются при делении материнской клетки на дочерние, разделяясь с такой точностью, как и хромозомы. Во многих случаях хондриозомы располагаются отдельными группами вокруг экватора кариокинетического веретена и расходятся на равные дочерние группы, направляясь к различным полюсам. Можно ли эти образования рассматривать как неизменяемо идентичные образования, и насколько они при делении происходят только от себе подобных,—вопрос до сих пор остается спорным. Несомненно, что иногда существует равномерное расщепление на две части клетки; в одном определенном случае (сперматоциты скорпиона Centrurus) все хондриозомы собираются в одно кольцеобразное тельце, правильно разделяющееся при следующем делении. Часто, правда, хондриозомы кажутся пассивно рассортированными или разделенными на две приблизительно равные группы, но во всех этих случаях возможность, что они могли размножиться делением в более ранний период,—остается открытой. Будь это так, историю их деления можно было бы сравнить с делением, обычным для пластид растительных клеток. Серьезная группа наблюдателей, возглавляемая Мевесом и Гиллермондом, заключили путем прямого цитологического наблюдения, что пластиды могут возникать путем превращения из хондриозом. Если это оказалось бы верным, то было бы дано существенное основание для заключения, что хондриозомы могут размножаться делением, раз это мы видим у пластид. Еще меньше известно с этой стороны об аппарате Гольджи; новейшие наблюдения делают ясным, что эти тела также группируются определенным образом вокруг митостиче-

ского веретена во время деления клеток и разделяются на две определенных группы, которые передаются в две соответствующие дочерние клетки.

Оставив в стороне сомнительные и спорные вопросы, кажется достаточно ясным, что во многих случаях специфические субстанции, из которых соответственно составлены хондриозомы и аппарат Гольджи, не образуются de novo в дочерних клетках, но каким-то образом прямо происходят из соответствующих компонентов материнокой клетки. Теперь стало известным, что процесс их расщепления в дочерних клетках в некоторых случаях не может рассматриваться как просто пассивный или механический результат митоза; он определяется более определенным и важным отношением между этими тельцами и центрами делений, ибо, как недавно было показано Боуэном, хондриозомы иногда собираются определенным образом по отношению к центрам, так что имеют большое сходство с хромозомами. Во всем этом мы видим поверхностные указания более глубокого процесса, посредством которого сложная цитоплазматическая система продолжается нетронутой из поколения в поколение. Это будет нам понятнее, когда мы шире взглянем на происхождение цитоплазмических форменных телец вообще; эта проблема теперь открывается перед нами в новом освещении.

Возможно, что некоторые, а возможно и многие из различаемых нами форменных телец непосредственно передаются от материнской клетки к дочерней в виде хондриозом или аппарата Гольджи и лишь позже видоизменяются в более дифференцированные тела. Такое мнение поддерживается некоторыми очень серьезными учеными. Однако насколько это верно, дозволено сомневаться. Широко распространено мнение, что многие из форменных телец возникают de novo, строясь вновь в гиалоплазме путем процессов химического и морфологического синтеза в данном участке. Ошибаться в данном вопросе, однако, очень легко. Позвольте мне иллюстрировать это ссылкой на некоторые мои старые наблюдения над классическими об'ектами для изучения протоплазмы; именно над яйцами морских ежей и морских звезд.

Протоплазма зрелых яиц имеет чрезвычайно красивую структуру, несколько напоминающую эмульсию из бесчисленных сфероидных телец, взвешенных в гомогенной основе или гиалоплазме. Эти тельца обычно различаются по величине на две главные группы: на большие и более тесно сгруппированные *макрозомы* и меньшие, но строго равные между собою по величине, *микрозомы*, которые рассеяны без особого порядка между макрозомами; между ними имеются еще меньшие гранулы, уменьшающиеся до пределов видимости. Возможно, что макрозомы и микрозомы имеют различный состав, может быть среди них многие отличны, но этого мы тут рассматривать не станем.

Здесь нужно подчеркнуть важный факт, что так называемая «альвеолярная» структура не является первичной характерной чертой протоплазмы. Она вторичного происхождения, она возникает в гомогенной основной субстанции из бесконечно мелких разбросанных телец, которые посредством роста и сгруппировывания производят структуру, подобную эмульсии. В переходных

стадиях этого процесса мы можем наблюдать также очень интересные картины. Рассматривая под сравнительно небольшим увеличением, приблизительно в 300—500 раз, мы видим только небольшие тельца, но когда мы постепенно усиливаем увеличение, то мы постепенно различаем все меньшие и меньшие тельца, наконец переходящие за границу видимости. Это верно даже при самых мощных разрешениях микроскопа. Микроскопическая картина, таким образом, делается несколько схожей с телескопической картиной неба. С каждым большим увеличением телескопа перед нами вырисовываются все новые и новые звезды; астрономы уверены, что еще более мощные телескопы открыли бы звезды еще более отдаленные, до сих пор невидимые. Цитолог также уверен, что если бы современный предел прямой микроскопической видимости был расширен, то мы могли бы различить еще меньшие образования. Изобретение ультра-микроскопа действительно поставило нас в известность о взвешенных протоплазматических частицах настолько малых, что прямо под микроскопом они невидимы. Они различимы благодаря их свечению в сильно отраженном свете при рассматривании в ультра-микроскоп.

В этих яйцах мельчайшие разрозненные видимые частицы производят на нас впечатление, как будто бы они образуются вновь в бесструктурной основной массе. Но нелогично утверждать происхождение de novo какого-либо форменного тельца, потому только, что оно впервые становится различимым только при известной степени увеличения, хотя бы и наибольшем, которым мы располагаем. Здесь несомненно огромный пробел в нашем знании. Многие цифры, я их не привожу, указывают, что за пределами видимости наших теперешних, очень мощных микроскопов, существует невидимая область, заполненная множеством разрозненных частиц; эта область столь же сложна, как и видимая, являющаяся предметом изучения цитолога. И факты указывают, не затрогивая спорных вопросов, касающихся природы так называемых коллоидных растворов, что многие из этих телец гораздо большего размера, чем молекулы наиболее сложных органических субстанций.

Мы теперь подошли к той границе, где область изучаемых цитологами и химиками коллоидных веществ почти соприкасается,—границе, нужно заметить, где оба они стоят на опасной почве. Некоторые думают, что цитолог должен был бы здесь остановиться и передать исследование в руки химика и физика. Но цитологи придерживаются другого мнения. Желая быть логично последовательными, они не хотят остановиться около искусственно созданной пределом видимости микроскопа границы. В то же время они не могут избавиться от картины прогрессивно уменьшающихся величин, которая видима в микроскоп; эта картина напоминает перевернутый телескоп, где форменные тельца постепенно исчезают в перспективе субмикроскопических глубин. Наиболее крупными являются пластиды, каждая своего специфического вида и самопродолжающаяся путем роста и деления. Далее следуют центральные тельца, часто настолько мелкие, что лежат почти на границе микроскопической видимости, но все же способные к размножению и производящие боль-

шое влияние на окружающую их клеточную структуру. Еще шаг дальше — и цитолог лишается поддержки микроскопа и слепо бродит в невидимом, но все же в не менее реальном мире. Патологи говорят о возбудителях болезней, которых еще ни один глаз не видел — настолько мелких, что они проходят через тончайшие фильтры, и которые, несмотря на такие незначительные размеры, без всякого сомнения обладают специфическими особенностями. Генетики постоянно обступают нас с новыми доказательствами существования тех невидимых «нечто», которые расположены в ядерных нитях. Каждое «нечто» тем не менее сохраняет свои характерные особенности во всех ядерных процессах и передает каким-то образом из поколения в поколение свои индивидуальные черты потомкам.

Зная все это, цитолог находит, однако, способы делать заключения и выводы, касающиеся строения внешне бесструктурной, основной массы или гиалоплазмы, которая служит основой протоплазмы и является источником для многих форменных элементов. Однако и для него ясно, что проявления в простой гомогенной субстанции обманчивы и что в действительности это сложная, гетерогенная или многофазная система. Поэтому он не может избежать заключения, что видимые и невидимые компоненты протоплазматической системы отличаются не только по своей величине и степени дисперсности; видимые же структуры протоплазмы представляют не что иное, как грубо изображаемую картину невидимого. Цитолог идет далее к заключению, что ультра-микроскопические дисперсные частицы гиалоплазмы могут быть так же различны по химическому составу, как различны видимые форменные тельца, а также что и размеры их различны. Мне кажется очень вероятным, что многие из этих частиц ведут себя, как если бы они были субмикроскопическими пластидами; они постоянно сохраняют свою идентичность и размножаются, сохраняя свои специфичные индивидуальные особенности. И наконец, факты, полученные экспериментальной эмбриологией, указывают нам, что в бесструктурной с виду протоплазме заключается действительная проблема цитологической организации. Те же самые факты приводят нас к заключению, что субмикроскопические компоненты гиалоплазмы собираются и распределяются согласно определенной системе.

К сожалению, время не позволяет мне подробнее остановиться на этом интересном вопросе. Биологи старой школы относятся ко всем корпускулярным и микромеристическим понятиям о клетке очень неодобрительно. Действительно, чтобы рассматривать проблему о клетке в таком освещении, нужно иметь известное мужество. Казуистика говорит, что подобные понятия ставят самые основные проблемы биологии вне научных изысканий. Простодушный философ сказал, что корпускулярная гипотеза делает из мира или клетки головоломную картинку. Эту картинку мы разрезаем на мелкие части и затем начинаем складывать вновь, для того лишь, чтобы составить ту же самую картинку. Ответ на такое замечание ясно один. Современные физические науки разрезали весь мир на очень мелкие части и до сих пор как будто бы очень хорошо справляются с картинками, возникающими

из них. Создатели клеточной теории проделали то же самое, когда они разложили живое тело на компонент клеток. Некоторые люди даже до наших дней находят нечто предосудительное в этом, и однако же клеточная теория пережила целую эпоху развития биологического знания. Может быть, поэтому и более молодые науки, цитология и генетика, могут надеяться на менее суровый прием, если они попробуют пойти по пути, указанному их предшественниками. Многие гипотезы потерпели фиаско за их слишком отвлеченный характер, а также еще потому, что на них слишком много возлагали надежд их авторы или критики. Так случилось, например, с теориями Вейсмана о строении зародышевой плазмы, с теорией внутриклеточного пангенезиса де-Фриза и с теорией Альтмана относительно общего значения протоплазматических гранул. Нас не интересуют чисто теоретические постройки, и мы обратимся только к фактам, полученным путем конкретного микроскопического и экспериментального изучения клетки. Наша задача, как изучающих цитологию и генетику, ответить, насколько это в наших силах, на ряд настойчивых, все еще нерешенных вопросов. Я все время стараюсь здесь воскресить старое понятие о клетке, как о собрании или колонии элементарных организмов или неделимых жизненных единиц. Возможно, что это так, возможно, что и иначе. Мне кажется, однако, что это нисколько не исключало бы понятия о клетке, как о коллоидной системе.

Мы приближаемся к концу нашего анализа. Мы, так сказать, (вернемся к метафоре Бергсона) разобрали клетку на куски,—как мы соберем ее вновь? Здесь впервые мы сталкиваемся лицом к лицу с настоящей проблемой физических основ жизни; здесь-то и лежит нерешенная задача. Мы пробуем прикрыть наше незнание в этой проблеме учеными фразами. Мы все время употребляем слово «организация» в качестве понятия охватывающего и об'единяющего в себе понятие о жизненных процессах; но кто из нас действительно способен перевести это слово на понятный язык? Мы говорим педантично и, конечно, правильно, что определенные действия клетки являются результатом динамического равновесия в многофазной коллоидальной системе. В нашем механическом рассмотрении этой проблемы мы принимаем, что эти явления могут быть прослежены до конфигурации первоначальных материальных частиц в системе так же, как это мы можем сделать в машине. Такой подход дал нам необходимый рабочий метод—тот почти единственный метод, который способствовал прогрессу современной биологии. Конечно, такой подход не везде одинаково плодотворен; существует много жизненных явлений, где этот метод не смог дать ничего, кроме первоначальных понятий.

Нам становится ясным, насколько туманно понятие организации, когда мы сталкиваемся с тем, что каждый организм есть или когда-либо был отдельной клеткой. Взрослый организм состоит из координированных частей; он имеет массу анатомических, физиологических или химических приспособлений, благодаря которым он достигает гармоничной деятельности. С этой

стороны его организация нам понятна, он является механизмом, живой машиной. Проследим шаг за шагом, как эта машина строилась. Перед нами постепенно раскрывается запутанный жизненный механизм, постепенно приводящий к единой клетке, к яйцу. В яйцевой клетке, сложной по-своему, не видно никаких следов координированных и об'единяющих приспособлений взрослого организма. Но кто станет утверждать, что яйцо организовано не так же специфично и живо, не так же действительно, как развивающийся из него взрослый организм?

Существуют старые указания, которым современные изыскания дали некоторую видимую поддержку; именно, что эмбрион заложен в грубом виде в цитоплазме яйца, так что развитие накладывает на него только окончательные черты. В настоящее время окончательно установлено, что эта грубая модель, за исключением очень немногих общих особенностей и то находящихся под сомнением, сама является продуктом предшествовавших локализованных действий развития. Главной особенностью процесса развития является то, что яйцо дробится на клетки; это можно во многих случаях легко проверить прямым наблюдением. Большое впечатление производит вид яйца, занятого своей работой переобразования в эмбрион. Дробление протекает как бы по обдуманному плану и с удивительной точностью.

Что же в таком случае составляет организацию яйца? До сих пор на это никто не может ответить. Эмбриологи, цитологи, физиологи и биохимики— все они пока что коснулись только самого наружного края проблемы. Мы не можем предсказать, как далеко цитолог в будущем сможет проникнуть вглубь, но, казалось бы, рано или поздно он будет остановлен на своем пути границей видимости микроскопа, зависящей от длины световой волны. Если нам суждено проникнуть когда-нибудь в самую глубь тайны клетки, вероятно, должны будут быть применены другие методы. Мы должны пустить в ход все средства, даваемые экспериментальной эмбриологией, генетикой, биофизикой и биохимией. Экспериментальная эмбриология дала много важных открытий для уяснения процессов развития, но она также подчеркнула нам наши неудачи в разрешении основной проблемы. Отсюда были получены факты, на основании которых Дриш, один из основателей данной дисциплины, обосновал знаменитые аргументы против механической теории развития и в пользу новой философии витализма. Скала, об которую разбиваются все механические понятия организации и развития, утверждает он, есть тот факт, что обломок яйца может подвергнуться полному развитию и произвести довольно совершенный карликовый эмбрион. Такой аргумент нас не убеждает, однако до сих пор никто не нашел достаточных возражений против него. Все, наоборот, указывает на существенную правильность того заключения Дриша, что протоплазма яйца лишена какой-либо структуры или механических приспособлений, которые предваряли бы план будущего эмбриона. В течение развития не только подробности структуры эмбриона, но даже весь план, по которому строится зародыш, каждый раз возникает заново.

Должны ли мы в таком случае искать разгадку в ядре яйца? Не приходится более сомневаться, что развитие особых характерных черт каким-то образом зависит от присутствия в ядре соответственных отдельных единиц; это нисколько не теряет своей силы из-за того, что действительная природа единиц пока еще неизвестна. Мы знаем из знаменитых экспериментов Бовери, что нормальное развитие зависит от нормального комбинирования этих единиц. Генетика открывает теперь широкие горизонты для будущих исследований, указывая, что какая-нибудь одна индивидуальная единица может содействовать производству не одной только характерной чертой, но и многими; обратно, возникает возможность, что производство одной характерной черты требует содействия нескольких или многих единиц, а может быть и всех. Я думаю, не будет переувеличено, если я скажу, что одна единица оказывает действие на весь организм и что все единицы могут влиять на каждую отдельную черту. Становится очевидным, что вся клеточная система может быть вовлечена в образование каждой характерной черты. Каким же образом происходит сплетение наследственных черт в пространстве и во времени? Это все та же старая загадка, сделавшаяся еще более сложной и настойчивой, но, насколько я могу видеть, не приблизившаяся к своему разрешению. У нас есть приготовленные ответы: это «организм как целое»; это «свойство системы как таковой», это «организация». Эти слова подобны словам деревенского пастора у Гольдшмидта, они «громогласны и мудры». Еще раз мы должны признаться в нашем незнании.

Я ни в коем случае не хочу этим сказать, что наша вера в механистические методы и заключения поколеблена. Именно благодаря им мы с каждым днем увеличиваем наши знания относительно живых и мертвых коллоидных систем. Кто поставит предел будущему прогрессу в этом направлении? Но я говорю не о завтрашнем дне, а о сегодняшнем, и мы не должны обманываться относительно величины той работы, которая все еще лежит перед нами. Может быть, в самом деле придет день (здесь я употребляю слова профессора Троланда), когда мы сможем «показать, как, в согласии с признанными принципами физических наук, комплекс аутокаталистических, коллоидальных частиц зародышевых клеток сможет создать позвоночный организм», но не представляет сомнений, что этот день далеко еще вне поля зрения наших самых мощных телескопов. Но должны ли мы подать руку неовиталистам, приписывая об'единяющий и регулирующий принцип действию неведомой силы, направляющей силы, энтелехии или душе? Да, если мы согласны отказаться от разрешения этой проблемы и покинуть ее раз навсегда. Нет, и тысячу раз нет, если мы надеемся действительно продвинуться в познании живого организма. *Сказать* ignoramus *не значит, что мы должны сказать* ignorabimus. Я не могу согласиться, что сознание неосведомленности не оставляет нам другого убежища, кроме витализма. Поддерживать мнение, что наблюдение и опыт не приведут нас ближе к разрешению загадки, значило бы вернуться к потемкам прошлых времен. Может быть, профессор Гендерсон прав, думая, что понятие об организации стоит наравне с вопросами

о материи и энергии. Может быть, нет проблемы, при разрешении которой мы бы не наделали ошибок. Может быть, мы не должны итти дальше записей и анализа наблюдаемых феноменом живых систем. Позвольте игнорировать эту неприятную возможность и пойти нашей собственной дорогой. Я, со своей стороны, нахожу более интересным смотреть вперед в ожидании того дня, когда великая загадка раскроет перед нами свою тайну.

Учение об отборе и образование видов.

Виктор Иоллос.

Вступительная речь, произнесенная в Берлинском университете 12-го декабря 1921 года.

(Перевод С. Б. под редакцией и с предисловием **Б. М. Завадовского**).

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Мы переживаем ныне вновь период обостренного и напряженного внимания к проблеме эволюционного учения. Этот напряженный интерес в значительной мере связан с вновь раздающимися из разных мест голосами о кризисе эволюционной теории, о крушении дарвинизма и т. д. До некоторой степени в этих толках о кризисе эволюционного учения есть доля верного: но это настолько же верно, насколько верно говорить о здоровом кризисе всякого растущего организма: эволюционная теория действительно находится на распутьи, наткнувшись на ряд проблем, еще требующих своего разрешения. Сюда входят проблемы наследования благоприобретенных признаков, проблема поисков непосредственных факторов изменчивости и т. д. Теория остановилась перед задачей накопления фактов, которые позволили бы дать окончательные ответы на эти вопросы, разделяющие ныне биологов на несколько враждующих лагерей. Именно это обстоятельство дало основание вновь раздаться злорадным голосам, зовущим назад от Дарвина вплоть до, казалось бы, уже похороненных теорий о жизненных силах, выступивших ныне в благовидной форме «физико-химических свойств белков».

Характерно, что одновременно с Бергом, с теми же антидарвинистическими и виталистическими положениями выступил в Германии один из корифеев немецкой биологии Оскар Гертвиг.

Именно это выступление О. Гертвига против Дарвина и побудило другого крупного берлинского биолога Виктора Иоллоса выступить за Дарвина с речью, предлагаемой здесь в русском переводе. Сдержанная и лишенная полемического элемента по своей форме, эта речь фактически являлась ответом на выступления Гертвига. Но одновременно, косвенно она является также хорошим ответом нашим русским антидарвинистам, возглавляемым

Бертом. В этом отношении она должна представлять отличительный интерес: Берг уже неоднократно получал достойный ответ, как в статье Шимкевича или книжке Козо-Полянского, так и в статье проф. *Иванцова в № 3 (13)* нашего журнала. Но до сих пор ответы Бергу страдали тем, что, отмечая бесконечные противоречия в построениях Берга, не указывались те конкретные выходы, которые предлагает и намечает современная мысль из известных трудностей, в которых оказалась эволюционная теория. Статья Иоллоса хороша именно тем, что он намечает здесь тот, в общем, правильный путь, который обещает найти примирение между крайними течениями ламаркизма и дарвинизма и дает правильную оценку работам новейших лет в области изменчивости и наследственности. Она дает *конкретное предложение*, реально указывающее выход из кажущихся трудностей, которыми так запугивают нас антидарвинисты, ссылаясь якобы на доказанную неизменяемость генов. В этом отношении интересно сопоставить с соображениями Иоллоса тот клич «назад к Дарвину», который раздался годом позже из уст крупнейших представителей генетики—в Германии Р. Гольдшмидта и в Америке—одного из крупнейших сотрудников Моргана [1])—Мёллера. Они указывают, что давно ожидавшийся, принципиально неизбежный нормальный выход из временных затруднений, которые встретил на своем пути дарвинизм,—уже накануне своего окончательного разрешения. И если в этом отношении главная заслуга принадлежит экспериментальным работам школы Моргана, то Иоллосу принадлежит честь быть одному из первых, кто ясно и отчетливо сформулировал позиции последовательного и стойкого дарвинизма в противовес авторитету столь почитаемого в Германии Оскара Гертвига. Я думаю, что и для нашего читателя эта речь окажется небесполезной, поскольку она, в удачной форме и в общем верно, формулирует современное состояние некоторых спорных вопросов эволюционного учения.

9 июля 1921 года. **Б. Завадовский.**

Я позволяю себе выпустить в свет вступительную речь, произнесенную мной публично в Берлинском университете, исходя из различных побуждений; не без колебания делаю это я, потому что хорошо знаю, что изложенное мной ниже едва ли даст что-нибудь новое образованному биологу-исследователю.

Но последнего мое изложение и не имеет в виду и при публичном характере моего выступления оно и не могло быть обращено к ним. Но учащиеся и лица, интересующиеся общими проблемами биологии, должны получить из моих лекций короткий резюмирующий обзор современного состояния вопроса о видообразовании.

И как раз в это время, когда поверхностные нападки и обесценение дарвиновского учения имеют самое широкое распространение и встречают

[1]) См. об этом 3—4 выпуски „Успехов эксперим. биологии“ статьи Гольдшмидта и Мёллера.

легковерное признание, именно в этот момент представляется мне ценным доказать, что так сильно оклеветанное учение о «случайностях» не может быть выброшено, как старый хлам, и что в этой области выдвигается ряд новых перспектив.

В изложение моей речи я не внес никаких изменений и ограничился только теми дополнениями, которые из-за недостатка времени я вынужден был выпустить в устной речи. Я позволил себе также заманчивое для меня, более подробное изложение некоторых пунктов в целях того, чтобы рукопись не получила характера слишком короткого и общего обзора.

Виктор Иоллос.

Берлин-Далем.

Чрезвычайно большая специализация и интенсивно развивающиеся экспериментальные исследования, которые мы наблюдаем в течение последних десятилетий во всех областях биологической науки, сопровождаются тем, что из-за многообразия вновь полученных достижений, массы вновь поставленных проблем и методов работы—общие вопросы несколько отступают на задний план, те общие вопросы, которые являются источником к новым исследованиям.

Вот почему столь же необходимой, сколь и благодарной задачей является время от времени оценка того, в какой мере новые достижения укладываются в русло прежних воззрений, насколько сильно поколебался под влиянием этих достижений фундамент наших общих представлений и какие новые вопросы и методы должны быть поставлены. С этой точки зрения мы обсудим одну из самых центральных проблем, наиболее волнующую биологическую мысль в течение последнего столетия—это вопрос о происхождении видов.

Как об'ясняется многообразие и различие организмов, смена форм в разные периоды? И как, наконец, можем мы себе об'яснить безграничную приспособляемость живых существ к разнообразию внешних условий, словом все то, что мы на нашем языке называем «целесообразностью»?

Данные палеонтологии, сравнительной анатомии и истории развития не оставляют никакого сомнения в том, что мир организмов в том виде, в каком он представляется нам сейчас, лишь с течением времени принял современную форму и что он не возник как нечто готовое и неизменное, наподобие Афины из головы Зевса. Несомненно и то, что и самое развитие должно быть сведено к естественным закономерностям, к *смене факторов*, заложенных в органической жизни, и к смене окружающих ее внешних условий—вот почему мы впредь стоим на точке зрения естественно-научного толкования и исследования вопроса.

Два различных взгляда существует ныне на возникновение и образование видов, а также на явления приспособления. Эти взгляды за последнее пятидесятилетие делят всех исследователей, несмотря на неоднократные попытки примирения, на два друг против друга стоящих лагеря. Последние связываются с именами своих выдающихся основателей—*Дарвина и Ламарка*.

Ламарк [1]) сводит явления целесообразности при развитии организмов к явлениям приспособления, наблюдаемым в жизни отдельных индивидуумов. Согласно его толкованию, приобретенные в течение индивидуальной жизни свойства, привычка к изменяющимся внешним условиям—влияние употребления или неупотребления различных органов, что мы, вне всякого сомнения, в значительной мере наблюдаем во всем органическом мире,—целиком или в большой степени переходят к потомкам, и, таким образом, закрепляясь от поколения к поколению, исходя из приспособления к различным условиям их окружающего, с течением времени достигаются целесообразные образования.

В противовес этому, Дарвин исходит из явлений изменчивости организмов и из опыта селекционеров, направленного к тому, чтобы получить животных и растения, соответствующих той или иной цели: опыт учит, что потомки каждого организма могут отличаться друг от друга в самых разнообразных отношениях. И подобно тому, как селекционер из всей массы вариаций развивает только нужные ему формы и напротив бракует менее удовлетворяющие его целям и таким образом путем постоянного отбора в одном и том же направлении от поколения к поколению стремится получить накопление желательных для него свойств,—подобно этому и в природе, согласно дарвиновскому учению, идет преобразование путем постоянного отбора. Роль действующего по определенному плану селекционера играет борьба за существование, вызываемая везде наблюдающимся перепроизводством вновь рождающихся потомков. Ведь только небольшая часть из них может развиться до новой половозрелой формы, именно та, которая наилучшим образом отвечает данным условиям существования. И в виду того, что условия существования в течение длинных промежутков остаются неизменными, то этим самым обеспечивается возможность отбора в одном направлении в течение долгого времени и таким путем, согласно воззрениям Дарвина, создается также возможность для все более растущей приспособляемости, через закрепление соответствующих изменений в ряде поколений.

Из данных здесь вкратце очертаний ламаркистского взгляда ясно вытекает, что его толкование явления приспособлений теснейшим образом связано с предположением о наследовании приобретенных в течение индивидуальной жизни организма особенностей (или, выражаясь современным языком,—«о наследовании соматических изменений»).

Однако эта гипотеза, уже давно с неумолимой логикой отвергаемая Августом Вейсманом, который исходил из обще-теоретических биологических положений, не нашла себе также опоры в экспериментальных исследованиях последних десятилетий: именно современные исследования по наслед-

---

[1]) Когда здесь и в дальнейшем говорится о взглядах Ламарка и Дарвина, то этим самым имеется в виду краткая характеристика определенных биологических направлений. В какой же степени последние совпадают с личными взглядами Дарвина и Ламарка,—не может быть освещено в рамках этого принципиального исследования.

ственности доказали формулированную Вейсманом независимость зачатковой плазмы, как носительницы наследственности, от сомы, от изменений и приспособлений, происходящих в теле организмов в течение индивидуальной жизни. Эта относительная независимость наследственной области сделалась основным положением современного учения о наследственности, основанного на так называемых правилах Менделя. Когда в классических исследованиях Менделя с горохом, например, при скрещивании форм с круглыми и рубчатыми семенами из растений только с круглыми семенами в последующем поколении вновь получалось определенное количество потомков с рубчатыми семенами, которые ничем не отличались от соответствующей им прародительской формы,—то это с несомненностью доказывает, что наследственный зачаток рубчатых семян совершенно не меняется из-за того, что находится в растении с круглыми семенами. И соответственно с этим, если в сотнях других экспериментальных скрещиваниях, даже после многочисленных, иначе возникающих поколений, мы можем всегда получать чистое неизменное расщепление аналогичного рецессивного [1]) характера и никогда он не покрывается влиянием «доминантного» фактора, то это дает, конечно, много доказательств в пользу независимости наследственных зачатков от тех или иных образований у отдельных индивидуумов и их изменений, а также много аргументов против основного ламаркистского положения. И вполне прав, например, Р. Гольдшмидт [2]), который раньше вполне определенно стоял на точке зрения наследования соматических изменений, когда утверждает теперь, что таковое наследование в пределах точного менделевского изучения наследственных законов было бы логической невероятностью.

Таким образом, мы должны отказаться от положения о наследовании приобретенных в течение индивидуальной жизни приспособлений и вместе с тем от всего ламаркистского способа об'яснения целесообразных образований и об'яснения всех законов органической жизни. Но вместе с ламаркистским принципом естественно отпадают все попытки толковать образование видов, как результат прямого действия разнообразных внешних условий. Ведь непосредственное воздействие без наследования соматических изменений и без признания принципа отбора никогда не в состоянии об'яснить явлений приспособляемости, т.-е. нашу центральную проблему.

Итак, для понимания возникновения видов остается только дарвиновское толкование. Как же следует относиться к селекционному учению в свете новейших экспериментальных исследований, а также к учению о возникновении видов путем естественного отбора?

Как мы уже упоминали, учение Дарвина базируется на двух основных положениях: во-первых, на-лицо должно быть постоянное перепроизводство потомства, во-вторых, путем продолжительного, действующего в одном на-

[1]) Т.-е. никогда не проявляющегося при встрече с другими признаками „доминантного“ характера при образовании индивидуума.

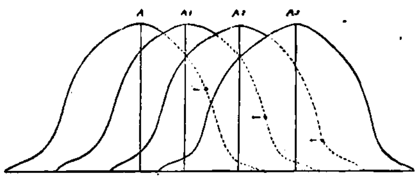
[2]) Р. Гольдшмидт. Введение в изучение наследственности. III-е издание. Лейпциг 1920 года.

правлении отбора крайних вариаций должно возникнуть новое отклонение в направлении отбора,—это вывод, к которому впервые пришел Дарвин на основании опытов селекционеров с одомашненными формами.

Вопрос о том, как возникают наследственные вариации, вообще не относится к учению об отборе, как таковому; оно выдвигает только факт их постоянного возникновения. Поэтому является полным непониманием проблемы селекционного учения, когда, как это часто бывает, ему противопоставляется возникновение вариаций как прямой результат внешних условий.

Из обоих основных положений селекционного учения, первое, о перепроизводстве потомков, является и для нас неоспоримой истиной. Но на основании экспериментальных исследований последних 20-ти лет мы должны иначе оценивать действия селекции и результаты искусственного отбора. Именно в этой области главнейшие достижения современных исследований о наследственности существенно изменили наши воззрения.

Представим изменчивость какого-нибудь вида по какому-нибудь подчиненному, измеряемому признаку. Например, величину какого-нибудь вида боба представим в форме вариационной кривой и для дальнейшего отбора будем употреблять самые крайние вариации, т.-е. в нашем примере всегда самые большие или самые маленькие бобы; в этом случае, согласно воззрениям Дарвина, средняя величина потомков в каждом следующем поколении должна была расти, и вариационная кривая должна была все больше и больше сдвигаться в сторону отбора (см. фигуру первую).



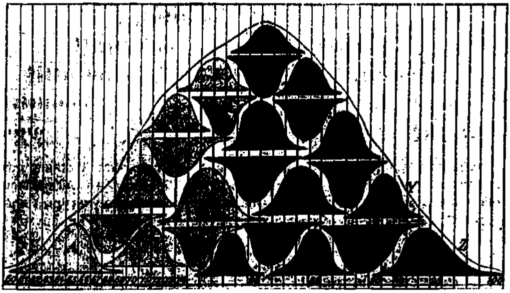
Фиг. 1. Троекратное отклонение вариационной кривой путем отбора соответственно гальтоновским представлениям точки кривой, А, А А², по которым следует отбор.

И в самом деле, последователь Дарвина, Гальтон и его школа пытались обосновать такое смещение статистическим методом и даже находили возможным численно выразить степень смещения. Этим самым было бы точно доказано влияние отбора в дарвиновском смысле. Но как бы убедительны и ясны ни казались статистические приемы английских биометриков—все же они были статистическими, а не точно биологически проанализированными и не могли противостоять экспериментальным биологическим исследованиям.

Огромная заслуга Иоганнсена заключается в том, что эти статистические исследования он перенес в сторону биологически ориентированного,

более точного базиса, и своим учением о наследственности в расах и в чистых линиях он коренным образом изменил все наши взгляды.

Иоганнсеновские исследования бобов [1]), открывающие совершенно новые пути и позднее многократно подтвержденные другими исследователями над другими об'ектами, приводят к тому основному положению, что каждая совокупность организмов в отношении наследственных зачатков представляет собой смешение различных линий. Изменчивость вида, т.-е. того, что мы в естественных, природных условиях приравниваем к «популяции», таким образом основывается на наличии тесно друг к другу примыкающих более или менее многочисленных и друг другу подобных линий (см. фиг. 2). Эффект селекции, который, вне всякого сомнения, обнаружился в исследованиях биометриков, должен быть отнесен к тому, что они из смешения наследственно различных линий отобрали те, которые больше всего отклонялись в направлении отбора. Но совершенно другой результат получается тогда, когда отбору подвергается материал не заведомо наследственно разнородный, а



Фиг. 2. Популяции и чистые линии. Нарисована вариационная кривая популяции по признаку величины, внутри специальные вариационные кривыя чистых линий. А — Основание этих специальных кривых дает колебание то вверх, то вниз, исходя из разных группировок.

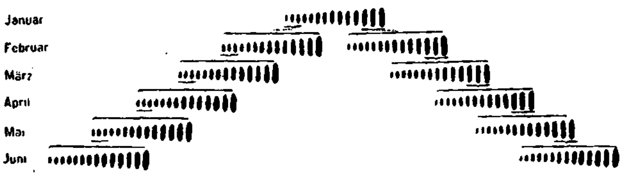
одна из этих линий и именно, согласно терминологии Иоганнсена, «чистая линия», которая является потомством одного единственно однородного в своих наследственных зачатках растения, размножающегося самоопылением или в других случаях потомство одной особи, размножающейся только простым делением, так например, инфузории или грибы.

Внутри однородной чистой линии мы также находим, хотя и в меньшей степени, варианты и можем так же как и раньше в случае популяции

[1]) В. Иоганнсен. Элементы точного учения о наследственности. 2-е издание. Иена. Фишер, 1913 г. Его-же. О наследственности в расах и чистых линиях. Иена. Г. Фишер, 1903 года.

построить вариационную кривую. Если же и в этом случае размножать только крайние варианты, то оказывается, что при постоянном, в одном направлении ведущемся отборе не обнаруживается никакого отклонения вариационной кривой и чистая линия не изменяется (см. фиг. 3).

Этот вывод одним ударом опрокидывал представления приверженцев селекции, и таким образом устанавливалось, что селекция имеет место только внутри наличных, строго установленных форм, не ведя, однако, к отклонению вида от заранее установленных для него границ. Так как во всех экспериментальных селекционных опытах единственно только чистая линия оказалась вполне константной, то, по крайней мере, теоретически, но очень часто и практически, есть возможность путем однократного выбора наиболее крайних из существующих линий получить максимальное действие отбора, который не мог бы быть превзойден даже и продолжительным отбором в одинаковом направлении.



Фиг. 3. Схематизированное изображение отбора внутри чистой линии (туфелек): (Клон) ежемесячно отбирались по нескольку из самых больших и самых маленьких индивидуумов и в отдельности разводились—полученные отсюда культуры, после пятикратно повторенного отбора не обнаруживали никаких изменений ни внутри себя, ни по сравнению с исходными формами.

Изменчивость же, постоянно наблюдающаяся в пределах чистой линии, выдвигает ненаследственные вариации, или, как мы их теперь называем, «модификации».

Этим самым учение Иоганнсена резко подчеркнуло необходимость различения между видимыми признаками отдельных организмов, постоянно и многократно модифицирующимися под влиянием окружающих условий, и константными наследственными зачатками, этими влияниями не затрагивающимися.

Это учение дополняет те воззрения, которые в связи с другими, наиболее крупными достижениями современного учения о наследственности развились в менделевские правила наследственности. И исследования по наследственности, развивающиеся под знаком менделевского учения, также не считают существенным внешние признаки организма и его изменения, но выделяют и подчеркивают константные факторы, наследственные зачатки зародышевой плазмы, которые передаются из поколения в поколение неизменно, неизменно даже и там, где при образовании организма внешние они

совершенно не проявляются, как это наблюдается у некоторых гибридных форм или при изменяющихся внешних условиях.

Таким образом, комбинацией таких разнообразных наследственных факторов можно об'яснить разнообразие явлений изменчивости и анализировать закономерность их смены. Если же на основе менделевских исследований и учения Иоганнсена ясно и определенно сформулировано было различие между наследственными зачатками и внешними проявлениями организмов, т.-е. независимость «генотипа» от «фенотипа», как это особенно ясно выражается при чистом расщеплении отдельного наследственного зачатка в потомстве гибридов, если отсюда вытекает полный отказ от всех ламаркистских представлений о переходе фенотипических изменений в наследственные, то в то же время казалось, что эти достижения опрокидывают аргументацию сторонников отбора в вопросе о возникновении видов.

О бессилии отбора среди чистых линий мы уже говорили при изложении иоганнсеновских положений. Но деятельность искусственного отбора, из которой исходил Дарвин, представляется в совершенно ином свете на фоне менделевских исследований и учения о чистых линиях. Роль его состоит в выборе из большого числа, существующих в популяции линий, наиболее подходящих для данных целей линий, а также в комбинировании содержащихся в различных линиях различных наследственных зачатков и их разнообразных сочетаний.

И не во власти заводчика изменить существующие наследственные зачатки или выйти за пределы, определенные наиболее крайними из имеющихся в его распоряжении линий.

Таковы непосредственные выводы экспериментальных исследований последних десятилетий. Даже селекционистское представление о возникновении видов оказалось измененным благодаря им.

Таким образом, единственным источником, который остается для об'яснения разнообразия организмов, казалось бы, являются комбинации при сочетании различных наследственных зачатков, что имеет место всюду при анализах гибридизации.

Однако наше стремление к пониманию развития органической жизни, что устанавливается нами из данных палеонтологии и сравнительной анатомии, никогда не может быть удовлетворено комбинированиями, как ни интересны и многообразны кажутся они, взятые сами по себе: ведь при этом всегда идет речь о соединении или разделении уже заранее данного многообразия, а ни в какой мере не об об'яснении развития органического мира.

Путь каждой естественно-научной дисциплины ведет от конкретно наблюдаемых свойств к обобщению и абстракции. Только с помощью таковой можем мы колоссальное многообразие явлений, поток фактов упорядочить в виде правил и представить их в более упрощенном виде. И хотя еще *в примитивной и несовершенной форме, но и биология* пытается вступить на тот путь, на который давно уже вступили физика и химия.

Успехи современной науки о наследственности основываются прежде всего на том, что она отказалась от изучения отдельных морфологических и физиологических особенностей, как они, соответственно нашим наблюдениям, проявляются у отдельных организмов, и вместо этого изучает наследственные зачатки, как константные элементы. Но при подобной абстракции существует опасность большой схематизации, когда символы очень часто в глазах исследователя перестают быть таковыми, а превращаются в неограниченных властителей его мысли и приводят его к тому, что с реальными проявлениями он не считается, а все рассматривает под увоенным углом зрения.

Блестящие результаты менделевских исследований и логичность иоганнсеновских положений дали в руки большинства исследователей материал для того, чтоб и практически рассматривать наследственные зачатки, как неизменяющиеся величины. И хотя появление реальных изменений в наследственных зачатках несколько опровергали такое положение, но подобные явления, так называемые «мутации», рассматривались как редкие исключения из правила, которые едва ли что-нибудь могут изменить в представлении об общей константности наследственных зачатков и тем самым также о постоянстве чистых линий.

Однако именно здесь скрыта слабая сторона наших общих взглядов: все большее количество исследований за последнее время совершенно ясно показывают, что мутации, т.-е., изменения самих наследственных зачатков и тем самым, само собой разумеется, наследственные изменения организмов, ни в коем случае не представляют собой редких исключительных явлений, а наоборот, встречаются везде.

Какой бы об'ект, исследованный глубокими и точными методами науки о наследственности мы ни взяли (а таковых, т.-е. таких, которых мы можем считать вполне исследованными), в этом отношении пока очень немного— будь то насекомое, как росная муха Drosophila, будь то растение, как Antirrhinum (львиный зев), будь то протист, как Paramaecium,—в каждом точный взгляд исследователя обнаружит появление настоящих мутаций. И именно, чем глубже изучен об'ект, тем чаще имели мы доказательства подобных наследственных изменений. Так, например, Бауэр при исследовании Antirrhinum в течение ряда лет находил среди 1000 экземпляров растений едва ли две мутации, тогда, как теперь почти на каждых 100 нормальных растений он обнаруживает одну или даже более мутаций.

И вряд ли существенно изменились бы результаты для большинства других видов, если бы исследователь настолько близко изучил их, что узнавал бы и умел отличить хотя бы малейшие отклонения.

Ведь, мутации, вопреки тому, что думали раньше, ни в коем случае не должны сопровождаться резкими скачками и тем самым несомнеными, бросающимися в глаза изменениями; большинство мутаций, наоборот, дают относительно очень незначительные изменения и остаются скрытыми от глаза, невышколенного длинной продолжительной работой, в особенности если они

покрываются массой ненаследственных вариаций, так называемых модификаций. И еще одно обстоятельство мы при этом должны помнить: наши точные исследования по наследственности, как правило; распространяются на материал, отбираемый при исключительно равномерных условиях. Эта одинаковость внешних условий необходима, дабы мы, по возможности, могли исключить вызываемые внешними условиями и нарушающие картину модификации.

Но и возникновение мутаций мы также должны отнести за счет внешних условий в широком смысле этого слова. По крайней мере экспериментально до сих пор получались мутации только путем сильных изменений различных внешних факторов, так, у бабочек и пауков путем крайних температур, у Paramaecium—путем воздействия химических агентов и т. п. [1]).

Максимально одинаковые условия содержания большинства об'ектов наследственного изучения создают вместе с тем максимально неблагоприятные условия для возникновения мутаций.

И очень часто мало вероятно, что мутант сохранится среди исходных форм, но, как правило, намеренно выбираются такие условия опыта, к которым исходная форма наиболее приспособлена.

И, действительно, можно было бы показать, что возникший в культуре чистой линии (Клон) Paramaecium caudatum мутант при оставлении его с исходной формой был ею подавлен и доведен до вымирания [2]).

Но если даже при таких неблагоприятных условиях, которые большею частью имеются при отборе, мы устанавливаем, что мутации появляются очень часто,—то насколько же больше должна быть вероятность их появления в естественных условиях, при постоянных изменениях внешних условий.

Но тогда в совершенно ином свете вновь представляются выводы и взгляды Иоганнсена, а также основные положения селекционного учения.

Чистая линия, как продолжительная наследственная константная величина, это—идеальный предельный случай, который при равных условиях опыта, может и долго существовать, но в естественных условиях имеет мало шансов на неограниченную продолжительность, потому, что по мере возникновения мутаций — «чистая» линия, спустя некоторое время, уже не чиста больше, а распадается на наследственно различные типы.

Но этим самым создается возможность удержания естественного отбора видов путем уничтожения неподходящих изменений и удержания изменений более приспособленных.

Такая возможность возникновения новых видов увеличивается путем оплодотворения указанных организмов такими, которые вследствие измененного действия того или иного фактора образуют различные комбинации

---

[1]) То обстоятельство, что до сих пор возникновение многих мутаций об'ясняется путем неизвестных „внутренних причин", конечно, ничего не может изменить в общем принципиальном взгляде.

[2]) См. В. Иоллос. Экспериментальное изучение протистов I. Исследование об изменчивости и наследственности у инфузорий. Иена, Г. Фишер, 1922 г.

с другими неизмененными наследственными зачатками, что ясно подтверждено менделевскими исследованиями.

Изучение мутаций таким образом восстанавливает уже, казалось бы, пошатнувшийся, благодаря менделизму и чистым линиям Иоганнсена, базис дарвиновских воззрений, вновь возрождает к жизни основное положение о возможности естественного отбора, одно время отброшенное, как негодное.

Огромное значение учения Иоганнсена этим самым, конечно, ни в какой степени не умаляется: прежде всего ему мы обязаны ясностью понимания и благодаря этому ставшему возможным освобождению как наследственного учения, так и учения об отборе от фенотипических изменений, затемняющих картину; кроме того, Иоганнсену мы обязаны установлением наследственных факторов и их изменений.

Ибо только при ясности в этом вопросе становится возможным дальнейшее изучение положений, важных для изучения действия естественного отбора.

Возможность отбора, а мы видим, вне всякого сомнения дана в силу массового возникновения мутаций.

Но достаточны ли такие изменения наследственных факторов, которые лишены направления и согласно нашему представлению подчинены естественному отбору, являясь реакцией на внешние условия—достаточны ли они для об'яснения многогранных и сложных явлений приспособления организмов.

Вряд ли, конечно, существует *общий и точный ответ на этот вопрос*—вот почему разные исследователи в разное время отвечали на него различно.

При чем чрезвычайно мало убедительности в том, часто и издавна приводящемся аргументе, что, мол, небольшие изменения, которые, как нам известно, являются правилом и в мутациях, не имеют существенного значения и таким образом не играют никакой роли при отборе. Ведь иногда достаточно сохранения подобных незначительных наследственных изменений, чтобы была создана основа для действующих в том же направлении мутационных изменений; мы знаем также из опыта экспериментальных исследований наследственности, что некоторые, раньше еле заметные изменения наследственного зачатка могут достигнуть огромного значения при иных сочетаниях и при иных обстоятельствах.

Такие возражения совершенно не относятся к интересующей нас проблеме. Мы можем пересмотреть все так часто раздающиеся утверждения, что якобы те или иные образования или какие-нибудь явления приспособления *слишком сложны, чтобы возникновение их было мыслимо путем многочисленных* наследственных вариаций, лишенных направления. Ибо прежде всего мы имеем здесь дело не с точным анализом возникновения приспособлений в данных единичных случаях (удовлетворительный анализ их, конечно, нигде не мог быть сделан), а с общим вопросом о принципиальном воздействии и возможности новообразований путем естественного отбора.

Так же мало можем мы сказать о частоте, порядке следующих друг за другом закрепляющихся мутаций.

Строго говоря, точно мы знаем один только естественный случай: у Drosophil'a мутаций с глазами Bar и Ультрабар, при которых изменение, вызванное в первой мутации, было продолжено в том же направлении второй мутацией, но и здесь имел место процесс обратного образования. Этот пример показывает нам, что мутации, направленные в одну сторону, следовали друг за другом в течение сравнительно короткого времени. Является ли это чистой случайностью? Должны ли мы удовлетвориться предположением, что при многочисленности мутаций с течением времени на-ряду с другими, в естественном фильтре часто вновь отпадающих наследственных изменений, вероятно, возникнут и такие мутации, которые в том же направлении будут продолжать ранее возникшую мутацию? Разве мы должны ограничиться подобным об'яснением для развития явлений приспособления, или здесь имеются особые закономерности, и селекционные представления в этом пункте нуждаются в каких-то дополнениях? Еще во время старых дарвиновских взглядов (до их расширения), Август Вейсман, наиболее глубокий и пытливый исследователь среди приверженцев учения об отборе, указал в учении Дарвина известный пробел и пытался его заполнить своей гипотезой о герминальной селекции [1]).

Еще задолго до появления экспериментальных исследований Менделя, на основе теоретического анализа работ своих предшественников по изучению наследственности, Вейсман перенес представление об изменчивости организмов на независимые наследственные зачатки, им же постулированные.

Сущность этой гипотезы, не касаясь некоторых деталей, которые обусловливаются общими воззрениями того времени и нас поэтому в некоторых отношениях не удовлетворяют, по моему мнению заключается в том положении, что наследственные зачатки подчиняются им свойственной, хотя преимущественно количественной, изменчивости и, что крайние их вариации при дальнейшем размножении еще больше отклоняются в том же направлении. При каждом подобном количественном и положительном отклонении, само собой разумеется, есть вероятность дальнейшего усиления в следующих генерациях, тогда как соответственно каждая отрицательная вариация наследственного зачатка, именно из-за своего ослабленного состояния, передает своим потомкам тенденцию к дальнейшему количественному уменьшению. Этим самым создается критерий для дальнейшего развития благоприятных мутантных изменений путем отбора и также большая ясность в понимании ортогенетически возникающих линий и прогрессирующего приспособления организмов.

Учение о герминальной селекции Вейсмана с момента ее создания до настоящего времени почти всеми отклоняется; сущность его, его ядро несправедливо осуждено. Теперь же, когда положение о наследственных зачатках, зародышевая плазма Августа Вейсмана сделались общим достоянием

---

[1]) А. Вейсман. 1896. О герминальной селекции. Иена. Г. Фишер. Его-же. 1902 Лекции по эволюцион. теории. Иена. Г. Фишер.

науки о наследственности, вполне понятно, что основные положения гипотезы о герминальной селекции в другой современной форме снова должны выплыть. Я подразумеваю положения о количественных основах наследственности, которые недавно были высказаны Гольдшмидтом [1]).

Ведь сущность и его учения также заключается в предположении определенной изменчивости наследственных зачатков и возможности усиления их деятельности в определенном направлении. Идет ли здесь речь, как думает Гольдшмидт и как он смог это убедительно доказать в отношении факторов, образующих пол, вообще о чисто количественных отношениях или о сочетании массы гормонов—решение этого вопроса представляется мне при наших незначительных конкретных сведениях в этой области еще преждевременным.

Мы могли бы ограничиться теперь тем, чтобы выдвинуть общий основной вопрос и не обращать внимания на те или иные воззрения, свойственные данному времени и в силу этого легко меняющиеся, но если этот вопрос мы ставим в общем виде, то мы должны выяснить, является ли изменчивость наследственных зачатков и прогрессивное отклонение в присущем ему вариантом направлении само следствием именно этой вариации (т.-е. об'ясняется внутренними причинами), или же их надо рассматривать, как результат продолжительности воздействия изменяющихся внешних условий, вызвавших данные мутации.

И только после выяснения этого вопроса после выделения затемняющих картину и не влияющих на наследственные зачатки модификаций, что являлось камнем преткновения для прежних исследователей этого вопроса и перед чем они отступали, только после этого мы можем приступить к исследованию вопроса; экспериментально же эта задача может быть поставлена тогда, когда по крайней мере в единичных случаях мы научимся получать мутации путем изменения внешних условий. Надо надеяться, что в близком будущем можно будет разрешить этот принципиальный вопрос о дальнейшем развитии мутаций на основании точных данных.

И если б этот ответ был бы положительным, тогда круг развития наших взглядов в этой области был бы сомкнут: наши представления о видообразовании и отборе могли бы быть построены на основе генотипической изменчивости, так же, как это сделал Дарвин без достаточного размежевания фенотипических и генотипических явлений. И новый Гальтон мог бы приступить к числовым определениям действия отбора уж на более точном базисе. Но все это — возможности и чаяния для будущего исследования.

Если же в конце обзора селекционного учения мы вернемся к нашей исходной постановке вопроса, то уже и теперь мы можем сказать: обе основные предпосылки дарвиновского взгляда о перепроизводстве потомков и о постоянном появлении новых наследственных вариаций—целиком, и в пол-

---

[1]) Р. Гольдшмидт. Количественный базис наследственности и видообразования.—Берлин. И. Шпрингер.

ной мере подтверждаются достижениями новейших экспериментальных биологических исследований.

Некоторые изменения, внесение ясности в понимание были в течение последних десятилетий необходимы, некоторые затруднения остались еще непреодоленными, и мы еще очень далеки от полного понимания отдельных явлений приспособления, но принцип селекционного учения оказался твердой базой для наших воззрений и принципом единственным, могущим выдержать осаду самой беспощадной критики.

И теперь мы являемся свидетелями того, что после периода отрицания мы именно на основе экспериментальных исследований наследственности вновь возвращаемся к учению о возникновении видов путем естественного отбора.

От земли и городов

От земли и городов.

М. Пришвин.

История цивилизации села Талдом.

По Савеловской железной дороге от ст. Талдом до Кимр на Волге (18 верст) лежит глухое болото Ворогошь, в старые времена приют беглецов от церкви, государства и общества; на берегу этого болота теперь живут ремесленники, разного рода сапожники, башмачники, скорняки, портные, всего в краю насчитывают двенадцать, или тринадцать ремесл, но в подавляющем числе талдомские—башмачники и кимрские—сапожники. Не надо себе представлять, что ремесленники распределены только в этих крупных центрах, их гораздо больше в деревнях, и так, что если портные, то вся деревня—портные, и даже две-три под ряд, скорняки, так опять все на-чисто скорняки, а башмачники, даже по своим специальностям, несколько деревень под ряд занимаются детской обувью, дальше, тяжелой обувью, еще дальше легкой, красивой; есть деревня, где живут одни пастухи, которые ранней весной являются в близлежащий центр со своими рожками, трубят там на базаре, играют и нанимаются на лето. Чрезвычайно интересный край для исследователя, благодарный в высшей степени, потому что мало-мальски вдумчивому человеку легко можно ввести всевозможные улучшения в рутинные приемы всех этих ремесл.

Что это, скудость болотистой почвы оторвала население от исключительного занятия земледелием, или, может быть, промышленная инициатива явилась наследством относительного чувства свободы, которую обрели себе Ворогошские беглецы, изгои церкви, государства и общества? Я ничего не могу ответить на этот вопрос, потому что нет никаких источников для изучения края, и скудные сведения, с большим трудом добытые, взяты мной из неизданных записок бывшего священника, о. Михаила Крестникова (в революцию он снял с себя сан и отдался истинному своему призванию, кооперации).

Талдом—записано у М. Крестникова—вернее всего слово татарское и значит стоянка, а может быть и финское—желтая земля. Есть и простодушная легенда о русском происхождении слова: было местечко Великий Двор, куда с'езжались для отбывания общественных работ крестьяне, при-

писанные к монастырям; однажды, этот двор сгорел, и когда выстроили новый, архиерей сказал: «вот и стал дом», с этого будто бы и начался Талдом. В XVIII веке тут проходила дорога от низовий Волги на Петербург, талдомцы ездили по ней в Саратов, там ознакомились с кожевенными товарами и начали свое местное производство обуви. На первых порах обувь эта была «кирпичи», так назывались мужские башмаки, потому что в них между стелькой и подошвой прокладывался слой глины. О тяжести такой обуви можно судить по преданию о силаче Ефреме Соколове, который снес в Москву в один день (сто верст) сто пар *кирпичей,* весивших девять пудов. Переворот в производстве этой первобытной обуви произвело знакомство с товаром «выросток», после чего началось производство культурного Осташевского типа обуви (осташей). С половины XIX века начинается плисовая и бархатная обувь на меху, ныне совершенно исчезнувшая («и очень жаль,—написано у о. Михаила,—в холодное время было так хорошо засунуть ногу, толую, без чулка, прямо в мех»). С половины девятнадцатого века поездки молодежи в Москву повели, наконец, к знакомству с юхотными товарами, появились специалисты, отличающие козла от барана, и началось современное производство, в некоторых отношениях превосходящее Европейское и Американское.

В записках имеется маленькая хронологическая таблица главных событий в истории торгового села Талдом, вот она:

Год 1901. Постройка железной дороги Москва—Савелово.
1906. Начало мостовой в селе Талдом.
1907. Первый фонарь на улице села Талдом.
1912. Почта переезжает в собственное здание.
1920. Село Талдом переименовывается в город Ленинск условно, если докажет свою экономическую и финансовую жизнеспособность.
1923. Электрификация города Ленинска.

Этой таблицей этапов цивилизации села Талдом заканчиваются записки бывшего священника о. Михаила и в распоряжении исследователя остается только устное предание и своя личная догадка. Так, я догадываюсь, напр., что имя Ленинск, сменившее корявое Талдом (уроженец этого края Салтыков-Щедрин не из него ли создал свой Глупов?), дорого стоило местным гражданам, претерпевшим из-за городского устройства очень большое обложение, иначе как же об'яснить, что товары в Ленинске стоят много дороже, чем в Москве и Кимрах, сохранивших свое прежнее наименование. Местные идеалисты говорили мне, что более легкое обложение в Кимрах об'ясняется более интеллигентным составом Кимрского Исполкома, но это, по-моему, старая погудка о роли интеллигенции, а собака зарыта не тут. И правда, на вопрос мой о благодетельной роли кимрской интеллигенции один из представителей Ленинской власти ответил: «ничего подобного».

Контакт с волчками.

Оставляя местную историю и переходя к описанию современного быта, я рекомендую своим московским читателям, желающим купить недорого дамские башмаки, отправиться с первым утренним трамваем на Савеловский вокзал, найти там вблизи быв. трактир Кабанова, занять там столик и за чаем дожидаться прибытия поезда из Ленинска. Через несколько минут после прибытия поезда весь большой трактир наполнится башмачниками с корзинами обуви, каждый из них займет место за столиком, а кто не успеет—на полу, потом быстро все распакуют корзины, и весь трактир превратится в выставку женских башмаков и сандалий. Редко является сюда тот покупатель, кому нужно купить товар для личного потребления, покупают же те самые люди, которые в старое время стерегли мужика с хлебом на большаке и, скупив его, везли в город сами. Так бывает и тут, спекулянты отправляются куда-нибудь на Сухаревку, а мастера возвращаются на места... Спрашиваешь себя, разве мало теперь кооперативных союзов, устроенных именно с целью устранить посредника между мастером и потребителем, почему же мастер, теряя время, едет сам и товар все-таки попадает к купцу? Скажу даже больше, почему ремесленник предпочитает брать товар у купца и готовить обувь на его заказ, чем на кооператив? Я очень много расспрашивал про это явление и не узнал правды, потому что в этом вопросе, видимо, узлом сходятся новые идеи государственного строительства и традиции населения: в общем, мастера ссылаются на бездарность или неосведомленность лиц, назначаемых в кооперативы, а сами кооператоры объясняют все горе темнотой населения, предпочитающего по одиночке отдаваться в руки спекулянтов, чем коллективно бороться с ними через кооперативы. Словом, в этом пункте начинается какое-то дело, но быта еще нет, потому что быт, в моем представлении, является после борьбы, когда и победители и побежденные начинают в чем-то сходиться, и это их искреннее приспособление друг к другу называется миром.

Рекомендуя для покупки обуви трактир Кабанова, я рискую все-таки подвести неопытного покупателя; многие мастера, наверно, и потому избегают кооперативы, что обувь их блестит только снаружи; мне думается, что развитию кооперативного дела служит одним из главных препятствий естественный индивидуализм ручного труда, на одном полюсе которого находится мастер-жулик, на другом — мастер-волчок, как называется в обувном деле артист, изготовляющий художественную обувь. Ни жулику, ни волчку невыгодно итти в кооперативы, а станешь думать о среднем товаре, то это себе только он кажется средним, сам мастер себя, наверно, считает всегда выше среднего. Много я перевидал разных мастеров в надежде найти среди них волчка и познакомиться с жизнью, казалось мне, средневекового типа ремесленника, но тех, на кого мне указывали, после оказывалось, нельзя было считать волчками, и жизнь их была самой обыкновенной.

— Кто это вам указал,—говорили мне,—какой это волчок! живет сыто, семейно, обут, одет.

— А настоящий? — спрашиваю я.

— Настоящий волчок ходит в двух фартуках.

— Для чего в двух?

— Без штанов, прикрывается спереди и сзади фартуками. Попробуйте поговорить с Мишей Шпонтиком, тот, кажется, настоящий волчок.

Нахожу Мишу Шпонтика, спрашиваю:

— Вы настоящий волчок?

А он как будто даже немного обиделся.

— Я, говорит, мастер обыкновенный, гоню со своим помощником в неделю восемнадцать пар, а волчок делает в неделю только две, может быть, и правда, я был бы волчком, если бы мне можно было работать только две пары.

— Я считал за честь быть волчком,—ответил я,—и хотел сказать вам только хорошее.

— Ничего нет в этом хорошего, одно самолюбие, ему надо сделать напоказ, чтобы все видели и удивлялись ему, а я человек семейный, у меня в сарае крыша развалилась, мне надо обязательно выгнать в неделю восемнадцать пар. Нет, вы ошибаетесь, я по своему характеру не могу быть с волчками в контакте.

И на вопрос мой, где бы мне найти настоящего волчка, ответил:

— Волчка вы здесь не найдете, они заняли места более важные.

— Какие же это места?

— Места по их словесности.

— И важные?

— Одни ходят с портфелями, у других автомобили и свои шоферы.

Я догадался о настроении Миши Шпонтика и сказал:

— Значит, волчки занялись советской работой, но ведь и вам путь не заказан.

— У меня нет их словесности, и ему это просто, у него ни кола ни двора, занимайся чем хочешь, а у меня—жена, дети, дом свой, сарай, везде дыры, я привязан к своей собственности и с волчками не могу быть в контакте.

В конце концов этот волчковый вопрос распутался таким образом: до революции множество мастеров жили в Москве и в Петербурге, а во время голода и обнищания городов перебрались в деревню к себе, занялись земледелием. Теперь, когда условия городской жизни улучшились, волчки, как легкие на почин, перебрались в столицы, а средние мастера все боятся бросить земледелие, разорительное, но все-таки обеспечивающее на случай какой-нибудь новой катастрофы. Мне почему-то казалось, что волчок—явление самобытно-русское, но оказалось,—другое название им «немецкие мастера», и свое искусство взяли они у иностранцев, что и за границей есть свои волчки, отстоявшие свое капризное существование у машины за счет быта своих отцов. Я слышал, что не этого рода обувью мы славимся за границей,

а работой такого среднего мастера, как Миша Шпонтик, который, не имея у себя на родине механического конкурента, может дешево дать на иностранный рынок более ценный там продукт ручной работы. И само собой ясно, что, при широком распространении у нас механической обуви, грубой, но прочной, исчезнут средние мастера и останутся только волчки, но вовсе не как национальная гордость и самобытность, а как всемирный противник механизации, артист.

Бык, чорт и мужик — одна партия.

В этих полуземледельческих, полупромышленных деревнях, в мрачное время застоя народной жизни между двумя революциями, по словам стариков, жилось безобразно: в каждой деревне было несколько мастерских, принадлежащих местным богатеям, и в них были заняты сотни мастеров, большей частью пришлых; по недостатку духовной пищи весь этот люд занимался пьянством, озорством и разлагал деревенский быт. Теперь все эти мастерские исчезли, пришлый люд схлынул, коренные люди возвратились к своим хозяйствам, и, в общем, строй жизни принял тон небывалой серьезности и напряженности труда.

В одном вымороченном доме, так заросшем вокруг кустами и деревьями, что в комнате темновато,—я присоседился к труженическому быту со своей чернильницей. Как радостно было мне услыхать тут, в первый же вечер после своего водворения на место добровольной ссылки, чей-то голос за углом: «тише, ребята, тише, он лампу зажег, пишет». И на другой же день стали появляться читатели с просьбой дать какую-нибудь книжку. Одному, за то, что он выучил мою книгу *Колобок* наизусть и всю ее рассказал на том бревне, где собирается по летнему времени сход, я книгу эту подарил, и вот раз застал мужа с женой в большой ссоре за книгу: оказалось, что жена ею покрыла от мух горшок с молоком. Увидев на горшке с молоком книгу, десятки раз прочитанную и даже выученную; я испытал чувство истинного удовлетворения, какого не давала мне никакая рецензия, умная, глупая, и никакой юбилей не может этого дать никогда, а муж с женой, оба, сделав для меня самое лучшее, все продолжали ссориться из-за книги. Я так и не мог их помирить и доказать, что нет ничего любезнее автору, как увидеть свою книгу в повседневном домашнем употреблении, хотя бы и для покрывания горшков с молоком. «Нет ли и во всей нашей жизни,— думал я, унимая мужа с женой, — такого лица, которому все мы доставляем большое удовольствие, и в то же время, не понимая этого, ужасно ссоримся между собой?». В самом деле, как бы ни было худо, а все-таки непременно же есть такие минуты истинного счастья, незаметные, неценимые, из-за чего собственно мы и держимся в жизни и дорожим ею; но не всегда прилично о них говорить, и даже нужно сказать что-нибудь злое, вроде того, как недавно рассказал Максим Горький, как мужики сожгли его

потребилку. А помню, с тем же Горьким в феврале мы ехали на извозчике мимо Марсова поля, и он мне с сияющими счастьем глазами рисовал план грандиозного памятника на костях революционеров. Я робко спросил его: «повезут ли только хлеб мужики. Алексей Максимыч?»—«Уже везут,— сказал он,—со всех концов везут». И вот оказывается теперь, что мужики злы чуть ли не по своей природе, или от чтения жития святых. Вот я и думаю, что Алексей Максимыч в феврале испытывал ту свою минуту счастья, но ему не дано было сказать о ней, и потому теперь он говорит обратно. Так, ничего нет трудней, как говорить о хорошем. Но что же делать, когда растерялся, и все-таки хочется жить? Я думаю, что нужно смириться до простого факта и начинать все заново. Вот недавно сижу среди деревенской молодежи в праздник, заняться им нечем, заказали пиво и самогонку, и в тот момент, когда принесли уже вино, вдруг являются из далекой деревни ребята играть в футбол. Мигом самогонка куда-то исчезла, и наша партия отправилась в поле. Трудно бы в прежнее время представить себе такой случай,— тогда в деревне не играли в футбол. Теперь в этом краю в каждой деревне чуть ли не по три команды футболистов, странствующих по воскресеньям из одного места в другое для своих побед и поражений. Я читал у Энгельгардта в его «Письмах из деревни», что в одной деревне, исследованной им в течение десятка лет, почему-то мужики побогатели, пить стали меньше, и молодежь вместо прежнего пьянства занялась охотой с гончими. У нас теперь занялись футболом, и любо смотреть в воскресенье на выгоне вместе со всей деревней на состязание наших и чужих и радоваться, когда наши наколотят чужих, или посмеяться, когда достанется нашим. И тех же ребят я совершенно ясно себе представляю притаенными у изгороди, когда гонят стадо, один, с шильцем в руке, подкрадывается к корове—чик! ей в бок, потом чик! — другой, тоже очень интересное дело. Я хочу сказать в общем, что в деревенской природе все от солнышка, греет оно или не греет, и те же самые мужики могут быть очень злыми и очень добрыми, а не так, как смотрит на них, например, житель пригорода, мещанин, считая что бык, чорт и мужик—одна партия.

Илья-то Илья, да не будь и сам свинья.

Хлеб сеет у нас тут одна старуха Прасковья, к ней обыкновенно за этим и обращаются, она и знахарка и, кажется, акушерка. Явилось это потому, что, как я уже говорил, в прежнее время мужчины жили на заработках в столицах, а женщины занимались земледелием, теперь, из опасения новой катастрофы с продовольствием, мужчины все еще сидят в деревне и неохотно, но все-таки занимаются и земледелием; только сеять уже не решаются и поручают это бабушке Прасковье. И велико же было смущение этой старухи-сеятеля, когда вдруг, еще недели за две до созревания трав, сказали, что по новому закону завтра Петров день, и в селе будет служба,

а в старый Петров день, когда травы созреют, никакой обедни нигде служить не будут. Для всех это было довольно просто,—не признавать нового Петра, работать, а в старый—праздновать, значит, не работать. У всех праздник, понимается просто, а бабушке непременно в праздник надо сходить к обедне. Так она и решила вечером, что ежели о. Николай в нового Петра зазвонит, нечего делать, надо итти, а если промолчит, то она будет работать. В сущности говоря, повод для смущения был нисколько не меньший, чем и во время Никона, но уже не тот народ и не те вожди, в воздухе не пахло трагедией. После мне говорили (не знаю, правда ли), будто бы в одном селе неподалеку от нас в Петров день мужики решили сжечь церковь вместе с попом, но все обошлось благополучно: поп подчинился, не служил обедню в новый Петров день и не сгорел. Пусть это будет и легенда только, но все-таки характерная, что сами-то прихожане не захотели гореть за веру, как в старое время, а только обрекли на жертву попа, и что поп тоже не пожелал гореть и не принял трагедии. Так вышло, что все мое внимание при наблюдении такого интересного положения сосредоточилось на бабушке Прасковье. Утром, уходя в лес, я услыхал звон и спросил Матвея Филиппыча, сына Прасковьи:

— Как бабушка, пойдет ли в церковь?

— Собирается, ответил он.

В полдень я встретил Матвея в лесу,—рубил жерди. Спрашиваю:

— Вернулась бабушка из церкви?

— Вернулась, отвечает, до церкви не дошла, одумалась.

— Что же говорит?

— Говорит, что помолиться можно и дома.

Так в нового Петра забастовка вышла полная. и те, кто праздник понимали по-язычески, не работали, и православная бабушка, несмотря на звон о. Николая, не пошла в церковь.

На малое время в это дождливое лето выкатилось жаркое солнышко, травы все зацвели, созрели, и пришел старый Петров день. И какой же, оказалось, хитрый о. Николай, он ударил в этот день во второй колокол, чтобы прихожане не слыхали и не пошли в церковь, и все-таки отговорка осталась,—звонил-мол. Бабушка этот звон не слыхала, в церковь не пошла и молилась дома. А другие праздновали обыкновенно, молодежь играла в футбол, девушки на том же лугу красовались, покусывая подсолнухи и повизгивая частенькие песенки. Казалось, так и пойдет дальше с праздниками, в привычное время не будут работать, а бабушка за всех будет у себя в избушке богу молиться. Но подходит Илья, и вот осложнение: Илья—годовой праздник, престол, и без службы его праздновать никак невозможно, вскоре же после Ильи следует особенный праздник—Кирика и Улиты, когда молятся во избавление от в какие-то времена бывшей чумы и когда особенно сладка бывает самогонка. Веселее всех бабушка, она теперь окончательно установилась на старом и говорит:

— Илья-то Илья, да не будь и сам свинья.

А у граждан полное уныние, в престол без попа водка в рот не пойдет.

Что тут делать? Золотой человек Филипп Яковлевич, председатель, один не унывает, он хорошо знает, что нет такого положения, из которого нельзя выцарапаться, тип на Руси повсеместный, во время напора революции состоял в каких-то властях, познакомился с лицами с духом новых законов, и теперь без него мужики, как без головы. Филипп Яковлевич является из города веселый, говорит:

— Все будет, и поп и все, как следует.

Встречаю в лесу гражданина, идет, подпирается,—будто бы железным костыликом, но я рассмотрел: трубка для самогонного аппарата.

— Попа, спрашиваю, угощать готовите?

— Все, отвечает, будет по-старому. Филипп Яковлевич закон откопал, дело верное, а это все о. Николай баламутит.

— Зачем же о. Николаю народ смущать, ведь ему тоже, наверно, хочется выпить?

— Ну, как же не хочется, да ему надо и в живую церковь пролезть, там ему сулят архиерея. Вот приходите вечером на сходку, все раз'яснится.

Природа науку одолевает.

С удовольствием иду я вечером на сход. Я как-то и раньше с трудом читал газеты и больше интересовался в них библиографией, но как теперь этот отдел во всех газетах очень запущен, то и не получаю совсем газеты, а урывками читаю, когда попадется листок, между тем в деревне кто-нибудь непременно читает и потом подробно рассказывает на сходке о всем важном. У меня вообще теперь такое чувство, что, будто, простой народ, несмотря на все жалобы, на действительно вялое дело школ, быстро догоняет нас в развитии. Во всяком случае, географию выучили отлично, разбираются в истории, в законах, теперь часто в беседах забываешься и не смотришь, как раньше, на них, как на детей. Хорошо ли, худо ли, вопрос отдельный, а только—плотина прорвана и вода прет. Несколько хороших книг из моей библиотеки редко залеживаются дома и ходят из хаты в хату, из деревни в деревню, среди этих книг есть, например, и такие, как Ключевский. Журнал «Красная Новь», высылаемый мне в двух экземплярах, совсем у меня не живет.

Вот из окна высовывается Елизар Наумыч и подает мне прочитанную им последнюю книжку журнала.

— Как вам понравилось стихотворение? спрашиваю я, потому что стихотворение хорошее, о деревне, и сам поэт живет тут вблизи.

— Хорошо? спрашиваю.

— Цветочки разные,—отвечает читатель,—я не знаю, зачем это нужно, это его домашние чувства.

— Чего же еще вам нужно от поэта?

— Пользы.

Так и отрезал, а человек умный, придумчивый даже, но что с ним поделаешь, стихи не понимает! Я спросил про свое сочинение.

— Хорошо, только очень отдаленно, не подходец ли это у вас к чему-нибудь серьезному?

— Подходец, подходец,—бормочу я.

Туговато с новым читателем, все ищет пользы. А Горький очень понравился. Разбираюсь, почему же именно, и понимаю, что читатель - искатель сам себя узнает в авторе. Как и Горький того времени, он читает всякие научные книги, и каждый новый ему факт знания, вычисленный ученым, может быть, совершенно бесстрастно, чисто математически, у читателя окрашивается чувством какой-то особенной радости за науку и в ней чудится ему выход темному человечеству, в этой науке, открывающей и отдаленнейшую звезду. И как ни старался Толстой, образованному не приходит в голову простой вопрос, что другой читатель из той же науки, быть может, берет удушливые газы, и что тут дело не в самой науке, а в сердце читателя. Гениально изображен у Горького космический сумбур, поднятый в его голове чтением метафизики, и удивительно сочетание в этом отрывке читателя, искателя и поэта. Из этого космического хаоса вырастает, конечно, страшный протест на обычные сказания о боге, острие ставится прямо к острию.

— Вы, должно быть, материалист? спрашиваю Елизара Наумыча.

— Ну, да, отвечает он, в бога не верю, значит, материалист.

— А кто же свет сотворил? спрашивает седой человек, подходя к бревну под окном Елизара Наумыча.

Бревно то самое, на котором в летнее время собирается сходка.

Задав свой вопрос, старик сел на бревно и дожидается.

А Елизар Наумыч выносит последний номер «*Безбожника*», который он получает с первого номера.

— Вот почитай, и узнаешь, кто сотворил свет.

— Ну, кто же?

— Попы.

А народ все прибывает и окружает безбожника. Так, подумаешь под углом средневековья, по мнению многих соответствующего нынешней жизни русского крестьянина, до чего же должно быть остро это вступление безбожника в среду, где никак не могут себе представить жизнь без *хозяина*, под исключительным управлением человека; казалось бы, за страшное кощунство безбожника мужики бы должны разорвать Елизара Наумыча, как они чуть не разорвали Горького за потребилку. Но вокруг одно только веселье...

Как это понять?

Мне рассказывал Горький, что ему в февральские дни привелось наблюдать в Петербурге такую сцену: под огнем пулемета с крыши солдаты как-то ухитрились пробраться на чердак и там захватить городового, казалось бы, только - что рисковавшие жизнью солдаты должны были там же

на чердаке разорвать городового, но все они вышли и с городовым, и с пулеметом как ни в чем не бывало, и все хохотали и, по словам Горького, сам фараон тоже хохотал...

Ну, как это понять?

А, может быть, смех и веселье во всяких положениях—природная черта гущи народной, не только нашей?

Особенно хохотали на сходе по поводу одного стихотворения, в котором все боги попали под телегу и сам бог-отец здорово поломал себе ребра.

Даже и тот старик много смеялся, пока, наконец, надумал спросить:

— А все-таки, кто же свет сотворил?

Но тут староста ударил палкой по земле, крикнул: «к делу», и сходка стала заниматься трудным вопросом, кому загораживать недогороду в три с половиной сажени.

Мы же с Елизаром Наумычем продолжали свой разговор.

— Вы,—спросил я,—совершенно в бога не верите?

— Этому и невозможно верить.

— Но как же раньше-то, наверно, верили?

— Верил, что Илья по небу катается, и оттого гроза, а когда стал книги читать, узнал, что обман, и действует электричество.

Так мы беседовали, а сходка, решив вопрос о недогороде, вдруг перешла к живому вопросу,—как же все-таки праздновать Илью. Тут председатель Филипп Яковлевич и сделал свои необыкновенные раз'яснения: оказалось, что по декрету все граждане могут в любое время устроить себе праздник: постановили на сходе, сделали выписку из протокола, на другой день пришли в исполком, там приклеили марку за тридцать *лимонов*, и все.

— Молись хоть луне, хоть чорту, сказал Филипп Яковлевич.

— И можно с попом?

— Ну, как же!

— А ежели он луне не захочет служить?

— Найдем другого,—всякие есть попы—и обязательно, чтобы плясал, так и будем просить, чтобы с плясом.

На этом и порешили с великим весельем.

Под конец сходки я спросил, почему это вышло так, в первое время революции сходка проходила с чередованием голосов, с записями, а теперь опять все забросили и стали брать криком, как в вечевые времена. Мне на это ответили:

— Природа науку одолевает.

И рассказали, как барин кота научил тарелки на стол подавать и как раз этот кот, завидев мышь, бросился за ней, и перебил все тарелки. И это значит, что—природа науку одолевает.

Англо-французская борьба.

М. Танин.

«Только война может разрешить...».

Вся «версализированная» Европа—это гордиев узел империалистических противоречий, национальной грызни, назревающих и уже назревших грозных конфликтов. Но доминирующим и самым зловещим на этом фоне без сомнения является борьба двух великанов империализма—Англии и Франции.

В первое время после подписания Версальского «мира» вспышки вражды между английскими и французскими империалистами обсуждались в буржуазной печати, как «недоразумения» между союзниками. И даже те, которые внимательно относились к событиям, усматривали в них что-то политически-пикантное: союзники-де, а вот какие у них счеты... Но это время давно уже прошло. Теперь для всякого должно быть ясно, что ничего пикантного тут нет, что *Англия и Франция—даже не союзники. спорящие за добычу, а просто враги, заклятые смертельные враги, и что каждый из них лихорадочно готовится к войне, которую они считают неизбежной.*

Так, и только так стоит вопрос, и здесь нет ни малейшего сгущения красок; так он поставлен ребром самим ходом событий. Это видно будет из дальнейшего анализа основных моментов непримиримого антагонизма между английским и французским империализмом, ссылок на различные выступления тех, которые направляли и направляют эту борьбу и цитат из наиболее влиятельных органов печати. Но, прежде чем приступить к деталям, полезно будет наметить самые общие контуры этой грандиозной картины, уже залитую зловещим красным светом занимающегося зарева пожара.

Англо-французский союз перестал существовать в тот самый момент, когда Ллойд-Джордж и Клемансо сели за зеленый стол мирной конференции. А «сердечного соглашения» (entente cordiale) никогда и не было. Ибо в самый разгар мировой бойни дипломаты союзников вели бесконечные интриги вокруг шкуры еще неубитого медведя. И когда они посылали в пеклю кровавого пожарища миллионы рабочих и крестьян, с заклинаниями о священной борьбе союзной демократии против прусской автократии—эти самые дипломаты в своем типично-классовом цинизме, в тиши кабинетов заранее, не брезгая никакими средствами, принимали меры, чтобы тот или иной «демократиче-

ский союзник» не зарвался в будущем, когда дело дойдет до дележа. «Была одна серия военных целей демократического характера для создания общественного мнения, были и другие цели военного и финансового характера, которые не публиковались и которые соответствовали вожделениям французской металлургической индустрии». Так пишет бывший итальянский премьер Нитти в открытых письмах Пуанкаре («Манчестер Гардиен» 9 авг.). Тот же Нитти, Ллойд Джордж, Тардье, Вильсон, Лансинг—все они, кто в озлоблении за неудачи личного или патриотического характера, кто из-за ненависти к старым «братьям по оружию», а кто, быть может, в честном, но жалком стремлении наложить еще одну заплату на Тришкин кафтан балканизированной вулканизированной Европы,—все они в своих мемуарах с разных сторон бросают свет на отвратительную торгашескую грызню победителей, в частности Англии и Франции во время мирных переговоров. Уже в момент этих дипломатических дрязг рельефно выступили в зародыше все те противоречия, которые теперь уже вылились в форму целой цепи грозных конфликтов. Еще на «мирной» конференции Англия и Франция дрались за Рур, Рейн, Саар, репарации, разоружение (применительно к Германии), вооружения (применительно к себе), колонии, уголь, железо, нефть и т. д. Кое-как был состряпан поистине исторический Версальский мир, который «Таймс», даже «Таймс» недавно охарактеризировал, как «неряшливый акт, наспех сделанный, штыком продиктованный».

Прошло около пяти лет. За это время борьба между Англией и Францией ни на минуту не прекращалась, несмотря на дюжины конференций, несмотря на дюжины временных компромиссов за счет Германии, России, народов Востока и т. д. Но все это были мостики из паутины. Трещина все расширялась и углублялась. И теперь она уже разрослась в зияющую пропасть, откуда несутся удушливые газы и рокот неминуемого извержения.

«*Политика, которую теперь ведет Франция, это—война*»,—пишет Остин Гаррисон, один из наиболее видных английских публицистов в весьма интересной статье в журнале «Форейн Афферс». *Только война может разрешить создавшееся положение, только крах...* (курсив здесь и ниже наш. *М. Т.).* И характерно, что в этом пацифистском органе Гаррисон говорит о грядущей войне не с ужасом, не с целью указать на сопряженные с ней величайшие бедствия, а чуть ли не приветствует ее, как средство освобождения Европы от самодержавия Пуанкаре, как начало довольно туманного «нового мира, построенного на здоровых экономических началах». Гаррисон призывает Англию немедленно приступить к созданию могущественного воздушного флота и дать решительный отпор Франции. Вот в каком направлении движется мысль английского мелкобуржуазного пацифизма, узревшего, что его отечество в опасности.

Новая Франция.

И, действительно, опасность эта велика. Франция стала сильнейшей державой на континенте, одной из сильнейших держав мира. Она вооружена до зубов. Впрочем, это выражение устарело—она вооружена свыше зубов: у нее

ведь сильнейший воздушный флот в мире (по теперь уже устаревшим данным—5.000 военных самолетов и 35.000 гражданских, которые во время войны могут быть милитаризованы); Франция имеет самую многочисленную в мире первоклассно-экипированную армию, с сильным резервом, пока малодоступным «вредным влияниям» черных войск, о которых Пуанкаре недавно отзывался с восторгом; Франция имеет могучий подводный флот; Франция имеет мощную военную промышленность.

И эта огромная опасная мощь покоится на быстро расширившейся тяжелой экономической базе. В результате войны Франция сомкнула звенья цепи тяжелой промышленности: руда бассейна Бриэ, руда Эльзас-Лотарингии, уголь захваченного и пока невыпускаемого Рура, Саара и левого берега Рейна. Но — согласно французской же поговорке—«аппетит приходит с едой», Франция этим не ограничивается: достаточно хоть бегло следить за французской печатью, достаточно вспомнить нашумевший конфиденциальный доклад Дариака, председателя финансовой комиссии палаты, распубликованный в свое время «Манчестер Гардиен», чтобы уяснить себе, что окончательное отторжение всей Рейнско-Вестфальской области, с ее богатейшими залежами угля, с ее богатейшей промышленностью (подробнее об этом ниже), это—одна из важнейших целей французского империализма, который он добивается с настойчивостью и упрямством à la Poincaré. Подготовительные работы в этом направлении уже зашли настолько далеко, что каждый день можно ждать провозглашения «независимой Рейнской Республики» под тем или иным соусом.

Но экономические щупальцы английского империализма выходят далеко за пределы старой территории Германии. Раньше всего они впились в тело «союзной», проще говоря, вассальной Польши, в ее награбленные у галицийско-украинского народа нефтеносные земли, в уголь польской части Силезии и т. д. В аналогичном, фактически подчиненном, положении находятся страны малой Антанты, Бельгия и др. мелкие страны Европы. Возьмите список тех десятков различнейших промышленных и финансовых предприятий, на которые распространяется влияние Роберта Пино, вдохновителя «Комитэ де Форж», (комитета тяжелой индустрии), этого фактического правительства Франции, Франсуа де-Ванделя и его славных братьев, Шнейдера, Лорана, Гриоле и др. королей угля, железа и капитала во всех его видах, возьмите этот список—и вы увидите, как перемежаются рядом с чисто французскими предприятиями—итальянские, бельгийские, чехословацкие, австрийские и т. д. На основании этого списка тов. Жан Дупле в «Бюллетэн Коммюнист» (от 6-го сент.) делает, между прочим, вполне основательный вывод, что во Франции невозможно провести границу между финансовым и промышленным капиталом. Они друг друга стоят, эти сиамские близнецы империализма!

Выходя за пределы Европы, французский империализм устремился в Азию, на Бл. Восток. Здесь он опирается на Сирию, благоприобретенную по «мандату»—этому ордеру на реквизицию целых стран и народов, выписы-

ваемому себе самими победителями на талонных книжках мошеннической Лиги Наций. Ловкий Франклин-Бульон втихомолку «частным образом» отправляется в Ангору, «частным образом» ведет переговоры с Ангорой за спиной Англии и неожиданно в английской печати — взрыв бомбы. Франция получила в Киликии огромные концессии на разработку естественных богатств, на постройку железных дорог и т. д. Правда, на второй сессии Лозаннской конференции Англии удается выбить Францию из дипломатической позиции «покровительницы» Турции, но все же полученные концессии остаются в силе. Окно в Ближний Восток и оттуда на Дальний Восток не захлопнуто. Далее, Франция получает по Версальскому договору германские колонии Камерун и Того и еще более расширяет свои африканские владения.

В то же время Франция мало-по-малу залечивает военные раны. Работы по восстановлению разрушенных войной областей северной Франции, несмотря на саботаж правительства и крупных спекулянтов строительной промышленности в целях наживы, все же сделали значительные успехи. «Все еще существует представление,—с плохо скрытым чувством зависти пишет английский консервативный журнал «Спектэйтор»,—что Франция—бедная разрушенная страна, и жестоко было ей напомнить факты. Но—ничего подобного. В настоящий момент Франция—единственная процветающая страна в Европе». В этих словах большая доля правды. Действительно, на место разрушенных войной было построено 20.000 новых фабрик и 220.000 новых жилых домов [1]); восстановлено было 180.000 домов; восстановлены также железные дороги, мосты и т. п. Общее положение промышленности благоприятное, безработицы почти нет.

А что же касается финансового положения, то, оставаясь весьма тяжелым, оно все же показывает тенденцию к улучшению. Внешние и внутренние долги Франции достигают, правда, астрономической цифры в 317 миллиардов франков. Но с внешними военными долгами, составляющими сумму в 74,8 миллиарда франков, Пуанкаре намерен разделаться очень просто— не платить. И имеются серьезные основания полагать, что в результате репарационных комбинаций это ему удастся. «Дефицит Франции,—пишет в «Инпрекор» тов. Варга,—об'ясняется действительно тем, что Франция потратила огромные суммы на восстановительные работы—около 60 миллиардов франков» [2])... Увеличение государственных долгов на эту сумму в 60 миллиардов ни в коем случае нельзя считать равносильным обеднению французского народного хозяйства. Тот факт, что послевоенное французское народное хозяйство было способно на такую аккумуляцию, проистекающую главным образом, от собственного производства (т. е. не столько от германских репарационных платежей), свидетельствует о здоровом положении этого хозяйства...» Откуда парадоксальное положение, что «большая часть фран-

---

[1]) Эти данные, а также другие из нижеприведенных заимствованы из периодически публикуемых в берлинском „Инпрекор" („Интернационале Пресс Корреспонденц") экономических обзоров тов. Варги.

[2]) По заверениям французского правительства—100 миллиардов фр.

цузского дефицита в действительности представляет реальную аккумуляцию». «Но, если репарационные платежи,—продолжает тов. Варга,—будут достаточны, чтобы оплатить проценты по восстановительным работам, если к тому же междусоюзнические военные долги будут аннулированы, то французский бюджет... может быть приведен в равновесие». Осуществление этих условий в той или иной форме вполне возможно. Вот почему ходячие выражения о близком полном банкротстве Франции и т. д. сеют только вредные иллюзии, извращающие общие перспективы и мешающие охватить всю сложность предстоящей борьбы пролетариата с французским империализмом—этим новым «жандармом Европы».

Таковы самые общие контуры международного и внутреннего положения Франции. Прибавьте к этому вовлечение в орбиту своего политического влияния Польши, Румынии, Югославии, Чехо-Словакии—и мы убедимся, что заявление Гаррисона в выше цитируемой статье *Европа—это Франция, это*—не просто звонкая фраза. Мы увидим перед собой огромное здание французского империализма на широком фундаменте руды, угольных пластов, железа и стали. Мы увидим Францию, возрождающую традиции Наполеона и, вместе с ними, эпоху *таких грозных военных и социальных потрясений*, при сопоставлении с которыми глубокие потрясения наполеоновской эпохи покажутся миниатюрными.

Итак, «Европа—это Франция». А как же Англия? Что думает по этому английское правительство, что думают различные группировки буржуазии, как реагирует на это английский рабочий класс? Неужели Англия так и возьмет да «уйдет из Европы», как теперь часто приходится слышать? К этим вопросам нам еще придется вернуться. И мы увидим, как в связи с англо-французским спором, как с одной, так и с другой стороны Ла-Манша, пока еще в дымке политического тумана, начинает фигурировать С. С. С. Р... А пока мы займемся более детальным обсуждением об'ектов этого спора. Это тем более необходимо, что с ними тесно связаны судьбы грядущей германской революции. Советская Германия, органически связанная с С. С. С. Р., конечно, глубоко изменила бы отношения между капиталистической Францией и Англией. Но и тогда эти спорные вопросы не исчезли бы: слишком глубоки их корни. И вполне вероятно такое положение, когда советские республики могли бы использовать в своих интересах империалистическую грызню западных соседей, как это удавалось и удается Советской России.

Обратимся раньше всего к кардинальным вопросам:

III.

уголь, железо,—

этим движущим силам современного производства (следовательно, и военного дела).

До войны запасы каменноугольных залежей Германии оценивались уче-

ными в 194,6 миллиардов тонн [1]). В результате потери Лотарингии, оккупации Саарского бассейна и передачи части В. Силезии Польше, Германия потеряла 116 миллиардов тонн—около 60%.

Несколько слов о *Сааре*.

Копи Саара Германия, согласно Версальскому договору (ст. 45—50), уступила Франции навсегда. Что же касается статута области, то в течение 15 лет она управляется комиссией Лиги Наций, а фактически Францией. После этого срока—в 1935 г.—предусмотрен плебисцит, который и должен решить вопрос об окончательной судьбе территории. В случае, если большинство выскажется за Германию, последняя вместе с территорией может получить обратно за соответствующий выкуп и угольные копи. Но так как из 700.000 жителей области французов можно насчитать только несколько сотен, то в нормальных условиях исход такого плебисцита нетрудно было бы предвидеть. Вот почему Франция теперь упорно проводит целую систему интриг, чтобы окончательно захватить эту область, угольные запасы которой оцениваются в 16 миллиардов тонн и дававшую 8%—12% всего производства стали и железа Германии. В докладе уже упомянутого Дариака, последний рекомендует такую систему мер к окончательному отторжению Саарской области.

> «Систематическое смещение пангермански-настроенных чиновников, завоевание школы, союза с духовенством, использование, прессы создание профсоюзов с определенными тенденциями...»

А так как программа, намеченная в докладе Дариака о Руре, была выполнена, то можно полагать, что в близком будущем будет выполнена и вторая программа, и Франция окончательно захватит уголь и руду Саара.

Если еще прибавить к этому, что значительная часть угольной промышленности уступленной Польше части В. Силезии находится в руках Франции, то мы убедимся, что *потерянные Германией 116 миллиардов тонн ее угольных запасов (60% довоенных) перешли к Франции или попали под ее контроль.*

Но все это не утолило жажды «Комитэ де Форж». Ему нужен для расширившейся рудной базы не просто уголь, а кокс. Версальский договор дал Франции Лотарингию, с ее годичной добычей руды в 21 миллион тонн (73% всей добычи довоенной Германии). До войны район Бриэ, второй в мире по залежам, давал ей 18,6 миллионов тонн в год. Таким образом Франция *получает возможность добывать около 40 миллионов тонн руды в год против 16,3 милл. тонн ее опасной соперницы Англии* и 59,9 милл. т. для Соединенных Штатов (тут, однако, нужна оговорка, что французская руда хуже испанской и африканской, которой пользуется английская промышленность. Средняя содержимость металла в первой—36%, а в последней—около 50%). А по залежам руды мы имеем такую картину: Франция—4,4 миллиарда тонн; Великобритания—2,2 миллиарда тонн; Германия (после-версальская)—1.4 мил-

[1]) Кол Эстэп. Приложение к „Манчестер Гардиен Коммершл"—„Восстановление в Европе". Выпуск VII.

лиарда тонн. «Таким образом—пишет известный французский экономист Фр. Делези в «Восстановление Европы»—*Версальский договор сделал Францию первой металлургической державой в Европе».*

Впрочем, чтобы быть более точным, укажем, что В. Т. Лейтон, редактор английского «Экономиста» и б. директор английской федерации железной и стальной промышленности, не соглашается уступить пальму первенства Франции. Он дает (англ. «Нейшен» 9/VI) такую таблицу соотношения сил крупнейших «стальных» держав:

I. Производство стали—настоящее и возможное (в миллионах тонн).

	1913 г.	Максим. год. произв. после войны.	Произв. теперь.	Предположит. произв. в нормальн. условиях.
Соед. Штаты	31,3	42,1 (1920)	47,5	50
Великобрит.	7,7	9,2 „	9,7	12
Франция	4,6	4,5 (1922)	4,2	8,6
Германия	17,5	9,0 (1921)	—	14

Но он сам прибавляет, что против данных последней колонки справа можно спорить, и, не придерживаясь точно своих цифр, указывает, что Англия и Франция (а также Германия) приблизительно равны по «стальной силе». Но, если принять во внимание, что Лейтон, очевидно, признает за Францией только «законно» приобретенную Лотарингию и не принимает в рассчет вероятную возможность окончательного захвата или же французского контроля над промышленностью Рура, Саара и левого берега Рейна, то нам придется ниже внести такие поправки к его данным, которые подтвердят тезис Делези.

Но, как уже указывалось, новые *позиции Франции не могли считаться достаточно надежными, пока не был решен вопрос о коксе.* Дело в том, что производство кокса во Франции стоит на весьма низкой ступени. Это об'ясняется тем, что она, вследствие незначительности ее химической промышленности, не может утилизировать продукты, получающиеся при дистилляции угля для превращения его в кокс. Поэтому французский кокс стоил всегда очень дорого, и предприниматели французской металлургической промышленности предпочитали ввозить кокс из Германии. откуда в 1921 г. его было доставлено в счет репарационных поставок свыше 3 миллионов тонн или ¾ всей потребности Франции. А родина кокса на европейском континенте это—Рур.

IV.

«Невеста без приданого».

Вот тут мы подходим к Рурской экспедиции.

В нашумевшей статье, автором которой считают самого Пуанкарэ, «Фигаро» в свое время писала:

«Обладание Лотарингией, ее залежами руды и доменными печами, но без рейнско-вестфальского угля, для Франции бесполезно. Мирный договор дал нам невесту без приданого. Теперь нужно взять это приданое. Излишки перепроизводства, превышающего потребности Франции на 5 миллионов тонн ежегодно, могут найти себе сбыт на мировых рынках только в том случае, если французская промышленность будет в состоянии дешево производить и продавать. Только полное обладание одной частью германских угольных предприятий и участие в другой может гарантировать нам необходимые для нас поставки».

«Гарантия»—это уже только для отвода глаз. Точка над i—это, конечно, полное обладание.

Еще более характерны для сокровенных мыслей «Комитэ де Форж» в связи с Руром статьи в органе предпринимателей «Узин» и в «Смэн Политик е Сосиаль» [1]) еще до оккупации. В первом органе мы читаем:

«Располагая рурским и саарским углем, мы стали бы хозяевами значительной части европейского рынка.

Будучи хозяевами Рура, мы на равной ноге можем состязаться с англичанами и, в свою очередь, диктовать им наши условия... Экономическое равновесие изменится в нашу пользу».

«Смэн е С.» писала:

«Мы заинтересованы в оккупации лишь постольку, поскольку мы твердо решили вырвать из рук Германии гегемонию в области металлургической промышленности. Оккупация есть средство парализовать германскую промышленность, обеспечить господство нашей железной промышленности. В настоящее время Германия—самый страшный конкурент на мировом рынке. Скинуть со счетов нашего конкурента, поднять наши шансы и занять его место—вот ради чего стоит оккупировать Рур... Благодаря сравнительно низкой валюте, мы сможем успешно конкурировать с Англией, с которой в настоящее время конкурирует Германия. Пришло время занять на рынках первое место».

Нужна ли более циничная формулировка целей рурской авантюры. Так диктовало свою волю действительное правительство—«Мадридская улица» («Комитэ де Форж»), а показное правительство Елисейского дворца не замедлило выполнить эту властную волю. И если стальные короли, считая лишним прибегать к мудреной фразеологии, как вуали для своих целей, называли вещи своими настоящими, но режущими ухо именами—конкуренция, валюта, железо, уголь и т. д., то талантливый оратор и стилист Пуанкарэ уже позаботился о том, чтобы придать им «светскую» форму и облечь их в красивые туманные покровы высоких слов о великих жертвах Франции для дела цивилизации, о священной силе договорного обязательства, о крови, вопиющей о возмещении и т. д., и т. д.

За поводом к оккупации дело не стало... Германия не доставила несколько процентов положенной угольной дани и 146.365 телеграфных столбов.

[1]) Цитируем по А. Керу. „Коммун. Интерн." 26—27.

146.365 столбов—это не шутка! Это—злостное нарушение Версальского договора, который, перестраивая весь мир на основах справедливости, даже не позабыл позаботиться о том, чтобы королю Геджаса был возвращен священный Коран, в свое время подаренный им Вильгельму II, а правительству его величества английского короля—череп восточно-африканского султана Макауа. (Увы! В отличие от других статей Версальского договора, в этом § 246, затрагивающем жизненные интересы английского и арабского народов, дело справедливости не могло восторжествовать: гениального черепа его величества Макауа ни в государственном, ни в частном обладании во всей Германии найти не удалось, а что касается священного Корана, то таковой..., вообще, никогда подарен не был.)

Добродетель блюстителя Версальского договора, наконец, восторжествовала над пороком его невыполняющих. После четырех лет колебаний и нерешительности, диктовавшейся внешними и внутренними причинами, давно задуманный удар был нанесен—войска генерала Дегутта вступили в Рур. Но и в этот момент «человек для поручений» при «Комитэ де Форж», он же президент французской республики—Реймонд Пуанкарэ, не позабыл о стиле. Войска были посланы в Рур не для оккупации, а исключительно для «охраны и содействия французским инженерным комиссиям»...

И как бы ни закончились переговоры между германским «правительством капитуляции» и Францией, не подлежит сомнению—рурской промышленности не уйти от французского контроля в той или иной форме.

V.

«Независимая Рейнская республика».

Но французские планы, как уже указывалось, идут дальше. Франция намерена подчинить своему контролю не только Рурский бассейн, но и всю рейнско-вестфальскую область с Саарским бассейном, что вместе с Люксембургом и Лотарингией составит такую мощную базу угля и руды для металлургической промышленности, что она действительно явится самой серьезной угрозой для английской промышленности.

Намерения Пуанкарэ в этом отношении явствуют из его речи в Бриэ 17 сентября. Начало предусматриваемого Версальским договором 15-летнего срока оккупации левого берега Рейна—заявил он—еще не вступило в силу, так как немцы де не исполняют договора. Одновременно подголосок Пуанкарэ в Рейнланде, продажный редактор продажной «Фрайте Рейнланд», Маттес, заявляет: «Свободная Рейнская республика от Рейна до голландской границы, с Руром и устьем Майна, лишит Пруссию возможности реванша и даст Франции гарантию мира». Эта заботливость о бедной Франции, которой угрожает злая Пруссия, ясна без слов. Такого рода выступления—это только деталь широкого плана, включающего в себя угрозы и—ласки, репрессии

экономического характера и—поблажки, грубое, жестокое обращение победителя и—чуть ли не заискивание перед нужными людьми. Сначала французские оккупационные власти приостанавливают железнодорожное и почтовое сообщение, а потом начинают вести переговоры с заинтересованными германскими чиновниками, чтобы склонить их к «сотрудничеству» с оккупационными властями вопреки запрету Берлина; сначала злостно срывают дело снабжения населения продовольствием, а потом созывают в Кобленце «частное» совещание с германскими «хозяйственниками» для предупреждения катастрофы. а, главным образом, для того, чтобы подготовить сепаратный хозяйственный орган Рейнской области и чтобы зондировать почву среди чиновников и представителей германской буржуазной общественности насчет «независимой Рейнской республики». Аналогичная политика—в финансовом отношении. В то же время, по рецепту Дариака, населению дается понять, что, несмотря на Версальский договор, согласно которому оккупация некоторых частей левобережной Рейнской области не может продолжаться больше 5 лет, Франция не собирается так скоро выпустить из своих рук этот «залог» на предмет выполнения Версальского договора.

И нужно признать, что эта искусная демагогическая политика приносит плоды. Немецкая пресса констатирует рост сепаратистских настроений в Рейнской области на почве «неустойчивости положения в Германии». Другими словами, страх перед германской революцией толкает буржуазию Рейнской области в об'ятия Пуанкарэ, в котором она чувствует силу, способную поддержать «порядок». 15 августа с. г. в Кобленце состоялся с'езд сепаратистских организаций, на котором был основан «Рейнский комитет действия для создания независимой республики»; в резолюции с'езда население призывается не платить налогов в общегерманскую кассу, создать свое собственное финансовое ведомство и выпустить свою собственную валюту. Ясно, что углубившийся с того времени германский экономический и финансовый кризис значительно способствует проведению таких мер.

Таким образом, далеко выходящие за пределы даже Версальского грабительского «договора» рейнские планы, еще легшие в основу секретного соглашения между французским и царским правительствами в феврале 1917 г., как будто близки к осуществлению.

VI.

«Невеста с приданым».

Чтобы понять их экономическое значение, нужно ознакомиться со следующими данными, которые дополнят вышеприведенные, не выходившие из рамок условий Версальского договора. (По «Манчестер Гардиен Виклн» 12/I с. г. и др. источникам. Некоторые данные не совпадают, но разница незначительная.)

Добыча угля и металлов в Германии (в миллионах тонн).

	1913 г.	1923 г. (предположит.)	На долю Рейнск. и Рурск. обл. 1923 г.	%%
Уголь	189,6	115	100	86,9%
Железн. руда	28,6	7,3	3	41,1%
Чугун	16,8	11	8,2	74,5%
Цинковая руда	0,646	0,205	0,91	44,4%
Свинцовая руда	0,145	0,107	0,43	40,2%

Не менее показательны и следующие цифры: население в Рейнск и Рурской областях составляет 9½ милл. или 16% всего населения Германи Отметим также, что в оккупированной зоне находится 6 из 8 крупнейш фабрик, приготовляющих анилиновые краски, которыми Германия, к известно, побивает мировой рекорд.

Какова же будет при осуществлении французских планов новая групп ровка сил в отношении угля? В довоенном 1913 г. в Германии было добы около *190 милл. тонн угля*. Из них во всей Рурской области—114,5 ми. тонн, в Саарском бассейне—13,6 милл. тонн, в Лотарингии—3,7 милл. то *всего в этих областях 131,4 милл. тонн*. Если бы же промышленность Ру ского и Саарского бассейнов попала под влияние Франции,—Лотарингия пр соединена к Франции по договору,—мы бы имели такую картину добы угля:

	1913 г.	Новое положение.
Соед. Штаты	517	517
Англия	292	292
Франция	40,8	172,2
Германия	190,1	75,6

Последняя колонка справа представляет добычу угля в нормальных усл виях при осуществлении французской гегемонии, если взять за основу добы довоенного 1913 г. (Укажем для сравнения, что добыча России—без Польши в 1913 г. составляла 33,8 миллион. тонн.)

Итак, *угольная мощь новой «наполеонствующей» Франции увелич лась бы по сравнению со старой больше, чем в четыре раза!*

Как же будет обстоять дело со сталью?

Таблица Лейтона о соотношении «стальных сил» держав уже прим другой вид, для Англии весьма скверный [1]).

---

[1]) Считая по Лейтону приблизительное производство нынешней Германии с Ре ской и Рурской областями в 14 милл. тонн, мы переносим Франции, по оценке „Ма честер Гардиен Викли" 74,5%, или в круглой цифре—10 милл. тонн, выпадающие долю этих областей.

Производство стали—настоящее и возможное (в миллионах тонн)

	1913 г.	Максим. годичное производство после войны.	Производство теперь.	Предполож. произв. в нормальн. условиях.
Соединенные Штаты	31,3	42,1 (1920)	47,5	50
Франция	4,6	4,5 (1922)	4,2	18,6
Великобритания	7,7	9,2 —	9,7	12
Германия	17,5	9,0 (1921	—	4
Россия в 1914 году	4,3	—	—	—

Расширится, примерно, в четыре раза не только угольная, но и стальная база. Перед нами, так сказать, французский империализм, помноженный на четыре. Производное от этого умножения—это и есть та «невеста с приданым», которой так упорно добивается французский рыцарь без страха и упрека—Роберт Пино—и для чего столь неутомимо хлопочет играющий при нем роль сводника Реймон Пуанкарэ.

Вот цифровое выражение формулы «Смэн политик е Сосиаль». «Выбить из рук Германии гегемонию в области металлургической промышленности... *Занять на рынках первое место*».

Вот каковы цели и вожделения французского «неонаполеонизма».

(Окончание следует.)

На перевале.

А. Воронский.

(Дела литературные.)

I.

Наше литературное сегодня очень сложно и пестро. Приток в редакции стихов, поэм, рассказов, повестей, романов, увеличивается с каждой неделей, месяцем. Пишутся миниатюры, вещи монументальные в 25—30 листов. Пишут старики, молодежь, люди самых разнообразных положений и настроений. Сплошь и рядом рукописи принадлежат свежим, новым авторам, вышедшим из комсомольской, коммунистической, рабоче-крестьянской среды. Недостатка в притоке рукописей, словом, нет. Растут литературные кружки и группы. Критическая баталия, перебранки, схватки между различными литературными направлениями достигли насыщенности и напряжения более чем достаточных и, надо полагать, будут итти crescendo, если властная рука внешних событий не изменит радикально обстановки.

И все же. За всем этим словесным шумом, борьбой, наплывом рукописей у авторов остро ощущается какая-то внутренняя приниженность, вялость, серость, нерешительность, неудовлетворенность, даже растерянность, отсутствие чего-то нужного, самого главного. Как будто с путей прямых и проторенных вступили на кривые, извилистые, еле приметные перепутья. Во всяком случае, есть твердое сознание, что какой-то этап литературной жизни пройден, что нужно что-то преодолеть, чтобы двинуться дальше. Рукописей много, но рукописей хороших, интересных мало до чрезвычайности. В результате—недоволен писатель, недоволен читатель, недоволен критик.

Явление это почти общее. Касается оно литературы некоммунистической и коммунистической, разных школ и направлений, и, если в пылу витийствований, дискуссий, словесной шумихи представитель такой-то группы уверяет с запальчивостью и бия себя в перси, что истинный секрет для открытия литературного ларца только у него, а все остальное—гиль и одно заблуждение, то в этой самой запальчивости, в этой чрезмерной суетливости, в прокламировании своего кутка нетрудно уловить излишнюю и подозрительную нервозность, игру «на испуг и на психологию», скрытую надежду,

что читателя можно взять оглушением, звоном литавр и вообще внешними способами обработки. На старом уголовном жаргоне это называлось «взять на *бас*». И обычно чаще всего бывает так: чем громче и оглушительней стараются «взять на бас» пропагандисты и присяжные защитники такой-то группы или кружка, тем беднее они в смысле производства литературных вещей, тем слабей позиция, не в области словесных излияний, а в области художественного творчества, в той области, каковая является для художника, как художника, единственной и подлинной. Можно категорически и со всей справедливостью утверждать, что в наше время нет ни одной литературной группировки, если иметь в виду «властителей дум», где не было бы кризисов, расхождений, взаимных исключений, столкновений, самых острых и неожиданных. Все это обыкновенно держится втайне и за семью печатями от инакомыслящих и от широкой читательской аудитории—ведь нужно «взять на бас», но так как нет ничего тайного, что не стало бы в конце концов явным, то и получается, что в этих и подобных случаях должно получиться: *вдруг* становится известным, что тот-то того-то отлучил, исключил и ниспроверг: *вдруг* в такой-то группе произошел раскол, а в другой дело кончилось тем, что испытанные, казалось бы, друзья, друзья до гробовой доски, *вдруг* взаимно отрясли прах от ног своих и уже поносят друг друга на всех перекрестках как предателей, изменников, дезорганизаторов и инсинуаторов. Сии огорчительные и внезапные недоразумения разносятся по ветру легкой литературной средой; возникают новые об'единения с тем, чтобы рано или поздно пережить горестные огорчения на старый лад. Давно ли твердили нам: ешь глазами «Октябрь»? Были тимпаны и гласы трубные. А уже дошли сначала газетные глухие сведения о какой-то чистке внутри группы, а потом часть группы откололась и ушла чуть ли не с распубликованием. В «Лефе» неладно. Не совсем все на месте в «Кузнице»: там тоже собираются кого-то чистить. Так называемые крестьянские писатели (Есенин и др.) не успели собраться, как бросились врассыпную. Во всеросс. союзе писателей мелкое подсиживание и скука. Таких примеров сколько угодно и выискивать их особенно не следует: они у всех на глазах. Все эти меж- и внутри-групповые бои, расправы, исключения, включения иногда имеют и серьезные основания, но бывают они и оттого, что наши группы и группировки возникают, организуются и живут под знаком узкого литературного политиканства, не политики, а политиканства. Политики настоящей, когда писатель является не только словотворцем, но и гражданином, у которого сердце бьется в унисон сердцу демоса, такой политики у нас в кружках и группах—прямая нехватка. Зато сколько угодно политики мелкой и мельчайшей, политической кружковщины, изнурительного и бесплодного направленства. Такое политиканство само по себе тоже в достаточной степени свидетельствует и указует на внутреннее неблагополучие в современной писательской среде и является выражением и показателем нынешнего литературного кризиса или,—если хотите бóльшей осторожности,—показателем недомогания, неудовлетворительности, зыбкости и какого-то литературного легковесия.

Говорить ли еще о легкости нынешних литературных нравов и о своеобразном литературном в этой области нигилизме. Все это общеизвестно и распространяться на эту тему излишне.

II.

Наша молодая литературная жизнь последних лет проходила под знаком быта. Это было нужно и своевременно. Новый быт в кое-каких чертах своих в годы революции уже отложился, наметился, по крайней мере, вчерне и настойчиво требовал своего освещения с помощью художественного слова. С другой стороны, революция наша вошла в период, когда одописание, агитписание переставали удовлетворять и писателя и читателя, когда назрела потребность перейти к изображению действительности, людей и событий в их живой диалектической текучести и конкретности. Посильно этим и занялась и коммунистическая и некоммунистическая литература, так называемая литература попутчиков. Были достигнуты известные положительные результаты. Появился ряд подлинно талантливых писателей. Они принесли с собой свежесть языка, тем, изобразительности. Они показали разные, часто таежные, глухие и незнаемые углы и уголки заново складывающейся революционной действительности, схватили кое-какие черты психики молодого поколения, выросшего в войнах и гражданских боях, заглянули в деревню последних лет, в былую красную партизанщину, в провинцию. В их вещах читатель впервые почувствовал в литературе за годы революции живой пульс жизни, увидел попытки художественно переработать и осмыслить то, что рождалось в хаосе, в грохоте нашей эпохи. Одна оговорка: здесь беру в одни общие скобки произведения и пролетарских писателей и попутчиков, ибо при всех серьезных различиях их между собой и тем и другим сплошь и рядом присущ общий бытовой уклон, один и тот же подход и способ обработки художественного материала, манера и стиль, наконец, общи многие достоинства и недостатки.

Художественная проза последних лет несомненно не стояла на месте. Но обратите внимание на одно немаловажное обстоятельство. Подавляющее большинство современных бытописателей—*областники*. У Бор. Пильняка-Коломна, у Всев. Иванова—Сибирь, у Неверова и Яковлева—Поволжье, у Никитина—Свияга, север, у Гладкова—Дон, у Сейфулиной—Сибирь и т. д. Большинство наших писателей танцует от одной областной печки. Отсюда—богатый фольклор, свежесть лиц, слов и словечек, большое знание того, что находится в об'ективе их художественного творчества, но—отсюда же и ограниченность обобщения, известная узость опыта, недостатки в синтетических средствах. Конечно, писатели эти часто выходят за пределы областничества, но важно не это, а то, что областная окраска все же остается основной, ее почти всегда чувствует читатель. Пока автор ставит себе задачу собирания материала, областничество хорошо служит этому делу. Но как только от этого собирания требуется перейти к широкому синтезу, областная печка

может стать значительным препятствием, разумеется, при известных условиях, о которых ниже.

Художественная проза последних лет занималась главным образом именно собиранием и фиксацией материала, преподнося его в довольно сыром и малообработанном виде. Было великое множество тем—и не было *темы*. Было очень много героев—и не было *героя*. Было рассказано о многих очень удивительных, смешных и печальных событиях—и не было о *событии;* как в кинематографе, пред нами мелькали тысячи типов, человеческих лиц—и не было *типа*. Наши писатели дали тысячи мелочей, облазили отдаленнейшие уголки,—поведали нам о вещах удивительных и неслыханных и постоянно упускали, забывали что-то главное. Очень хорошо это подметил А. Н. Толстой: «в современных русских повестях еще не видно человека. Я вижу мелькание жизни, тащится поезд, воет метель, умирают, любят, ссорятся, бредут по равнинам, воюют. Вон там рука, вон—глаз, вон—мелькнул обрывок одежды. Но целого человека не видно» [1]). Не нужно, конечно, преувеличивать. Синтетическая цельность есть в некоторых вещах Тихонова, Всев. Иванова, Пильняка, но если подводить суммарные итоги истекшему литературному трехлетию, следует признать, что художественное слово за это время не вышло из стадии собирания материала.

Справедливо говорят, что форма определяется содержанием. Форма, стиль, манера письма наших бытописателей находятся в неразрывной связи с этим областным бытописанием, с фиксацией бытовых подробностей и черт по преимуществу. При всем богатстве изобразительных средств, при всей своей наблюдательности, при всем прямо-таки пышном изобилии образов, при всей перегруженности материалом Всев. Иванов—слабый конструктор. Его большие вещи лишены органичности. Главы его повестей, романов иногда можно переставлять без особого ущерба для цельности произведения. Про Пильняка и говорить нечего. Он весь из кусочков, а часто это—записная книжка художника. Самая разбросанность, расколотость стиля, перебивки тем как нельзя лучше подходят к этому жадному стремлению за все ухватиться, все передать, хотя бы в сыром виде. Слабы, с точки зрения цельности и зрелости построения, вещи Никитина, Неверова и другие. Когда художник занят бытовыми подробностями и они у него на первом плане, ему, в самом деле, не очень нужно задумываться над монолитностью своего произведения, над соразмерностью и гармоничностью частей. Все эти вопросы перед художником встают только тогда, когда он поставит основной целью своего художественного творчества широкий синтез.

Утверждают, что большинство современных рассказов, повестей, романов бессюжетны. Это верно и неверно. В отдельных своих частях произведения современных беллетристов даже очень сюжетны. Сколько сюжетных глав в «Цветных ветрах», в «Бронепоезде», в «Перегное»! Но правда в том, что *цельного* сюжета в них нет. Повесть, роман распадается на ряд отдель-

---

[1]) Из статьи А. Н. Толстого „Литературные заметки", вошедшей в сборник „Писатели о художестве и о себе". Сборник печатается „Кругом".

ных сюжетов, слабо сцепленных друг с другом. И это опять-таки соответствует бытовой сырости современного прозаика. Работа над сюжетом, над органичностью произведения подменяется стремлением к яркой изобразительности, к выпуклости образов, картин, сцен, отдельных зарисовок, чего некоторые из наших прозаиков достигли в совершенстве.

В погоне за бытовым материалом современный художник потрудился довольно. И дал его читателю в изрядной дозе. Теперь и читатель и писатель сыт от деталей. Не то, что нет больше таких областей жизни, которые не были бы освещены. Наоборот, таких сторон жизни у нас непочатый угол. В статье «Искусство как познание жизни и современность» («Кр. Новь» № 5) эти стороны отмечались; указывалось также и на отсутствие контакта между литературой и жизнью; но читатель сыт от этого неупорядоченного бессистемного, беспланового бытописания. Он этим уже не удовлетворяется, он начинает искать не фактов, а факта, не событий, а события, не типов, а типа; не героев, а героя, не сюжетов, а сюжета. Словом, он тоскует по широкому синтезу. Он хочет, чтобы писатель от области перешел к центру, чтобы им он окрашивал свои произведения, чтобы богатый, жадно собранный бытовой материал художник вправил, вписал в одну могучую цельную и гармоничную картину, чтобы из отдельных, разрозненных черт встал новый герой наших дней во всей жизненной правдивости и художественной правдоподобности. А этого пока нет. И потому современное художество на перепутьях. Старое перестало удовлетворять, а новое пока смутно, еле-еле брезжит. По инерции, по привычке еще продолжают бытописать, не мудрствуя лукаво, еще тонут в областничестве, в сырье, но не это уже стоит в порядке литературного дня. Современное художество на перевале, но по новому пути оно не пошло. Отсюда наши литературные сомнения, неуверенность, неясность, шаткость, неудовлетворенность.

Это необходимо преодолеть. Время приспело.

III.

Рискуя вызвать новые упреки в контр-революционности, в попытках литературной реставрации и в прочих смертных грехах со стороны ррреволюционнейших критиков журнала «На посту», все же буду звать современных писателей назад к классикам-реалистам. Сейчас это, впрочем, звучит скорее иначе: вперед к классикам, к Гоголю, к Толстому, к Щедрину. Нужно совершенно не понимать задач сегодняшнего литературного дня, чтобы не видеть по-истине благодетельного смысла в призывах начать серьезно учиться у классиков и брать с них пример, как «делать» вещи. У них нужно учиться прежде всего реализму, но не натуралистическому, не областническому, а тому реализму, который умел сочетать быт с художественной фантастикой, с художественным экспериментом, со способностью к синтезу. Классики-реалисты не отрывались от жизни, не плавали «в эмпиреях и прелестях неиз'яснимых»; каждая страница их произведений воскрешает пред нами тогдашнюю

жизнь, но они не были в плену у частностей, не давали сырья. Они владели материалом, а не материал владел ими. Они создавали могучие типические обобщения, которые доселе не потеряли своей жизненности, а иногда прямо злободневности. Разумеется, современным писателям нет нужды во всем следовать за классиками. Нельзя теперь писать романы в стиле Гончарова. Быстрый, напряженный темп жизни, современный урбанизм, огненное дыхание революционной эпохи требуют новых приемов, другого стиля, иного языка. Последние достижения символизма, футуризма, даже имажинизма, наших словопоклонников (Ремизов, Замятин и др.) должны быть широко использованы нашими писателями. Это и делается иногда, впрочем, в ущерб простоте и художественной искренности. Повидимому, основной преобладающей манерой письма будет неореализм, своеобразное сочетание романтики, символизма с реализмом. Как будто дело идет к этому. Но у современных писателей нет иного средства для преодоления областничества и сырого бытописания как последовать за русскими и европейскими классиками.

Пред'являть требования всегда легче, нежели выполнять их. Классики имели дело с отстоявшимся бытом. Такого быта у нас нет и в помине. Мы еще в периоде оформления, ломки, в процессе становления; многое и главное у нас еще совсем неясно, не отгадано. Возьмите нашу молодежь, ту, что наполняет рабфаки, университеты, курсы и т. д. Ясно, что ее психический облик враждебен старой обломовской Руси. Молодежь эта прошла «огонь, воду и медные трубы», поднялась вся с низов, упорна, жилиста, жизнеспособна, упориста, подтянута, в ней нет ни тени расхлябанности, она побывала в таких переделках, о которых прошлым поколениям и не снилось. В общем и целом она идет под красным знаменем революции, но ее судьбы зависят в *итоге* от *общих* судеб революции в России и на Западе. Из нашей молодежи могут выйти и выходят уже прекрасные строители социалистического будущего, но из нее при крахе революции могут формироваться и кадры новой буржуазии на американский образец, если не изо всей, то, по крайней мере, из известной части. Такими неясностями, недомолвками, полна вся наша советская действительность. И потому писателю трудно поставить точку над i, трудно подвести художественный итог. Поскольку наша общественная жизнь—на распутьи, на распутьи и наша литература. Однако здесь необходимо оговориться. У нас нет вполне отстоявшегося быта, но кое-что вчерне, в общих контурах уже стало бытовым. *Бытовое—наша коммунистическая партия, Красная армия,* бытовое—в самой ломке старого быта; много прочного, осевшего в нашем советском государственном аппарате, много нового, бытового в семейных отношениях; наконец, прошлый период гражданской войны целиком—бытовое явление. Бытовое, натуралистическое направление современной прозы само по себе уже свидетельствует о том, что у нас есть сложившееся, определившееся. В нашу эпоху жизнь вообще не течет, а бешено скачет. Давно ли у нас *Н э п?* А уже и здесь есть немало такого, что просится под перо художника и уже вполне пригодно для художественной фиксации. Кроме того, понятие быта включает в себя не только застывшее и отвердевшее, но и те

процессы изменения, которые более или менее отчетливо наметились. Иван Ермолаевич у Гл. Успенского взят в общественно-психологической перетряске и переплавке. Да и вообще психологическая законченность того или иного героя в произведении весьма относительна. Герой становится законченным в нашем восприятии лишь после, по окончании чтения. В самом произведении, в процессе чтения он изменяется, часто превращаясь в полную противоположность тому, чем был вначале; иначе и не может быть. Поэтому неверно, неправильно утверждение, что сейчас в нашей действительности нет типа, героя. Удалось же Вс. Иванову дать целую галлерею художественных портретов, а в «Браге» Н. Тихонова сколько типичного для нашей эпохи!

Отчего же, в конце концов, у нас в литературе нет героя, и так легко побеждает областничество и так не широка и не глубока обобщающая тенденция?

Обратимся вновь к классикам.

IV.

Классики всегда стояли на уровне своей эпохи, а многие из них были ясновидцами и прозорливцами будущего. Они были глубоко идейны; им были созвучны лучшие идеалы человечества их времени. В основе их творчества всегда лежали большие эмоции, любовь к человеку, к угнетенным, ненависть к угнетателям, ко всему исковерканному, пошлому, мертвому, мизерному; в них жила тоска по обновленной преобразованной жизни, «пока люди не обнимаются, не целуются, не поют песней радостных». «Ныла душа моя,— пишет Гоголь,—когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных мертвых обитателей, страшных неподвижных холодом души своей и бесплодной пустыней сердца; ныла душа моя, когда на бесчувственных их лицах не вздрагивал даже ни признак выражения от того, что повергало в небесные слезы глубоко-любящую душу, и не коснел язык их произнести свое вечное слово: «побасенки»... («Театральный раз'езд»). Да, все дело в этом: у великих художников «ныла душа» не бесхребетной, нудной, бездейственной тоской, а той, что преображает жизнь. Именно *здесь* следует искать основной стержень, истоки, побудительные мотивы, тайные, незримые пружины их творчества. То, что называлось вдохновением, творческим осенением и интуицией, нужно искать прежде всего в этих больших человеческих чувствах, которыми был «заражен» писатель, напоен до краев, до того, что не мог молчать и чем «заражал» он читателя. И потому он сочинял не побасенки, не растекался мыслию по бумаге, не вязнул беспомощно в материале, не растворялся в мелкой злободневности, не рассказывал о поучительных и интересных случаях и историйках, а создавал вещи монументальные, давал исполинские обобщения, открывал широчайшие перспективы и горизонты, делался учителем жизни, проповедником и пророком; равным образом он не застревал и в голом схематизме, в декларациях и прокламациях, в надуманностях и нарочитой, надутой тенденциозности. Как у Гоголя в «Ревизоре» по его призна-

нию было одно главное благородное действующее лицо—смех, так у великих художников прошлого, у каждого был свой главный герой, которого он проводил через все свои произведения. Герой этот был замешан всегда круто и крепко на значительных великих движениях сердца и души писателя. Великий дар обобщения, цельность художественного творчества, гармоничность произведения, сила его воздействия на читателя находились в прямой и посредственной зависимости от того, насколько писатель проникался великими чувствами, настроениями и идеалами своего века.

Нашей современной художественной прозе, да и поэзии, как общее правило, не хватает этих больших и глубоких чувств и мыслей, того, что Чехов называл богом живого человека. Произведения наших писателей не замешаны на великих эмоциях и страстях. Они не пишутся оттого, что писатель не может молчать. У нас все больше вещи «делают», «работают» над ними, а не творят, не создают их. Делают попутчики, делают лефовцы, делают серапионы, делают пролетарские писатели. Все делают. Творчеству, как особому акту художественной деятельности, об'явлена даже самая беспощадная война. Признаком хорошего литературного тона, самоновейшей левизны и революционности считаются теории, по которым выходит, что творчество, вдохновение есть буржуазно-помещичья не то выдумка, не то психическая наслойка на предмет выделения писателя в особую касту жрецов Аполлона из остальной серии толпы-черни. Упускается при этом одно немаловажное обстоятельство: истинное творчество и вдохновение в сущности покоятся на том, что художник должен уметь полновесно чувствовать, мыслить, страдать и блаженствовать, переплавляя это в образы, в соответствии с действительностью. Ничего другого поэтическое творчество не означает. Не об особых небожителях, не о священной касте жрецов идет речь, а вот именно об этом «самом главном» в уме и в сердце писателя. Творят под напором, под наплывом великих мыслей и чувств; «делают» по заказу, «делают», когда этого половодья нет у писателя, а есть кое-какие мысли и чувствованьица.

Об'ективно наши новейшие и якобы революционнейшие теории, об'являющие творческий акт буржуазным хламом и выдвигающие в противовес мастерство и делание, производственность, конструктивизм и пр., зовут писателя к освобождению от лучших идеалов и чувств нашего века, утверждая легкость близкую к хлестаковской. Такой легкости сейчас сколько угодно. При благоприятных условиях из этих теорий легко может вылупиться самая настоящая нэпмановская реставраторская идеология в области искусства. Не нужно обольщаться и давать сбивать себя с толку тем, что пропагандистами этих теорий коммунизм склоняется во всех падежах. Наше время—время красной окраски; теперь все рядится в красный цвет.

Не скажем, что современная советская проза и поэзия бездушна, безидейна, безэмоциональна. Основное русло ее несомненно идет под знаком новой советской общественности. Наша литература целиком прикреплена к земле, часто даже к злободневному, она выросла в революционную эпоху

вне ее не мыслима. Основной кадр наших молодых поэтов и писателей, не говоря о коммунистах, честно старается слить себя с революцией и служит ей в меру своего таланта, сил и разумения. Только непониманием и недобросовестностью можно об'яснить себе крики о сплошных клеветниках-попутчиках, которые будто бы и во сне и на яву ниспровергают советскую власть. Все это пустяки и досужие измышления. В современном советском художестве звучит революция, в честь ее пишутся вещи; есть в нем и мысли и чувства, рожденные и получившие закалку в событиях последних лет. Но нет пафоса, нет страсти, нет насыщенности, эмоциональной полнозвучности и полновесности, нет больших мыслей, нет проникновенной поучительности и содержательности. Главной идеи, главного героя, главной мысли нет. Одни «делают» сухие агитки, подгоняют под шаблон, под передовицы; получается нечто постное, благонамеренно-скучное и серое, как старая солдатская шинель; другие не могут выбраться из дебрей своеобразной красной схоластики; третьи громоздят благодушно и старательно сцену за сценой, картину за картиной, плавая в безбрежном море материала, если с рулем и с ветрилами, то без компаса, преподнося сырье; четвертые смотрят на все с точки зрения какого-то легкого бездейственного скепсиса, со сторонки, с боку; но и у тех, и у других, и у третьих—прямая нехватка в «буйстве глаз и половодье чувств».

Разумеется, наши замечания суммарны и, как все суммарное, не охватывают всей сложной текучей действительности. Счастливым исключением, напр., является последняя поэма Вл. Маяковского «Про это». Да будет позволено несколько на ней остановиться. При всей ее тяжеловесности, сложности в построении, трудности понимания местами, «Про это»—яркая, сильная, самостоятельная, большая вещь. Она оставляет прочный отпечаток. Самое ценное в ней—это наличие глубокого, подлинного чувства, большая поэтическая искренность, острота и высокое напряжение переживаний.

....Я свое Земное не дожил
На земле
Свое не долюбил.
Был я сажень ростом.
А на что мне сажень?
Для таких работ годна и тля.
Перышком скрипел я в комнатенку всажен.
Вплющился очками в комнатный футляр.
Что хотите буду делать даром
Чистить
    Мыть
        Стеречь
            Мотаться
                Месть.
Я могу служить у вас хотя б швейцаром,
Швейцары у вас есть?

Вот это и есть то «главное», чего не хватает многим современным поэтам и прозаикам, отчего их вещи не холодны и не горячи, а только тепловаты.

В поэме Маяковского есть герой—большой человек, которому невыносимо тесно в окружающем мелком быту, тот самый человек, о котором раньше Маяковский писал:

> Сплошное сердце—
> Гудит повсеместно.
> О сколько их
> Одних только весен
> За 20 лет в распаленного ввалено!
> Их груз нерастраченный—просто несносен.
> Несносен не так
> Для стиха,
> А буквально («Люблю»).

Конечно, Маяковский индивидуалист, но его индивидуализм ведет к социализму, пусть своими, особыми, сложными, кривыми путями, но он ведет именно сюда. Большой человек, окруженный мелочами современного быта, который ему несносен, а совсем не представитель деклассированной интеллигентской богемы, каковым любят его изображать, таким является поэт в лучших своих вещах...

Половодье чувств не уменье, а дар. Но сплошь и рядом обнаружить это половодье в себе и в вещах художнику мешают неправильные взгляды, теории, наконец, внешнее поверхностное усвоение по существу правильных мыслей и взглядов. Вредных теоретических предрассудков у нас сколько угодно. Одним из них является уверенность, что художник может спокойно стоять на своем кутке и живописать; другим—утверждение, что достаточно партийного билета, чтобы преодолеть главные поэтические трудности. У одних это вырождается в идеологическую беззаботность, у других в мелкое литературное политиканство, которым подменяется настоящая, большая политика. Оттого и борьба наших литературных кружков часто напоминает войну мышей и лягушек и так легко происходят отлучения, исключения и пр. невеселые по сути дела.

V.

По силе сказанного ответ на вопрос, почему нет героя в современной нашей литературе (в гоголевском смысле), почему нет широкого синтеза, почему наша литература завязла в узком бытописательстве и областничестве, ответ на этот вопрос должен быть примерно таков: потому, что нашим писателям не достает сильных чувств, глубоких, значительных мыслей, идей, которые проходят «от сердца до виска»—потому, что нет «половодья», эмоциональной страстности и полноты. Почему *этого* нет—вопрос другой. Одни утверждают, что наступили будни и время весеннего половодья прошло. Другие находят, что только выходцам из рабочего класса, его идеологам по плечу такие темы, которые выдвинуты нашей революцией; третьи указывают на ломку прежних чувств и настроений, где все—в процессе разрушения и нет ничего прочного. Указывают на неясность перспектив социальной революции на Западе на бли-

жайшее время. Как бы то ни было, современная литература подошла к некоему рубежу. Период собирания материала, областничества, бессистемного сырого бытописания, как и сухих агиток, кончается. Пора делать настоятельные попытки перехода к синтезу, к герою, к большим мыслям и чувствам. *Тогда у нас появится содержательность, сосредоточенность, сюжетность*, цельность и гармоничность построения; литература не будет засоряться мелочами, сырьем; тогда у нас появится большая литература. Нужно помнить, что не отовсюду и не со всех мест можно хорошо и удобно художественно обозревать нашу эпоху. Ее плохо видно с задворков, плохо видно из глухих углов. Ее трудно разглядеть из узких щелок. Недавно крымиздат выпустил из печати роман Сергеева-Ценского «Преображение». Пока это собственно не роман, а одна восьмая часть его, правда в 200 с лишним страниц. В предисловии автор уведомляет: «первые части посвящены зарисовке довоенных переживаний, средние—войне, последние—революции». В напечатанной части есть ряд превосходных мест, но уже сейчас ясно, что в зарисовках революции автор потерпит крушение, ибо он глядит на нее сквозь такую узенькую щель, через которую трудно что-нибудь разглядеть. Впрочем, поживем—увидим.

Две опасности, две гири есть у нашей молодой литературы, стоящей на почве революции: схематизм, узкое направленство, вырождающееся в холостые агитписания и бесплановое нагромождение сырого художественного материала при отсутствии синтеза.

И то и другое надо преодолеть половодьем мыслей и чувств, упирающихся в конце концов в теорию и практику коммунизма. Не верно, что время для такого половодья ушло невозвратно, что призывы: назад к классикам (в указанном выше смысле) есть беспредметные воздыхания на тему:—в старину живали деды веселей своих внучат;—для писателей наших время больших замыслов, настроений, мыслей, эмоций еще только наступает. Наше время, время величайших потрясений, социальных битв—полно великих страстей, порывов, усилий и пр. Нужно, чтобы художник был достоин своей великой эпохи.

Практика и теория в творчестве „Кузницы“ — как проблема материалистического искусства[1]).

Георгий Якубовский.

Методологическая установка.

Пользуясь возможностью, предоставленной группе писателей «Кузница» со стороны редакции журнала «Красная Новь», мы ставим своей задачей в настоящей статье—осветить проблему материалистического искусства и его теории на основании той практики, того творчески оформленного материала, какой разработала группа пролетарских писателей «Кузница» за четыре года ее литературного, художественного кузнечества. Термином «материалистическое искусство» мы пользуемся по отношению к работе «Кузницы» по тем соображениям, что флагом пролетарского искусства прикрывается, например, такая, по существу идеалистическая литературная группировка, как «Леф», под знаменем пролетарского искусства идут другие, еще неоформившиеся кружки, пользоваться же термином «коммунистическое искусство»—значило бы перепрыгивать через голову действительности.

«Кузница» не избалована вниманием критики: тем более примечательно, что, почти одновременно, она подверглась критическому освещению с нескольких сторон. Мы имеем в виду недоумевающе-иронические бенгальские вспышки «Лефа», затем восковые свечки пресвятой троицы, коммунистических столпников, бдящих «на посту», и—прожектор историзма—тов. А. Воронского (я позволю себе только не касаться, во избежание пожара, страшной критической зажигалки тов. Устинова в «Известиях»). Это не случайное явление, что «Кузница» попала под перекрестный огонь критики. Первый период социалистического накопления в ее работе можно считать законченным, чувствуется критикой и осознается самими «кузнецами» потребность в новом теоретическом оформлении художественной продукции.

Общим недостатком всех наших критиков мы считаем: отсутствие

---

[1]) **От редакции:** Група писателей „Кузница“ за последнее время подвергнулась усиленному критическому обстрелу с разных сторон. Редакция считает своевременным дать место статье т. Якубовского, являющегося активным работником „Кузницы“ и сторонником намеченного группой литературного направления.

у них постановки основных проблем искусства. Наше исходное положение: критика и теория нераздельны. Критика искусства должна производить теорию, теория—критику, иначе литературный критик, в большинстве случаев, незаметно для самого себя, сбивается на разговорчики по поводу (напр., статьи в газетах т.т. Осинского, Альфреда и др.). Между тем, практика пролетарского искусства за годы революции, марксов метод плюс данные рефлексологии, дают возможность поставить основные проблемы искусства: его судьбы, его отношения к царству необходимости и царству свободы, красота и мораль в искусстве и др. Применяя к разработке вопросов искусства рефлексологию, я имею в виду работы академика И. И. Павлова, отчасти Бехтерева.

Насколько назрела потребность в новой постановке проблемы искусства, до какой бесплодной интеллигентской рефлексии может дойти критика без Маркса и диалектики, мы сейчас увидим на примере лихих выступлений журнала «На посту».

Выхолощенная критика.

«Взбунтовалися кастраты...»

Большинство статей об искусстве в нашей печати чрезвычайно суб'ективно, т.-е. заполнено случайными рефлексами авторов; статьи без определенного критерия построены так, как-будто авторы их положили свое марксистское мировоззрение на полку, как вставную челюсть, а затем сели писать статью; одним словом, по части теории—«легкость в мыслях необыкновенная».

К этому роду литературы надо отнести импрессионистские наброски в журнале «На посту», где неугомонный тов. Родов наводит «тень на плетень». Храбрая редакционная тройка ставит себе похвальную цель: проводить твердую коммунистическую линию в литературе, но так как Маркс и диалектика за недосугом мирно покоятся на полке, то, в результате добрых намерений, все содержание журнальчика сводится к двум лозунгам: «тащить и не пущать», и «гляди веселей». Тащат в царствие небесное Александровского и не пущают—недостойных Нэпа — Кириллова, Герасимова и Санникова. Статья тов. Ингулова «На ущербе» полна противоречий. Он говорит, что Кириллов «не так мрачно смотрит на могилы борцов, как Санников», а через несколько строк далее утверждает: «Кириллова больше всех прочих поэтов одолел энцефалит» (№ 1, стр. 66). Оказывается также, что сейчас не время устраивать «вечера воспоминаний», и поэту вменяются в вину строки:

И кому, как не нам, знакома
Дней голодных звериная жуть.

Тов. Ингулов, вероятно, забыл, что вечера воспоминаний устраивались с наступлением Нэпа нашей партией и надо полагать не случайно; по крайней мере, нам кажется, что в противовес упадочническим настроениям, многим

товарищам весьма полезно вспомнить о временах подполья, сравнить прежние условия борьбы за дело рабочего класса с теперешними.

Очень странны также ссылки тов. Ингулова на авторитет Коминтерна с целью убедить кого-то, что революция «на ущербе» и шаги пролетариата перестали крепнуть во всем мире. А вот мы убеждены, что каковы бы ни были приливы и отливы революционного движения, в конечном счете — «крепнущий прибой» шагов пролетариата, это—основной факт современности. Тов. Ингулов, так сказать, пессимистический оптимист, его лозунг несложен: революция на ущербе, ешь глазами Нэп и гляди веселей! Мы же подходим к искусству и к действительности немножко иначе—полагая, что в момент отлива революционного движения художник материалистического искусства должен быть вдвойне чуток. Как прирожденный диалектик—он проявляет тревогу в дни Нэпа, его способность ощущать «горечь побед»—это положительное качество; воскрешая в своих стихах мертвых героев, поэт сигнализирует опасности на извилистом пути революции. Именно в силу своей победы, но победы *только* на одной шестой части мирового фронта, рабочий класс должен вдвойне бодрствовать. Если «хрустнул резец» художника в 1921 году, то это произошло потому, что поэт революции не может помогать ведомственным *патриотам* — раскрашивать суровую действительность в розовый цвет!

И мертвые не ведали покоя,
И мертвые тревогою росли.

Даже мертвые беспокоятся, а вот в этих прекрасных строках из поэмы Санникова тов. Ингулову послышался голос Милюкова. Изумительная чуткость слуха!

Мы еще вернемся к вопросу о Нэпе в нашем искусстве, а пока, в качестве иллюстрации теоретической несостоятельности «вечных именинников» Нэпа, отметим их трогательное единодушие с «Лефом» по части «изничтожения» «буржуазно-дворянской литературы», чуть ли не в мировом масштабе.

«Мы будем бороться с теми стародумами, которые в благоговейной позе, без достаточной критической оценки, застыли перед гранитным монументом старой буржуазно-дворянской литературы и не хотят сбросить с плеч рабочего класса ее гнетущей идеологической тяжести».

Такими «стихотворениями в прозе» щеголяет журнал «На посту», искупая беспомощность и бедность мысли—без нужды рассыпанными жирными шрифтами. О, славные младодумы, разрешите вам указать, что рабочий класс достаточно трезв и расчетлив, и интеллигентские кликушеские выкрики с претензией на сверхбольшевизм на фронте искусства не заставят рабочих художников отказаться от культурной преемственности в изучении, потреблении и усвоении завоеваний искусства прежних эпох. Нечего потрясать и «пужать» «гранитным монументом старой буржуазно-дворянской литературы» (!?),—это больше к лицу нигилистам типа «Лефа», с которыми вас об'единяет «ниспровержение» Пушкина в духе Писарева,—такой поразительный анахронизм, рецидив интеллигентского радикализма в искусстве об'яс-

няется именно вашей беззаботностью по части теории. Мы искренно советуем младодумам из журнала «На посту» почитать статью Плеханова о Пушкине, там они удовлетворят свою жажду «точной критической оценки», а лучше всего было бы для редакции «напостовцев» поступить в полном составе на рабфак, быть может, там они узнали бы, что изучение русской литературы так же необходимо для революционера в искусстве, как и штудирование истории Великой Французской Революции. «Напостовцы» этого, очевидно, не понимают, оттого мы наблюдаем любопытную картину, как через зловещую зияющую теоретическую прореху в идеологии «На посту»—проворный Семен Родов протягивает руку «Лефу», одобрительно похваливая: статьи, мол, Арватова и Силлова «в общем полезны» (стр. 50), поэма Хлебникова «очень хорошо сделана» (как убедительно!)—да, кстати. Родов не брезгает и «лефовским» добром и прихватывает у Асеева название для своей книги — у Асеева «Стальной соловей», у Родова—«Стальной строй».

Но, быть может, в журнале «На посту» имеется при всей его, так сказать, воздушности в области теории, некая серьезная практическая программа, способная указать путь искусству. При некотором усилии и тщательных поисках известную положительную программу можно найти, эта программа очень простая и выражена она в статье тов. Авербаха коротеньким рецептом — поэтам надо «одемьяниться» (№ 1, стр. 84).

По этому поводу необходимо указать, что тов. Демьян Бедный не создал школы в искусстве и бесполезно таковую создавать с помощью славословий и литературных приказов, не всем же поэтам, в самом деле, быть сатириками. Можно учиться у Демьяна Бедного, как мы все многим обязаны и учились у Салтыкова-Щедрина, но было бы очень вредно для искусства, если бы писатели ставили себе целью—«ощедриниться». При чем, этот лозунг «одемьяниться» понимается очень примитивно, так,—Юпитер из журнала «На посту»—тов. Борис Волин жестоко «кроет» Эренбурга за то, что у последнего Ц.К.Р.К.П. занимает не дворец, а—«дом, как дом» и, какой ужас! «Ц. К. Р. К. П. ассоциируется с дантистом» (стр. 11). Нам кажется, что это не так страшно, к сведению тов. Волина, у Маркса хуже—он сравнивал пролетариат с могильщиком старого строя и акушером нового. По рецепту журнала «На посту» писать надо приблизительно так: «дом, етто, у Цеки, не дом, а дворец ааграмадной! весь в золоте, одна вывеска на целую версту» и т. п. Нам кажется, что некоторым кабинетным журналистам очень не бесполезно было бы помнить совет поэта Герасимова:

> Имейте веник чилижный—
> Чистить бумажные души!

По поводу положительной программы «напостовцев» нам могут возразить, что она не исчерпывается лозунгом «одемьяниться», так, на стр. 76 (№ 1), в статье тов. Ингулова рекомендуется еще—созерцание героев революции, по примеру поэта т. Лелевича, странно только, что это «созерцание» вызвало у поэтов группы «Октябрь» отрыжку ресторанной поэзии Игоря Северянина, в виде пресловутой «коммунеры», в которой по форме не только

нет ничего нового, но сделан шаг назад, «коммунера», это—переименованная грубо-упрощенная баллада с тяжелым северянинским душком последней стадии его патриотической воинственности. Относительно «созерцания» героев революции и «живых дел» (там же) надо сказать вполне определенно, что курс на стихи о «шапке» и лихих краскомах грозит разменять искусство на мелочи. Не к этому нас призывают вожди революции, а к культурному вниманию к мелочам, к более тонкой дифференциации, без которой не возможен точный анализ действительности, в данном случае, в целях художественного синтеза во имя большого искусства созвучного величию и многообразию нашей эпохи. Сущность отношения «кузнецов» к современности можно формулировать, как требование художника революции освещать явления жизни, не замыкаясь в «официальном» оптимизме. Чиновники оптимизма этого понять не хотят, они предпочитают блокироваться с гнилой формой Северянина и провалившимся носом «Лефа». Оттого они так беспомощно выкрикивают, как припадочный больной: «профсоюзы, вперед!» (см. ст. тов. Левмана), то жалобно вопрошают:

Отчего мы не женаты?—

«у нас нет художественной политики» (та же статья), и в передовой—«самый непростительный разнобой, нелепая неразбериха господствуют в наших собственных рядах по вопросам литературы».

Товарищи «напостовцы», вы оттого не женаты, что слишком примитивно подходите к вопросам искусства, к области, где лозунг учебы применим более чем где-либо. Мы, коммунисты, миллионеры идеологии, даже в этой области, казалось бы далекой от буден революционера,—у нас есть Маркс, Роза Люксембург (см. ее письма), Карл Либкнехт, их замечания об искусстве, неоцененные и неразработанные до сих пор, к нам подходит на помощь современная наука, тем более непростительно для коммуниста решать вопросы искусства «на ура».

Горбатые марксисты.

«Но—что же делать: горбатого ни ЦКК, ни могила не исправят». Н. Чужак. «Лефо-подножка». «Правда» № 121.

«Философию детерминизма, обреченности, предназначенности—пора в мусорный ящик!»

М. Левидов. («Леф». № 2, стр. 134.)

Если журнал «На посту» подобен флюсу и односторонен, то «Леф» страдает тяжелым физическим недостатком,—коммунистической фразеологией он прикрывает огромный идеалистический горб.

Наши разногласия с комфутуризмом глубоки.

Мы причисляем его к буржуазному упадочному искусству по весьма серьезным основаниям. Комфутуризм представляет идеологическое отраже-

ние основных рефлексов технической интеллигенции и отчасти других промежуточных мелко-буржуазных слоев. Комфутуризм ставит искусство на голову... формальной теории, на голову техницизма, ставит слово на голову звукового рефлекса. А «Кузница» строит искусство, стоя на земле, на крепких ногах здоровых социально-трудовых, классовых, революционно-пролетарских и космических рефлексов. Комфутуризм обвиняет «Кузницу» в символизме, но если она пользуется *символистикой* в ущерб производственно-техническим рефлексам (а это неверно, здорового производственничества, напр., у Герасимова достаточно), то комфутуристы об'едаются техницизмом до отказу... от искусства. Никакие идеологические шатания технической интеллигенции не собьют нас с гранитных основ материалистического миросозерцания.

В начале было дело.

Мы рассматриваем слово как сложный рефлекс соответственно учению Потебни о трех элементах слова: звуке, представлении, символе. Слово возникло как звукоподражательный рефлекс в связи с процессом труда, в его основе лежит материальный нервный процесс, движение нервной энергии. Раз возникло слово, в дальнейшем своем развитии оно подчиняется своим собственным законам, но это не дает нам никакого основания отрывать его звуковую голову от материального, производственного, социального, классового, идеологического—живого тела, как нельзя безнаказанно отрывать голову у живого человека. Между тем, все ухищрения теоретиков «Лефа» направлены к тому, чтобы оторвать слово от дела, *препарировать* его в угоду формальной теории. Так, Г. Винокур пишет: «слово может быть поэтическим, не вызывая в то же время никаких эмоций, в том числе и эстетических» («Леф», кн. 3, стр. 110). Из слова вышелушивается вся его насыщенная кровью рефлексогенная сердцевина, остается отвлеченная оболочка, к ней приклеивается ярлычок: «вешь»: «взятое в смысле вещи слово выполняет функцию, слову, как знаку, не присущую». Эта функция определяется как поэтическая. Что же это иное как не типическая феноменологическая концепция, в которой от живого слова остается абстрактная «словость»,—делается это очевидно для того, чтобы возвести «заумь», бред, народные заговоры и пр. в «перл создания».

Отсюда вполне естественно вытекает последний самоубийственный вывод автора: «конечно, взятое само по себе, эмпирически-конкретное говорение, в том числе и говорение поэтическое, есть факт асоциальный» (кн. 3, стр. 111). И совершенно напрасно другой теоретик «Лефа» тов. Арватов обижается на тов. В. Полянского: «я предлагаю критику в печати доказать научным анализом, что формулировка эта—«совершенно неверная», т. е. что поэзия лабораторией речетворчества не является» («Леф», кн. 3, стр. 10). Следует напомнить тов. Арватову, что в этой же книжке на стр. 145 тов. Третьякову очень не нравится слово «творческий», в котором ему чудится «какой-то элемент *особенного, таинственного*» (жирно подчеркнуто у автора). Творчески организовывать речевые рефлексы это не значит, что

можно сознательно бредить, сознательно видеть сны, сознательно сходить с ума; в творчестве—для «зауми» места нет. Относительно же т. Третьякова остается только пожалеть о его неосведомленности в азбуке современной науки, он не слыхал, что рефлекс есть *творческий* фактор организма (Бехтерев), «сила и мера господствуют в нервном процессе» (И. Павлов)—ничего таинственного, ничего особенного.

Бесплодно искать у «Лефа» логики и диалектики, но все же необходимо отметить беспримерное жонглирование цитатами из Маркса, проделываемое тов. Арватовым, который ломится в открытую дверь, чтобы доказать ненужность реставрации буржуазного искусства и «антиквизации» современного. Маркс вполне определенно поставил проблему искусства: «трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны с известными общественными формами развития. Трудность состоит в понимании того, что они еще продолжают давать нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца». (Введение к критике политической экономии. Изд. «Московский Рабочий». Стр. 34.) Маркс констатирует тот несомненный факт, что произведения греческого искусства сохранили и для нашего времени свою потребительную ценность. Казалось бы, ясно. Между тем тов. Арватов, приведя соответствующие из «Введения» цитаты, делает следующий вывод, он жирно подчеркивает свое резюме: «греческое искусство прекрасно постольку, поскольку оно воспринимается в его естественной социальной обстановке» («Леф», кн. 3, стр. 85). Очевидно, по-Арватову, надо перенестись на 2.000 лет назад, чтобы воспринимать греческое искусство. По-Марксу, греческое искусство нам родственно, потому что в нем мы переживаем детство человечества, а хитроумный т. Арватов спрашивает: «почему нам не родственна частная собственность, торжествовавшая в Афинах, идеалистическая и рационалистическая философия греков, их религия и т. д.» (там же). Мы отвечаем т. Арватову самым определенным образом: философия диалектиков - материалистов Демокрита и Гераклита нам очень и очень родственна, также родственна гармоничность эллина и многие элементы афинской демократии. Пусть маленькие «громовержцы» из «Лефа» отказываются от родства с создателем атомистической гипотезы, дифференциального и интегрального исчисления—Демокритом, мы не только не отказываемся от этого родства, мы гордимся тем фактом, что более чем через 2.000 лет продолжаем его работу в борьбе с идеалистическим знахарством типа «Лефа». Глубоко неверно утверждение т. Арватова, «что Маркс учит нас *воспринимать* искусство не с потребительской точки зрения, а с точки зрения социально-производственной» («Леф», кн. 3, стр. 84. Курсив наш. *Г. Я.*). Маркс не мог ставить себе цели учить нас, *как* воспринимать (потреблять) произведения древне-греческого искусства, он констатирует факт, а затем об'ясняет, почему мы *так* воспринимаем (потребляем) искусство древних эллинов:

«Мужчина не может сделаться снова ребенком, не становясь смешным.

Но разве не радует его наивность ребенка и разве сам он не должен стремиться к тому, чтобы на высшей ступени воспроизводить свою истинную сущность, и разве в детской природе в каждую эпоху не оживает ее собственный характер в его безыскусственной правде? И почему детство человеческого общества, где оно развилось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень?» (Введение к крит. полит. экон. Стр. 34). Тем не менее никому не приходило в голову выводить отсюда какую-то противоестественную «антиквизацию» искусства, осложняющую рефлекторную машину тов. Арватова. Устами тов. Луначарского («социализм будет похож на Афины») пролетариат только подчеркивает, что он сохраняет красную нить культурной преемственности, что он никогда не станет без особой исключительной необходимости «Растрелли расстреливать»; социализм будет похож на Афины постольку, поскольку взрослый человек похож на ребенка, а ведь «*греки были нормальными детьми*», по словам Маркса в том же замечательном «Введении»; отсюда ясно, что пролетарское материалистическое искусство имеет все основания бороться *за смычку с эллинским искусством!*

Какие подозрительные звуки издает хриплая идеалистическая шарманка «Лефа», можно видеть из того наиболее яркого примера, что одной рукой там насаждается искусство «коммунистического мироощущения», а другой— заботливо взращивается «свобода воли» (см. эпиграф), и это в эпоху, когда материализм крепнет в науке и детерминизм получает новое подкрепление со стороны рефлексологии. А может быть, читатель, вы хотите знать, что такое прибавочная ценность по «Лефу»; откройте 3 книгу, там на стр. 149 рыцарь «свободы воли» тов. Левидов вам компетентно раз'яснит: «прибавочной стоимостью у (!) интеллигенции является ее монопольное положение в области производства и потребления так наз. духовной культуры, т.-е. комплекса благ духовного быта». Так и запишем: прибавочная стоимость это монопольное положение. Кстати, быть может, т. Третьяков, которого волнует термин «душа» и особенно беспокоит «дух» «кузницизма», нам раз'яснит, что это за штука такая «комплекс благ духовного быта». Надо полагать, исходя из формулировки Левидова, что «заумь» это прибавочная ценность у «Лефа» и в этой области он монополист. А по-нашему «заумный язык»—это психический сор, послед психики, когда рефлекторная машина дает перебои, или работает в холостую, в минуты усталости, или чрезмерного концентрирования нервной энергии в одном направлении в ущерб другим. Теоретики «Лефа» силятся доказать, что заумные отбросы, все эти «баралайзы» великолепно пахнут и для отвода глаз от этой мертвечины пальцем указывают на «кузнецов»: смотрите у них «ангелы» и «красные гроба» совсем как у Брюсова, ах, символисты вы этакие! На этот упрек «Кузница» может со спокойной совестью ответить всем критикам, согласным с «Лефом», что она не давала никому подписки в том, что не будет пользоваться красками палитр любой эпохи, если это необходимо для ее целей, отсюда еще очень далеко до «анти-пролетарских тенденций в построении образа у пролетпоэтов» («Леф»,

кн. 2, стр. 119). «Кузница» гораздо лучше знает «старую теорию Потебни», нежели это думает следопыт из «Лефа»; но она дополняет теорию образа учением об условных рефлексах. Образ—это перекресток рефлексов, точка пересечения представлений и символа. Исходя из этого положения, поэт строит образы и создает условные рефлексы, сочетает любые явления из окружающей его действительности, не только потому, что эти явления ему близки, а поскольку это нужно для его целей. Кроме того, поэт-материалист также учитывает рефлекторную установку своего читателя, у которого очень сильны религиозные рефлексы, это безусловные прирожденные рефлексы, закрепленные воспитанием. С ними предстоит длительная борьба, и первой задачей «кузнец» ставит себе индустриализировать «ангела» и «икону».

> Листы стальные, как иконы,
> Сияют в золотых огнях.

Этот образ понятен каждому рабочему, но в то же время здесь—подкоп под икону, она проигрывает, «обожествляя» стальной лист.

> Болванок красные гроба.

Смешно вынюхивать здесь религиозный рефлекс. Здесь мы имеем яркий пример пересечения двух рефлексов, первый—зрительный трудовой, второй—зрительный ориентировочный, в результате глубокий по смыслу образ, красный гроб—это живая революционная действительность, насыщенная кровью рабочей так же, как и раскаленная болванка у горна. Мало того, здесь «кузнец» выступает, как диалектик: Герасимов выковывает великолепную художественную триаду. Болванка—тезис. Гроб—антитезис. Красное—движение, становление, динамика, огонь, труд, революция. Синтез красная болванка—гроб, как символ жертв труда в производстве и в революции. Мне кажется, сказанного достаточно, чтобы раз навсегда отличить наш метод диалектического кузнечества от трупного зловония «зауми». Этим «заумным» духом веет и от теорий горбатого марксиста т. Чужака, он рассматривает продукты искусства как «товаро-сокровища», т.-е. как мертвый капитал, из'ятый из обращения и производства, иначе трудно понять сей невероятный термин,—ясно, что художник-материалист не может всерьез принять эту изумительную продукцию безголового производственничества.

По отношению к футуризму в его сегодняшней гальванизированной форме можно подвести следующий итог. Футуризм с его жонглерством формой, словом ставит технацизм над человеком; он думает человек для техники, человек для машины, а наш лозунг—машина для человека. Футуризм с его колдовством по части «свободы воли» *это поп на аэроплане* с его курсом на уничтожение искусства «до конца» («Леф», кн. 2, стр. 136), на распад высших рефлексов—страстей, эмоций, пафоса, это—болезнь литературы, курс на прогрессивный паралич, это—отказ от работы наиболее совершенных мозговых клеток. И мы внимательно следим за теми усилиями, какие делает тов. Асеев в попытке бороться с интервенцией идеалистиче-

ской формалистики, мы хорошо помним обещание Маяковского «перешагнуть через себя», но можно предсказать наверняка, что все их усилия будут бесплодны пока они:—1) не перестанут питаться протухшей «заумью»; 2) не прекратят стрельбу горохом формальной теории; 3) не покончат с идеалистической поповщиной и 4) не бросят империалистическую войну с искусством «до победного конца».

Остается еще отметить, что в «Лефе» ясно выражена «воля к смерти». Мечников может спать спокойно, человечество еще не удлинило свой век настолько, но «Леф» уже до необходимого возраста дожил. В ответ на указание декларации «Кузницы» о смертницизме «Лефа», знаменитый диалектик т. Третьяков заявляет (кн. 3, стр. 146) «Туда идет «Леф»—и правильно». Жалостливая «Кузница», склонясь над полумертвым «Лефом», роняет горькие слезы: «Помираешь, батюшка!». Охая и кряхтя, отвечает «Леф»: «помираю, матушка, потому—диалектика, все помрем!».

А слона-то я и не приметил...

Несомненно, что среди критических литературных выступлений, большей частью совершенно бесплодных, серьезного внимания заслуживает статья тов. А. Воронского в № 3 «Красной Нови», впервые применившего исторический метод в подходе к творческой работе «Кузницы». Не будет большим преувеличением сказать, что только после указанной статьи «Кузница» вышла из периода черной подготовительной работы и безвестности на широкую дорогу литературы. Переходя к этой статье «О группе писателей «Кузница», необходимо прежде всего отметить основную ошибку тов. А. Воронского, упрекающего «кузнецов» в эстетическом космизме, родственном, по его мнению, мистике и индивидуализму в духе философских построений Маха, Богданова, Авенариуса и др., при чем индивидуалистические уклоны имеют корни в тяжелом прошлом пролетарских поэтов. С этой ошибкой связано неверное представление т. Воронского о каком-то «камерном», если можно так выразиться, развитии «кузнецов» в силу тяготевшей над ними суровой действительности, при чем отсюда вытекает, что культурные одиночки, первые художники пролетариата, замкнутые в себе, не выявили достаточно ярко образ русского рабочего, они слишком интернациональны в своем творчестве, хотя, с другой стороны, развивались вне большой дороги коммунистической партии. В первую голову на это последнее противоречивое построение можно ответить вопросом: «а большинство «кузнецов» разве не русские рабочие? Разве не характерна для нашей революции интернациональная природа авангарда рабочего класса в России (вспомним для примера такую характерную в этом смысле фигуру как т. Артем) и не знаменательно ли, что в «Кузнице» наиболее определенный, выразительный, цельный космист т. Филипченко—в партии с 1913 г.—он крепко связан с ее большой дорогой. Что же касается таких уклонов в космизме, как стихотворение Казина касательно собственной персоны, что он евнух и не любим любовью женской, «то надо сказать— «вселенская любовь» Казина не космическая, а ясно выраженная христиан-

ская, средневековая, она очень далека от материалистического космизма «Кузницы», это больное место в его творчестве, где уже чувствуется его отрыв от «Кузницы», если только это не случайное явление.

Утверждение о камерности развития «кузнецов» по отношению, напр., к тов. Филипченко неверно, так как более 10 лет тому назад он посещал в Москве те литературные кружки, где развивались многие из современных поэтов (Есенин, Дм. Семеновский и др.). И не от замкнутости, не от индивидуализма исходит материалистический космизм нашего творчества в его ярком выражении у Филипченко, *в его основе лежит зерно научной поэзии, лирика мысли* современного человека, его научного миропонимания, об'ективного сознания, точными картинами мироздания заменившего религиозные мифы. Научный космизм в искусстве «Кузницы» занимает то место, какому соответствует в древне-греческом искусстве мифология.

Со стороны историко-литературной здесь преемственность с поэзией Уитмэна, отчасти шлиссельбуржца Н. Морозова. Антропоморфизм же, о котором говорит тов. Воронский, связан не с этим научным материалистическим космизмом, очеловечивание всего сущего—это древнейший, досторический элемент в поэзии, он крепко связан с прирожденными наследственными рефлексами поэта, и вопрос о вытеснении антропоморфизма дрессировкой сознания на производственные рефлексы уже поставлен практикой искусства «Кузницы». Так, у Герасимова рефлектируем:

Врезались и висли
Борта моих дум,
Мои электро-мысли
В небесное синее.

На этом пути перед поэтом встают огромные затруднения, потому что социально-трудовые, производственные, революционные рефлексы в применении к природе можно рассматривать как особый вид антропоморфизма, напр., у Герасимова:

Солнце негасимое
Золотыми цистернами
Вливает лучи в меня.

Однако, несмотря на все трудности, лежавшие перед «кузнецами», ряд серьезных препятствий преодолен и космизм Герасимова и Филипченко в основном разрешил задачу—дать сочетание научного миропонимания с производством и революционно-исторической ролью труда. В материалистическом космизме «Кузница» дает синтез научного и революционного мышления,—как сердцевина земли представляет железное ядро, так из железа труда и революционной борьбы выковано ядро поэтического космизма в творчестве «кузнецов». Этот синтез четко выкован в «Гимне человечества» Филипченко:

Мы царствам естества родня, родня—
Растеньям, рыбам, птицам и животным,
И минералам, и гранитам плотным,
Тысячелетьям ночи, дня.
. . . .

Пусть вечности нас мелют жернова,
Зерно земное в хлеба коровай,
Пусть и Ее, измучив до скелета,
В муку и пыль бесшумно разотрут,
Мы на другую вылетим планету,
Борьба бессмертна и бессмертен труд.

Этот синтез неправильно понят тов. Воронским. Последний увидел только «заводскую метафизику» и «красные акафисты», которые «утомительны»; сомневаемся в серьезности последнего аргумента, нам кажется, что при таком суб'ективном подходе, пожалуй, «Одиссея» и «Капитал» попадут в число утомительных книг. С т. Воронским можно согласиться только в вопросе об отклонениях творчества «кузнецов» от основного железного ядра космизма, каковые наблюдаются у некоторых прозаиков, но это явление временное, нехарактерное. «Кузница» работает не 6 лет, а 4 года (как определенная художественная группа), это слишком короткий срок для создания безупречной художественно-идеологической конструкции на высотах сложнейшей надстройки в эпоху, когда структура нового общества едва только намечается и пробиваются первые ростки нового сознания. «Кузница» далека от создания коммунистического искусства не в силу идеологической невыдержанности, а поскольку наша социально-классовая, производственно-материальная база еще далека от коммунизма. Мы ясно, трезво учитываем об'ективно-историческую обстановку и для переходной эпохи ставим в практике и теории проблему материалистического искусства. У нас как-то принято в печати, подходя к вопросам искусства, довольно бесцеремонно нахлобучивать шапку идеологии на экономическую и социально-политическую базу, поэтому надо считать весьма своевременным поднятый в «Прожекторе» т. Воронским вопрос об уточнении марксова метода в применении к сложной проблеме искусства, где нужна тонкость и точность, а топором ничего не поделаешь. Несомненно, что—соответственно расширению горизонтов сознания трудовых масс и росту потребностей—роль искусства увеличивается в переходную эпоху. Последняя представляется как дуга в полете к царству свободы,—чем ближе к нему, тем большее значение приобретает надстройка и потому так актуальна для нас проблема о взаимоотношениях искусства и Нэпа.

Нэп и смычка с Коммуной.

Неправильный подход наших критиков к вопросам искусства привел их к легенде о неприятии «Кузницей» Нэпа. В этом вопросе критики из журнала «На посту» сходятся с тов. Воронским. Последний пишет об отношении «кузнецов» к Нэпу: «новая экономическая политика ими не признается», но все же тов. Воронский оговаривается, что «детской левизной» страдает только часть поэтов, тогда как журнал «На посту» рубит с размаха по всей «Кузнице»; между тем ее отношение к Нэпу в общей формулировке дано в стихах Филипченко, напечатанных в «Правде» («Голова»):

Кипит купец—бичей исконный спец,
Горит багрец—идей зажженных драма,
Вмиг хлама не взвести в гиппопотама,
Вмиг шрама не скрести—на лбу рубец.

Здесь в монументальной безупречной форме, круговой рифмовкой выгранена борьба двух миров и четко осознан смысл Нэпа. Но это только одна сторона дела. Тов. Воронский упрекает «Кузницу» в суммарности, абстрактности изображения масс и революции, он призывает к изображению действительности «по-живому», «по-настоящему». На этот упрек «кузнецы» могут ответить: «не подменяйте вопроса о новом человеке натуралистическим «живым» человеком; этого последнего в изобилии подают в «лучшем виде» «серапионовы братья» и прочие специалисты цветной фотографии, поставляющие в литературу рефлексологическое сырье. Вопрос о новом человеке слишком большой и серьезный, чтобы его можно было решать с налета, тут более, чем где-либо, необходимо учитывать обратное влияние надстройки, иначе может получиться выпекание нового быта в порядке разверстки и очередного наряда. Да, внимание к мелочам революционного быта, но отсюда не следует, что Нэп—тирания мелочей. Художники-материалисты не забыли о смычке с крестьянством—«как жить, если где-то мужицкую хату хоронит в сугробах смерти метель», но они еще крепче помнят о конечных целях революции, о смычке с Коммуной, и, если они иногда перегибают палку в эту сторону, то это не такой уж большой грех. На упреки в неприятии новой экон. политики любой «кузнец» может ответить: «я прекрасно сознаю необходимость ее, но чему собственно радоваться, уж не тому ли факту, что пролетариату пришлось отступить, что об'ективные условия вынудили его вступить на более трудный, извилистый, мучительный путь?». Осознавая неизбежность нового исторического круга на пути к царству свободы, рабочий класс в то же время проявляет здоровое чувство самокритики, он даже склонен часть вины за Нэп переложить с об'ективных условий на себя. Отображение этой самокритики, доходящей до самобичевания в художественной гиперболе, мы находим в повести Н. Ляшко «Стремена». Смысл ее тот, что пролетариат не упивается героическим прошлым революции, ему понятна санниковская «горечь побед», он осознает допущенные им ошибки; герой повести отвечает на вопрос: «Значит, мы виноваты?! Ну, говори! Мы?..» «Я не обвиняю. Я за вас, я ваш, без вас меня нет. Но глядите, глядите: жир выполз из щелей, афиши баюкают нас, улица выпятила живот и миллиардом соринок катится на заложенный нами фундамент, загаживает его, хочет занести, похоронить. *Учитесь!* Ведь, вы помогали ей! Вашими руками она воровала грузовики, подводы. Вашими руками выгребала на рынок самое нужное нам». Быть может, Н. Ляшко дал этой стороне революции слишком резкое освещение, широко обобщил частное явление, но отрицать его не приходится и вряд ли можно что-нибудь возразить против лозунга: учитесь, это—лозунг Владимира Ильича, имевшего в виду нашу темноту и отсутствие у нас элементарных культурных навыков. Однако пролетариат отнюдь не заражен пессимизмом, он осознает себя в стихах Герасимова «Негасимой силой», а тот же Н. Ляшко открыл

новую страницу революционного оптимизма, использовав сказочный мир тюремного быта в повести, вернее новелле, «Нарная чертовщина», зачитанной в «Кузнице». Суть ее заключается в следующем: когда лешие услышали звон острожного колокола новой тюрьмы, выстроенной «за городом, под лесом, чтобы глаз не колола», они вышли глянуть на постройку и узнать, в чем тут дело: «не знать срамно: ведь, вот она, тюрьма под боком. Надо было во все тонкости вникнуть, а охотников итти в тюрьму жить не было». Бросают жребий и один из леших попадает в тюрьму, где ведет борьбу с начальством—упорную, беспрерывную, и все меры воздействия на него вплоть до виселицы бессильны:

«Повис леший, ногами заболтал, захрипел и не умирает... Минуту хрипит, другую хрипит, третью и все громче да громче».

Леший срывается с виселицы несколько раз и уходит со своими дружками обратно в лес, символизируя своей непобедимостью негасимую силу революционного огня в недрах масс.

Легенда о неприятии нового исторического пути «кузнецами» рассеивается окончательно в лучах стихов И. Филипченко.

А пока мильонеры пусть живут нечаянно,
Ныне наши они закрома.

Не предчувствие ли Нэпа подсказало поэту строки:

Пусть сроки не исполнились,
Но рыться будем мы, грядущего солдаты,
В громадном яблоке Земного Шара,
Творя товары
В заводах, шахтах, фабриках, за плату.

Так выступает Нэп—как необходимый этап революции в интернациональном масштабе.

Вообще нет достаточных оснований обвинять «кузнецов» в «стылом» отношении к действительности, наоборот, это отношение глубоко выстрадано ими, и, очевидно, есть какие-то основания у Герасимова говорить о распятии пролетарских поэтов на фонарных столбах. Тов. Обрадович посвящает стихи «памяти отца, матери и сына Вадима от московского голода умерших в 1918—1919 г.г.»; однако самые тяжелые жертвы и суровые испытания не могут нанести ущерб гранитной основе в действенном мироотношении поэта-материалиста, даже, если на минуту ему «хочется головой о гранит» (Александровский): он подавляет в себе мгновенную слабость и трезво смотрит на жизнь, так—Обрадович бодро глядит вперед:

Жизнь—ленивая кляча,
Жизнь не взвихренный конь,
Но настойчивей поступь и ярче
Беспокойный во взорах огонь.

В том же стихотворении «Синеблузники», помеченном 1922 г., поэт призывает:

Синеблузники всех рас и наций:
Прочь бессилье соломенное!

Несмотря на суровую школу жизни в прошлом и настоящем, а может быть именно в силу трудовой и революционной закалки, мировоззрение поэтов и прозаиков «Кузницы» лучше всего можно охарактиризовать словами Новикова-Прибой в повести «Море зовет»:

«А в общем я не могу оторвать глаз от земли, словно впервые увидел всю прелесть ее весенней жизни, впервые передо мною развернулась чудесная поэма ее творческой мощи.

Крепнет во мне сила, проясняется сознание, растет великая радость. Мое сердце до краев переполнено счастьем, как хрустальный бокал искрящимся вином».

Поэты солнца и железа.

Диалектический подход к действительности характеризует творчество «Кузницы», свое искусство она определяет в декларации, напечатанной в «Правде», как зрячее орудие, особое орудие — прожектор и молот одновременно, кующий железо рефлексов нашей эпохи, это искусство—зрячее орудие классового зодчества на трудном пути к единству самосознания грядущего всечеловеческого коллектива. С этой точки зрения искусство «Кузницы» представляется как спектр марксистской художественной мысли, это гамма красных тонов. От Кириллова, очень искреннего, пишущего «кровью сердца»:

Жить страдая и песнями пениться,
Вот что мне суждено на земле,—

до монументального Филипченко, этого массива марксистской художественной мысли, переливается эта гамма. Алый цвет Кириллова пересекается темными линиями скептицизма, иронии, марш революционной борьбы переплетается с ненавистью к мещанству, сочетается со старой формой: «самцы петушились, кудахтали самки, на время забыв и труды и дела»; далее видим буйный размах Герасимова, оргия красного, широкие полотна, далекие перспективы, уже вибрируют новые ритмы, выявляется новая форма—в творчестве поэта железа и огня, чувствуется мощь:

Мы все возьмем, мы все познаем.

По весеннему задору и буйству к нему близка яркая линия поэзии профессий Макарова, от солнечности его красная гамма переходит к сочетанию золотого и красного в поэзии Александровского («я выпил сотни солнц»); от этих поэтов линия пролетарского урбанизма выявляется резче в стихах Полетаева («Сломанные заборы») и, наконец, отливается в красный гранит наиболее цельного революционного урбаниста Обрадовича с его четким граненым стихом:

Грозовой бури гулкая труба
Над горным городом отгрохотала.

С поэзией Обрадовича гармонирует шелковое знамя Санникова и, наконец, мы сталкиваемся с этой чудовищной громадой вишневого цвета—Филипченко; мы коснемся в дальнейшем творчества последних двух поэтов, а сейчас необходимо подчеркнуть яркую солнечность искусства—как поэтов, так и прозаиков «Кузницы». На эту черту указывают и названия книг: «Звон Солнца», «Россыпь огней» Александровского, «Радуга» Н. Ляшко. Тов. А. Воронский недоумевает в своей статье—почему пролетарские поэты обращаются так часто к солнцу, а не к людям. Нам кажется очень характерной чертой эта устремленность сознания наших поэтов к солнцу, тесно связанная с направлением всего их творчества к солнечному грядущему, быть может, сами «кузнецы» не сознают, что их солнечность есть не что иное, как тропизм класса, вышедшего из подполья истории на борьбу за власть над миром для счастья всего человечества. Из мрака сырых подвалов тянулись к солнечному идеалу поэты рабочего класса, их стремление к солнцу не имеет ничего общего с бальмонтовским: «забудем, кто нас ведет по пути золотому»; художник-материалист устами Кириллова говорит:

Биенье сердца я соединяю
С движеньем солнц, круженьем планет.

В замечательной книге академика И. И. Павлова («Двадцатилетний опыт изучения высшей нервн. деят.») читаем:

«Движение растений к свету и отыскивание истины путем математического анализа не есть ли в сущности явления одного и того же ряда? Не есть ли это последние звенья почти бесконечной цепи приспособлений, осуществляемых во всем живом мире? Мы можем анализировать приспособление в его простейших формах, опираясь на об'ективные факты. Какое основание менять этот прием при изучении приспособлений высшего порядка!» (стр. 23). Несомненно, что учение об условных рефлексах, блестяще иллюстрируя миросозерцание материалистического динамизма, заложило фундамент новой психологии и может быть чрезвычайно плодотворным в разработке вопросов искусства. Таким образом, соединяя в своей практике и теории диалектику с рефлексологией, «кузнецы» выковывают новый метод нового искусства. Нет возможности останавливаться в рамках настоящей статьи на специальной теме о тропизме в творчестве художников материалистического искусства. Необходимо только отметить, что тяга к свету, к солнцу характеризует «Кузницу» как литературную школу, в качестве основного элемента ее творчества, определяющего все линии ее искусства: поэзию борьбы и труда, космизм, планетаризм, пролетарский урбанизм и др. В противоположность футуристам—мы не боимся слова «школа»,—школа есть новое художественное мировоззрение, новый подход к вещам. Искусство во всем мире вследствие разложения старой идеологии отмирающего класса переживает период кризиса, оно зашло в тупик. Только художник-материалист, сознательно применяющий диалектику в своем творчестве, сможет вывести искусство на широкую общественную классово-революционную дорогу коммунистического зодчества. И в учении об условных рефлексах работник материалистического

искусства получает мощную поддержку прежде всего как художник, мы уже это видели на примере художественной триады, но и как детерминист, как динамик, как кузнец коллективного сознания, как атеист. Равноценность живых клеток, замещаемость мозговой массы, сознание—не как строго локализированная точка, а как движение сгущенной нервной энергии по всему мозгу соответственно ее концентрированию,—устанавливают коллективный принцип, так сказать, в строении мозга. Определяемость сознания и поведения человека беспрерывной борьбой бесчисленных рефлексов на фундаменте прирожденных укрепляет и обогащает идею детерминизма, т.-е. обусловленности нашего сознания перекрещивающимися влияниями внешнего мира. Движение нервной энергии, ее сила и мера, ритм и напряжение, согласно нашему взгляду, характеризуют не только свойство нервного процесса, но и нашу мысль, наше творчество, на этом мы, как художники, сходимся все. Ритм и напряжение—вот основное свойство творческого акта.

В целях достижения максимального сосредоточения творческой энергии на силе, напряжении и ритме художественной мысли «кузнецы» постепенно освобождаются от ветоши старой формы,—в последних своих вещах, напр., Санников строит чистый ритм, освобожденный от размеров рифм и по возможности от полурифмических ассонансов; вот как звучит конец его стихотворения, посвященного т. Л. Троцкому— «В ту ночь»:

Земля вздрагивала,
Ширились, приподымались небеса,
И отступающая луна
Озаряла
Железное восстанье паровозов.

В ту ночь—
Рабочие вступили в город.

Глубокое содержание, картина железного восстания мертвых паровозов, воскресших с победой рабочих, закреплены частым вибрированием аллитерирующих *а* (13 раз), *о* (12 раз), чередованием *зс* (11 раз). Еще дальше по этому пути Санников идет в поэме «Фата-Моргана», где воскрешенные им герои революции ведут поэта в царство свободы (кстати, эта полностью еще не опубликованная поэма квалифицируется в журнале «На посту» в статье тов. Авербаха—как «документ, не делающий чести ни его автору, ни группе, имеющей его в числе своих членов», стр. 82). Богатое революционное содержание творчества «кузнецов», насыщенного расплавленным железом труда и кровью борьбы, требует новой формы и в прозе,—в «Солнце, плечи и груз». Н. Ляшко дает опыт ритмического построения прозы, гибкой стальной формы, созвучной железной сердцевине содержания, неотделимой от него:

Не шел,—нес себя.
Плыли невиданные чудовища, коромысла.
Спорили в беге маховики и шестерни.
Мелькали нити винтов,
А из-под резцов:

Фонтанами била медь.
Хлопьями сыпалась сталь,
Змеями шуршало железо.
Железо было везде.
В губах тисков, но и губы были железные.
В железных планшайбах, под железными планками,
в об'ятьях железных болтов.
В центрах, в кулаках патронов,—всюду, везде железо.

В другой главе из этой же поэмы в прозе—гимн железу является пунктом, где пересекаются пути прозаиков и поэтов, где ритмическая проза Н. Ляшко приближается к ритму «Электропоэмы» Герасимова и стихам Санникова:

Железо! все—ты, везде—ты!
Угнетаешь, освобождаешь...
Тонешь в крови, улыбаешься.
Держишь, взносишь в синеву.
Славлю тебя!

Однако прежде чем перейти к новой форме, необходимо использовать накопленный развитием литературы опыт и весь ее богатый технический арсенал, что и выполнено тов. Филипченко, создавшим монументальные эпические поэмы истории труда и классовой борьбы. Здесь не место разбирать в целом творчество тов. Филипченко, мы коснемся только одной стороны его творчества, в которой он ярко выступает—как эпик.

Эпос труда и классовой борьбы.

При таком подходе к творчеству поэта пред нами сразу же возникает вопрос: возможен ли в наше время эпос; известно, что Маркс считал признанным, «что он (эпос) в своей классической форме, составляющей эпоху мировой истории, уже не может быть создан». Здесь подчеркнута невозможность эпоса *в классической* форме, так как основой его была мифология, бессознательная художественная обработка в народной фантазии природы и общественных форм. Уже раньше было нами указано, что место мифологии в творчестве «кузнецов» занимает современное научное миропонимание на фундаменте трудовых и революционных рефлексов. Монументальная поэзия Ивана Филипченко является гигантским опытом нового эпоса, преломления через космизм героического пафоса воспрянувших в революции масс, нового эпоса истории труда и классовой борьбы.

Резкое отличие творческой работы тов. Филипченко от писания многих современных поэтов заключается в том, что он не довольствуется фиксированием своих рефлексов, хотя бы в самой яркой звуковой форме, для него многоцвётные слитки эмоций художественного порядка—только исходная точка для дальнейшей работы и синтетических свершений. В то время, как большинство поэтов довольствуется поэтическим прейскурантом своих переживаний, для него они лишь трамплин, от которого он отталкивается и пры-

гает вверх к созданию новых идеологических художественных ценностей. Поэт—плоть от плоти рабочего класса (пастух, батрак, санитар в психиатрической лечебнице, народный учитель, чернорабочий и, наконец, член партии—таковы его последовательные этапы)—дает в своем творчестве диалектику классовых рефлексов, отливает ее железо в монументальные формы пролетарского эпоса, в поэмах «Руки», «Города», «Дороги», «Поэма Славы». Отличительная черта нового эпоса «влюбленность в завтра», устремленность в грядущее, противопоставление рабскому наемному труду капиталистической эпохи, свободного труда, планетарного зодчества. «Рабов. рабынь коричневые руки» в тысячелетиях строили города—«новые миры», «планеты рук людских», чтобы «сделать городом землю в эпопее труда», и каждый город рабами заткан, весь в рабах, и каждый кирпич в городе, «как сердце, облитое кровью»:

Вознесены до неба уже города—
Гнезда для орлят,
Застонала громко беда,
Победно крикнул набат.

За армией армия движется на последний бой, чтобы порвать «все кольца коварств» и создать города—«новый мир светлых див», мир новых людей, где «каждый нежно здоровый. чуткий»:

Нищеты, неравенства, зла палящие жала
Вырвут на веки веков города.

Подобно городам, строящим тот новый мир, где можно будет «свободно жить и дышать», видеть солнечный свет:

...в города нивы переселим.

(вот он—синтез города и деревни!)—дороги земного шара, от первых тропинок через бег «бурь ураганных» по рельсам, ведут «в братства, равенства Рим»:

Трудящееся человечество долбит тоннель
Сквозь гранитную стену просвет в безвестную цель.

А ближайшая его цель—единство товарищества:

Толпы деревень без рабства и барства
Обнимаются, руки друг дружке жмут.

К достижению этой цели есть один только путь, путь революции, и в поэме «Руки» рабочие массы «ураганно гудят разгулом разгневанных слов», «катятся толпы потоками улиц»:

На площадях городов кирпича и гранита,
Городов металла, стекла, бетона, цемента,
Титанической кузнице, счастье кующей векам.

Водопад людской стремительно бьет, непрерывно спешат то лавиной, то рядами стройными, море людское валы свои движет, с криками, бого-

хульством, ужимками, местью ветра буйнее—так движутся живые волны революции:

> Уж ночь.
> Вдруг крикнул рожок и заплакал
> Над морем голов, над тысячью тысяч,
> И вспыхнул за факелом факел.

Рук напряженных лавина, вихрь взвитых тысячелетий в порыве едином, вступает в бой с войсками наместника царя. Революция побеждает, и вождь ее перед лицом манифестации, поющей гимн победы, формулирует смысл революционного процесса:

> Меняет человечество лицо
> И сердце алое и серый мозг меняет.

Усилиями рук тысяч поколений революция смывает «сумрак теней», и вспыхивают насыщенные солнцем лучи—«Поэмы Славы», поэмы—гимна творческой силе и славе освобожденного труда: «шар земной содрогается адской дрожью от конвульсий миллионов безразумных машин, корчились так хребты трудящихся спин, вынося ударную боль батожью; лес, лес рычагов шевелящихся, маховиков, коромысел, лес рабочих рук напряжение повысил, вихрь мыслей, спицы колес молниеносных,—все смешано, все измерено, исчислено, взвешено. И бешено руки творят». Весь мир становится полем бескрайне просторным, шар земной—мастерская, в которой человечество стремится: «за страданьем страданье изгнать усильем труда, законы природы в закон для природы иначa». И на празднике славы, поэт, вождь, солнце, воздух, земля славят работу освобожденного человечества, славят борьбу и труд:

> Борьба и Труд изменят естество,
> Мы будем человечеством крылатым.

Пафос радости, могучего порыва к созидательной работе, к свершеньям, пафос творческого труда в свете перспектив, открываемых революцией перед трудовым человечеством, достигает зенита в синтетическом пророчестве поэта—братаньи человека с Космосом:

> Братанье с змеями, чей яд уж не отрава,
> С зверьми, кому уж нечем длить свой век,
> И птицами, Совместный Человек
> Лицо изменит мира,—слава! слава!

Предельная грань пафоса материалистического динамизма, примиряющего революционную борьбу и творческий труд в гармоническом сочетании на высотах сознания,—высший синтез:

> Братанье через борьбу с стихиями для благ.

Братанье с Космосом в гармонии силы и красоты (стих. «Вам»):

> А ну, за ремесла,
> За олимпийские игры!

Прочь всё
С площадей, пустырей и лужаек,
Кроме солнца, ветра и зелени трав,
Здесь будет священное То и прекрасное Се,
Атлетические состязанья и песни слав.

«Социализм будет похож на Афины»—эта мысль т. Луначарского здесь находит свою поэтическую иллюстрацию. Это первая и главная смычка материалистического искусства в поэзии т. Филипченко с древне-греческим искусством, — курс на здорового гармонического человека; вторая смычка была указана выше: новый эпос через замену мифологии научным революционно-трудовым миропониманием. Необходимость первого из этих элементов в создании нового искусства давно уже была определена Р. Вагнером: «искусство и социальное движение имеют одну и ту же цель, но ни то, ни другое не может достигнуть ее, если они не будут стремиться к ней сообща. Цель эта—прекрасный и сильный человек. пусть революция даст ему силу. а искусство—красоту». Тем самым мы пошли к центральной проблеме искусства, проблеме красоты.

Трудовая теория красоты.

Трудятся вечные светила,
Трудом вселенные рождаются, живут.
В истории миров одно, одно лишь было
Творенье, Созиданье, Труд.
В Начале был его раскат,
Звучанье, гуд,
Жми крепче руку брату брат
На мирный труд.

Иван Филипченко. „Гимн труда“.

Выяснив отношение материалистического искусства к Нэпу, установив его смычку с коммуной, его устремленность в грядущее, в завтра, его смычку с древне-греческим искусством, мы настолько продвинулись вперед, что для нас не может быть сомнения в решении вопроса о судьбе искусства. Искусству принадлежит будущее. Курс «Лефа» на гибель искусства, — это бессознательное выражение его классовой природы, это голос гибнущего буржуазного общества.

Психика упадочника отягчена продуктами распада, он разряжает ее усиленным жонглерством, жестикуляцией в искусстве, согласно закону: «внешнее разрешение напряженного внутреннего состояния ослабляет его интенсивность» (В. Бехтерев. Основы рефлексологии. Стр. 353). При обусловленности нашего сознания средой, природой, воспитанием, работой и т. д., число рефлексов бесконечно, психика обогащается новыми рефлексами, с ростом производительных сил, увеличением потребностей, искусство не только организует, но и в свою очередь создает новые рефлексы. Во введении к критике полит. эконом. Маркса, на стр. 17, читаем: «предмет искусства, — а также всякий другой продукт, — создает понимающую

искусство и способную наслаждаться красотой публику. Производство производит поэтому не только предмет для суб'екта, но также и суб'екта, для предмета». Из этого положения, а также из всего сказанного ранее вытекает, что соответственно прекрасному искусству нормального детства человечества, зрелое коммунистическое социализированное человечество будет иметь свое зрелое искусство в царстве свободы, когда развитие человеческой силы станет самоцелью. Останавливаться на специальном вопросе об искусстве в царстве свободы, значило бы уклоняться в сторону, необходимо только установить, что с победой социализированного человека над царством необходимости, роль искусства возрастет безмерно, когда перед человеком, — самоцелью встанет великая проблема бессмертия. Трудно вообразимый для нас расцвет искусства в грядущем произойдет с окончательной победой человека над религией, окончательная же победа над религией возможна только с реальной победой над смертью. Эта последняя проблема отчетливо поставлена тов. М. Покровским в журнале «Под знаменем марксизма» (№ 2—3, 1923 г.): «Если бы не существовало явления, называемого смертью, религия не могла бы возникнуть. Тут в буквальном смысле слова «мертвый держит живого». И пока мы *реально* не преодолели смерть, до тех пор костлявая рука мертвеца будет лежать на нашем плече» (курсив автора). В коммунистическом обществе человек победит природу настолько, что взвалит на ее плечи заботу о царстве необходимости, рабочий день сократится до минимальных размеров, наслаждение искусством и познание новых областей в природе заполнят жизнь бессмертного человека. (Я имею в виду личное *относительное* бессмертие.) В связи с ролью искусства в будущем и его сущностью, как особой человеческой деятельности, в нашем понимании, как особого орудия, встает проблема красоты.

Чернышевский в диссертации: «Эстетические отношения искусства к действительности» дает следующее определение красоты: «прекрасное есть жизнь», в то же время он говорит: «для вполне развитого мышления есть только истинное, а прекрасного нет». Очевидно, такая постановка вопроса неудовлетворительна. Если прекрасное есть жизнь, а смысл нашего существования заключается в познании жизни, в целях переустройства ее, то как же мы сможем познать это прекрасное, если истина не совместима с красотой. Еще менее удовлетворительна точка зрения Гюйо: «действительная обычная жизнь это скала Аарона, бесплодная скала, которая утомляет глаз», а «прекрасное есть уже осуществленное благо». Как раз эту бедность жизни Чернышевский считает источником жизни в фантазии и дает неверное определение искусства: «общеинтересное в жизни—вот содержание искусства». Ясно, что такое определение можно отнести к содержанию газет, популярных книг, брошюр, эстрадных куплетов и т. п., но не к существу искусства. Л. Толстой считает искусство одним из средств общения людей между собою и по отношению к красоте занимает определенно отрицательную позицию: «люди поймут смысл искусства только тогда, когда перестанут считать целью этой деятельности красоту, т.-е. наслаждение». Итак, мы видели, что

прекрасное есть: жизнь, нравственное благо, наслаждение. Из современных мыслителей ни в коем случае нельзя согласиться с Рихардом Гаманом—он ставит выразительность на место красоты: «Эстетическое можно поставить на-ряду с выразительным, так как выразительное тоже не имеет ничего общего с красотою». Это очень характерно, что в освещении буржуазного теоретика искусство представляется легендарным Ванькой из частушки, который—«сидит на крыльце с *выражением* на лице». Очень интересно отношение к проблеме искусства и красоты ортодоксальной марксистки Л. Аксельрод (Ортодокс) в ее изданной отдельной книжкой известной статье: «Мораль и красота в произведениях Оскара Уайльда». (Изд. «Основа». Иваново-Вознесенск. 1923 г.) Л. Аксельрод полагает, что красота—это «великое дело», имеет «высокое значение», как «великое начало», красота рассматривается, как «сторона исторического и индивидуального развития огромной важности».

Однако ясно, что здесь не дается определения красоты. Отсюда и неверное определение у Л. Аксельрод искусства: «с известной точки зрения искусство, действительно, является не повторением природы, а продолжением ее же творческих сил. Искусство—это природа и история плюс художник». В таком понимании, пожалуй, политику тоже можно рассматривать как природу и историю плюс вождь; надо полагать, что Л. Аксельрод недостаточно ясно проведена грань между искусством и другими дисциплинами. В общем Л. Аксельрод не дала правильной постановки проблемы искусства, между тем, как раз Оскар Уайльд близко подошел к верному решению; не давая определения красоты, он выдвигает принцип—полноты, гармонии, радости. «Радость—это проба, выбиваемая природой, это знак ее одобрения. Когда человек счастлив, он в гармонии с самим собой и с окружающим». «Ибо человек стремится не к страданию или удовлетворению, а просто к жизни». Здесь Оскар Уайльд-социалист подошел вплотную к нашей материалистической теории красоты, выдвигая которую необходимо оговориться, что основное положение Белинского, Плеханова, Аксельрод (Ортодокс) о познании художником истины образно в отличие от ученого — остается, конечно, в силе, но это положение должно быть дополнено диалектикой образов, лирикой диалектики, лирикой мысли. Здесь мост между художником и ученым. Перефразируя формулу Энгельса: «диалектика понятий представляет сознательный рефлекс диалектического движения во внешнем мире». Мы выдвигаем лозунг: «диалектику в искусство!». Как раз противоположный лозунг выставлен Маяковским в «IV Интернационале» (см. «Красная Новь» № 1922 г.) «стосильные моторы поэзии *в диалектику ставлю*» (курсив наш. *Г. Я.).* Диалектика образов в искусстве должна представлять сознательный рефлекс диалектического движения вещей в мире; в старом искусстве художник был бессознательным диалектиком. Этот лозунг тесно связан с трудовым революционным пониманием задачи искусства художником-материалистом, в основе творчества которого лежит борьба с природой и борьба за освобождение человека от власти человека. Борьба за коммунизм есть борьба за более высокое, более согласованное приспособление человека

к природе. Это приспособление на заре истории начало осуществляться с того момента, как человек стал трудиться, отсюда наше понимание труда, как источника красоты. Труд можно рассматривать отвлеченно как «выражение жизни, как процесс жизни» (Маркс. «Капитал», Т. III, стр. 352), как движение материи, труд материи, но я исхожу не из этого отвлеченного представления. «Как целесообразная деятельность, направленная на присвоение элементов природы в той или иной форме, труд составляет естественное условие человеческого существования, не зависящее ни от каких общественных форм, условие обмена веществ между человеком и природой» (Маркс. К крит. Полит. Экон., стр. 50). Таково по-Марксу определение труда, как простой категории, как источника материального богатства. В то же время известно, что «потребительная ценность всегда имеет в себе содержание (субстрат, данное природой»)» (там же). Труд предполагает материю, «так как он является деятельностью, приспособляющей материю к той или иной цели» (там же). Отсюда вытекает, что продукты искусства являются особыми предметами для удовлетворения особой потребности, иначе говоря,—в произведениях искусства мы потребляем красоту, понимаемую мною как высшую согласованность. Как исторически создается эта согласованность—видно из следующей формулировки нашей трудовой теории красоты, материалистической теории искусства.

Искусство производит особые предметы для удовлетворения особой потребности;

в процессе потребления этих предметов у человека создается сочетание рефлексов, которое по своей силе и направлению наиболее соответствует задаче—приспособления человека к природе, коллективу и к самому себе;

этим сочетанием художник-производитель достигает наиболее полного соединения и согласования основных рефлексов потребителя—в направлении преобладающего рефлекса (в нашем искусстве—*рефлекса революционной необходимости)*, которому он (художник) подчиняет все прочие (если представить себе дело грубо механически, или, если бы рефлексы можно было складывать, то указанное сочетание можно было бы изобразить —как равнодействующую всех рефлексов, идущую по направлению главнейшего и достигающую максимальной силы (величины) в этом сочетании);

в этом смысле искусство есть высшее приспособление человека к природе, коллективу и к самому себе;

таким образом, при помощи этого приспособления, особого зрячего орудия, достигается высшая согласованность, иными словами,—искусство организует сложный рефлекс красоты;

искусство, как и наука, является развитием и разветвлением приспособления человека к жизни, осуществляемого с помощью труда;

с развитием производительных сил в этом приспособлении достигается все бо́льшая и бо́льшая согласованность;

труд производит согласованность-красоту, он создает у человека способность воспринимать красоту и потребность к этому восприятию; в свою очередь эта потребность создает импульс к развитию согласованности, вызывая у человека в целях последней усиленную и наиболее целесообразную трату энергии,—красота производит труд.

Стремление к согласованности-красоте пронизывает историю человечества, движет человеческой деятельностью и находит свое отражение в искусстве. Вся история представляется как мучительный путь человечества через кровавую склоку войн—все к новой лучшей согласованности, высший идеал последней—коммунистический строй—человечество вырабатывает в жестоких схватках классовых битв.

Мне могут возразить по поводу моего построения и ссылок на Маркса, что в первых уже строках «Введения к полит. экон.» Маркс подчеркивает цель своего исследования: «это прежде всего *материальное производство*». Поэтому я позволю себе еще раз, но уже полностью, привести выдержку из «Введения», чрезвычайно ярко и выпукло освещающую взгляд Маркса на искусство в целом—как на производство прежде всего материальных ценностей, что нисколько не противоречит особой роли искусства в идеологии:

«Когда потребление выходит из своей первоначальной грубости и непосредственности,—а пребывание его на этой ступени являлось бы само результатом закосневшего в первобытной дикости производства,—то оно само, как импульс, исходит от предмета. Потребность, которую оно в нем чувствует, создается его восприятием. Предмет искусства—а также всякий другой продукт—создает понимающую искусство и способную наслаждаться красотой публику. Производство производит поэтому не только предмет для суб'екта, но также и суб'екта для предмета (стр. 17 по изданию «Московского Рабочего»).

Такой подход к искусству, проникнутый цельностью материалистического монизма, подтверждает необходимость синтеза марксизма и учени об условных рефлексах, так как роль последнего в искусстве, агитации и пропаганде еще до сих пор не оценена и она не получила применения. С другой стороны, взгляд на искусство—как силу общественную, творящее начало, как на — «выражение элементарной, заложенной в человеке, потребности к совершенствованию» был развит уже Карлом Либкнехтом в его статье «Об искусстве»; смысл и значение *подлинного* искусства определены им в следующей мысли:

«В развитии своем искусство достигает положительных результатов путем удовлетворения эстетического требования: стремления к совершенствованию, искания гармонии и красоты».

Таким образом, в связи взаимоотношений материалистического искусства к царству необходимости и грядущему царству свободы, ясно выступает перед художником-материалистом его задача при Нэпе и в переходную эпоху.

Нэп и переходная эпоха рассматриваются—как царство революционной необходимости, открывающее дверь в царство свободы:

Открывает Совет
Железную дверь
Через тысячи лет,
Через горы потерь.

(*Филипченко.* «Ты».

В частности, по отношению к России эта мысль выражена образно в «Негасимой силе» М. Герасимова:

Россия проснулась,
Россия просунула в вечность глаза.

Наметив в своей практике и теории решение основных проблем искусства, художники-материалисты «Кузницы» ставят своей дальнейшей задачей их разработку, более тонкую и точную дифференциацию, углубление революционного искусства, кристаллизацию творчества вокруг красного стержня—тренировки рефлекса революционной необходимости на основе рефлексов труда и научного миропонимания. Сложный рефлекс революционной необходимости мыслится как синтез рефлексов: классовой борьбы, учебы, хозяйственности, самоограничения, жертвенности, героизма, обреченности и др. Что же касается так назыв. «красного быта», то, в связи с вопросом о новом человеке в искусстве, пример радостного, но бережного подхода к росткам нового создания, дает И. Филипченко в стихотворении «Маляр».

В заключение необходимо отметить наше отношение к морали в искусстве. Мы стремимся к синтезу материалистической эстетики ортодоксального марксизма и его этики, выраженному в мысли Карла Либкнехта:

«Стремление искусства установить эстетическую и этическую гармонию служит вечной идеи жизни и содействует улучшению ее. Вот почему эстетика, как и этика, находятся в непримиримом противоречии со всем тем, что вредит процесу развития».

Таковы ближайшие цели и задачи материалистического искусства на подступах к переходной эпохе, на пути к царству свободы, и только в этом последнем, на фундаменте развитого материалистического искусства будет создано истинное коммунистическое орудие новой согласованности—синтез освобожденного труда и красоты.

«Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону собственно материального производства» (Маркс. «Капитал», т. III, стр. 357).

Новые иностранцы.

Сергей Бобров.

Так или иначе поставить отечественную литературу, но читательского аппетита ей не удовлетворить,—отсюда с огорчительной ясностью вытекает неизбежимая надобность переводов. В мирное время существовали специальные журналы, сплошь заполнявшиеся переводами, остальные пользовались ими также не мало, а если вспомнить, что ряд французских издательств работал исключительно для России и Южной Америки, то все станет понятным—есть предложение, а к нему рекламный гарнир, следовательно, появляется и спрос.

Теперь эта мрачная прореха снова заполняется, заполняется она без толку и без разбора, но заполняется. Среди неограниченного количества новинок по беллетристике солидное место занимают именно переводы. Начинается эта сказка от древних затей,—примерно от Локка, замечательного, божественного Локка, сладкого, как курсистка-меньшевичка, предупредительного, как проводник из спального вагона, изобретательного, как прогорающий кафэ-шантан, и скучного, как отчет общества покровительства животным. Но, слава благому провидению, что Локка стало мало и его патетика дураков не без вульгарных странностей мало-по-малу отходит в бездну времен, где да и опочиет навеки. Да,—ведь, культура изменилась!—на смену локкиаде пришел мистер Бёррос (Бюрроуз для неграмотных), напустивший на мир целый эскадрон разных Тарзанов. Что Жюль-Верн, Терайль и Киплинг перед этой Вербицкой от экзотической авантюры,—неистовая, циклопическая, пирамидальная галиматья, сдобренная истинно-лошадиным героизмом этих самых Тарзанов, не поддается описанию,—пейте какао Ван-Гутен и читайте Тарзанов, ваши бицепсы вспухнут до неразрешимых размеров, и вы поверите, что в Африке на каждом шагу шныряют русские (вот, именно, русские) шпионы, а у горилл есть грамматика, свой Шкловский и психоаналитический институт. Вот он герой, родившийся на полях Марны, вот тот, кто мог бы фрикассировать Вильгельма за—хнык! хнык!—Реймский собор, а также выгнать французов из Рура. Вот оно антимашинное всемогущество, фантасмагория и апология скуловорота, вот он торжественный и небывалый триумф его благородия Ната Пинкертона, сына лорда и пэра, обезьяны по воспитанию и дэнди по непроходимому благородству, равняющемуся по честности автоматическим весам с бульвара. Литература дураков и людоедов,—цвети, светись, красуйся всем нам на утешение и непроходи

мый позор:—вот, где открывается фашизм всех фашизмов, касторка в виде манифеста, и разбой на большой дороге в виде производственной программы. Нельзя в конце концов не признать. что дар фантазии у Бёрреса имеется и что его первый Тарзан этим даром так сказать вывезен,—но на этом одном далее первой книжки поехать трудно.

Трудно и тяжело читать немецких экспрессионистов. Пожалуй, что лучший из них Эдшмид. но и его «Шесть притоков» это смесь надутого пустозвонства типа Г. Мана (к Аннунцио восходят эти высокопарные пустоты) с ужасиками глуповатого типа, где медленно и правильно разлагается традиция «проклятых поэтов» Франции, Вилье-де-Лиль-Адана главным образом. Горькое впечатление в общем производит ныне немецкая литература: скрежет зубовный, растерянность, принципиальный фокстрот на тему «пропадать, так с музыкой», безнадежная ярость в виду неминуемой этой пропасти, странная надменность, и полное равнодушие к живому, совершающемуся, к миру. Мрачный полусумасшедший «Голем» Мейринка. напоминающий кое-где вывороченную эротику Г. Гросса, уходит в современное гетто, наполняет окружающее головокружительной и безнадежной фантастикой. Бесполезная бурность этих симфоний тупика не может принести читателю чего-либо доброго, она только бередит его, как перемежающийся стон безнадежно-больного. Эта пошатнувшаяся душа скитается повсюду: Дюамель в «Полуночной исповеди» носится с определенно больным человеком, несчастия которого нацело заключены в нем самом, жизненно-неразрешимы, а потому не могут собственно быть темой трагедии. новейшие американцы (типа Льюис-Синклера) постепенно переходят на тот же калейдоскоп неувязанных и растерянных противочувствий. Б. Келлерман, писатель с некоторым определенным весом, выпускает «Случай из жизни Шведенклея», который есть в конце концов—всего лишь рассказик на не раз использованную тему: нежность старого холостяка к молодой девушке, а по существу рассказывает о том, как некоторый безвольный, мелочной и эгоистический человек раз в жизни совершенно случайно сделал доброе дело. Все это происходит в некотором пространстве обеспеченных клубных завсегдатаев, никому не полезных. в общем безвредных. пресыщенных решительно всем и изредка трусящих, что где-то, когда-то придет смерть и заставит рассчитаться за бессмысленное существование и дармоедство. Откуда пришел к Келлерману этот стиль, плох ли, хорош ли был и его «Туннель» и «9-е ноября», все же там наблюдалось какое-то стремление приподнять эту целину коллективной трагедии. которая накрыта была в день Сараевского убийства. Плохо ли. хорошо ли разрешал Келлерман свою задачу, разрешал ли он ее вообще,—это все иные вопросы, но задача ставилась во всей своей величине и с ней нельзя было не считаться. А теперь Келлерман приходит к безнадежной ситуации, где показывается, как ряд случайностей выводит человека из его бесчеловечного уединения с креслом и сигарой, а спустя эти обстоятельства, герой снова ворочается к своей сигаре с новым рвением. Вывод,—подождем пока обойдется, пока появятся благоприятствующие вероятности и не переменят окружаю-

щее помимо нас; наша же усталость, наше тэдиум столь велико, что мы будем беспробудно дремать в злом и колючем мире. Эта болезненная дрема не разрешается жизненной фантастикой и подслащиванием обыденности с тем расчетом, чтобы действительность приносила побольше игрушек и конфеток, а мы бы от сигары поехали к морю побаловаться и поразвлечься; все остается на месте—и читателю остается еще раз вздохнуть над современным немецким прозаиком.

«Билби» Уэллса — один из его бытовых романов-картинок «Любовь и мистер Левишэм»—немножко в том же роде, этот стиль не новость для Уэллса. В этом именно стиле находит себе разрешение мещанская нормативность Уэллса. Основным героем повести является мальчишка Билби, сбежавший от хозяев; все происшествие занимает около недели, а соль пьесы заключается в романе лиц, заинтересованных в поимке Билби. Этот роман показывается в виде эпизода (авиатор и актриса), но в нем характерно и немногословно уже намечены все коллизии, полагающиеся любовному столкновению. Книга написана живо, весело со введением чисто-кинематографического элемента (погоня через улицу, крышу стройки, огород и пр.). Начало книги описывает уезжающих из Лондона на «конец недели» за город джентльменов; вся книга имеет такой специально-дачный характер и несет все достоинства и недостатки такого литературного пикника,—что - то заметили, что-то обнаружили, нахохотались и замучались: оглянуться не успели, как надо ворочаться в город. На возникающей в этом порядке грусти настоена эта книжка, в ней есть хорошая свежесть и умелое использование юмористических трюков (крушение фургона). Точки зрения на описанное в повести не обнаруживается: почти-что для забавы выдумана она. Поехали на дачу и вернулись.

Но кино лезет в литературу самым серьезным образом. Герой экрана Чаплин уже тема для целой маленькой драмы немецкого экспрессиониста («Совр. Запад», № 3), разбирающегося по-свойски с этим тонким интерпретатором по-военного одичания и снабжающего его всей болезненностью точки зрения на мир, нашедшей себе воплощение в картинах типа Шагала или Гросса. Но толстенький томик Д. Лондона («Сердца трех») [1]) берет откровенно и просто кинематографическую канву основой романа. Выходит—и не так уж плохо, ежели принять во внимание нарочитую несложность построения. Кино—голый сюжет (с этой точки зрения иной раз небезынтересно, как в кино разлагаются общепринятые литературные ценности, не имеющие серьезного сюжета), поэтому сюжет романа Лондона, несмотря на простоту своего остова (искатели клада), разрастается в целую энциклопедию приключения. Трудно сказать, чего там нехватает в этом отношении,—все есть. Но великий секрет авантюры пока что еще не найден,—читатель не сомневается, что герой доживет до последней страницы, а это в таком деле, разумеется, не порядок. Очевидно, что фабула должна иметь какие-то существенные и особые черты для того, чтобы не превращаться в растянутый и повто-

[1]) Изд. Л. Френкеля.

ряющийся анекдот. Что это за черты? об этом, разумеется, не скажешь в двух словах, но достаточно сравнить фабулу «Войны и Мира», «Давида Копперфильда» и фабулу Лондона, чтобы увидеть, как мы берем постепенно все мельчающие явления. В довольно сложной фабулистике Лондона нет возможности открыть организма трагедии: две дюжины эпизодов с одними и теми же персонажами необязательны, говоря вообще,—проще оказать, если парочку выключить или прикочнить еще дюжину, ничто не изменится, а герой все же не сумеет так вытираться полотенцем, как это делает Вронский. Роман Лондона, несмотря на его несколько извиняющееся предисловие (что это-де подражание кинематографу и не более), рассчитан по существу своему на чрезвычайно низкопробного читателя, который немного вроде гоголевского Петрушки,—хоть увлекается он не самым процессом чтения,— а процессом сочинительства, авантюры и пустой дешевкой фельетонной выдумки, после которой ничто в концепции пустой книжки не меняется. Это ли ищется в книге (!) когда Пушкин писал про свои планы в Онегине («Е. О.», гл. третья):

> Унижусь до смиренной прозы:
> Тогда роман на старый лад
> Займет веселый мой закат...

и дальше:

> Перескажу простые речи
> Отца иль дяди старика,
> Детей условленные встречи
> У старых лип, у ручейка...
> Я вспомню речи неги страстной,
> Слова тоскующей любви...

На своем закате Лондон тоже хотел написать роман «на старый лад», но этому автору нечего было *вспомнить* так, как это мог бы наш Пушкин.

«Папалаги», речи тихоокеанского вождя Туйавии из Тиавеи, изданные Э. Шеурманом [1]) пришли к нам из Германии. Можно, конечно, без вреда для дела допустить, что это действительно говорит самоанец, а что это не просто стилизация под примитивное мышление, — это, в данном случае, неважно, и не в этом дело. Туйавии—или тот, кто скрывается под его личиной, много и важно говорит об европейце, его привычках, его одежде, его городах, деньгах, фабрикатах и страсти к фабрикованию, суетливой толкотне со временем, которого никогда не хватает, праве собственности, машине, профессионализме, кинематографе, газетах, мысли и многом другом. Этот примитивный анархизм, анархизм солнца и света, очень слабосильный и тем привлекательный,—должен быть мил современному немцу. Книжку нетрудно было бы отвести и вовсе, если анализировать те мотивы, которые привели автора к ее написанию. Но ее стоит взять такой, какая она есть, без схематизования причин ее породивших,—ибо не всегда ведь дело в причинах поступка, иногда стоит позаняться и им самим. Очень просто, конечно,

---

[1]) „Папалаги“. речи тихоокеанского вождя, издал Эрих Шеурман. Перев. Б. Л. „Всемирн. Лит.“, Спб. 1923. стр. 89. тир. 5.000.

сказать, что Туйавии думает так потому, что он самоанец, что поэтому-то он не может думать иначе, и что самоанство его определяет все, что он скажет. Но, ведь, столь же легко сказать, а к этому приводится все перечисленное,—что он потому самоанец, что родился на Самоа;—а большего из этих отводов не выносешь. Только ли быт отвращает этого дикого мудреца от Европы, только ли то, что он не знает никаких умозрительностей и чурается их и с истинной радостью выменяет том Канта на плод мангового дерева (или что он там кушает, у себя на Самоа!)—только ли в этом?.. А европейцу, немцу в особенности, уже нечем дышать, и, как говорит Туйавии: он должен кормить машину собственным сердцем, чтобы получать от нее бесстрастные чудеса. Это книга декаданса, глубокого, тяжелого и жалкого, не в ней дело, а в ее появлении в Германии. Если лисица, попавшая в капкан около моего курятника, думает, что я прохвост, и хитрость моей злобы неисчислима, то да позволено мне будет думать, что из ее шкуры выйдет недурной воротник для моей красотки,—немец разучился понимать эту несложную мудрость, а ведь она не хитрее Туайвии.

Вышло несколько книг О. Генри. Вот автор, которого встречаешь с удивительной радостью! Рассказы его (изд. «Всемирн. Литер.») превосходны, просты и поражают замечательной и неожиданной у американца, настоенного на «время-деньги», «глубокой и горящей сердечностью». Душа Техаса («Сердце Запада» в другом переводе) слабее, в ней сильнее пародийный элемент. Сюита новелл «Короли и Капуста» не хуже его нью-йоркских рассказов. Автор в ней ходит со своим секретом, как курица с яйцом,—секрет, действительно, прочно запрятан и долгое время автор водит читателя за нос, раздразнивая его любопытство. Но вот секрет выдан, тени героев теряются в тумане будущего, что расстилается за последней страницей, тут-то кажется, он и должен попасться—теперь обезоруженный автор... и он попадается, попадается в том, что он все-таки что-то от меня прятал, что он не пришел ко мне запросто, так по дороге,—как приходит Бальзак, как свойственно приходить к нам каждой строчке Пушкина. Генри—не большой писатель, но его талант—весь в человеке, несмотря ни на что; отказать ему в сочувствии поэтому невозможно. Это какой-то Руссо Нью-Йорка, со страстной верой в человека, неистребимой и глубоко импозантной.

Испанец Б. П. Гальдос не новость для русского читателя, четырнадцать романов и повестей его было переведено на русский язык, но после девятисотых годов о нем как-то позабыли, на его место вышел Б. Ибаньес, мрачная и очевидная посредственность, в которой, кроме пейзажа, мало было испанского. Гальдос человек с большим размахом и настоящей культурой, из его обширного литературного наследства стоит хотя бы упомянуть пятидесятитомную историю Испании, начиная с Трафальгарского боя (1805). Он—выученик французского и английского романа, писатель с публицистической жилкой либерального уклона, с определенным тяготением к социальным темам (в ряде романов и пьес он выступает антиклерикалистом, описателем сдвига социальных отношений Испании, нарождающейся плутократии и ее

победоносного вторжения в аристократию и пр.), в нем очень ясен рассудочный уклон, но его романтическая тенденция связана с Сервантесом, с авантюрой Дон-Кихота, с деревней Санчо, с дикой беднотой, которая когда-то привлекла к себе тонкое перо Мериме,—он настоящий художник с широкой и трагической манерой. Его роман «Очарованный Кавальеро» [1] (написано в 1909) начат в старинном, описательном и насмешливом роде, сразу напоминающем читателю хитренькую воркотню и иронические вздохи Сервантеса. Герой повести—богатый лоботряс—силой чар обращается в мужика, после фантастических приключений, изяществу коих мог бы позавидовать Гофман, он вдруг неожиданно оказывается на пашне у пары волов и плуга. И об этом говорит книга с великодушной и щедрой насмешкой, а писательский случай сводит происшествия так, что Тарсис-Хиль оказывается батраком собственного арендатора, одного из тех, которые в первом его воплощении должны были по возможности в достаточном количестве снабжать его, Тарсиса, презренным металлом, который не имел, в данном случае, привычки задерживаться в хозяйском кармане или итти на что-либо дельное. История с превращением иной раз напоминает Апулея, а тонкая простота автора иногда напоминает буколические сказки Диккенса. Вслед за этим Тарсис встречается с фантастическим персонажем, Матерью, которой он и обязан всем приключением: то ли это родина, то ли это история Испании, эта Мать... но его встречи с ней, их героические, несколько напыщенные и аллегорические беседы, что сменяют печальными путешествиями в нищие деревни, глубоко волнуют и роднят вам эту печальную и красивую страну. Книга написана прекрасно, ряд выражений и описаний отличен, о ней стоит поговорить, и ее стоит прочесть.

Новым писателем на наших книжных витринах является Джозеф Конрад, английский современный романист, русский поляк по происхождению. Два рассказа его помещены в сборнике «Американская новелла» (к каковой Конрад, кстати сказать, не имеет ни малейшего отношения, ни территориально, ни стилистически), две маленьких повести составили книжку «Приливы и Отливы» [2], наконец, роман «Каприз Олмэйра» [3] вышел отдельным изданием.

Можно без преувеличения сказать, что знакомство с Конрадом (до сих пор был переведен всего лишь один его ранний и не характерный роман), самая значительная новость на литературном горизонте со времени восстановления книгопечатания у нас. Конрад влил в авантюру экзотического типа такую замечательную глубину и серьезность, что уже это одно делает его мировым писателем. Молодость, проведенная в России, оставила ему на всю литературную деятельность тягу к пристальному, почти болезненному

---

[1]) Б. П. Гальдос. «Очарованный Кавальеро». Перевод и предисл. Б. А. Кржевского. „Всемирн. Лит.“ Тир. 7.150. Стр. 240. Спб. 1923.

[2]) Джозеф Конрад. «Приливы и Отливы». Перев. под. ред. В. А. Азова. Изд. Л. Френкеля, Спб. 1923. Стр. 128. Тир. 4.000.

[3]) Джозеф Конрад. «Каприз Олмэйра». „Всемирн. Лит.“ Спб. 1923. Стр. 164. Тир. 6.150. Перевод А. Соломон, под ред. К. Чуковского и Ст. Вольского.

человеколюбию русских писателей. Двадцать лет на корабле показали ему весь мир, простор, краски, пейзаж и людей заокеанских стран. На фоне исключительного по широте и тонкости тропического пейзажа, — описанного так, как это не делал никто до него (если не считать слабых попыток некоторых приключенских романов), ибо почти у всех таких описателей мы встречаемся с кинематографическим гутированием необычного, с ландшафтным анекдотом, с курьезами тропиков, с преобладанием специфически-белого, по человеку белой расы, взгляда на величественные формы мира,— с колонизаторским, короче говоря, подходом чуть-что не курортного стиля, с жадной демонстрацией того, что имеет быть от'эксплоатировано, с какой-то теплицей, до которой нам, собственно, никакого дела нет и быть не может. Тропики у Лондона—истинные тропики империалиста, Лоти—олеография, Фаррер—бледные копии Гогэновских красот. Были две крайности: или тропики-колония, или тропики-проповедь какой-то «истинной», то-есть незатронутой культурой жизни. Лондон и Папалаги—вот эти два полюса. Р. Маран, французский негр, в своем «Батуала» заговорил от лица самих тропиков, Дж. Конрад пошел с белым человеком туда, на Яву, показал нам его, настоящего,—белого поселенца тропиков, человека другого и неведомого мира. Добавьте к этому острую чуткость на нервное, несколько болезненное, на грандиозную и всепоглощающую страсть, некоторое характерное и сперва непонятное косноязычие автора, дающее сначала впечатление какой-то вялости стиля, но потом оказывающееся исключительным по спецификации вместилищем для огромных тем автора. Прекрасный и отлично окрашенный для типа чужой язык, пейзаж просто исключительной силы,—прямо стоящий несколько дней перед глазами, удивляющее умение выделить героя простыми, резкими и чуть что не топорными приемами, глубину Конрадова пессимизма, его захватывающее счастье и несчастье, все слитое, сбитое в один кусок, совершенно без всяких «маленьких ужимок» и подражательной дряни, угрюмое великолепие его трагедий и фантастический пафос его мажорных ораторий—вы увидите Конрада, исключительного, незабываемого прозаика, автора, который, конечно, очень скоро сделается у нас таким же известным, как в Англии и Америке.

Американцы сравнивают Конрада с Достоевским и, конечно, в этом сравнении есть немало истины. Разница же в пользу Конрада та, что в то время как Достоевский пессимист религиозного, ортодоксального свойства, помешанный на идее определяющего мир актуального зла,—Конрад переносит всю трагедию в самого человека, в героя и не ищет этому никаких потусторонних причин. Его герои—слабые люди, но эта слабость универсального свойства, она неизбежна, как сама культура и так называемый «прогресс», эту слабость носит в себе всякий, она вырастает неожиданно, ни с того, ни с сего—и яростно бросает человека в нестерпимый ад самомученья и жалкой беспомощности. Древняя трагедия Судьбы собственно исключала личную жизнь, поскольку основным пунктом было предопределение; писатель, скажем, типа О. Генри не идет дальше самой поверхности ощущения или поступка, предоставляя нам самим догадываться о тех кол-

лизиях, которые обусловили происшествие и которые ему воспоследуют: воображаемому выражению лица героини—извольте-ка у Генри догадать о том, что она думает. Далее у Генри трагедия видна из иллюминатора ка океанского пакетбота, она прочтена в газете, она случилась в соседней ква тире, а писатель—щелкнул кодаком да и пошел дальше. Герои Генри пер живают неприятности и попадают впросак, — дурья голова!—отвечает Генри:—перемелется, мука будет. Из чего же фабрикуется жизненная му рость и сердце человеческое, этим Генри не интересуется; он и тем д сыта полон, что сердце человеческое существует, живит нам все круго и какого чорта над этим, собственно, ломать голову, когда можно прос жить в этом великом и благословенном сиянии! Но Конрад не знает ни пред пределения, ни стационарного сердца живого:—он хочет знать, как э куется то̀, что̀ называется—жизнь человеческая, какие противоположен приводят человека к тому порыву, который обнаруживает его истинно-чел веческое наполнение. Отец любит свою дочь: Генри ухмыльнется, подмигне угостит папашу пивом, а дочке потихоньку подарит здоровенного малог начудит, положит им на подоконник девятого этажа, как некий Сант Клаус, двадцать долларов и уйдет в свой туман современной сказки о ск терти-самобранке, тем в выгодную сторону отличающейся от шоколадно автомата, что она работает бесплатно, для собственного удовольствия, любви к искусству.—Угрюмый, неповоротливый и косноязычный Конрад по ходит к этому совершенно с другой стороны. Он выносит к вам образ это девушки более пылающим любовью и более страшным в своем величии, че Генри, но этот образ весь наполнен, наполнен до отказа, весь пророс тр гедией юности, его самоотреченье—не шутка, не снисхожденье, не кокетли вое баловство,—за которым еще бог весть что скрывается,—это самоотре ченье: это и есть тот расцвет, пышный и почти зловещий в своем абсолют ном одиночестве,—и вот он у вас на глазах грандиозно, какой-то вулка нической феерией разрешается таким утром жизни, таким захватывающи светом человечности, что вы понимаете, что вы узнаете, наконец, что тольк этой трагедией убитого отцовского чувства, этим бешеным стыком двух ра именно этой погибшей душой неудачника-Олмэйра—этим и только эти выращивается эта страсть жизни, вся в трагедии, вся в освобождении от не Вот как он говорит о тропическом лесе: «Проходя усталым шагом п опушке леса, он по временам вглядывался в мрачную тень манящую свое обманчивой свежестью, пугающую своей беспросветной мглой, в которо погребены были бесчисленные поколения гниющих деревьев, и в которой по томки их стояли в своей темной листве, как в траурных одеждах, опром ные, беспомощные в ожидании своей очереди. Только одни паразиты, каза лось, и жили там, извилистыми путями прорываясь ввысь к свету и солнцу питаясь соками умерших и умирающих, увенчивая свои жертвы розовым и голубыми цветами, сверкавшими в чаще ветвей нелепо и жестоко, словн насмешливая и пронзительная нота в торжественной гармонии обреченны деревьев». Вот, образ Конрадовского мира. он таков в своей свежести и свое мгле, он велик и прекрасен.

На попятный двор.

А. Воронский.

«На посту» № 2—3.

Внутренний враг найден. Сидит он в редакции «Красной Нови», «Прожектора» и в «Круге». Внутренний враг этот настолько серьезен, что неукоснительным и недреманным критикам «На посту» потребовалось две трети очередного номера, чтобы изловить и повесить этого врага, так что даже удивительно, как хватило шрифта для набора фамилии опасного злодея. Конечно, во всем этом критическом походе есть явный гиперболизм, выражаясь неточно и мягко. Написано, например: «Воронский организует все имеющиеся в современной советской литературе реакционные элементы» (С. Родов). *Все* элементы—это уже сгоряча, в состоянии явной запальчивости. Или пишется: «теперь для всех ясно, что опыт (с попутчиками. *А. В.)* не удался». Опять все. Это «все» весьма смахивает на 30.000 курьеров; согласимся считать это художественным преувеличением.

Попутно выясняется, что внутренний враг «потерпел неудачу» с попутчиками, а самые эти попутчики «обанкротились». Следственно, посвящать этому врагу 100 с лишним страниц как будто и не следовало, особливо в наше тяжелое время. Но, с другой стороны, читатель с огорчением узнает, что внутренний враг хитер и живуч: один потерпел неудачу, но явился второй; сидит он на этот раз уже не в «Красной Нови», а в «Правде» и называется он не Воронским, а Троцким. Если же прибавить сюда прискорбные реставраторские тенденции «Печати и революции», «Известий», Луначарского и др., то сколько же еще придется пострадать и потрудиться в поте лица неутомимым критикам! Таскать вам не перетаскать! Как в русской сказке-былине—критики «На посту» геройски бьются с супротивниками, но «сила все растет и на богатырей с боем идет». Разумеется, все это огорчительно: утешительно одно: есть еще порох в пороховницах, и скоро, может быть, будем мы свидетелями, как Тарасов-Родионов станет обучать начаткам марксизма тов. Троцкого, а тов. Родов зачислит его в организаторы реакционных элементов. Зрелище сие будет несомненно интересным и поучительным.

В ожидании его займемся пока № 2-м журнала, так как по поводу позиции, занятой редакцией «На посту», нам уже приходилось подробно выска-

зываться, то остается кратко отметить то новое, что имеется в очередн номере.

Новое есть. По сути дела, великопостные уставочники потихоньку полегоньку со своего поста пятятся, и № 2-ой можно без особого ущер для правды назвать «На попятный двор». Пятятся они в вопросе о попутч ках, пятятся в вопросе о классиках. Если «посмотреть да посравнить» № 1-і с номером 2-м, некая несомненная разница бросится в глаза. В № 1-м попу чики брались огулом, скопом. О них говорилось, что они клеветники и у во всяком случае, воспитательного значения для рабочего класса иметь і могут. В соответствии с этим утверждалось, что не только Всев. Иванов но и «Кузница», но и «Леф» враждебны пролетариату, и что единственн литературной группой, заслуживающей пролетарского внимания по-насто щему, является «Октябрь». В № 2-м отголосков этих настроений немал но их перебивают иные настроения. Тот же самый тов. Родов, котор только-что утверждал, что попутчики обанкротились, сообщает: «однак разные элементы попутчиков расположились далеко не равномерно по отн шению к обеим сторонам мировой социальной борьбы. Некоторые из н очень близко подошли к пролетариату; другие—дальше от него; третьи— самой границе и, наконец, есть такие, которые фактически, если не фо мально, в союзе с буржуазией». Оказывается, что все это давным - дав доподлинно известно тов. Родову, и что только воронские сваливали попу чиков в одну кучу. А Тарасов-Родионов тот совсем распелся о том, как он т.-е. Родов и прочие будут перетягивать к себе попутчиков и как настан такие блаженные времена, когда попутчики перестанут быть таковыми и с лаются «соратниками». Наконец, тов. Зонин, намеревающийся перепаха «Красную Новь», уже практически наметил «действительных попутчиков Сейфулину, Яковлева, Семенова, Зозулю и «через них прозаиков кузницы Звучит все это, по правде сказать, довольно дико, наивно и смешно. Семенов- коммунист, а не попутчик. Почему Яковлеву отдается предпочтение пр Всев. Ивановым, и даже Пильняком—неизвестно. Наоборот, известно, ч в творчестве Яковлева идеологически есть кое-что более сомнительное, че у того же Пильняка (см. «Рок» и др. вещи). Неизвестно, далее, почему З зуле и Сейфулиной отдается предпочтение пред Ивановым, Малышкиным, к торого так нехорошо исказил Зонин. Почему, наконец, поэтам «Кузниц противопоставляются прозаики? При всей своей идейной и художественн шаткости поэты «Кузницы» выдержанней своих товарищей прозаиков. В и вещах больше рабочей психологии, рабочего духа и пота. Стоит только с поставить имена Александровского, Обрадовича, Герасимова с Неверовы Низовым и другими. Повторяем, потуги критиков «На посту» опереться н «действительных» попутчиков могут вызвать только улыбку. Никаких, к нечно, попутчиков нельзя всерьез организовать в «Октябре», покудова та царит родовщина и [illegible]вщина, т.-е. групповое политиканство. Не тольк нельзя при такой художественной политике (должно быть, от слова худ привлечь попутчиков, но нельзя вообще творчески работать или можно, н

вопреки только этой политике. Тем не менее факт остается фактом: так как на прежнем посту держаться дальше невозможно, так как часть членов «Октября» видит это довольно ясно, то Родовым ничего не остается, как открыть охоту за попутчиками, что они и начали делать. Впопыхах они хватаются за таких, которые иногда идейно отстают от попутчиков, кои считаются реакционными. Ничего, сойдет! Нужно поскорее подпереть «Октябрь» попутчиками, ибо нельзя же ходить голыми на голой земле. За всем тем, это—прогресс; опасаемся, однако, что тут больше политиканства, чем искреннего желания сработаться с попутчиками.

Ввиду всех этих обстоятельств, утверждение Родова, что «Воронский потерпел неудачу с попутчиками», приобретает довольно неправдоподобный характер. В чем дело? Собственно, единственно правильным показателем, кто потерпел удачу или неудачу, являются печатные произведения и их художественный и общественный удельный вес. И здесь прав тов. Полонский, когда он пишет: «эти беспартийные беллетристы, стреляя такими 42-сантиметровыми снарядами, как альманахи «Круг»,—совершенно не пишут деклараций, прокламаций, резолюций, ни с кем не полемизируют и никому не доказывают с пеной у рта и без лены, что они, беспартийные беллетристы,—самые что ни на есть лучшие и полезные беллетристы Р. С. Ф. С. Р. Предоставляя другим судить и осуждать их дело, они без устали это дело делают, не подменяя его километрическими декларациями» («Печать и революция» № 5). Или, может быть, идейно попутчики отходят от сотрудничества с советской властью в сторону союза с буржуазией? Всякий, мало-мальски знакомый с современной литературной средой попутчиков, знает, что это не так и что дело обстоит совсем наоборот.

Пятятся наши критики потихоньку да полегоньку и в вопросе о классиках, о преемственности, о старом наследстве. Тов. Родов пишет, что я придрался к одной фразе. Неверно это. Я взял несколько заявлений, при этом некоторые из них носили программный характер. В этих заявлениях литература прошлого бралась в общие скобки; в этих заявлениях предлагалось окончательно освободиться от содержания и от формы этого прошлого художества. Я указывал, что эти и подобные мысли противоречат другим, что все это сгоряча и зря. Статья так и называлась «О хлесткой фразе и классиках». Но все это *теперь* в № 2-м отвечают, что я неверно понял, что критики «На посту» и не думают отказываться от наследства, но только предполагают воспользоваться этим наследством несколько иначе, чем Луначарские и Воронские, которые зовут к литературной реставрации.

Относительно реставрации. В упомянутой статье было, между прочим, написано: «новые достижения, переработка, усовершенствование старой манеры, старых форм, конечно, необходимы. Думается, что современное искусство идет к своеобразному сочетанию реализма с романтикой, к нео-реализму, но такому, в котором реализм остается все-таки господствующим началом». В таком же духе я неоднократно высказывался и в других статьях. Оставим в стороне вопрос о нео-реализме,—сейчас достаточно

отметить, что изображать меня в виде литературного ихтиозавра, значит, выражаясь осторожно, не совсем осмотрительно обращаться с правдой. В статье утверждалось, что звать сейчас к окончательному освобождению от прошлого искусства бессмысленно и несвоевременно. Бессмысленно потому, что в творениях великих мастеров прошлого есть много таких же об'ективно-ценных моментов, как и в науке. Несвоевременно же оттого, что нашей молодежи нужно всемерно рекомендовать учиться у классиков. Тов. Лелевич, обвиняя меня в реставраторстве, в сущности, поправляет передовую в № 1-м журнала. Он пишет: «мы не отказываемся от него (от литературного наследства. *А. В.)* в том смысле, в каком Маркс не отказался от наследства Гегеля и французских материалистов». Это, конечно, поправка. Звучит она очень «гордо»: «мы... как Маркс». К сожалению, помимо «гордости» тут ничего нет путного. Дело в том, что теперешнее состояние литературы, которую Лелевич называет пролетарской,—в ее отношении к классикам, ни в какой мере нельзя сравнить с отношением марксизма к гегелианству по той простой причине, что марксизм есть выработанное, целостное миросозерцание, представляющее собой критическое преодоление гегелианства, а пролетарская литература в нынешнем ее состоянии таким преодолением, такой выработанностью пока ни в коем случае не отличается. Во многих отношениях она позади классиков, так что многие классические образцы до сих пор надо считать непревзойденными. У нас очень много шума о пролетарской литературе. В этой литературе, между прочим, почти нет рабочего, того рабочего, который *связан с производством.* Кое-что есть еще в поэзии «Кузницы», единственной литературной группе, в которой слышится рабочее эхо, вопреки всяким посторонним наслоениям. В прозе рабочего-производственника совсем нет. Нигде. Ни у попутчиков, ни в «Кузнице», ни в «Лефе», ни в «Октябре». У нас есть о комиссарах, о членах губкома и исполкомов и т. д., но *рабочему у станка* решительно не везет. Пусть попробуют опровергнуть этот факт. Теперь да будет позволено спросить: можно ли писать об этой пролетарской литературе: «мы... как Маркс», когда она к рабочему-производственнику даже еще не подходила? Никто не будет настаивать, чтобы пролетарское искусство непременно и исключительно в фокусе своего творчества имело бы только рабочего у станка. Но все-таки *совершенное отсутствие* его в современной пролетарской литературе заставляет с законной осторожностью относиться к гордым заявлениям: «мы... как Маркс». Можно сказать так: до тех пор, пока этот рабочий не займет подобающего места в нашей литературе, нельзя всерьез говорить о пролетарской литературе. Нам скажут: факты нужно преодолевать. Может быть, пролетарская литература еще слаба, но за ней будущее, и нужно способствовать ее развитию. Верно, но в теперешнем ее состоянии пролетарские писатели не сделают ошибки, если будут отправляться от классиков, если они возьмут у них реализм, понимая его в самом широком смысле этого слова,—если они будут учиться у них синтезу, уменью давать «героев нашего времени», отражать глубокие и правдивые переживания и т. д.

О форме. Лелевич советует брать пример с таких великих мастеров Раблэ и Сервантес, но полагает, что нельзя игнорировать и «стильную технику эпохи декаданса». Может быть. Но, ведь, это—тот самый ..., ный эклектизм, за который с таким несравнимым презрением заклеймил он воронских, это — во-первых. Во-вторых: то, что Лелевич называет пролетарской литературой, пока в области формы не вышло из стадии подражательности. Подражают классикам, чаще писателям эпохи декаданса, иногда попутчикам. Блок, Андрей Белый, Маяковский, — вот кто «властители дум» теперь в области формы, да и только ли в этой области? «Коммунары» от Тихонова,—ломаная, ударная строка от Маяковского, выразительность от Пастернака. Такие вещи, как «Неделя», написаны под влиянием прозы А. Белого, сказ—от Ремизова и Лескова. Так как эти же авторы оказывают сильнейшее влияние и на попутчиков, то, по правде говоря, сплошь и рядом трудно провести какую-нибудь грань между попутчиками и непопутчиками. Поэтому и здесь «мы... как Маркс» звучит довольно смешно. Очень легко отвлеченно теоретизировать о новом содержании и о новой форме, но, как только спустишься с холодных высот абстракции, дело принимает иной и довольно неприглядный оборот.

«Принимая» это и многое другое «во внимание», надо сказать: старую литературу надо не изучать «в исторической перспективе», как снисходительно соглашается Лелевич, а учиться у нее, следуя лучшим образцам лучших эпох, внося, разумеется, новейшие обогащения: ударность, сжатость, крепость стиля, стремительность, напряженность, насыщенность обр... и пр. Довлеет дневи злоба его.

Нужно остановиться на формах полемики критиков «На посту». Дело не в резкостях. Резкость понятна и естественна. Но какой смысл имеет, например, такой пример в статье Лелевича: *«Гейне, Белинский и воронские»*? Эта типографская петитная полемика с литературным противником уместна, если противник претендует действительно на роль Гейне и Белинского; но воронские манией величия не страдают, свой шесток знают, так что вся эта критическая изощренность пропадает даром и свидетельствует лишь о потере чувства меры—дались же воронские! Тарасов-Родионов пошел дальше: у того Воронский и «батенька мой», и «парень» и «ново-явленный Рейнике-Лис», который «труслиы бросил на произвол судьбы даже своих современных попутчиков»; потом «парень» этот и «батенька» «немужественно в разные стороны прятался», он же «пробует кое-кого временно задобрить», делает галантный реверанс в сторону Д. Бедного; есть дальше какие-то намеки на золотой фонд «Красной Нови» и на какую-то особую плату в «Круге» (в «Круге» платят по 50 р. за лист, т. е. нищенски). Мимоходом, как бы по поводу, Тарасов-Родионов рассказывает, какие победы он одержал на красных фронтах; и, наконец, заявив, что он, как все великие писатели, великодушен, наш критик предлагает не обижаться. Обижаться, конечно, не следует,—брань на вороту не виснет; истоки же брани здесь явно личные и мелкие,—но руки свои уберите, да и ноги на стол класть не зачем; относи-

ельно же трусости и храбрости можно было бы говорить до вечера; если б это имело отношение к литературе. К сведению же читателя сообщ что «реверанс» Д. Бедному я сделал полтора года тому назад в юбилейно номере «Правды», в статье «О писателе и читателе», и делал я ему не «рев ранс», а писал, что думал о нем. Никуда я труслиwо не прятался, а прост просто сначала написал о классиках, а вслед за этим о попутчика Но писать о полемических красотах Тарасова-Родионова подробней—де неблагодарное. По существу же его возражений можно ограничиться одн примером: Коснувшись вопроса об об'ективном моменте в искусстве, Тарас Родионов выдвинул такое возражение: абсолютной истины нет; истина проверяется на практике. Поэтому: «разница между нами та, что рассм тривать об'ективный момент вне органической, неразрывной связи его с м ментом суб'ективным, рассматривать не монистически, а дуалистическ как вы это предлагаете, мы просто физически не в состоянии. Наши моз не так устроены». Как устроены мозги Тарасова-Родионова, это—дело дес тое и, в данном случае, совершенно неинтересное. В статье «О хлесткой фр зе» говорилось, что у классиков, как в науке, есть об'ективные художестве ные ценности (например, Ноздрев у Гоголя; известно, что Ноздрев преблагоп лучно здравствует и поныне в перелицованном виде), что поэтому нель от них,—от классиков, а не от Ноздрева,—освобождаться и сдавать их в а хив. Никакого преступного дуализма между суб'ектом и об'ектом я не проп ведывал. Суб'ект и об'ект существуют в природе. Отношения между ни таковы, что свойства внешнего мира имеют не только суб'ективное, но об'ективное значение, а монистическая точка зрения заключается в то что материя может быть наделена сознанием. Измышления Тарасова-Роди нова о дуализме—такого же сорта, как те, в коих утверждается, что я стр сил, куда-то немужественно спрятался и пр. Дальше. Абсолютных, вечн истин нет; что есть истина, познается на практике, суб'ективно. Но э нисколько не колеблет положения, что свойства внешнего мира имеют не тольк суб'ективное, но и об'ективное значение. Кто думает иначе, тот скатывает в идеализм. Из этого материалистического утверждения я и исходил.

Критики журнала «На посту» явно пятятся. Но, пятясь, они делают ви что они энергично наступают, шумят, кричат, уверяют, что против куда-то бежал и т. д. А зазывания Яковлева, Зозули, Сейфуллиной и д остаются непреложным фактом. Выходит же из всего этого вот что: воро ские об'являются реакционерами и меньшевиками, а яковлевы—«действ тельными» попутчиками, ставшими на точку зрения пролетариата. Недурн

Критика и библиография.

А. Серафимович. Рассказы. Гиз., Москва—Петроград 1923 г., стр. 359.

Алексей Демидов. Жизнь Ивана (повесть), из-во «Земля и фабрика», Москва 1923 г., стр. 302.

У Серафимовича много ценнейших внутренних черт, целиком унаследованных от народо- и свободолюбивой литературы. Черты эти—простота (разумеется, не исключающая сюжетной занимательности), словесная скупость (бережливость), умение найти даже в отрицательно-общественном типе теплый огонек человечности и, наконец, хрупкие мониста той лирики, которая, не запутывая и не размельчая сюжета, придает ему внутреннюю гармонию, тонкую спаянность и художественную легкость.

А. Серафимович—писатель, по преимуществу, народнобытовой. Крестьянин, рабочий (вспомните его рассказы о шахтерах), реже — интеллигент или «общественник», втиснутый в тинистый футляр «среды», или—просто чиновник, или, наконец, ссыльно-поселенец,—обычные персонажи творчества Серафимовича.

Как бытописатель (большинство его творчества, все же, уделено деревне), Серафимович, прежде всего, правдив, но и далек от обоих, разделяющих русскую народно-бытописательскую литературу, истоков: и от намеренной ласковости (народничество), и от голого натурализма, господствовавшего в предвоенные годы.

Но, если народничество в литературе завершало любовь к «мужику» единичночестных представителей крепостнического дворянства (Григорович, Тургенев и т. д.), а противоположный ему натурализм, особенно резко выраженный у Бунина, в основе своей имел полнейший отрыв от народа, т.-е. ту же барственность, то в подходе Серафимовича к деревне чувствуется литературный разночинец, в первую очередь связанный именно с народом.

Изображая деревню, Серафимович не скрывал ее атавистических и фаталистических начал и поразительной бескультурности, в то же время не забывая ни человеческой осмысленности, ни обстановки (усадебный эконом и приказчик, старшина и урядник, казенное православие и водка), мертвящей эту осмысленность.

Старой деревне, целиком зависимой от торгового капитала, старому деревенскому быту, отмеченному горячечным стремлением к собственности—результатом капиталистического воздействия, посвящено и большинство собранных в рецензируемой книжке рассказов.

В них на-лицо и степное бесхлебное горе, и горе батрацкое, и горе девичье («Чибис»), и — жуткая рыбацкая драма, обусловленная погоней за деньгами, т.-е. обстановкой, жизнью, в которой «смерть, увечье и разорение постоянно глядели в глаза» («Месть»), и—внутри-семейный разлад — измена жены, приводящая к диким дракам и убийству («Ночной рассвет»).

Эта тема—острая тема о деревенском семейном быте, о деревенской женщине—особенно занимает Серафимовича. На эту тему лучшие рассказы в книге—«Пески», «Половодье», «Фетисов курень» и «Колечко».

Деревенская семья (как, впрочем, и всякая семья в капиталистическом обществе) характеризуется, прежде всего, теми же собственническими началами мужчины, сводящими женщину к положению если не рабыни, то, во всяком случае, существа «второго порядка», т.-е. к положению вечной зависимости, обездоленности и

обезличения. Отсюда—или медлительная женская покорность, или, наоборот,—в натурах более стойких и жизнелюбивых—неудержимая потребность перешагнуть зачарованный круг семейных традиций, заветов и обетов, неудержимая потребность счастья.

Стремление к счастью, опирающееся на сознание своей человечности—основная черта женщины (деревенской «бабы»), зарисованной в рассказах Серафимовича. В этих его рассказах много теплоты. Много в этих рассказах и лирики, не опоэтизировывающей, но внутренно углубляющей и украшающей рисунок. А рисунок деревенской женщины у Серафимовича не только жизненно-прост, но и художественно-легок. Таков рисунок батрачки в рассказе «Пески», вышедшей замуж за старика-мельника и тем искалечившей свою жизнь, такова красавица-Маринка («Половодье»), похожая на апрельскую вербу, таковы Маланья («Фетисов курень») и «молодуха» в «Колечке», заменившие тяжелые домостроевские цепи ромашково-легким ожерельем любви к заезжим горожанам-интеллигентам.

Во всех этих небольших рассказах (не надо забывать, что сжатость—первейшее достоинство писателя!) развернута и рассказана—коротко, убедительно и живо—целая жизнь, начиная с голубой молодости и кончая черными днями старости, согретой воспоминаниями о молодости и ее белой спутнице—любви.

Рассказы, посвященные женщине, лучшие рассказы в книге.

Остальные — «Оглянулся» (чеховский, типично-чеховский интеллигент, живущий с горничной и ощутившей свою любовь к ней только на ее могиле), «Мышиное царство» — быт городского подвала, «Золотой якорь»—трогательная история о половом Андронике и проститутке (есть в ее облике что-то от Надежды Николаевны—Гаршина)—заметно слабей, растянутей и натянутей. Но, конечно, и в них—все те же основные черты творчества Серафимовича.

❖

Просто, местами безыскусственно просто (и, в этом смысле—хорошо) написана повесть Ал. Демидова (писателя, пока малознакомого), являющаяся, как сказано в предисловии, первой, самостоятельной частью романа, долженствующего отобразить величавую эпоху революции в деревне. В настоящем своем виде повесть отражает быт деревни до-революционной (вернее, предреволюционной) и, если не имеет крупных художественных достоинств (хотя у автора—острая наблюдательность и тончайшее знание деревни), то, как материал быто-этнографический и исследовательский, заслуживает всяческого внимания.

Сюжет повести очень несложен: старая деревня, притом, определенной местности—Епифанский уезд Тульской губернии, соседка-усадьба, наглядное столкновение двух сил—кулацко-дворянской и середняцко-батрацкой, заботы о хлебе насущном, белое кружево интимных личных переживаний (очень хорошо подмечена первая любовь подростков—Вани и Нюши), крестьянский самородок, выходящий на трудную, но широкую дорогу архангельского рыбака.

Выписана повесть очень подробно,—слишком много детализации и длиннот, но зато сердечно-мягко, с болью за рабский быт, с трогательными, порой проникновенно-яркими картинами этого быта и их подробностями, в виде ценнейших цветов колективного народного творчества—песен.

От повести веет старым, знакомым, родным—в ней безусловно влияние Каронина и Засодимского, преломленное через трезвую современность и таким образом еще более зависимой от чудесной «Повести о днях моей жизни»—Ив. Вольнова.

В дальнейшем своем развитии, при условии большей сжатости и более тщательной обработки, бытопись Ал. Демидова о революционном российском Иване может быть значительной и интересной тем более, что в современной литературе, несмотря на наличие талантливых крестьянских писателей (Ив. Касаткин, Вяч. Шишков, А. Чапыгин, Ив. Вольнов и т. д.) почти нет отражения современной, мучительно перерождающейся деревни.

Н. С.

Вл. Лидин. — Мышиные будни (рассказы). Морской сквозняк (повесть). Изд-во Л. Д. Френкель, Москва—Петроград 1923.

Если изучение писателя начинать с его характерной внешней особенности — со стиля, то Вл. Лидин, писатель безусловно значительный, сразу проигрывает, ибо его особенность—стилистическая невыдержанность, неуравновешенность и неустойчивость,—неизбежное следствие литературных влияний и подражательности.

Подражательностью, теснейшей зависимостью от господствующей в данный период литературной школы — следствием скромно-ограниченного художественного дара,—отмечен весь, довольно еще короткий, но волнообразно-неровный писательский путь Вл. Лидина.

«Мышиные будни» — книга рассказов (вернее: рассказа, разбитого на главы) о российском обывателе в революционные дни, о мышиных лазейках за хлебом, о разрушенном уюте светелок, гостиных и спален. Поскольку в рассказах действует обыватель: старая ли генеральша, продающая на Трубной изящную, бисером вышитую диванную подушечку, спец ли инженер—цинцинатор («ковчег»), домовладелец ли Синебрюхов, которому в жилищном отделе «об'яснили» его «права канареечные: сиди на жердочке—и славь солнце» («Китай»), начальница ли гимназии, разбивающая вечные пасьянсы («Евражка»),—постольку на рассказах лежит неизбежный отпечаток некоторой горечи, усталости и забитости. Но усталость и горечь искупаются общим тоном—беззлобностью, искристым юмором и ничем не затушеванной жаждой жизни.

Вл. Лидин, затронувший в своих «Мышиных буднях» эпоху «мамонтнейшего мамонта», сумел—и это первое достоинство «Мышиных будней»—удержаться на той ступени, за которой следует не ядовитая «ухмылочка» недообедавшего обывателя, а та сдержанность и то спокойствие, в которых больше всего уверенности и надежд на будущее.

Второе достоинство «Мышиных будней»—их художественная правда, искренность, грусть, смешанная с чуть заметным юмором.

Наиболее удачными следует признать рассказы:

«Королева Бразильская», где, на-ряду с очень удачными фигурами обывателей-«затворников» (мечтатель Асинкрит Асинкритыч и «хиромантка» Стася), дан кусочек нового общественного быта (нотариальный отдел).

Еврейское счастье — грустная история Аарона Пинхуса, теряющего единственного сына; и

«Роза Шираза» — мягкий рисунок восточной девушки-танцовщицы, обманутой томно-развратным «князем», выдержанный в несколько пряных, изысканных, но колоритно-верных тонах.

Конечно, от «Мышиных будней» нельзя требовать чего-нибудь большого и особенно-значительного, ибо это, прежде всего, наброски, эскизы, заставки — материал для цельной (думаем, что Вл. Лидин возвратится к этой теме) бытописи.

Тема о послевоенной Европе—об отмирающем капитализме и строительных революционных толчках—далеко не новая тема, освещенная и в публицистике капиталистических же представителей (Шпенглер, Фр. Нитти), и в литературе, в частности и российской (Эренбург, Пильняк и т. д.).

«Морской сквозняк»—вещь, безусловно, зависимая—как по содержанию, так и по стилистическому узору—от «Третьей столицы» Бор. Пильняка. Но сходство здесь, все же, главным образом, лишь внешнее: в «Морском сквозняке» много оригинального и самобытного. Это—одна из лучших, написанных за последнее время Лидиным, вещей. Приближает ее к «Третьей столице» территориальная общность темы, искусственная (и, все же, красивая!) словесная небрежность, кинематографическая, но не нарушающая ни связи, ни развития, смена героев и действий. Отличает же «Морской сквозняк» большая густота содержания, большая сюжетность, законченность и, наконец, социальный слой, выводимый в повести, ибо если Пильняк главное внимание уделил эмиграции и капиталистическим единицам (мистер Смит), то Вл. Лидин—опять-

таки западному, вернее, окраинному и немецкому обывателю. А на-ряду с обывателем,—будничному, повседневному быту, показанному не только с художественным мастерством, но и с меткой, точной наблюдательностью.

Несмотря на сюжетность, «Морской сквозняк» на первый взгляд производит впечатление некоторой хаотичности и чрезмерного обилия мелочей, заслоняющих основное и главное. Кое-где, это на самом деле так, в повести есть ничем неоправдываемые длинноты и повторения, есть главы («Этнография», «Кафе Кристалль», «Чудо XX века») определенно смятые и невыдержанные.

В центре повести, как первоисточник ее сюжета, поставлены два российских путешественника: Невтонов—человек науки и Прокопов—хозяйственник (из рабочих)—фигуры эпизодичные, но—особенно вторая—зарисованные удачно и верно. В главах, посвященных Прокопову («Консорциум», «Экстренное совещание»), с удивительной зоркостью подмечен процесс смычки, хозяйственно-деловой смычки Советской России с торгово-промышленной, отображенной в конторах и банках, Германией. Торговые сношения социалистической России с западным (и, вообще, иностранным) капиталом, рассматриваются нашими врагами, обычно, не только как хозяйственное, но и как идеологическое отступление, не только как продолжение «Бреста», но и как «измена рабочим массам». В «Морском сквозняке» Вл. Лидин в лице Прокопова—олицетворения хозяйственной мощи Советской России— блестящее опровержение этих вымыслов и выдумок и наглядное подтверждение основы нашей торговой «смычки», т.-е. уверенности в себе и своих силах, расчетливости и непримиримости.

«Прокопов упрямым лбом боднул воздух:

— *Мне нужны машины и тракторы.*

— Сахарин, посуда, бритвы...

— Машины и тракторы.

— Стекло и керамику...

— Машины и тракторы и кредит».

Машины и тракторы—первейшее средство хозяйственного восстановления России—основа требований Прокопова. Его рассчетливость, упирающаяся в расс[ч]ливость капиталистов (великолепно сх[в]чена у Лидина их конкуренция между [со]бой)—единственное руководство торгу[ю]щегося в германском банке «красн[ого] купца».

Но «красный купец» Прокопов—в «М[ор]ском сквозняке» только частность, [та]кая же частность, как и его спутник Невтонов, в лице которого Лидин на[ме]тил контуры другой—культурной—«смы[ч]ки» между Россией и Западом.

Главная ценность «Морского сквоз[ня]ка»—не в них. Она—в картинах сов[ре]менного европейского (германского) б[ы]та, являющегося, как известно, худш[им] образцом всеевропейских бытовых сум[е]рек.

Послевоенная (и особенно пострада[в]шая от войны) страна—обнищание, ш[и]бер—как знамя «общественной» жизн[и], фокс-тротт, как последнее достижен[ие] «культуры», совиные крылья всеобщ[ес]твенного разврата—очерчена в повес[ти] Лидина сгущенно и цельно. Литерату[р]ные достоинства книги углубляются ещ[е] и тем, что, набрасывая общие картин[ы], Вл. Лидин дополнил их своеобразно-ф[ри]бульными подробностями, каждая из к[о]торых, входя в целое как его составн[ая] часть, в то же время остается прелестно[й], вполне самостоятельной миниатюрой. Т[а]ковы главы о Морице Фишмане—шибе[ре] игрушечной Латвии, об Альфреде Ше[н]фельде и его невесте Бетти, вынужде[н]ной—о, конечно, из-за денег (из-за «пр[о]данного»)—быть любовницей князя Из'[е]динова, о Дрешере и его жене Матил[ь]де — образце обедневших обывателе[й], о кокетливых Лотти и Фрицци, физ[ио]логически связанных друг с другом [и] «подрабатывающих» на публичной д[е]монстрации «супружеских об'ятий», [о] прекрасной Лоллоте — жене официант[а], имеющей ребенка и во имя ребенка з[а]нимающейся проституцией.

Все эти главы, как и главы близко [к] ним примыкающие («Князь Из'единов [—] гусь», «Смерть тетки Амалии» и др[.]) написаны не только мастерски, но и во[л]нующе.

В общем, хорошая, ценная книга.

Конечно, и у ней (кроме уже отмече

ных выше) есть недостатки и промахи. Но эти промахи и недостатки лежат, главным образом, в той плоскости, которая непосредственно к книге не относится.

А промах Вл. Лидина в том, что здесь, как и в «Мышиных буднях», он остался односторонним, пройдя мимо великого революционного прилива Германии, выраженного в молотобойце ее будущего—рабочем классе. В этом отношении Лидин разделил судьбу немецких писателей — повествователей и наблюдателей—(Келлерман—«9 ноября» и Клара Фибих—«Красное море»), которые, отображая революцию, также не заметили рабочего класса, тем самым обескровив и ее и свои романы.

Но и в настоящем своем виде, «Морской сквозняк» заставляет ждать от автора очень много. Это многое — при условии бо́льшей уверенности в себе, бо́льшей своеобразности и бо́льшей самобытности—он может дать.

Вл. Лидин, по преимуществу, писатель будней. Будни в изящном — таков общий заголовок его произведений.

Вл. Лидин—наблюдатель.

Больше наблюдательности и меньше изящества, размягчающего содержимое, ближе к быту—к будням современности (к психологическому перерождению масс, к интеллигенту, органически принявшему революцию),—и революция получит в книгах Лидина свое, если и не полное, то добросовестное и художественно-четкое отражение.

Н. С—ов.

Э. Людендорф. Мои воспоминания о войне. Т. I. Высш. Военный Редакц. Совет. Госиздат, Москва 1923, Стр. 321.

Записки Людендорфа приобретают в настоящий момент особо актуальный интерес. Ведь, как известно, Людендорф сейчас является одним из лидеров немецких фашистов, готовящимся, судя по его публичным выступлениям, сыграть роль Кавеньяка, Галиффе, вообще «спасителя отечества». С другой стороны, Людендорф являлся одной из центральных фигур всей мировой войны: в течение почти трех лет именно в его руках было сконцентрировано все руководство германской армией и, в меньшей степени, армий ее союзников.

Опубликованные после войны мемуары немецких государственных деятелей (в особенности Эрцбергера и Шейдемана) обнаруживают, что во время мировой войны Людендорф играл еще более крупную роль. Он являлся несомненно фактическим диктатором Германии, властно вмешивающимся во все стороны ее жизни, и подчинившим верховному командованию и дипломатию, и экономику и внутренние отношения страны.

Ввиду этого, повторяю, ознакомление с записками Людендорфа приобретает двойной интерес: исторический и актуально-политический.

Какова же характеристика этого несомненного крупного деятеля, извлекаемая из его записок? Прежде всего он пытается хотя бы на словах целиком отмежеваться от всякой политики. «Я не реакционер и не демократ,—заявляет он,—я стою единственно за благосостояние, за культурное процветание и за национальную силу германского народа, за авторитет и за порядок». Однако эта аполитическая тенденция, конечно, не может быть проведена целиком в записках. На каждом шагу здесь выпирает типичная фигура прусского юнкера, политика и реакционера. «Носителями государственной власти», солью немецкой земли для него является офицерство, символом единства государства—император и т. д. Вопреки слухам о сепаратистских тенденциях Людендорфа, в связи с его деятельностью в Баварии, необходимо отметить кстати, что он всюду подчеркивает главенство Пруссии в германском союзе.

Наиболее интересной проблемой, на которую отвечают записки, является причина военного поражения Германии и последовавшего крушения империи. Здесь мы находим чрезвычайно нехитрую концепцию. Причиной поражения оказываются разложение немецкого духа, недостаток патриотизма и разлагающее влияние отечественной и иностранной пропаганды. Без устали Людендорф пи-

шет о «священном огне», который должен был воодушевлять каждого немца, о том, что это была — «священная борьба» и т. п. Ошибка правительства для него заключалась в том, что оно «не поставило совершенно ясно и определенно вопроса об ответственности всего народа за исход войны». Правда, несколько дальше он заявляет, что во время войны выяснилось, что уголь и железо фактически являются силой, что Румыния была завоевана, главным образом, ради ее нефти, но все это мелочи, не затемняющие основной идеалистической концепции мирового конфликта.

Исходя из этого понимания войны, Людендорф указывает, что она должна была вестись лишь «энергичным» образом: «никогда еще так не требовалось, чтобы правительство, рейхстаг и народ всецело отдались идее войны». Вместо этого Людендорф с грустью констатирует, что рабочие были «ослеплены и искусственно взвинчены пропагандой» и не считались с государственными требованиями. Правда, он учитывает их безвыходно-тяжелое положение, но, очевидно, оно и должно было побуждать их к самопожертвованию и к готовности до бесконечности поставлять пушечное мясо. Наоборот, гораздо большее великодушие проявляет Людендорф по отношению к промышленникам. Их законным патриотическим правом является для него «стремление получать от государства соответственное вознаграждение, при том риске и тех финансовых затратах, которые вызывались нашими заданиями».

Немудрено, что Людендорф являлся горячим противником мирных переговоров, основанных на соглашении с противником. «У меня было убеждение, что если о мире говорить и жаждать его всем сердцем, то мира долго не удастся добиться. Во всякой уступке Антанте Людендорф видел лишь проявление «слабости», пасифизма и т. п. страшные вещи. Как мы знаем из других источников, действительно именно верховное командование парализовало все попытки к миру, которые предпринимались со стороны Германии и Антанты. Замечу вскользь, что определенно фальсифицируя факты, Людендорф совершенно замалчивает и отрицает попытку к миру, хотя мы знаем о двух попытках, предпринятых Ватиканом. Упорство военного командования, желавшего сохранить Бельгию в качестве «залога», привели к крушению эти и другие попытки.

Что касается до той политической роли, которую Людендорф играл во время мировой войны, то он также ее тщательно замалчивает. Он не только отрицает «диктатуру», но по его словам выходит, что вмешательство армии в политику и управление было вынужденным, чуть ли не навязанным извне. Однако факты, которые он приводит, а именно: участие ставки в вопросе о государственной судьбе Польши, проведение военно-трудовой повинности, разработка и об'явление беспощадной подводной войны и др. ясно доказывают, что в течение трех лет вдохновитель ставки действительно осуществлял не только гражданскую, но и военную диктатуру. Недаром сам же Людендорф должен признать, что «государственные правители с трудом могли привыкнуть к мысли, что с началом войны высшее военное командование образовало **новый центр**, который не только разделял ответственность с государственным канцлером, но и выносил на себе невероятные трудности».

В беглой рецензии невозможно остановиться на интереснейших деталях записок, напр., на организации немецкого управления оккупированных областей, на значении для Антанты русского фронта и т. д. Вне поля зрения рецензента, как не специалиста, конечно, остается вся чисто военная часть записок Людендорфа, составляющая главное содержание книги. Оценка этой части труда найдет себе место, конечно, на страницах специальных военных органов. В настоящей же рецензии мне хотелось лишь отметить то обще-историческое и обще-политическое значение, которое имеют записки одного из крупнейших представителей империалистической Германии.

В. Кражин.

Г. Лосский о коммунизме, материализме и царстве Божьем.

В советских газетах ведется почти постоянный отдел «Из белогвардейской печати». Не мешало бы нашим серьезным научным журналам завести отдел «Из мира белогвардейской философии и социологии». Говорю это совершенно серьезно. Я убежден, что разумный и талантливый педагог, профессор-коммунист, сделал бы очень недурно, если бы вместо словесной аргументации против религиозно-философской мистики ознакомил бы слушателей с какой-нибудь статьей, хотя бы из лежащего предо мной журнала «София—проблема духовной культуры религиозной философии», издаваемого Н. А. Бердяевым при ближайшем участии Л. П. Карсавина и С. Л. Франка. Как выпукло, как неотразимо убедительно выступают интеллектуальная беспомощность, внутренняя размагниченность и духовная бескрылость этих апостолов чистой, беспримесной духовности. И какой великолепный материал для разоблачения лжи о якобы непричастности вершин мысли земной суеты, о которой «Пташечки-касаточки» пели так грустно и жалобно... Я говорю «пели», потому что теперь, под влиянием так называемого «кризиса культуры», величавые жрецы чистой философии так открыто, так страстно, так исступленно выступают в качестве защитников «иерархического строя», что уже сами не решаются утверждать, будто философские жрецы в руки классовой метлы не берут.

Конечно, нас мало интересует индивидуальная талантливость или бесталанность того или другого идеалистического философа. Несомненно, господин Ильин сотрудник «Софии»—на три четверти шарлатан философии. Умный и талантливый господин Бердяев всего на всего только пухлый и многословный фельетонист, но мы думаем, что убожество «религиозников» об'ясняется не «свойствами» личности, а исторически неизбежным и культуры. Сами-то защитники и апостонепоправимым крахом авторитарной лы старого мира чуют, что «осень наступила, высохли цветы». Нет энтузиазма, нет горения, в груди лже-пророков—не «угль, пылающий огнем», а чадящая головешка. И вот при таком печальном положении дел рыцарь бедный, господин Лосский, задумал думу: каково должно было бы быть философское мировоззрение коммуниста, и написал в вышеназванном журнале статью под названием «Коммунизм и философское мировоззрение».

Видите ли, оказывается, что коммунисты способны даже и на благородство, на героизм, но... точно так же, как, по мнению одной из героинь Анатоля Франса, обезьяны в любви ни в чем не уступают мужчинам, с тою только разницей, что у бедных обезьян нет денег, точно так же коммунисты в благородстве не уступят любому идеалисту, да беда в том, что у бедных коммунистов нет философского мировоззрения... Т.-е., мировоззрение-то есть, но называется оно материализмом, а кому не известно, что материализм—это философская керенка — и на философском рынке никак не котируется! Естественно, что лойяльный господин Лосский хочет притти на помощь коммунистам и за них продумать, какое им нужно философское мировоззрение.

Впрочем, мотивы господина Лосского весьма своеобразны и на них стоит остановиться. Вот что говорит об этом сам автор: «В ноябре 1922 г. правительство Р. С. Ф. С. Р. изгнало меня из России, несмотря на то, что с момента октябрьской революции я не совершил ни одного политического акта и даже номинально не состоял членом ни одной политической партии. Поводом к изгнанию поэтому могло служить только мое мировоззрение, именно религиозный характер моих философских взглядов...» «Поэтому я считаю современным и полезным рассмотрение вопроса, какое мировоззрение наиболее согласимо с идеалами коммунистического общества». Это, несомненно, акт христианской добродетели... Но, оказывается, что у гражданина Лосского есть и личный повод для написания такой статьи. «Десять лет тому назад, будучи болен, я дал обет написать статью о мировоззрении, которое следует усвоить социалисту. Тема эта была для меня тягостно

скучная, и я откладывал до последней возможности осуществление ее. В марте 1923 г. срок исполнения обета истек. Удивительным образом последние месяцы исполнения обязательства, взятого мною на себя перед лицом Господа Бога, совпали с таким периодом русской революции, когда тема, поставленная в заголовке, приобрела исключительно злободневный характер».

Вот какой сложный переплет мотивов двинул в поход господина Лосского: тут и ответ советской власти, тут и исполнение обета, данного Господу Богу, тут и властные веления и запросы исторического момента... Неправда ли, мы в праве ждать, что воплощение замысла будет хоть более или менее адэкватно мотивам.

Послушаем же г. Лосского. По мнению материалистов, утверждает автор, духовное начало совершенно пассивно, инертно, бездеятельно, на ход истории не влияет, ибо, по Марксу, «бытием определяется сознание». Я полагаю, что даже не материалист должен согласиться, что это толкование мысли Маркса о бездеятельности духовного начала достойно какого-нибудь бойкого человека из «Биржевых Ведомостей». Странно, — г. Лосский все время говорит огульно о материализме, не определяя точно о каком материализме идет речь. Уже Бакунин энергично и неустанно протестует против того, будто бы материализм революционный кладет в основание идею косной, инертной материи. Он говорит о материи вечно движущейся, вечно напряженной, не знающей смерти—покоя, а только жизнь—движение... Г. Лосскому прекрасно известно, что Маркс упрекает старый материализм, что буржуазный материализм толкует мир пассивно, не учитывая активных и суб'ективных моментов. Господин Лосский скромненько и христиански смиренно, как и подобает рабу, исполняющему обет перед Господом Богом, скрывает от читателя маленькое прилагательное к существительному материализму—диалектический. Ибо при свете этого маленького прилагательного читателю становится ясно, что Маркс говорит не только о вечном движении, но и о внутренних законах ра[звития] движения... А г. Лосскому эта ма[ленькая] хитрость нужна для того, чтоб[ы] уверить читателя будто бы «логически последовательный материализм ведет [к] одностороннему индивидуализму и притом к индивидуализму весьма упро[щенного] типа! Вот это, действительно открытие, г. Лосский! А мы то думали что индивидуализм вытекает только и[з] некоторых сторон учения древнего атомизма, что Маркс уничтожил не только индивидуалиста Робинзона в политической экономии и социологии, но и в философии: Робинзон-атом такая же фикция, как Робинзон-строитель хозяйства. Я думаю, что вышеприведенно[е] вполне характеризует степень добросовестности нашего архи-ученого и философа. Это все же только цветики. А вот и ягодки: «Другие индивидуумы суть то же не более как временное сочетание атомов, и общество также есть не органическое целое, не индивидуальность высшего порядка, а только сумма человеческих особей». Дальше этого, кажется, итти некуда. Это поистине культурный вандализм. В самом деле, тот кто хоть сколько нибудь знаком с философскими воззрениями Маркса, знает что Маркс отстаивал «цельного человека», что Маркс боролся с атомизмом решительно и беспощадно. Кто это сообщил г. Лосскому, что для диалектического материалиста общество «есть сумма механических особей»? Да побойтесь Вы Вашего Господа Бога, которому Вы дали обет!—Неужели же небесное ведомство дало Вам такое неприятное поручение затемнить сознание читателей! Суть социологии Маркса заключается именно в том, чтобы вскрыть самостоятельную природу социальных явлений,—что общественный комплекс неразложим ни на атомы, ни на «механику», не есть также явление органического порядка, и даже не сверхорганического, а является системой производственных отношений. Методологически марксизм предполагает, что социальный комплекс, изучаемый в диалектическом развитии, дает ключ к по-

нимание и органических явлений, а наоборот. А г. Лосский утверждает, что для Маркса общество есть арифметическая сумма особей. Это все равно, что сказать, что Дарвин всю жизнь боролся с принципом борьбы за существование и наследственности во имя теологического миропонимания.

Скучно, уважаемый читатель, следить за словесными фокусами господина Лосского, за его чисто ребяческой попыткой синтезировать индивидуальное и универсальное. Интересно, какой вывод делает г. Лосский из внешне многообещающего, внутренне пустого положения о том, что мир есть органическое целое. Выводы есть и чисто практического характера. Конечно, г. Лосский уже понимает, что «капиталистический строй заменится современем какой-нибудь новой формой хозяйства, на основе единого плана». Но это где-то далеко в будущем, а пока что «капиталистический строй как индивидуалистическая форма хозяйственной деятельности человека, поставленная в рамки правового государства, именно и есть вполне целесообразный способ сочетания индивидуальных общих интересов на определенной ступени развития экономики и нравственности человека». Теперь дело проще и яснее. Теперь ясно, что г. Лосскому необходимо доказать, что в материализме гибнут то личность, то «целое»; и что в настоящем надо петь хвалу капитализму, дающему синтез «индивидуального» и универсального, даже в будущем идеал социалистов должен быть исправлен «ценными сторонами индивидуалистического хозяйства современного капитализма». Но, конечно, не одна презренная практика интересует философа—не менее важен теоретический вывод, а этот вывод гласит так: «Такой строй будет шагом вперед на пути гармонического сочетания индивидуального и универсального начала, но совершенное осуществление идеала не будет достигнуто и в нем, так как идеал требует Преображения, восхождения с Божьей Помощью на высшую сферу бытия—Царства Божия».

Конец—делу венец. Обет, данный Господу Богу, исполнен, советская власть посрамлена: Дух Божий реет над нами. Духовное начало спасено. Но нет ли здесь соблазна для верующих? ведь великая цель достигнута не чистыми средствами — фальсификацией и извращением. И тревожит меня жгучая дума: как же господин Лосский, обремененный такими тяжкими грехами, свершит восхождение «с Божьей Помощью» в высшую сферу бытия, Царство Божие?

И. Гроссман—Рощин.

Л. Троцкий. Коммунистическое движение во Франции. (Речи, статьи, письма и друг. материалы.) «Московский Рабочий». Москва 1923 г., стр. 458.

Можно вполне приветствовать удачную мысль издательства «Московский Рабочий» собрать во-едино статьи, речи, письма, резолюции и воззвания, составленные Л. Д. Троцким по различным вопросам французской коммунистической партии. Социальное движение во Франции—старейшее социальное движение,—приковывает общее внимание во всех фазах своего исторического развития. Недаром, поэтому, всякая история социализма, равно, как и история рабочего движения начинаются прежде всего с Франции; Франции обыкновенно бывает посвящено и главное место.

И в наше время роль Франции в мировом социальном движении еще не сошла на нет. Наоборот, она имеет ответственную и важную задачу. Троцкий так определяет эту роль: «Империалистическая Франция—сейчас правящая сила на европейском континенте и очень большая величина за его пределами. Уже это одно сообщает огромное значение французскому пролетариату и его партии. Европейская революция победит окончательно и бесповоротно тогда, когда она овладеет Парижем (курсив наш). Победа пролетариата на европейском континенте почти автоматически решит судьбу английского капитала. И, наконец, революционная Европа, к которой немедленно примкнут закабаленные народы Азии и Африки, сумеет сказать несколько убедительных

слов капиталистической олигархии, которая правит в Америке. Главный ключ к европейскому, а в значительной мере и к мировому положению, вручен таким образом французскому рабочему классу» (стр. 12).

На долю коммунистической партии Франции выпадает задача огромной важности—сорганизовать и направить в правильное русло пролетарские массы. Понятно, что Коминтерн и на своих конгрессах, и в своей текущей деятельности уделил и уделяет такое исключительное внимание французским делам. Бессменным докладчиком по всем французским вопросам выступал Л. Д. Троцкий, до мельчайших тонкостей осведомленный во всех деталях французского рабочего движения. Можно прямо удивляться, как при той колоссальной работе, которой завален Троцкий, он так тонко и разносторонне ориентируется в чрезвычайно сложных и запутанных перипетиях партийной и фракционной борьбы, разыгрывающейся на Сене.

Французская компартия в течение кратковременного своего существования уже пережила ряд кризисов. В ее среде образовались свои центры, левые, правые, особые группы и т. п. Вожди партий неожиданно совершали крутой поворот и из одних рядов переходили в другие. Весьма примечательна в этом отношении эволюция Фроссара, некогда и так еще недавно возглавлявшего партию, а потом очутившегося вне ее рядов. С обычным блеском характеризует эту любопытную фигуру Л. Троцкий. Вообще, русский революционный трибун беспощаден в своих ярких и отточенных характеристиках отдельных персонажей и отдельных явлений современной социальной и партийной борьбы во Франции. Чего стоит, например, до жестокости саркастическая статья о Жане Лонге, «маленьком внуке великого деда» (К. Маркса), возглавляющем диссидентов и идущем на помочах у национального блока. Остроумен и неуязвим Троцкий в полемике. Стоит прочесть стенограммы его докладов в Коминтерне. Какое печальное зрелище представляет почтеннейший Шарль Рапопорт, атаковываемый Троцким и весьма неудачно парирующий его меткие и сокрушительные удары (стр. 218—260).

На-ряду с критикой идет и созидательная работа. Все выпрямление по фронту Коминтерна французской компартии детально разработано при ближайшем участии Троцкого. Его огромная осведомленность во французских делах и исключительный авторитет сыграли здесь важную роль. Весьма важно отметить привлечение в ряды французских коммунистов представителей революционного синдикализма, особенно крупнейшего его деятеля в лице Монатта. Книга Троцкого менее всего может быть названа об'ективным историческим трудом, но в то же время для истории социального движения во Франции за последние годы она имеет первоклассное значение. Несколько случайно включена в этот сборник статья Троцкого о драме Марселя Мартинэ. С другими статьями настоящей книги статья эта абсолютно не связана. Вряд ли нужно было помещать и заключительную статью Зеликмана, посвященную социальному движению во Франции, начиная с великой французской революции и кончая нашими днями. Трудно уложить эту неисчерпаемую тему на пространстве 40 страниц, не сказав ряда общих и банальных фраз. Не лишен автор и спорных положений. Едва ли можно безоговорочно называть Гебера коммунистом родственным Бабефу. Да и кроме того, вообще, статья Зеликмана, добросовестно выполнившего работу, сильно проигрывает от соседства с Троцким.

Нет, по нашему мнению, Троцкого нужно было издавать одного, без всяких дополнений и приложений. Все равно, эту книгу будет читать только тот, кто интересуется международным рабочим движением. Для него шпаргалки не нужны: он и сам разберется в тех писаниях, где живо чувствуется непосредственное веяние революции.

Издана книга хорошо.

И. Бороздин.

Е. А. Преображенский. О морали и классовых нормах. Госизд. 1923 г., стр. 114, тираж 15.000.

Тов. Преображенский в популярной форме излагает марксистский взгляд на мораль как на продукт определенного общественного класса. Лучшее, что имеется в нашей литературе по этому вопросу (у Каутского, Плеханова, Бухарина, Богданова), т. Преображенский обработал и сделал легко усвояемым для сознательного рабочего и учащегося.

Центр тяжести книжки т. Преображенского не столько в теоретическом обосновании классового характера морали, сколько в обсуждении норм поведения коммуниста и рядового пролетария, в трактовании вопросов быта.

Тут т. Преображенский обеими ногами стоит на позиции т. Бухарина, указывающего, что «пролетариату нужны нормы поведения, но ему совсем не нужна этика» (Теория И. М., 279 стр.), хотя т. Преображенский такое понимание морали называет «узким» (57 стр.). При подходе к практическим жизненным вопросам быта, т. Преображенский сам, однако, становится «узким».

Вся половая мораль сводится им с высот «этики» и отдается на суд медицины. «Ответы на вопрос должна здесь дать медицина, а не коммунистическая программа»... (98 стр.). Типового единообразного рецепта и медицина не в состоянии прописать. Оптимальное потомство бывает при прочих равных условиях чаще результатом полового общения, связанного с любовью. Любовь же опирается у одних на длительную, у других на кратковременную связь, и зависит часто от темперамента сторон. При таких условиях один и тот же результат (наилучшее потомство) может быть достигнуто различными формами полового общения. Поэтому медицинский или вернее биологический подход к вопросу потребуется, повидимому, индивидуальный.

При таком подходе, как нам кажется, не может быть речи не только об этике, но о каких бы то ни было «нормах поведения».

Апеллируя к медицине, т. Преображенский впадает в противоречие сам с собою. Страницей раньше, т. Преображенский обычную сексуальную мораль выводит из личных вкусов. «Кому больше нравился несколько филистерский, личный семейный быт Маркса и кто по своим наклонностям предпочитал моногамию, тот пытался возвести в догмат и норму моногамную форму брака... Те, которые склонны к обратному, пытаются выдать быстротечные браки и «половой коммунизм» за естественную форму брака в будущем обществе (97—98 стр.).

Тов. Преображенский, как будто, ополчается против такого индивидуального решения вопроса. А разве рекомендуемая им медицина сочтет себя в праве игнорировать наклонности и личные вкусы людей!

Желая установить в вопросах брака, в нормах сексуального поведения, некую высшую инстанцию, т. Преображенский приходит фактически к тем же индивидуальным наклонностям, которые в преимущественном большинстве случаев медицине придется лишь санкционировать. Против наклонностей и вкусов может пойти та или иная классовая или ставшая общесоциальной мораль. Но медицина?—Как может она игнорировать те или иные половые влечения, коренящиеся в глубоких извилинах человеческой психики и служащие базисом для тех или иных идеологических построений половой морали и норм поведения!

Тем более странным представляется нам рекомендуемое т. Преображенским «вмешательство социалистического государства в половую жизнь в целях улучшения расы путем искусственного полового подбора» (102 стр.). Автор указывает на «полное и безусловное право общества довести свою регламентацию половых связей даже до этого предела» (т. ж.). Тут полный возврат к Платону с его государственной регламентацией Эроса. Евгеника, разумеется, имеет свое место в социальных заданиях человечества. Но она, мы уверены, не укладывается на прокрустовом ложе насильственной регламентации. Раз оптимальное потомство неразрывно связано с любовью, то задачи

коммунистического общества, повидимому, в том и состоят, чтобы последнюю сделать единственным решающим фактором в вопросах брака. Будущее коммунистическое общество в полной мере сумеет осуществить это условие уж одним тем, что оно устранит все побочные материально-корыстные соображения и расчеты, сопровождающие современный брак в условиях капиталистического производства. При коммунизме и воплотится в жизнь девиз евгеники «лучшие — лучшим». Государственное же вмешательство, которое рекомендуется в целях евгеники т. Преображенским, окажется здесь не только лишним, но и вредным. Регламентация неизбежно вступит в драматическую коллизию с чувствами, склонностями и вкусами людей, т.-е. с тем, что мы называем любовью. А любовь ведь есть условие лучшего потомства.

Книжка т. Преображенского затрагивает целый ряд вопросов рабочего и партийного быта, на которых рамки заметки не дают нам возможности остановиться. Не претендуя стать азбукой норм поведения и не будучи до конца во всем выдержанной, книжка т. Преображенского полна злободневного интереса. Горячо рекомендуем ее нашим сознательным рабочим и учащейся молодежи.

Г. Даян.

Н. Ленин. Что такое «друзья народа», и как они воюют против социал-демократов. (Ответ на статью «Русского Богатства» против марксистов.) Выпуски первый и третий, с предисловием Л. Б. Каменева и статьями С. Мицкевича, Л. Ганшина и В. Масленникова. Издательства «Московский Рабочий» и «Новая Москва» 1923 г., стр. 205.

Когда теперь нельзя буквально миновать сколько-нибудь людного места— угол улицы, аудитории, коридор какой-нибудь, чтоб не услышать спор или разговор двух молодых людей об историческом материализме и о марксизме вообще, можно порадоваться тому, что именно теперь вышла эта книга. В ней одновременно и Плеханов «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», и Энгельс «Анти-Дюринг» (или «философия, политическая экономия, социализм»). Больше того: книга Ленина, действительно, дает понятие о тех корнях, которые глубоко лежат в тактических приемах революционной борьбы В. И. Ленина и его школы. Совершенно справедливо в предисловии к этому труду Л. Б. Каменев говорит:

«Кто хочет понять основное зерно тактических идей Ленина, кто хочет понять корни революционной программы Ленина и 1905 и 1917 годов, тот должен изучить данную работу Ленина...» Очень хорошо, что перед работой Владимира Ильича идут воспоминания авторов, упомянутых в заглавии, так как они помогают уяснить ту обстановку, в какой писалась эта работа. Работа, действительно,— как говорит Л. Б. Каменев, «почти одинокого, тогда, марксиста». К сожалению, нет 2-го выпуска этого труда Ленина. Но если судить по тому, как были найдены первый и третий выпуски и как они продолжительное время мирно покоились в Петербурге, надо думать, что и 2-й выпуск найдется где-нибудь также лежащим мирно, не обращая на себя особенного внимания... В этом едва ли есть чья-нибудь вина: ведь только теперь остывает пыл революционной борьбы в той открытой форме, в которой он всех нас заставлял быть на улице и в поле. Только теперь с достаточной долей спокойного внимания мы начинаем оглядываться вокруг себя и прежде всего на себя и на свою историю. Только теперь приступаем мы к изучению идей Владимира Ильича. Организовался Институт Ленина. Одной из первых его задач и является отыскать все рукописи Владимира Ильича.

Нечего и говорить, что в этой работе сказывается уже не только горячий полемист, но и человек, успевший впитать в себя до конца марксистские идеи.

Если в «Развитии монистического взгляда на историю» под пером Плеханова Михайловский выходит смешон и несостоятелен, то у Ленина он просто вреден для русского социалистического движения, враждебен новой революцион

ной (марксистской) теории, он не только не понимает социал-демократов, он воюет против них. И так как à la guerre comme à la guerre, то, как отчетливо, ярко показывает Ленин, Михайловский особенно не заботится хотя бы о приблизительно беспристрастном изложении марксистских положений. Нет, ему просто надо обрушиться на новую революционную силу (социал-демократов), обрушиться как можно скорее и во что бы то ни стало.

Не мудрено, что в конце своей работы В. И. Ленин восклицает:

«Довольно, однако!.. я не знаю работы более утомительной, более неблагодарной, более черной, чем возня в этой грязи... поиски хоть одного сколько-нибудь серьезного возражения. Довольно!».

Несмотря на такое «лирическое» отношение к Михайловскому, вполне заслужившему недоуменный вопрос В. И. Ленина: «если это полемист, то кто после этого называется пустолайкой?», в работе Владимира Ильича излагается очень ясно наш монистический взгляд на историю и в частности на историю России.

Поэтому нашей молодежи следовало бы усиленно рекомендовать работу Владимира Ильича.

Выпуск III труда Ленина посвящен народнику Кривенко. Здесь В. И. Ленин как научный исследователь, и притом вполне самостоятельный, выступает с огромной яркостью и силой. Здесь и статистика частью самостоятельная, частью заимствованная, здесь—и это едва ли не самое замечательное в III выпуске анализ зачатков русского капитализма, анализ, произведенный методом Маркса. Способность В. И. Ленина разобраться при помощи этого метода в сложнейших и запутаннейших вопросах русской жизни—сказалась во-всю. Вероятно, отчасти эта работа, это научное исследование и развернулось в большую книгу «Развитие капитализма в России».

Полемика В. И. Ленина в III выпуске против народнических экономистов, хоть и написана 30 лет тому назад, тем не менее поможет пожалуй многим и многим из нашей молодежи уяснить себе многое непонятное и в нашей, современной экономике России.

Книга издана хорошо, если бы не опечатки—отлично. Опечатки грубые, режущие глаза, вроде, например: Мишкевич, вместо Мицкевич.

А. А.

В. И. Ленин. «Памятки», изд. «Новая Москва», 1923 г., стр. 75.

Сюда входят статьи Вл. Ильича:

«Лев Толстой как зеркало русской революции», взята из «Пролетария», № 35, 1908 г.

«Лев Толстой», из Социал-Демократа, № 18, 1910 г.

«Иван Васильевич Бабушкин», из «Раб. Газеты», № 2, 1910 г.

«Гайндман о Марксе», из «Звезды», № 31, 1911 г.

«Павел Зингер», из «Рабочей Газеты», № 3, 1911 г.

«Речи, произнесенные от имени Р. С.-Д. Р. П. на похоронах Поля и Лауры Лафарг, из «Социал-Демократа», № 25, 1911 г

«К двадцатипятилетию смерти Иосифа Дицгена», из «Правды», № 102, 1912 г.

«Гарри Квич», из «Нашего Пути», № 16, 1913 г.

«Август Бебель», из «Северной Правды», № 6, 1913 г.

«Памяти Герцена», из «Социал-Демократа», № 26, 1912 г.

Как видно из перечисления, почти все эти статьи являются собственно некрологами. Исключениями можно считать статьи: «Лев Толстой как зеркало русской революции» и «Гайндман о Марксе». Поэтому, несколько непонятно, почему, собственно, эти статьи вошли в состав «Памяток». Если статью о Льве Толстом как зеркале русской революции по ее содержанию и можно как-то связать с последующей статьей—некрологом по поводу смерти Льва Толстого, то статья о книге Гайндмана, в которой последний рассуждает о Марксе, выглядит в ряду вышеперечисленных памяток просто совершенно чуждой.

Наиболее замечательными следует признать статьи о Льве Толстом. Своеобразная и очень верная оценка Толстого за-

ключена уже в самом названии первой статьи.

«Толстой смешон,—говорит В. И. Ленин,—как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества. Толстой велик как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России».

В. И. Ленин считает, что содержание писаний Толстого нельзя рассматривать как систему христианского анархизма. Нет, это просто «стремление смести до основания и казенную церковь, и помещика, и помещичье правительство, расчистить землю», — вот что, по мнению Вл. Ил. Ленина, является идейным содержанием Толстовских писаний.

«Большая часть крестьянства плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и посылала «ходателей»,—совсем в духе Льва Николаевича Толстого».

В доказательство того, что именно таково основное свойство крестьянского движения в России, В. И. Ленин приводит очень интересное и весьма характерное для него, как для тактика политической борьбы, соображение по поводу неудачи солдатских восстаний. «Корень этих неудач лежал в классовой природе нашего солдатства. Социальный состав этих борцов нашей революции промежуточный (курсив мой, А. А.) между крестьянством и пролетариатом... Не раз власть переходила... в руки солдатской массы, но... солдаты колебались; убив какого-нибудь ненавистного начальника, они освобождали из-под ареста остальных, вступали в переговоры с властью и затем становились под расстрел...

— Совсем в духе Льва Николаевича Толстого».

Вот почему для В. И. Ленина Л. Н. Толстой является зеркалом русской революции.

Это же обстоятельство дает право В. И. Ленину во второй своей статье выдвинуть весьма замечательное положение:

«Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества».

Это, поистине, великое положение, которое могло быть выдвинуто только гением. Может быть, тогда, когда В. И. Ленин писал эту статью (1910 г.), вышеприведенное положение могло остаться незамеченным, но теперь, после гигантских совершений, какие мы произвели под руководством Владимира Ильича, нам не может не быть ясным, до чего правильно стремление В. И. Ленина связывать, так или иначе, обстоятельства подготовки и самой революции с историей всего человечества. В самом деле: в нашей отсталой крестьянской России идет еще только подготовка к революции,—эту последнюю В. И. Ленин называет «крестьянской, буржуазной», — и уже В. И. Лениным нащупывается тот мост, который перекидывается между нами и остальным цивилизованным миром. В. И. Ленин уже находит во всем многообразии исторической жизни народов то отражение подготовки нашей революции, которое вырисовывается на фоне развития всего человечества. Подготовка российской революции отразилась на мировой истории, как шаг вперед в художественном развитии человечества! Не ясно ли отсюда, до какой степени глубоко-наблюдательно В. И. Ленин выискивает те невидимые для простого глаза нити, которые, так или иначе, связывают человечество.

Из остальных статей, собранных в этой брошюре, статья об Иване Васильевиче Бабушкине пропитана горячей любовью Владимира Ильича к погибшему товарищу.

«Новая Москва» хорошо сделала, что попыталась подобрать однородные статьи-некрологи т. Ленина и об'единить их названием «Памятки». Приходится только сожалеть, почему нет хотя бы маленького предисловия для уяснения читателю, а надо думать, что брошюра рассчитана на рабочего читателя: почему именно эти статьи собраны вместе, где и когда выходили те органы, в которых печатались эти статьи, и т. п.

Ну, разумеется, и еще один недостаток: опечатки. Это последнее, кажется, стало национальным признаком наших книг.

А. Аросев.

Проф. Н. И. Кареев. Очерки социально-экономической истории Западной Европы в новейшее время. Книгоиздательство «Сеятель» Е. В. Высоцкого. Петроград 1923 г., стр. 268.

Его же. — Новейшее время от 1850 г. до 1914 г. «Наука и Школа». Петроград 1923 г. стр. 120.

Проф. Кареев, уделявший немало места социально-экономическим вопросам в своих курсах по новой и новейшей истории Западной Европы, дал общий очерк социально-экономической истории новейшего времени, начиная с великой французской революции. Книга эта, при крайней скудости нашей литературы в области социальной и хозяйственной истории, является своевременной. Автор ясно и отчетливо описывает основные явления и моменты классовых отношений и эволюции хозяйства на всем протяжении XIX века, несколько захватив и начало XX столетия. Особую ценность представляет собрание хорошо подобранных фактических данных, приведенных в известном систематическом изложении. Социологическая точка зрения не всегда выдержана.

Приходится отметить непропорциональное распределение материала по главам. Если одни главы распухли (обе первые главы), то другие страдают явно болезненной худосочностью. Непомерно кратки главы о рабочем движении 30—40 г.г. (9 стр.), о социальных учениях первой половины XIX в. (10 стр.), о новейшем империализме и происхождении мировой войны (всего на всего 8 стр.). Так несправедливо урезав конец (а этот конец посвящен ничему иному, как началу XX века), автор вводит лишний балласт в виде особой главы о женском движении. Почему женское движение, поскольку оно имеет социальные основы, не введено в общее русло, совершенно непонятно. Отнюдь не об'яснит его и XXI глава, более трактующая о борьбе женщин за политические права и за общее равноправие.

Не всегда автор удачен в своих определениях. Вряд ли, например, можно удовлетвориться об'яснением, что Бланки в духе якобинской политики 1793 г. говорил о необходимости захвата власти и учреждения революционной диктатуры с целью осуществления социального переворота и что сама эта идея получила название «бланкизма». Вот и все, что можно найти о Бланки и бланкизме в настоящей книге. Слишком кратко изложены социальные учения первой половины XIX века, равно как и чартистское движение в Англии. Очень бледной вышла глава о Коммуне, неясная по своим общим выводам. В главе о третьей республике во Франции автор недостаточно вскрыл классовую подоплеку буржуазных партий в их историческом развитии. В самом деле, как любопытно проследить, например, эволюцию радикалов с их «непримиримым» вождем Клемансо, докатившимся, в конечном счете, до настоящего цезаризма. Что такое радикалы-социалисты, автор не говорит совсем, ограничиваясь только их упоминанием. Очень краток и бегл очерк об империализме и начале мировой войны. Эта заключительная глава является наиболее слабой и уязвимой.

Несмотря на указанные недостатки, книга проф. Кареева, давая в общем научно проверенный и хорошо подобранный материал, может быть полезной для всякого интересующегося историей новейшего времени. Издана книга опрятно, но цена 1 р. 40 к. очень высока.

Вторая книжка Н. И. Кареева, входящая в серию «Введение в историю», представляет исторический обзор по эпохе 1859—1914 г.г. Само собой понятно, какой интерес может представить подобного рода библиографический обзор, составленный компетентным историком. Проф. Кареев справился с поставленной задачей, в общем, удачно. Но и здесь не все отделы этого обзора в одинаковой степени удачны. Особенно дело усложнилось по мере приближения к нашим дням. Как раз здесь проф. Кареев далеко не использовал новейшей литературы предмета.

Правда, он ссылается на то, что книжка написана два года тому назад, но все же некоторые дополнения он сам пытался сделать. Однако, этих дополнений далеко недостаточно, особенно для периода кануна мировой войны и самой войны. Громадная мемуарная литература осталась вне поля зрения Н. И. Кареева. Точно так же не уделил он места и литературе о «виновниках войны». Встречаются пробелы и в других частях книжки (например, в отделе о социальном движении и социальном вопросе). В общем же книжка небесполезна как справочник и ориентирующее руководство.

В отличие от первой, вторая книжка издана плохо; цена же достаточно высока.

И. Бороздин.

М. Рафес. Очерки по истории Бунда. «Московский Рабочий», 1923 г., 440 стр., тираж 5.000.

«Очерки» т. Рафеса не претендуют быть историей Бунда. Оттого они так скромно и названы. Полной картины жизни Бунда они не воспроизводят. Не исчерпывают и всех оттенков сложной идеологии Бунда. Иллюстрируя, например, рядом цитат националистические уклоны Бунда, тов. Рафес упускает такое выдержанно-марксистское течение в Бунде, какое нашло себе выражение во взглядах М. Надеждина (в официальном легальном органе Бунда «Наше Слово», в номере 6-м, 1906 г., Вильна).

М. Надеждин выводит своеобразие Бунда не из каких-либо скользких идеалистических мотивов и неуловимых духовных начал. Он говорит:

«Неодинаковые исторические условия, в которых протекала и развивалась народохозяйственная жизнь различных национальностей, своеобразная их социальная структура, неодинаковое и неравномерное дифференцирование их в классовом отношении», одним словом, целый ряд чисто-материалистических причин накладывают свою печать на характер борьбы, ведущейся «экономически и политически тождественным классом...».

Что можно сказать против такого марксистского подхода к национальной проблеме?

И еще за 17 лет до нашего XII С'езда М. Надеждин так определил задачи рабочей партии в отношении ее к национальному вопросу.

«Бороться против националистических тенденций должны коммунистические организации, «органически выросшие» из данной народохозяйственной группы. Ибо они, будучи близки обслуживаемому ими классу и хорошо знакомы с его социальной средой и ее особенностями, лучше и успешнее могут пропитывать его (пролетариат) классовой своей идеологией и бороться против оппортунистических течений и идеологий чужих, враждебных ему классов».

Отсюда т. Надеждин приходит к выводу, что национальные секции должны быть «автономны лишь в области формирования сознания класса и организационного его сплочения, т.-е. в агитации, организации и пропаганде».

Но они «должны терять свою самостоятельность там, где вопрос идет об общеполитических задачах всего класса данного государства в целом».

«Ибо,—поясняет т. Надеждин,—пролетариат одного и того же социально-политического организма, ведя борьбу против централизованного врага за реализацию своей (Wille Zur Macht (диктатуры пролетариата), не может разбиваться на партизанские отряды, а должен сделать свою борьбу единой и централизованной».

Какой коммунист не подписался бы под мотивированной формулировкой т. Надеждина?

Однако ошибется тот, кто заключит отсюда о тенденциозности т. Рафеса, кто заподозрит его в том, что он нарочито упустил упомянуть обоснования т. Надеждина, дабы сгустить краски бундовского национализма, придать им однообразно черный цвет. Ничуть не бывало.

Вот не упоминает же т. Рафес и о таком ярком факте, каков следующий:

В январе 1911 года, в Петрограде, на II Всероссийском Ремесленном С'езде два бундовских лидера, т. Чемеринский и Розин (Эзра), по поручению Ц. К. Бунда и его питерского представителя т. Вайнштейна, со всем пылом глубокой убежденности отстаивали субботний отдых для еврейских рабочих, всемерно ратуя против единого дня отдыха для рабочих всех национальностей и вероисповеданий. Вот же и об этом факте также умолчал т. Рафес. Повидимому, и здесь, и там действовала общая причина: перегруженность автора очередной интенсивной работой.

По этой же причине, должно быть, читатель «Очерков» не узнает и о том, что в начале десятых годов в официальном бундовском журнале, выходившем в Вильне («Ди Цайт»), в котором усиленно сотрудничал ряд литераторов, видных бундовцев, ныне членов Р. К. П., бундовский литератор Б—ский (Левинсон), горячо призывал еврейский пролетариат зажигать субботние свечи в канун субботы и накрывать стол сугубо чистой скатертью, в честь «принцессы субботы» и в контакте с религиозно-национальными традициями славного прошлого.

Упущения эти, однако, не могут значительно влиять на общее впечатление, получаемое у читателя «Очерков» от характера деятельности Бунда, националистическое грехопадение которого начинается до формального его сложения, еще, так сказать, в эмбриональном его периоде (знаменитая формулировка задач бунда в речи Л. Мартова 1 мая 1895 г.).

Недаром еврейский историк С. М. Дубнов оценивает Бунд как национальную организацию, обладавшую внутри национальной ценностью, а сионистский лидер Вл. Жаботинский обещался даже, еще в 1905 году, некогда воздвигнуть памятник Бунду от благодарного еврейства в... Палестине.

Мудрый Георгий Валентинович однажды метко сказал: бундовцы те же сионисты, но только боящиеся морской качки...

«Очерки» богато документированы. Треть книги состоит из «приложений», куда вошли резолюции с'ездов и конференций, жандармские доклады, уставы, программы занятий с рабочими кружками, воззвания, декларации и пр. Остальные две трети книги гораздо больше чем на половину испещрены выдержками из документов, брошюр, книг, сборников, журналов и пр. Только весьма незначительная часть текста посвящена комментированию приводимого материала, с точки зрения нынешней позиции автора, 3 года тому назад вступившего в ряды Р. К. П. после 1½ десятка лет кипения в бундовском котле.

«Очерки» послужат большим подспорьем для тех, кто будет изучать историю Бунда. Мимо них не может пройти ни один истпартовец, изучающий историю рабочего движения в России.

Книге недостает указателя имен и, в конце, перечня книг и брошюр, на основании которых она составлена. Напечатана она на хорошей бумаге и четким шрифтом. Только изредка попадаются корректурные ошибки.

Г. Даян.

И. Н. Бороздин. Очерки по истории рабочего движения и рабочего вопроса во Франции XIX века. Издание второе, испр. и дополн. Изд. В. Ц. С. П. С., Москва 1923 г., стр. 104.

Переиздание книги И. Н. Бороздина можно лишь приветствовать. В самом деле, несмотря на то, что на русском языке существует чрезвычайно обширная; как оригинальная, так и переводная, литература о французском социалистическом и рабочем движении, за исключением рецензируемой книги, у нас до сих пор отсутствует общий очерк последнего. Известная книга П. Луи излагает лишь историю различных социалистических систем, большой же труд Ж. Вейля дает очерк социального движения во Франции лишь за вторую половину XIX века. Достоинством книги И. Бороздина является то, что она дает сжатый обзор рабочего и социалистического движения во Франции за весь XIX век, начиная с Великой Революции и кончая 90-ми годами. Книга делится на 10 глав, обнимающих

хронологически замкнутые периоды: Великой революции, эпохи Реставрации, Июльской монархии, Второй республики и т. д. Каждая глава построена в общем по одному и тому же плану: мы имеем прежде всего краткий политический очерк, затем обзор положения рабочего класса, изложение различных социальных учений и, наконец, историю рабочего движения. На протяжении каких-нибудь ста страниц автор четко рисует нам первые проблески рабочего движения, которому соответствуют социалистические системы великих утопистов (Сен-Симона, Фурье и др.), затем грандиозные революционные бури 1848 года и Коммуны и, наконец, возникновение и рост синдикализма, рабочей социалистической партии, фракционную и парламентскую борьбу и т. п. Благодаря этому, рецензируемая книга является одновременно хорошим первоначальным пособием при изучении рабочего движения во Франции и прекрасным учебником по данному вопросу. Единственным недостатком книги является ее чрезмерная конспективность, благодаря которой некоторые вопросы изложены черезчур суммарно, некоторые же совсем не нашли себе места. Как, например, говоря о рабочем вопросе в эпоху Великой Революции, автор излагает взгляды Сен-Жюста, Робеспьера, Марата и ни словом не упоминает о взглядах и агитации так наз. «бешеных» (Шометт, Ру, и др.), между тем как они представляют, как это ярко показал хотя бы П. Кропоткин, большой интерес для генезиса социалистических идей. Довольно подробно излагая учение О. Конта и Ле-Плей, автор ограничивает свою характеристику М. Бакунина буквально одной фразой. Излагая историю крушения I-го Интернационала, автор не указывает достаточно ясно, в чем же заключалась сущность столкновения бакунистов с марксистами, и т. д.

Все эти недочеты, повторяю, об'ясняются исключительно чрезмерной конспективностью работы, не позволяющей развить те или иные важные моменты, без ущерба для целости всего построения. Несомненно, что книга П. Н. Бороздина явится необходимым пособием для целого ряда курсов по истории Запада, читаемых в наших Вуз'ах, обладая для этого всеми необходимыми достоинствами, а именно: продуманностью общей концепции и ясностью изложения.

В. Кряжин.

МОНГОЛИЯ и АМДО И МЕРТВЫЙ ГОРОД ХАРА-ХОТО.

Экспедиция Русского Географического Общества в Нагорной Азии П. К. Козлова 1907—1909. С 39 фототипическими таблицами, 241 рисунков в тексте и с 3 схематическими карточками и одной большой трехцветной отчетной картой с маршрутом экспедиции. Государственное издательство, Москва—Петроград 1923 г. Стр. 680.

Имя П. К. Козлова, известного и неутомимого путешественника, пользуется громкой и заслуженной популярностью. Его экспедиции в Центральную Азию, увенчанные крупными успехами, поставили его в ряду путешественников-исследователей мирового масштаба. Зимой этого года Москва была свидетельницей того исключительного успеха, какой представляли выступления Козлова с рассказом о своих путешествиях перед широкой публикой. Как ученым обществам, так и другим организациям приходилось буквально по несколько раз устраивать доклады Козлова в самых больших московских аудиториях, всегда переполненных. Интерес вызывали как результаты уже совершенных экспедиций (особенно красочное повествование о «Мертвом городе Хара-Хото»), так и планы новой экспедиции в Тибет, которая ныне организована П. К. Козловым.

Вышедший в издании Госиздата огромный том под приведенным выше длинным названием содержит в себе описание экспедиции 1907—1909 г.г., как раз увенчанной открытием знаменитого и наделавшего столько шума Хара-Хото. В сущности еще до Козлова были обнаружены следы засыпанного песками пустыни, когда-то славного города тангутов или Си-Ся, подвергшегося разрушению в XIV столетии. Но честь обнаружения остатков этого города и их первое научное обсле-

дование принадлежит исключительно П. К. Козлову, обогатившему науку ценнейшим вкладом.

Как и следовало ожидать, наиболее интересной частью колоссального тома, являются страницы, посвященные Хара-Хото. С большим под'емом и увлечением, невольно заражая им и читателя, повествует Козлов о своем первом посещении величественных руин и о том впечатлении, которое производил «Мертвый город», далеко затерянный в пустыне. Чарование его было так велико, что в конце своего путешествия Козлов снова вернулся в Хара-Хото и занялся здесь пристальной археологической работой. П. К. Козлов и его сотрудники обнаружили богатейшие, можно сказать, бесценнейшие памятники забытой, когда-то процветавшей культуры. Целый ряд памятников изобразительного искусства (буддийских икон), исключительное по количеству число свитков, рукописей и книг, были вывезены П. К. Козловым и пущены в научный оборот. Уже теперь на основании козловского материала появился ряд научных публикаций, но далеко еще не все письменные богатства исчерпаны и даже предварительно разобраны. Большинство этих находок было сделано в субургане (номинальной башне), расположенном в некотором отдалении от крепостной стены. Здесь обнаружено было свыше 2.000 книг и до 300 памятников буддийской иконографии. Кроме того, в различных частях самого города найдены были разные мелкие предметы—черепки посуды, бусы, монеты, любопытнейшие китайские ассигнации Юаньской династии (1230—1368) и т. д. Коллекции из Хара-Хото, вывезенные Козловым, поступили в Этнографический отдел Русского музея и в Азиатский музей Академии наук.

Открытие Хара-Хото может быть смело поставлено в ряд с теми большими откровениями в области центрально-азиатских культур, которые дали новейшие английские, французские и немецкие экспедиции. Центральная Азия, до сих пор еще мало исследованная, начинает обогащать науку замечательными, часто совершенно неожиданными сокровищами. Достаточно упомянуть, например, о колоссальном по ценности материале экспедиции Штейна, в его недавней публикации «Serindia». Но то, чего европейским ученым можно было достигать при наличии больших средств в больших масштабах специально организованных экспедиций, русским исследователям доставалось исключительно личной инициативой и личным черновым трудом. Конечно, можно сказать, что с строгой научной точки зрения археологическое обследование Хара-Хото было произведено далеко недостаточно; на каждом шагу не чувствуется рука специалиста - археолога. Чрезвычайно затрудняет, например, отсутствие точного дневника раскопок, который отнюдь не может быть заменен общим обзором. Но когда вспомнишь, при каких условиях Козлову приходилось работать, то и за то, что он сделал и как он сделал, можно быть ему бесконечно благодарным.

Мы остановились подробно на Хара-Хото, так как это в сущности является самым крупным достижением экспедиции. Но и целый ряд других моментов путешествия представляет значительный интерес. Пройденный путь по Южной Монголии и окраинам Тибета и Китая ознаменован целым рядом естественно-исторических и (к сожалению значительно менее) этнографических наблюдений. Много места автор уделяет буддизму и его локальным проявлениям. Очень интересно описание осмотренных им больших буддийских монастырей. Свое свидание с Далай-Ламой, здесь повторенное и не представляющее поэтому интереса новизны, П. К. Козлов описал в своей другой работе «Тибет и Далай-Лама».

Книга Козлова, основанная на богатейшем материале, написана крайне неровно и в достаточной мере случайно. Автор как-то отступил от единственно правильного для путешественника тона постепенного фактического рассказа. Его изложения сплошь и рядом прерываются цитатами, нередко длиннейшими выписками из сочинений, в большинстве случаев очень популярных, вроде брошюр Ольденбурга и Щербатского. В главах, посвященных Хара-Хото, чуть не целиком перепечатано описание памятников буддий-

ской иконографии, составленное академиком Ольденбургом. Мы уже не говорим, что автор широко пользуется цитированием своих прежних собственных публикаций. Книга от всего этого нездорово распухла и получила крайнюю неотчетливость. Невсегда удачен и стиль автора. Конечно, нельзя особенно строго относиться к его увлечениям всем виденным, но все же излишние лирические трансы, в которые он нередко впадает, не мешало бы из текста удалить. Во всяком случае здесь предпочтительней хотя бы тон эпический! Издана книга хорошо, обильно снабжена рисунками и картами. Жаль только, что непомерно высокая цена (15 рублей золотом) делает ее почти недоступной для читающей публики.

И. Бороздин.

СОДЕРЖАНИЕ.

Научный отдел.

От земли и городов.

За рубежом.

Литературные края.

Библиография.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ТОРГОВЫЙ СЕКТОР.

Москва, Ильинка, Биржевая пл., Богоявленский, 4. **Тел. 47-35.**
Петроград, Проспект 25 Октября (Невский), 28. **Тел. 5-49-32.**

ОТДЕЛЕНИЯ:

ВОЛОГДА, Площадь Свободы. **ВОРОНЕЖ**, Проспект Революции, 1-й д. Совета. **КАЗАНЬ**, Гостинодворская, Гостиный Двор. **КИЕВ**, Крещатик, 38. **КОСТРОМА**, Советская, 11. **КРАСНОДАР**, Красная, 33. **НИЖНИЙ-НОВГОРОД**, Б. Покровка, 12. **ОДЕССА**, ул. Лассаля, 12. **ПЕНЗА**, Интернациональная, 39/43. **ПЯТИГОРСК**, Советский пр., 48. **РОСТОВ н ДОНУ**, ул. Фридриха Энгельса, 106. **САРАТОВ**, ул. Республики, 42. **ТАМБОВ**, Коммунальная, 14. **ТИФЛИС**, Проспект Руставели, 16. **ХАРЬКОВ**, Московская, 20.

МАГАЗИНЫ:

МОСКВА: 1) Советская пл., под гост. „Дрезден". Тел. 1-28-94. 2) Моховая ул., 17. Тел. 1-31-60. 3) Ул. Герцена (б. Никитская), 13 (зд. консерватории). Тел. 2-64-95. 4) Никольская ул., 3. Тел. 49-51. 5) Серпуховская пл., 1/43. Тел. 3-79-65. 6) Кузнецкий Мост, 12. Тел. 1-01-35. 7) Покровка, Лялин пер., 11. Тел. 81-94. 8) М. Харитоньевский пер., 4. Тел. 1-81-84. 9) Оптово-розничный магазин при складе „Теплые Ряды": Ильинка, Богоявленский пер., 4. Тел. 47-36.

ПЕТРОГРАД: 1) Проспект Октября 25 (Невский), 28. 2) Ул. Володарского (Литейный пр.), 21. 3) Проспект Октября 25 (Невский), 13.

НОВЫЕ КНИГИ.

Общественные науки.

Бешкин, Г. Идеи Фурье у Петрашевского и петрашевцев. Ц. 40 к.

Гойхбарг, А. Г. Хозяйственное право Р. С. Ф. С. Р. Т. I. Гражданский Кодекс. Изд. 2-е. Ц. 1 р.

Горев, А. На идеологическом фронте. Сборник статей. Ц. 70 к.

Жорес, Ж. История Великой Французской Революции. Т. II. Конвент. Вып. 2-й. Социально-политические идеи Европы и революция. Перевод с франц., под ред. Н. М. Лукина и Н. М. Попова. Ц. 4 р. 75 к.

Маркс, К. и Энгельс, Ф. Коммунистический манифест. С введен. и примеч. Д. Рязанова. Изд. 3-е дополн. (Библиотека научного социализма под общей редакцией Д. Рязанова.) Ц. в изящном переплете 1 р. 40 к.

Их же. Полное собрание сочинений. (Библиотека научного социализма под общей редакцией Д. Рязанова.) Т. I. Карл Маркс. Статьи и письма 1837–1844 г.г. Под редакцией и с примечаниями Д. Рязанова. Ц. 1 р. 70 к.

Меринг, Ф. История германской социал-демократии. Т III. До франко-прусской войны. Предисл. И. Степанова. Изд. 2-е. Ц. 2 р.

Ман, Г. и Бруккер, Л. Рабочее движение в Бельгии. Перев. Н. Л. Мещерякова. Ц. 1 р.

Подволоцкий, И. Марксистская теория права. Очерк с предисл. Н. Бухарина. Ц. 80 к.

Преображенский, Е. О морали и классовых нормах. Ц. 40 к.

Сен-Симон, А. Собрание сочинений. Перев. с франц. под ред. с введением и примечанием В. В. Святловского. Ц. 2 р.

Тун, А. История революционных движений в России. Перев. В. Засулич, Д. Кольцова и др. С воспоминаниями об А. Туне Дейча. С предислов. Г. Плеханова, статьей „О социальной демократии в России" Г. Плеханова и примечаниями П. Лаврова. Изд. 3-е. Ц. 1 р. 10 к.

Эритье, Луи. История французской революции 1848 года и Второй Республики. Вып. I (1814 - 1848 г.г.). Изд. 2-е иллюстрир. Ц. 3 р.

Экономика и политика.

Вацетис, И. О. О военной доктрине будущего. Ц. 1 р.

Майский, И. Демократическая контр-революция. Ц. 1 р. 10 к.

Мировой фашизм. Сборник статей под редакцией Н. Л. Мещерякова. Ц. 1 р.

Павловский, Е. Быть ли Германии колонией. Предисл. Е. Варги. Ц. 60 к.

Его же. Банкротство Германии. Ц 60 к.

Шеффер, К. Классические случаи стабилизации валюты и их значение для стабилизации марки. С предисл. к русск. изд. Е. Варги. Под ред Ш. Двойлацкого. Ц. 1 р.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Бол. Успенский пер., д. 5, кв. 36. Телефон 10-82.

Прием по понедельникам, средам и пятницам от 1 до 3 ч. дня.

Рукописи менее печатного листа не возвращаются.

Ответств. редактор — А. Воронский. **Издатель — Государственное Издательство.**

Члены Ред. Коллегии { *А. Бубнов.* *В. Смирнов.*